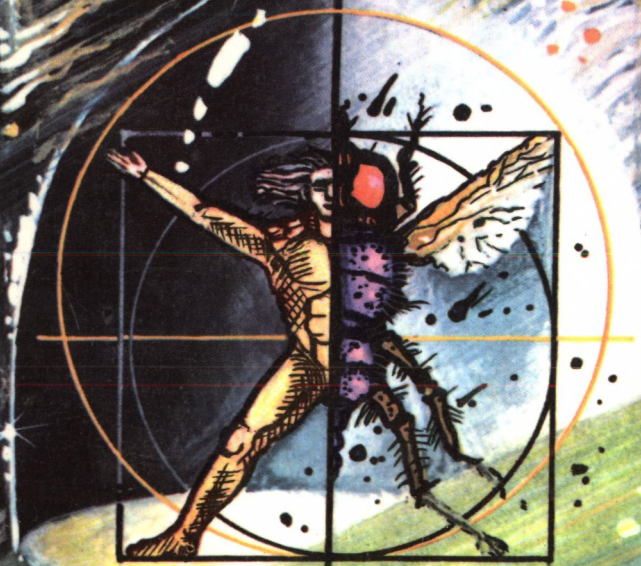
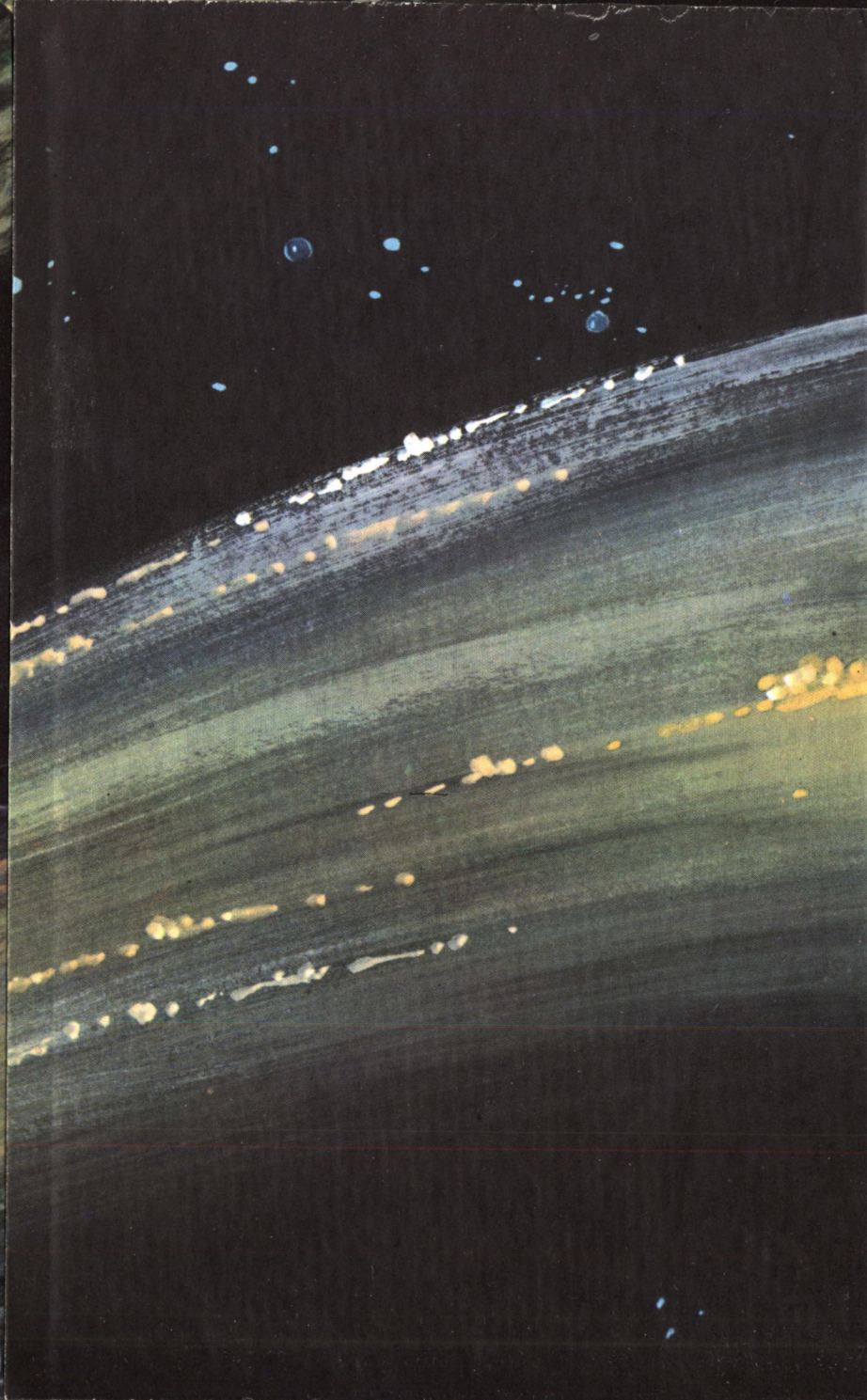
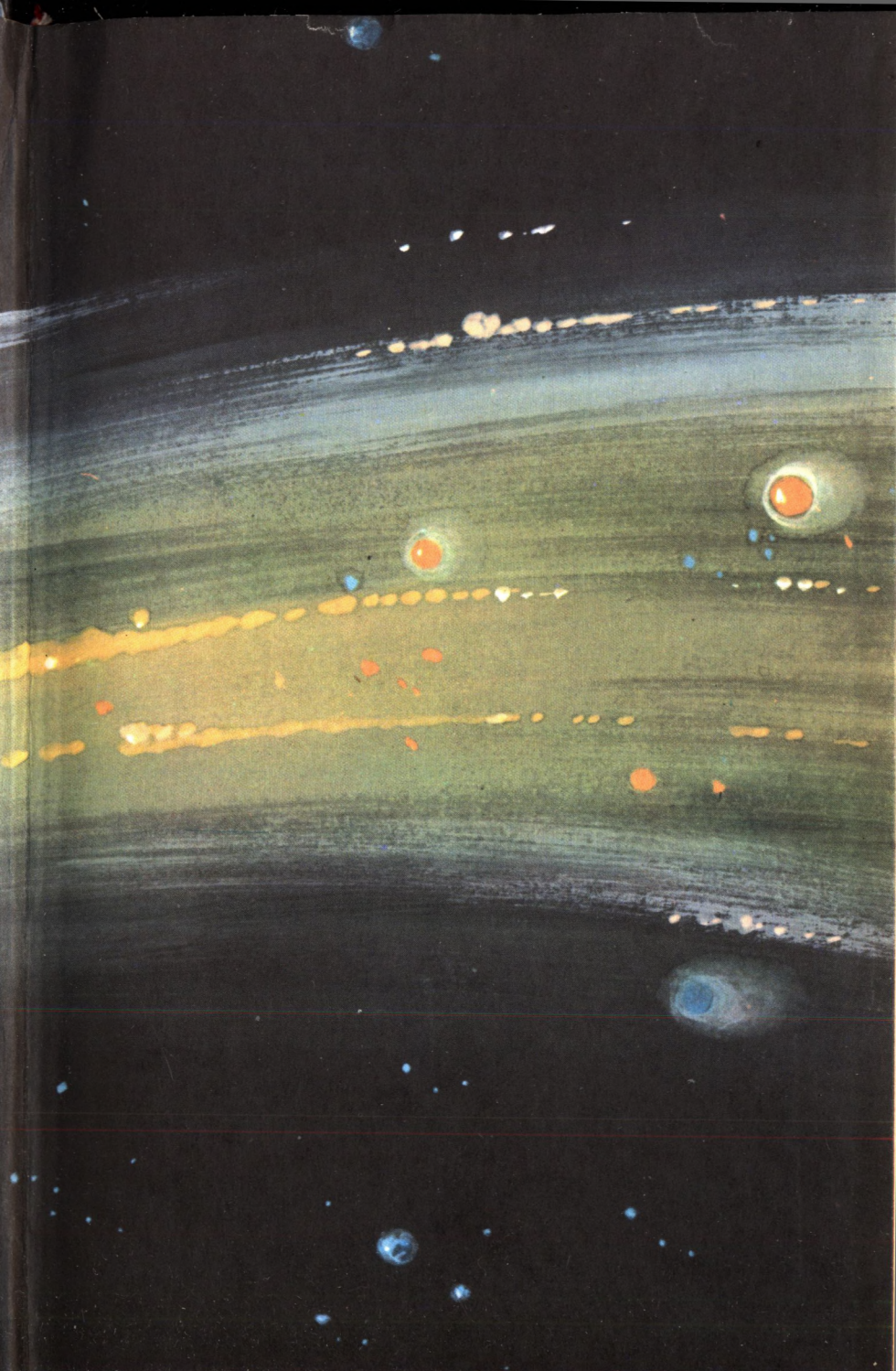
С. Снегов

ЛЮДИ и ПРИЗРАКИ



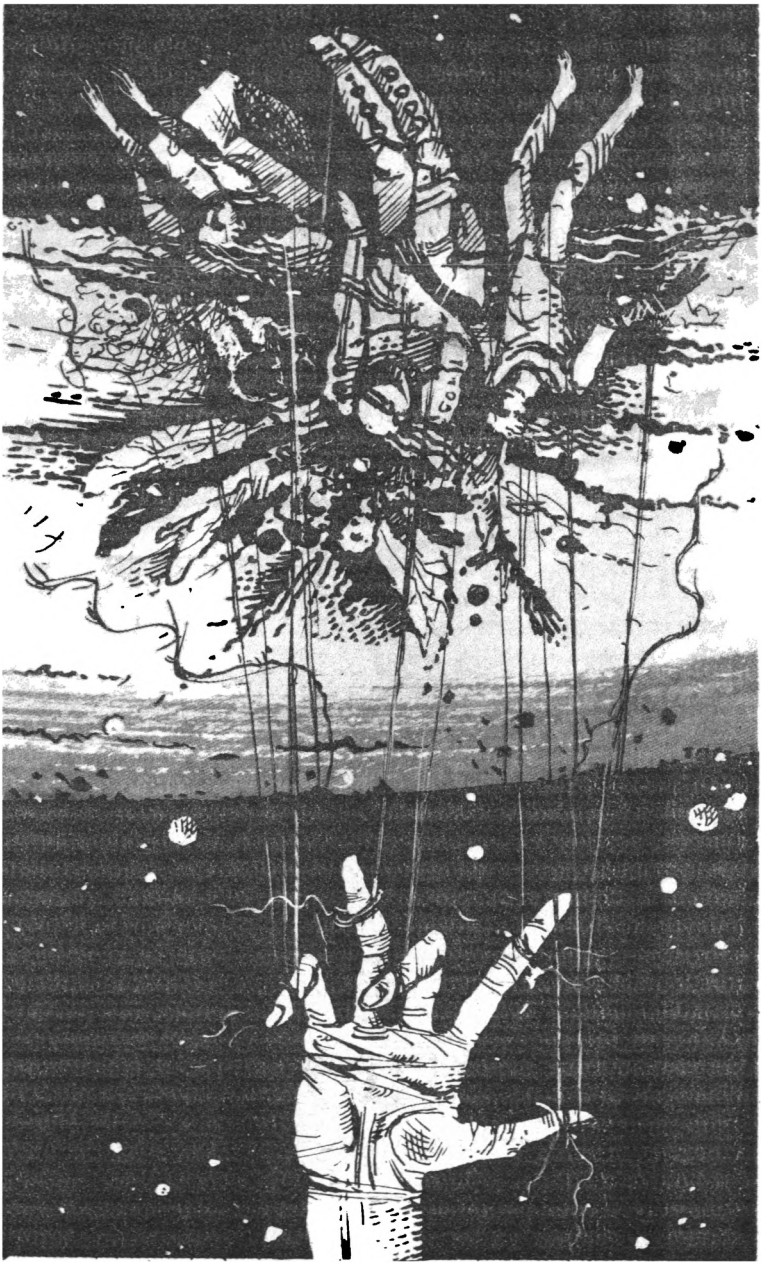
С. Снегов • ЛЮДИ и ПРИЗРАКИ





С. Снегов

ЛЮДИ И ПРИЗРАКИ



С. Снегов

ЛЮДИ и ПРИЗРАКИ



Калининградское
книжное
издательство
1993

84Р6—4
С 53

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе с пристрастием 5
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЖИЗНЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». *Памфлет-фантазия* 7
ФОРМУЛА ЧЕЛОВЕКА. *Научно-фантастическая повесть* . 68
ДРАМА НА НИОБЕЕ. *Научно-фантастическая повесть* . . 90
ТРИДЦАТЬ ДВА ОБЛИЧЬЯ ПРОФЕССОРА КРЕНА. *Памфлет-фантазия* 199
ЧЕТЫРЕ ДРУГА. *Фантастическая повесть* 247
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. *Научно-фантастическая повесть* 384
СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА. *Фантастическая повесть* . 446
ВТОРОЕ Я — Я. *Фантастическая повесть* 457

Художник Валерий Ковалев

Снегов С. А.

С 53 Люди и призраки: [Сб. науч.-фантаст. произведений/Худож. В. Ковалев]. — Калининград: Кн. изд-во, 1993.

В сборник вошли новые и ранее изданные остросюжетные научно-фантастические произведения известного писателя Сергея Снегова.

С $\frac{4803010201—002}{М144(03)—93}$ без объявл.

84Р6—4

ISBN 5—85500—305—1

© С. А. Снегов.
© В. С. Ковалев. Оформление. 1993.

ОБ АВТОРЕ С ПРИСТРАСТИЕМ

Дорогие читатели! У вас в руках новая книга Сергея Снегова, книга научной фантастики. Я не стану говорить о ней, о включенных в сборник повестях и рассказах: убежден, что, начав читать, вы прочтете ее до последней строчки. А затем мысленно еще не раз станете возвращаться к прочитанному, вдумываясь в то, что стремился донести до вас писатель.

Я хочу говорить о другом, об авторе этой книги — человеке, художнике, мыслителе и великом труженике. Сергея Снегова я знаю давно, не одно десятилетие. Знаю не только по его книгам. О хорошо знакомом человеке писать и легко, и очень трудно. Легко потому, что тебе открыто то, что недоступно порой читателю. Ты знаешь его жизнь, поступки, характер. А трудно потому, что тебя всегда могут упрекнуть в недостатке объективности, в пристрастном отношении к человеку. Ну что ж, я готов принять такой упрек. Говоря о Сергее Снегове, его творчестве, отнюдь не стремлюсь становиться на некие бесстрастные, объективистские позиции. Итак — мои пристрастные заметки об авторе этой книги.

По-разному складывается человеческая жизнь. У одних это прямой путь, где все логично и последовательно. Другие в поисках кратчайшего пути к успеху все петляют, так и не приближаясь ни на шаг к своей цели. Жизнь писателя Сергея Снегова всегда напоминала мне трудную дорогу альпиниста, где на каждом шагу подстерегают обрывы, камнепады, где недостаток кислорода съедает последние силы. Но у человека есть цель — та высота, та вершина, достигнуть которую необходимо во что бы то ни стало. Известно, что вершин достигают единицы, самые упорные, самые мужественные. Но только им и доступна радость победы, радость творчества, радость достигнутого, которой никогда не испытают оставшиеся у подножья с их нехитрой обывательской мудростью: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет».

...Все началось с падения в пропасть, когда в конце тридцатых молодой физик, инженер, университетский преподаватель по дикому, нелепому доносу был обвинен в антигосударственной деятельности. Потянулись годы тюрем, лагерей. Лубянка, Соловки, Норильск. О страшном своем лихолетье писатель рассказал в двух книгах, увидевших свет совсем недавно.

Первые рассказы, повести, романы Сергея Снегова были посвящены Северу и людям Севера. Это понятно. Слишком сильны, властны были впечатления от пережитого. Слишком хорошо писатель знал край, где довелось провести полтора десятилетия: «В по-

лярной ночи», «Река прокладывает русло», «В глухом углу»—романы эти, поражающие своей достоверностью, сразу нашли своего читателя. Понятно обращение Снегова и к так называемой производственной теме. За этими книгами вставал инженер Снегов, не менявший своей профессии даже в лагерные годы, когда он вместе с другими заключенными участвовал в создании знаменитого Норильского никелевого комбината. Да и книги об ученых-ядерщиках, зарубежных и наших, тоже не были случайными. Их написал физик, и тоже ядерщик, Сергей Снегов. Обыкновенный беллетрист никогда бы не сумел с такой глубиной, пониманием проблемы рассказать о судьбах великих ученых, создателях нового вида энергии.

Но фантастика! Та самая, что принесла писателю широкую известность и популярность не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Как он, писатель, твердо стоявший на реальной жизненной почве, смог перейти к совершенно новому для себя литературному жанру?

Вдумчивый читатель не мог не заметить, что Сергея Снегова всегда интересовали не только сами факты, жизненные явления. Он стремился понять, осмыслить — что стоит за ними, что движет поступками людей. От книги к книге писатель все больше становился мыслителем, философом.

Фантастика словно раскрепощала творческие возможности писателя, позволяла ему сказать то, что он хотел, донести до читателя те свои взгляды и убеждения, в которые глубоко верил. А вера эта была прежде всего верой в человека, в его высшее, еще далеко не осуществленное предназначение. «Жутко подумать,— сказал однажды писатель,— но коэффициент полезного действия современного человека составляет всего несколько процентов от тех возможностей, которыми наделила его природа. Мы забываем, что сам человек создан природой как орган ее самосознания и самопознания».

Научно-фантастические романы, повести, рассказы писателя выдвинули его в число крупнейших представителей этого жанра. Но успех пришел нелегко и не сразу. Так, лучший, по глубокому моему убеждению, роман Снегова «Люди как боги» был отвергнут четырьмя издательствами. Это потом он станет бестселлером в нашей стране и именно за эту книгу автору будет присуждена в 1984 году Всесоюзная премия «Аэлита» как за лучшее произведение фантастики года. Роман пять раз переиздадут в Германии, три — в Польше, выпустят в Японии и других странах.

Герои научно-фантастических книг Снегова — неизменно люди энергичные, мыслящие, интеллектуальные, наделенные удивительной чистотой помыслов. Как далеки они от тех ущербных, не способных ни на какое созидание персонажей, что заполнили ныне страницы всевозможных литературных поделок. Порой кажется, что авторы их задались целью обнажить перед читателем собственное духовное убожество, скудость мысли и чувств.

Книги Сергея Снегова убеждают нас в том, что только люди с чистыми идеалами, способные на полную самоотдачу, могут спасти человечество от грозящего ему физического и нравственного самовырождения. Книги говорят нам: на Земле может и должно быть создано общество поистине свободных и счастливых людей.

АНАТОЛИЙ ДАРЬЯЛОВ.

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЖИЗНЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

Памфлет-фантазия

1



жон Чарльстон принял меня не вдруг. Его секретарша Дороти Томсон предложила мне посидеть на диване. Я вежливо поинтересовался, имеются ли у директора издательства другие посетители в данный момент? Сегодня Джон — мой лучший друг, и я точно знаю, что ни в тот «данный момент», ни в последующие «данные моменты» у Джона посетителей не было. К Джону ходят редко. Джон не позволяет к себе ходить. Он по природе добрый человек, а в его деле нельзя быть добрым. Доброта размягчает, — говорит он с печалью. Он не способен без слез смотреть на тех, кому возвращает их творения. Он предпочитает иметь дело с рукописями, а не с авторами. И если снисходит до того, чтобы пригласить к себе автора, в процедуру приема входит долгое ожидание. Посетитель должен измучиться, без этого он не годится для разговора. Он должен тревожиться, негодовать, то вскакивать, чтобы уйти, то с усилием принуждать себя сесть. Неплохо, если он швырнет что-нибудь на пол. «Писатель — это товар, который хорош только выдержанный, — доверительно делится со мной Джон. — Писателя, Генри, надо выдерживать, пока он не выдержит, — тогда накидывай лассо и вали его на пол».

Он наблюдает за посетителями по телевизору. Возмущение посетителя укрепляет нервы Джона. Повторяю, я узнал все это позже, а в тот день смирно сидел на диване и бросал унылые взгляды на склонившуюся над машинкой Дороти.

В окне я видел здание Радиоцентра — не все сто тридцать этажей, а что-то от шестидесятого до восьмидесятого. Дороти была миниатюрна и привлекательна, на нее еще приятней смотрелось, чем на величественный

небоскреб. Я должен описать ее. В драме, действующим лицом которой я стал, она — личность важная. Внешность этой женщины есть ее сущность. Она меняет характер, когда меняет прическу. И она слишком часто меняет прическу! Меня охватывает ужас, когда я думаю о том, что скоро она начнет менять цвет и форму глаз, фирма «Компингтон» обещает такие операции сделать недорогими. Не сомневаюсь, что при каждой смене глаз она будет превращаться в совершенно иную женщину. Я не оговорился — не внешность изменит, а станет другой, просто другой, не Дороти, а Эммой, Лиззи или дьявол ее знает кем. Я второй год имею счастье считать Дороти своей женой и должен признаться, что чертовски неудобно, когда вас обнимает дома незнакомая женщина и томно заверяет, что она ваша любимая супруга и что вы должны ей верно и безропотно прислуживать.

В тот день Дороти была светловолосой, в светлом платье, в светлых туфлях и светлыми пальчиками колотила по белым клавишам. Я загляделся на нее. Она из породы эльфов, так сказал я себе. Если ее выпустить в полдень на лесную полянку, она растворится в солнечных лучах. В мире еще не существовало столь же обворожительной женщины, столь удивительно ни на кого, кроме себя, не похожей. Это я установил уже на второй минуте ожидания в приемной Джона Чарльстона. Драматические ошибки происходили со мной и раньше...

Дороти взяла со стола резинку, чтобы сделать подчистку, и ее взгляд пересекся с моим взглядом. Она вздрогнула и воскликнула:

— Почему вы так смотрите, мистер Гаррис? Ваши глаза обжигают!

Я попытался улыбнуться.

— Глаза как у всех, мисс... мисс...

— Дороти Томсон. Совсем не как у всех! — настаивала она. — Вы меня ранили взглядом. У меня чувство, будто я обожжена. Для начинающего писателя очень скверно быть таким безжалостным. У меня хватает средств быть здоровой, но заболеть!.. Нет, это слишком роскошно!

Вероятно, в тот первый день нашего знакомства я все-таки сумел бы оправдаться перед Дороти, хотя впоследствии мне это никогда не удавалось. Но прогудел сигнал вызова к шефу, и Дороти с возмущением показала мне на дверь в кабинет Джона.

Я замер на пороге, увидев Джона. Это была незабываемая минута. Джон покоился в кресле. Невыразительное словечко «покоился» не передает позы Джона. Мощное тело расплылось в кресле, медузообразный корпус свисал с подлокотников и сиденья. Джон не упирался ногами в пол, а выливался ими на ковер. А на сумбурной горе мяса торчала футбольным мячом голова с выпуклыми ласковыми глазами. Голос у Джона вырывался из тела как бы под давлением: звучали одни тонкие нотки.

— Здравствуйте, Генри! Ведь вас зовут Генри, мистер Гаррис? — пропищал Джон и показал пухлой рукой на кресло. — Сейчас я возьму вашу рукопись. Вот она. Я ее еще не читал. Я посмотрел вашу заявку и приложенный к ней портрет. Ваше лицо удовлетворяет. В ваших глазах что-то есть. Я считаю наше требование, чтобы авторы к рукописям прикладывали и свои фото, важным усовершенствованием литературного процесса. Человек, на которого безразлично смотрится, не достигнет успеха. Теперь помолчите, сэр. Я углублюсь в ваше творчество.

Он читал, а я осматривался. Огромный кабинет Джона был цвета крови — красное дерево мебели, красные ковры, красные панели стен, красные плафоны потолка. И сам Джон хорошо вписывался в цвета своего кабинета. Я говорю не об одежде, он был в темной пиджачной паре, а о багровом мясистом лице и — еще красней — голом черепе. У меня сжалось сердце. Джон хмурился. Он зевнул и покачал головой.

— Если у вас тут еще и луна, то вы конченый человек, Гаррис. Я имею в виду литературу, сэр. В продавцы мороженого вас возьмут с охотой. Признавайтесь сами, пока не дочитал.

— У меня есть луна, — сказал я мужественно. — Она выскальзывает из туч в предпоследней главе. Ее живительный свет влил бодрость в робкого Артура Купера, сто восемь страниц не решавшегося штурмовать сердце Минни Грэй. С помощью луны Артур завладел рукой Минни и нефтяными миллионами ее папаши. Без луны любовь не идет. Я понял вас так, что могу отправляться ко всем чертям?

Неодобрение было ясно выражено на лице Джона. Он промямлил:

— Чудовищно! Сто восемь страниц колебаний! В жизни не встречался с таким отсутствием вкуса.

Я взял рукопись и повернулся к двери.

— Сядьте! — приказал Джон. — Я не могу ошибаться, сэр. Восьмой компьютер Радиоцентра признает меня энциклопедией литературных знаний. Мой официальный код «Безошибочник номер два». Если я заявляю, что вещь стоящая, то публика будет драться из-за книги. Ваша внешность ошеломляет. Нет, вы меня понимаете? При таком фото вы не можете не покорить читателя. Но надо потрудиться, сэр!

— Работа меня не страшит. Если убедят, что нужны переделки...

Он покачал головой. Глагол «покачал» опять не передает реальности. Голова Джона покатилась в углублении между плечами сперва вправо, потом влево. Это было так забавно, что я усмехнулся.

— Вы не поняли, сэр. До вас не дошла высокая истина моих высказываний. Дело не в объеме работы, а в смелости характера. Вы должны быть готовы на все, если хотите овладеть публикой.

Я постарался исправить свою ошибку.

— Требуйте, мистер Чарльстон.

— Я не требую, а советую, — сказал он. — Литература — самый свободный род деятельности. Никаких принуждений! Вы меня понимаете, Гаррис? Максимальное освобождение! Разные условности морали и прочее... За исключением приличия, сэр. Любое преступление — пожалуйста, но если герой появится на балу без галстука — это слишком!

У него стали рассеянными глаза. Он забормотал, вяло постукивая толстыми пальцами по столу:

— Даже из вашей макулатуры можно кое-что выжать. Скажем, так... Нет, скажем иначе! Луну уберем, луна устарела. Впрочем, постойте, луну оставим, стилизуем под старину... Они целуются, а на них падает лист каштана, так? Поцелуи — это пойдет. Он заключает ее в объятия, а с каштана прыгает ее отец и при свете выплывшей из туч луны ловким ударом кинжала... Чего вы хохочете? Не люблю, когда у меня хохочут. Уверяю вас, другие авторы ведут себя гораздо приличней!

— Простите, мистер Чарльстон! Я вдруг вообразил себе папашу Эдди Грэя, кидающегося с кинжалом на жениха своей единственной дочери. Это невероятно, как огородное пугало, танцующее шейк. В мире не существовало людей добрее этого старика. Ему достался от отца со-

лидный пук нефтяных акций, но сам он истинный Дон-Кихот.

— Дон-Кихот? — переспросил Джон, хмурясь. — Я слышал об этом парне. Он царствовал в Англии вскоре после рождения Христова и перед смертью завоевал Рим. Дон-Кихот не пойдет, монархи — это старомодно. Раз вы не хотите кинжала, уберем луну, луна теперь ни к чему. Короче, она похищает его и, угрожая револьвером, требует, чтобы он стал ее женой, а добряк-отец, хорошо знающий дикий нрав своей дочери, пускается в погоню... Почему вы опять смеетесь?

— Вы странно оговорились... Она требует, чтоб он стал ее женой!

— И не думал оговариваться. Вы лишены воображения, старик. Кого заинтересует, что девушка ищет мужа? Штамп. Но если она ищет себе жену!.. О, это окупится!

— В колледже мы распевали веселую песенку: «Как жила Адама с Евом». Мальчишеское озорство...

— Адама с Евом? Это пойдет. Пришлите автора ко мне. Он еще не добился мировой славы?

— Эту песенку сочинил я. И единственное, чего добился, было исключение из колледжа.

— Я сразу понял, что из вас выйдет толк! — изрек Джон. — Посмотрев на ваше фото, я сказал себе: «Стоп! В этих глазах сверкает потустороннее! Человек с таким взглядом не может не завоевать мир!» Я выписываю пятьсот аванса. Через три дня принесете исправленную рукопись. Она должна удовлетворять всем четырем пунктам нашего фирменного патента на художественное произведение. Она будет шедевром моего знаменитого еженедельника «Голова всмятку».

У меня от природы железная выдержка. Кажется, я даже помотал добродушно головой. Хорошо помню, что я почти спокойно сказал:

— Простите, Чарльстон, я, конечно, слышал о патенте на художественные произведения, составляющем собственность вашей фирмы. Но не могли бы вы разъяснить, где тут собака?..

Чарльстон удивился.

— Разве Дороти не познакомила вас с нашими литературными секретами? Тогда какого черта мы теряем время попусту? Слушайте меня, Гаррис. Лет десять назад я барахтался в тине издательских предрассудков. У меня не было ни на пенс вкуса, ни на цент понимания, ни на

грош знаний. Я обожал Шекспира и Марка Твена. Кто нынче читает этих скучных стариков, покажите мне такого чудака? Вы меня понимаете, Гаррис? Короче, я подобрал компаньонов, каждый внес по сто тысяч долларов, и мы разработали четыре пункта художественного совершенства. Сегодня любой критический недоносок знает, что из открытых нами истин составлены скрижали современной литературы, но тогда, Генри, это еще не было ясно, нет, не ясно, компаньоны мои временами падали духом. Все гениальное вначале кажется чудовищным... Мы прежде всего запатентовали наши разработки, чтобы не совать их бесплатно каждому литературному инвалиду. Я сказал акционерам: «Атомная бомба запатентована. На переплетение книг есть тринадцать патентов. Но на создание книг нет ни одного. С этим пора кончать». Нам выдали патент под рубрикой: «Технологические нормативы поэтики», номер АВС-717616, под заглавием: «Вечные законы оригинальности и глубины». И первый, на ком мы испытали действие патента, был юноша Беллингворс! О, этот незабываемый день! Вы слыхали о Чарли Беллингворсе, Генри?

— Конечно! Беллингворса сделала знаменитой повесть «Оранжевый крокодил с салатными зубами проглотил бедного Пью Гарпера в шикарной столовой рококо». Однако... Разве он молод? На портрете он такой...

— В тот день он был зеленым юнцом, а на другой повзрослел до гениальности! Чарльза Беллингворса сделал я. Он сидел в том же кресле, где сейчас сидите вы, а на коленях у него лежала повесть «Папаша Джойс и его дочь Мэри». Вы меня понимаете, Генри? Они не лезли ни в какие ворота — папаша Джойс и его дочка. Такие вещи мог бы написать Диккенс или Толстой, но от современного писателя надо требовать большего. Я молча положил перед Беллингворсом наш патент. От растерянности он первым прочел пункт третий. И мир приобрел величайшего мастера ракетно-ядерной литературы!

Чарльстон вытащил из ящика кожаную папку с золотым тиснением.

— Вот наш патент, Гаррис. Раскрываю его, как евангелие. Читайте вслух пункт третий, на остальные пока не обращайте внимания.

— Пункт третий. Называть произведение так, чтобы название не соответствовало содержанию.

— Вы умеете с чувством читать, Гаррис, — торжест-

венно сказал Джон. — У вас даже не дрожал голос! А как смутился бедный Беллингворс, когда я приоткрыл ему снежные вершины мастерства. Но он был великолепный ученик, вы меня... В его первой повести нет ни крокодилов, ни Пью Гарпера, ни столовой, действие происходит в диких горах. Беллингворс сперва посмотрел на меня, как на прокаженного, а затем, не запинаясь, выдал новое название. Оно было доведено до совершенства сразу, мне не пришлось менять ни единой буквы! А теперь читайте весь патент. Я никогда не устаю слушать эти дивные строки.

— Пункт первый, — читал я. — Пишите о невозможном и — по возможности — невозможно. Лучший возглас читателя — ошеломленное: «Немыслимо!» Пункт второй. Героев надо убивать — это воодушевляет. Нормы происшествий по жанрам! Лирический рассказ — не меньше одного убийства; любовные муки, включая ограбления и насилия, через страницу. Детективная повесть: 50% убийств от числа персонажей; если вначале упомянут дом (банк, корабль, самолет, квартира), то к концу он должен быть взорван или сожжен; отношение гибели сыщиков к гибели бандитов, а тех к гибели обычных людей, примерно: 1 : 10 : 100. Философская новелла: физические убийства заменяются моральными терзаниями, равновеликими членовредительству. Пункт третий. Впрочем, я его уже читал... Пункт четвертый. Счастливый конец.

Чарльстон слушал, закрыв глаза и тонко похрапывая. Он оседал всей тушей, мне показалось, что от упоения своим творением, он весь выльется из кресла на пол. И сейчас не понимаю, почему мне явилась мысль поиздеваться над ним. Если бы я знал, к чему приведет моя дурацкая затея, я бы швырнул патент на стол и бежал. Вместо такого разумного поступка я спокойно возвратил Чарльстону кожаную папку.

— Вот так, — сказал он, раскрывая глаза. — Пункт четвертый — счастливый конец для читателя и для вас. Ужасы по дороге и благополучие дома. Три дня на доработку и пятьсот аванса. Я выписываю чек.

— Неделя, — сказал я хладнокровно. — И две тысячи.

Никогда не думал раньше, что глаза могут так вылезать из орбит. Я безмятежно закинул ногу на ногу. Джон пролепетал:

— Я не ослышался, вы меня понимаете? Неделя и две тысячи?

— У вас хороший слух, Чарльстон. Я потерял бы уважение не только к себе, но и к вам, если бы речь пошла о меньших цифрах. Шедевр не может стоить дешево. Дешевизна противоречит высокому духу вашего патента. Вы это знаете лучше меня, раз восьмой компьютер называет вас безгрешником номер два.

— Безошибочником, а не безгрешником, — проворчал он.

— Это еще усиливает мои требования. Вам не кажется, что я должен бы получить три, а не две тысячи?

— Не кажется! — отрезал он, раскрывая чековую книжку.

Я взял чек. Это была роковая ошибка. И еще не спрятав чек в карман, я совершил новую ошибку. Надо было уйти, а я пустился в беседу с медузообразным директором. Я задавал коварные вопросы, он отвечал. У Джона есть внук Перси, чудесный двенадцатилетний мальчишка, мы с ним потом подружились. Я спросил, все ли произведения Беллингворса читал Перси? Чарльстон рассердился.

— Ни одного, Генри! Я же вам сказал: ужасы по дороге, а дома покой. Зарубите на носу, Гаррис...

Он внезапно оборвал свою гневную речь, стал вглядываться в настольный телевизор и торжественно объявил:

— Вам повезло, юноша. Сейчас вы пожмете руку классику антиклассической литературы Чарльзу Беллингворсу.

Мне смерть как захотелось поглядеть на Беллингворса. Я думал, что он такой же ошеломляющий, как его романы. На портретах он выглядел сносно. Но в отличие от Джона я не угадываю людей по фотографиям. Я без успеха потом доискивался, что нашел Чарльстон в моем снимке — лицо как лицо, ничего особенного в глазах. Но когда вбежал Беллингворс, я содрогнулся. В нем было что-то нечеловеческое. Он не был гармонизирован с самим собой. В кабинете Чарльстона появился крупный человек, а все детали и черты в этом крупном человеке были мелкие. Он был несимметричен. Массивный корпус покоился на тонких и коротких ногах, на широком лице тускло мерцали злые глазки, удлиненные уши свирепо оттопыривались, нос был не больше наперстка и примерно такой же формы, всегда приоткрытый рот с тонкими — веревочкой — губами обнажал узкие, длинные зубы. Он кинулся

к Чарльстону, тряхнул его руку, потом пошел на меня. Мне почудилось, что он собирается укусить. Но он только пожал мою руку потной ладошкой и еще шире оскалил могучие зубы. Он принял мой испуг за благоговение.

— Алло, Джон, — сказал он сипло, — обучаете юнцов делу Каина? Старый пройдоха, когда вы угомонитесь? Пляшите, я придумал повесть, которая будет не развлекать, а убивать. Джон, вкладывайте деньги в сумасшедшие дома, скоро за места в них станут драться.

Джон тяжело ерзал и громко сопел. Он старался подтянуть свое выплывшее из кресла тело. Лицо его покрылось потом. Он упирал локти в подлокотники, но тесто рук обвисало с краев и приподняться он не мог. Мне стало жаль директора издательства. Я бы помог ему, если бы не выражение лица Беллингворса. Тот наслаждался мучениями Чарльстона. Он глядел так злорадно, словно хотел прикончить своего друга. Если бы он душил или грыз Чарльстона, вряд ли бы ему пришлось менять свою мину на более зверскую.

— Название, Чарли, — пролепетал Джон, так и не выкарабкавшись из кресла. — Ваша сила в названиях, это известно всему миру...

— На этот раз читатель снесет его без помощи врача.

— Чарли, вас самого надо убивать! Вы меня поняли?..

— Сидите спокойно. Не вытаращивайте глаз. Название такое. «Достопочтенный Питер Пакерс женился на нежной крысе, а веселые крысята сожрали бабушку». Каково?

Он выкрикивал название новой повести, а меня озарило понимание. Я теперь знал, почему в нем ошеломляло что-то нечеловеческое. Знаменитый писатель Беллингворс был крысой. Пусть поймут меня правильно. Я не сошел с ума, чтобы утверждать, что он был крысой биологически. Крысы, слава богу, не расхаживают в дорогих костюмах, не душатся, не завиваются, не пишут бестселлеров. Беллингворс является крысой не в презренном физиологическом смысле, а в более высоком: крысость — философская сущность этого человека. Он был крысой по душе, по разговору, по движениям, по глазам, по зубам... Если бы крысе предоставили возможность, сохранив нутро, принять человекоподобие, она выбрала бы себе облик Беллингворса. Дольше оставаться было опасно. Я осторожно направился к двери. Джон говорил, отдуваясь:

— Подойдет! Не сногсшибательно, но мило. Конечно, в повести нет ни крыс, ни Питера Пакерса. О бабушке уже не говорю. Держу пари, что действие разворачивается на курорте и героиня, очаровательная Эллен, завоевывает поклонников во время заплыва стилем кроль.

Беллингворс презрительно засмеялся.

— У вас гаснет воображение, Джон. Эллен завоевывает жениха на смертном одре. Президент акционерной компании «Врата рая» греческий еврей Петр Апостолиади, вместе с двумя бандитами, итальянцем Тертуллианом и ирландцем Фомой по прозвищу Неверующий, а также мой неизменный главный герой Джек Недотрога...

Я тихонько притворил дверь. Дороти восхитительно улыбнулась. Чек в кармане обжигал меня. Я был готов на все.

— Дороти, вы совершили преступление, — сказал я строго. — Вы не познакомили меня с художественными канонами издательства «Голова всмятку». Я должен вас наказать. Я буду поить вас шампанским и заставлю танцевать со мной. Проделаем это сегодня вечером.

Ее улыбка стала еще ослепительней.

— Боюсь, это исключено, мистер Гаррис. Сегодняшний вечер я обещала Морису Меллону. Он ждет меня у кинотеатра «Иноземец». Вряд ли вам понравится, если я явлюсь со своим другом.

— Наоборот, это меня вполне устроит. Мы с ним дружески поговорим. На исходе второго раунда я превращу его в калеку.

Она поглядела на меня со страхом. У нее быстро менялись выражения лица, и каждое соответствовало обстановке. Я не был защищен от чар такого дьявольского умения. Она сказала, нежно улыбаясь:

— Он хороший. Ему не пойдет быть калекой.

— В таком случае позвоните, чтобы он шел не к кинотеатру «Иноземец», а к чертовой бабушке. Иначе я сам отведу его за ручку в преисподнюю. Как, вы сказали, зовут этого ублюдка?

Испуг в ее глазах уступил место покорности. Это доныне остается самым сильным ее оружием. Она умеет безропотно покоряться, если исполняется то, чего ей хочется.

— Не помню. Мне кажется, у него нет имени. Я ему, конечно, позвоню. Где вы хотите со мной встретиться, мистер Гаррис?

— Разумеется, у «Иноземца». Там всегда много света, а вы вся такая светлая, Дороти.

— В таком случае, в восемь часов. Вы не будете возражать, если я надену темное платье? Вечером мне больше идет темнота.

— Не буду возражать, — буркнул я и ушел.

Разговор с Дороти был крупнейшей ошибкой этого дня.

2

Прежде всего я превратил дарованный Джоном чек в чековую книжку. Эта операция совершилась в «Национальном банке братьев Фаррингтон». Перед семидесятиэтажным банком чахнет крошечный скверик, заполненный не столько деревьями и кустами, как рекламными щитами. Я сел на скамеечку, притулившуюся к пожелтевшему клену. Меня осенял плакат, кричащий пастью нарисованного на нем здоровенного дебила: «Все для вас — только у нас!» Недоумок был похож на Чарльстона, только не такой толстый. Мимо меня бежали в банк люди и выбегали оттуда, ни один не ходил, тем более не шествовал. У национального банка всех охватывает лихорадка. Вероятно, вот так же влетел в вестибюль и вынесся оттуда, словно из горящего помещения, и я. Стало холодно, я запахнул пиджак. Небо было, наверно, чисто, и оттуда несло октябрьской прохладой. Я сказал, наверно, потому что увидел вместо неба лишь струящиеся цветовые сполохи реклам. Воздух красочно бесновался от призывов, просьб и требований куда-то пойти и что-то сделать. Я тупо смотрел вверх и размышлял, как мне отомстить Чарльстону.

Я должен остановиться на этом подробней. Джон еще не был моим лучшим другом, но зла от него я и тогда не видел. Он был скорей благодетелем, а не врагом. Он открыл во мне дарование писателя, чего никто до него не смог сделать. Он великодушно одарил меня внушительной суммой, а я так нуждался. И сделал это из одной веры в меня. Он мог ожидать моей благодарности. Я ненавидел его. Еще ни один человек так не оскорблял меня. Я не мог этого оставить непокаранным.

И я с наслаждением размышлял о том, что с абсолютной точностью выполню требования его чудовищного па-

тента. О, это будет сногсшибательно в точном значении слова! Чарльстон свалится, не дочитав и половины. Он сползет всей тушей на ковер и расплывется! Он жаждет игривой вещицы, я поднесу ему бомбу. Чтение будет подобно взрыву. Директора популярного издательства Джона Чарльстона уничтожат требования его собственного художественного канона. И даже возместить аванса он не сможет, я и в запятой не отступлю от них!

Так я мстительно тешил себя и радовался, словно добился огромного успеха. Но потом я перешел от задания к сюжету, и настроение мое испортилось. Идея была, сюжета не было. Патент Чарльстона был хитрей, чем мне сгоряча вообразилось. Он оставался чудовищным, но в нем не было примитива. Самым трудным был первый пункт — писать о невозможном и по возможности — невозможно. И бесчисленные убийства, и любовные терзания, и счастливые концы — все это легко выполнимо. Но писать невозможно о невозможном — нет, это невозможно!

— Может, накатать понепонятней? — пробормотал я вслух. — Что-нибудь вроде: «Свенто Сигурсон распралямин тругада одним глазом и тут же лаперкакер, после чего взини трухто трухата и, обливаясь чертопотакией, он худербарабил к ногам...» Нет, не пойдет. Невозможно о невозможном нечто иное, чем непонятно о понятном. Худербарабию Чарльстон отбросит на второй фразе. Чертопотакией его не сразить, это я понимал.

Так я терзался муками творчества в скверике, собранном из плакатов вперемешку с кленами. Я перебирал десятки вариантов, ни один не годился. Надо было подкрепиться перед ужином с Дороти, но я не мог заставить себя подняться. Я ожидал неожиданного случая, что мне поможет. Такие предвиденные счастливые непредвиденности обязательны, без них ничто серьезное не совершается. Около меня остановилась газетная автотележка. Я купил утренний выпуск «Ежедневного убийцы» и полистал газетку. Неизбежными неожиданностями и необходимыми случайностями — в общем, ничем счастливым — от нее и не пахло.

Я уже собирался уходить, когда с верхнего этажа небоскреба свалился апельсин. Просвистело что-то темное, я испуганно отшатнулся. Из моих рук была вырвана и пригвождена к земле газета, но, как вскоре выяснилось, «Ежедневный убийца» тоже не пострадал.

И тут возникла непременная случайность, какую я ожидал. Случайность приняла облик старого бродяги, небритого и худого. Выброшенный апельсин и полуразрушенный от голода и пороков бродяга составили комбинацию неожиданности и случайности, называемую удачей.

Бродяга отбросил апельсин и подал мне газету.

— Рад помочь вам, — объявил он, сдувая с газеты пыль.

— Газета мне не нужна, — ответил я. — Можете взять ее себе.

— Но ведь это «Ежедневный убийца», — сказал бродяга.

— В нем ничего интересного. Удивительно скучный номер.

— На третьей странице мальчик Пьер застрелил свою сестру Ани, — напомнил бродяга.

— Один смелый парнишка на пятьдесят миллионов наших парней...

— Четверо самоубийц-трусов обещают перечислить по тысяче долларов тому, кто незаметно для них прикончит их — объявление на всю вторую страницу.

— Капля в море сравнительно с четырьмя тысячами нормальных самоубийц, ежегодно отважно расправляющимися с собой.

— А на последней странице, нонпарелью, сообщение о казни гангстера Джима Джексона, просидевшего восемь лет в одиночке.

— По-вашему, это заслуживает внимания?

— Нет, — сказал с глубоким отчаянием бродяга и, обессилев, присел на скамейку рядом со мной. — Нет, как же мне не везет! На смерти Красавчика-Джексона не заработать жалкой никелевой монеты! Куда катится мир, я вас спрашиваю?

— Вы придаете значение смерти какого-то гангстера?

— Придаю ли я значение? О! — Бродяга возмущенно поднял руку, хрипы в его голосе стали глубже. — Почему вы не спросите, придаю ли я значение собственной жизни, ибо я имел честь почти четверть века работать на великого Красавчика! Понимаю, что вы не поверите, ибо мой внешний... Короче, я Билл Корвин, по прозвищу Шляпа, со всей ответственностью утверждаю, что на земле не существовало человека добрей, великодушней, нежней душой, чем наш шеф. Джим Джексон был последним человеколюбцем в мире. Нет, я оскорбляю память

своего незабвенного друга невыразительным словцом «человеколюбец»! Он был величайшим человекострадателем на земле! Да, сэр, да, со смертью Джексона больше не существует святых. Человечеству поставить бы ему памятник при жизни, а его казнили — такова горькая действительность!

Заинтересованный, я прочел сообщение о казни Джексона.

— Вы назвали его великим человеколюбцем и человекострадателем? А он отправил на тот свет 117 человек, среди них сорок три женщины и пятнадцать детей. Не многовато ли для святого? Если он и был человекострадателем, то лишь в том смысле, что от него страдали.

— Да, человеколюбец и человекострадатель! — запальчиво закричал бродяга. — Сто семнадцать человек! Что значит сто семнадцать человек для такого титана, как Джексон? Вы по виду джентльмен, но если покопаться, то обнаружится, что вы укокошили не меньше трехсот. Да, трехсот, сэр, я человек объективный и ненавижу преувеличения.

— Я в своей жизни совершил лишь одно убийство. Отвратительный старый кот, от которого шарахались молодые кошки, устраивал ночные плачи под моим окном!.. Ничьей другой крови нет на моих руках.

— А вспомните, со сколькими людьми вы расправлялись мысленно? Скольким во гневе желали смерти? Вы отцеубийца и матереубийца, сэр, вы даже на мать поднимали в мыслях руку! А в минуты неудач вы приканчивали себя! Вы двадцатикратный самоубийца, вот вы кто.

— Воображение у меня есть — и матери, и отцу, и братьям в мечтах моих доставалось, себя я тоже не жалел.

— Вот-вот, вы еще и братоубийца! Я понял вас сразу. Когда вы отшатнулись от апельсина, я сказал себе: «Билл, не может быть, чтобы ты не добыл монеты у человека с такими удивительными глазами».

— Возвратимся к Джексону. В мыслях все мы порой... Но ваш Джим был реальным убийцей. Улавливаете разницу?

— Она существует лишь для нас, но у бедного Джима не было разницы между желанием убить и убийством. Да знаете ли вы, что Джиму было легче убить, чем пожелать убийства! Сколько раз этот великий гуманист твердил мне: «Билл, самое ценное в мире — это человек!

Если вам кто-нибудь предложит устранить его врага за тысячу, плюньте негодяю в лицо. Берите пример с меня, Билл. В мире не существует сил, которые бы заставили меня пойти на такое дело меньше, чем за пять тысяч». А как часто Джим отказывался от великолепно подготовленного убийства! Сколько тратил нервов, чтобы примирить людей, впившихся один другому в глотки. Это был величайший примиритель, за это он брал всего полтысячи. Отказаться от пяти тысяч ради пятисот! После этого не говорите мне о бескорыстии других! Джима надо было толкать на убийства кулаком в спину. И он плакал над жертвой, да, сэр, плакал.

— Крокодилы, когда уплетают добычу, тоже плачут.

— Не имел дела с крокодилами. На их убийства не поступало заказов. А что до Джима, то одна почтительность, с какой он обрывал вашу жизнь, говорит, нет, сэр, вопит в его пользу! Знаете ли вы, что Джим убивал золотыми пулями? Он считал свинцовые недостойными ни его самого, ни тех, кого он готовился... «Это дань уважения клиенту», — говорил он, заряжая револьвер золотом.

— Вы рассказали о вашем приятеле занятную историю.

— Горестную историю, сэр! Такой дуб рухнул! Я надеюсь, вы не пожалеете одной монетки на поминки этого гения великодушия!

Теперь я знал, что делать. Сюжет книги стал ясен.

— Я не пожалею десяти. Держите деньги. В восемь у меня деловое свидание. Сейчас шесть. Я угощу вас хорошим обедом и запишу некоторые из ваших рассказов. Идемте.

3

Темное платье, и вправду, шло Дороти. На улице неистовствовали рекламы. Все потоки света погасали в Дороти. Она двигалась клубком темноты в бесновании огня, только лицо светилось.

— Вы дух ночи,— сказал я откровенно.— Было бы нечестно скрывать это от вас, Дороти. Вы могли бы царствовать в Эфиопии, там обожают темный цвет. Теперь понимаю, почему Адам влюбился в черную величественную Лилит, когда у него была светозарная простушка Ева.

— Я знала одного Адама, это был монтер, чинивший наш лифт,— ответила она.— Бедняга пытался за мной ухаживать. Эфиопия — это далеко?

— Сразу за поворотом истории и двумя океанами. Пять тысяч лет и десять тысяч миль.

— Далеко,— сказала она со вздохом.— Лучше пойдем в ресторан.

Мы пошли в ресторан. Мы сидели под магнолией в кадке, пили шампанское и ели креветки. У Дороти отличный аппетит, он свидетельствовал о хорошем здоровье. Потом мы танцевали. Дороти вела меня столь деликатно, что оставляла мне впечатление, будто я веду ее: не поддерживала моих неправильных движений и откликалась только на нужные. Я быстро освоил эту технику и уже на третьем танце безукоризненно вел ее, как она хотела.

— Дороти, вы восхитительны! Мне кажется, я влюблен в вас,— сказал я.— У вас есть возражения?

— Ох! — сказала она, садясь.— Жарко, я устала. Налейте мне воды со льдом. Вы сказали что-то о возражениях, Генри?

— Вы правы. Возражений быть не может. Предлагаю свадьбу через две недели.

— Через две недели? Какой странный срок! И между прочим, я еще не сказала, что согласна на брак.

— Вы подумали об этом. С меня достаточно вашей мысли. А две недели вот почему. Первую неделю я перерабатываю повесть. А вторую неделю Джон Чарльстон после чтения ее будет лежать в реанимационной палате. Когда он встанет с постели, мы устроим свадьбу.

— Как интересно! Шеф сказал, вы писатель многообещающий. Вы серьезно думаете, что книга его убьет? Просто не могу поверить!

— Искусство медицины стоит в наше время на большой высоте,— ответил я уклончиво.— Но врачам придется повозиться!

— Это так прекрасно, когда книга убивает! — сказала она мечтательно.— Я первая прочту вашу рукопись. Если вы меня убьете, я буду очень, очень любить вас!

— Я жестоко расправлюсь с вами, Дороти! Вы будете счастливы. Наша безмятежная жизнь пойдет от одной смерти к другой. Я говорю о книгах, вдохновляемых вами и патентом Чарльстона.

Она почти с любовью смотрела на меня. Морис Мел-

лон, по-видимому, не стоил моей подметки. Она призналась, что не помнит, как он выглядит и не уверена, что узнает, если они повстречаются на улице. У ее дома я поцеловал ее, потом еще. Она оттолкнула меня:

— Больше пяти раз подряд я не целуюсь. Это вредно для здоровья.— Она добавила грустно: — Две недели! Это так нескоро. Но мы хоть будем видеться эти дни, Генри?

— Ни разу, Дороти. Когда я пишу, меня нет. А встречаться, когда вашего шефа будут выволакивать из пут смерти, нечестно. Зато в следующее свидание я возьму вас под руку, и мы пойдем в церковь.

— Я буду ждать,— прошептала она, прижимаясь.— Я буду ждать вас вечно. Через две недели, так вы сказали?

— День в день,— подтвердил я.

Я шел домой и смеялся. Я был в восторге. Вероятно, на меня нашло вдохновение. Дороти не выйдет за меня, когда перелистает рукопись. Ее отказ будет единственной потерей. Мне двадцать девять лет, я уже влюблялся, терзался, ликовал, сходился и расходился. Женщины не стали центром моего существования. Потерю Дороти я перенесу. Передо мной стоял мой роман, я мысленно читал еще не написанные страницы. Это было воистину «невозможное о невозможном». Большего вздора, рассказанного дьявольски серьезно, большей галиматьи, украшенной правдоподобнейшим орнаментом, и не вообразить! Я доводил художественные каноны Чарльстона до абсурда. Его патент взрывал сам себя.

Дома я кинулся к машинке. Ночь — лучшая пора для черного замысла. Я свирепо расправился с прежним сюжетом. Теперь главным героем повести, взамен недотепы Артура Купера, стал Джим Джексон по прозвищу Харя-Красавчик — директор акционерной компании «Жизнь до востребования». Фирма специализировалась на частных поставках смерти и считалась солидным предприятием. Крупнее ее было лишь военное ведомство, но там занимались конвейерным производством убийств и индивидуальных заказов не принимали.

Джим Джексон, генеральный поставщик частной смерти, делал все, чтобы примирить кровожадных заказчиков. Артур Купер уже на четвертой странице вручил фирме десять тысяч наличными, чтобы ребята Джексона расправились с папашей Эдди, а тот на странице

пятой подписывал контракт на пятнадцать тысяч за избавление от кандидата в наследники. Харя-Джексон, красивый, темноволосый и темноглазый, не спешил с выполнением обязательств. «Заказ на смерть еще недостаточен для производства смерти,— поучал он помощников, верзилу Тома Тапкинса, по прозвищу Крошка, и светловолосую Дженни Гиену, по прозвищу Змея. Жизнь созревает девять месяцев, прежде чем дает о себе знать криком новорожденного. Дайте смерти хотя бы девять недель созревания».

Такова была первая часть романа. Я написал ее за ночь. Основная драма разыгрывалась во второй части. На нее я убил три дня.

Это была драма самого директора фирмы «Жизнь до востребования». Заказчики Купер и Грэй подстегивали фирму. Наивный Артур Купер посылал письма с мольбами об убийстве, а энергичный и злой — теперь он был энергичным и злым — папаша Грэй обратился в частно-сыщицкую контору «Убей убийцу» известных детективов Пата Инкертона и Роба Буланда.

— Все в порядке! — сказал папаше Грэю высокий Пат, а толстый Роб кивал головой.— В частные дела мы не мешаемся и не потребуем объяснений, чего вы не поделили с фирмой Джексона. Но истребление бандитов поощряется законом, платите триста аванса за каждую голову и ждите результата. Ах, лично Джима? Харя — случай особый. В общем — перечисляйте тысячу и спите безмятежно. Джим от нас еще ни разу не уходил. Вы не поверите, сколько раз мы его убивали!

Так началась безжалостная охота на несчастного Джексона. Сыщики ловили его на улицах и дома, подстерегали в туалете, стреляли в него из машин и поездов. Великий гангстер метался как затравленная крыса. Вскоре он понял, что выхода нет.

— Рано или поздно эти бандиты — пат-инкертоновцы укокошат нас, если мы не удовлетворим наших заказчиков,— сказал он с печалью помощникам.— Контора Пата сама не берется за рискованные дела и живет лишь тем, что принуждает нас идти на них.

— Папашу Эдди я беру на себя,— прогудел одноглазый верзила Том по прозвищу Крошка.— А жениха пусть загрызет Гиена.

— Удовлетворять обоих заказчиков излишне. Убла-

жим одного, второй не запротестует, ибо будет мертв. Вопрос — кого ублажить?

— Того, кто больше платит,— пролаяла Дженни Гиена по прозвищу Змея.— Я приглашу студентика на свидание и задушу в объятьях.

— Нет,— твердо сказал Джексон.— Мы не беспринципные служаки Пата. Убивая человека, я должен быть уверен, что так лучше и ему, и обществу. Для меня убийство — высокоморальный поступок, шаг вперед в совершенствовании гуманизма. Без нравственного удовлетворения убийство мне претит. Что пользы, если мы устраним Купера? Появится новый жених, и его снова понадобится устранять. Отцовская злоба ненасытна. Но если устранить отца, наступает счастливый конец. И почестному, меня доводят до слез трогательные моления Артура. Я уже люблю его, как сына. Я не отдам на поругание это святое чувство ради пяти тысяч разницы.

— Значит, я, а не Гиена,— подвел итоги Том Крошка.— Дайте парочку ваших золотых пуль, Джим.

Нефтепромышленника Эдуарда Грэя убили во время совещания директоров в его рабочем кабинете. Золотая пуля вылетела из зеркала, когда Грэй поправлял галстук. Таинственного убийцу обнаружить не удалось. Газеты отвели ужасному происшествию по три полосы, с подробностью описывая горе дочери и ее траурные туалеты.

Спустя месяц состоялась свадьба Минни Грэй и Артура Купера.

Перед венчанием в церковь протолкался Харя-Джексон и вручил жениху перевязанный ленточкой пакет.

— Здесь пять тысяч долларов: свадебный подарок от фирмы.

— Пять тысяч? — изумился жених.— Почему такой роскошный дар?

— Таков был аванс, переведенный вашим безвременно погибшим тестем. Мы всегда возвращаем авансы по невыполненным контрактам.

— Вы благородные люди,— прослезясь, воскликнул жених и сердечно пожал Джиму руку.

Выходя из церкви, Харя Джексон столкнулся с болтливым верзилой Патом Инкертоном и молчаливым толстяком Робом Буландом.

— Как поживаете, Джим? — приветствовал его Пат.—

Вы не находите, что мы сделали все возможное по этому делу?

— Вы отличные ребята! — сердечно сказал Харя-Джим, и они обменялись рукопожатиями.

Закончив роман, я обнаружил, что рукопись удовлетворяет всем пунктам художественного патента издательства «Голова всмятку», кроме третьего. Название «Акционерное общество «Жизнь до востребования» сразу раскрывало суть. Я поставил первое попавшееся: «Танцовщица Чарльз Доппер поет в гробу» и бросил рукопись в почтовый ящик.

— Если тебя не хватит кондрашка, то ничего не понимаю в людях! — торжественно кинул я вслед рухнувшей в черное отверстие рукописи. Я говорил, естественно, о Джоне, а не о романе.

Теперь надо было выдержать неделю. Джон невыдержанных в приемной авторов побаивался. А я побаивался прийти до того, как возмущение от моей проделки упадет от дикой ярости до тихой скорби. С горюющим о потере аванса директором можно договориться о чем-то, более стоящем, чем выполнение фантастического патента. Только теперь понимаю, на какой зыбкой почве я строил свои расчеты.

Я пришел в издательство в середине дня. Дороти залилась краской и нервно вскочила. На ней было килограмма три украшений — перстни на пальцах, кулон на груди, бусы на шее, диадема в волосах, серьги с блюдце. Мне кажется, продень она золотое кольцо в нос, оно не вступило бы в противоречие с роскошью остального убранства. Она смотрела на меня округленными глазами.

— О! — только и сказала она. — О, это вы, Генри!

— Это я! — подтвердил я поспешно. — Понимаю ваше состояние, Дороти, но об этом поговорим позже. Как с шефом? Он здоров?

— Боже, что вы сделали с ним! Еще ни один автор...

— К нему можно пройти? Я подразумеваю — немедленно?

— Он вас ждет.

Я торопливо прошел в кабинет. Джон бессильно заполнял студнеобразным телом все то же кресло. По обе руки сидели два безликих, безукоризненных джентльмена — акционеры фирмы «Голова всмятку», как я вско-

ре узнал. Чарльстон замахал на меня рукой, словно отгоняя зловещее видение.

Безукоризненные джентльмены робко встали.

— Смотрите на него! — слабо проверещал Чарльстон.— Смотрите на этого пройдоху! А ведь я пообещал сделать из него литературного гения. Так страшно ошибиться! И это я, Безошибочник номер два!

— Ради бога, не сердитесь! — смиренно попросил я.

— Он просит не сердиться, нет, вы меня понимаете? Этот обманщик хочет, чтобы я сохранял спокойствие!

— То, что вы сделали, поразительно! — с уважением прошепелявил Блейк, это был правый джентльмен.

— Сверхгениально! — визгливо выкрикнул Сузпилс, это был левый.

Я положил руку на висок, чтобы голова перестала вращаться.

— Я не ослышался? Вы одобрили рукопись?

Чарльстон вырвался из кресла, словно выброшенный пороховым зарядом. До сих пор не понимаю, где у него нашлись силы так взметнуть свои 130 килограммов. Он подтащил меня к окну, а по дороге гремел:

— Он опять издевается, Блейк и Сузпилс! Одобрена, нет, вы меня понимаете? Гаррис, видите грузовики, выезжающие из туннеля? Они везут ваше произведение. Мы отставили новую вещь Беллингворса, чтобы открыть светофоры вашему шедевру. Завтра публика будет драться насмерть из-за вашей книги. Я категорически утверждаю, Гаррис, что вы супергений. Я понял это сразу, как взглянул на ваше фото. Информирую вас, дорогой Гаррис, что акционеры фирмы со мной согласны.

— Полностью согласны! — зашепелявил Блейк.

— Полностью согласны! — взвизгнул Сузпилс.

— Я финансовый директор,— запоздало представился Блейк.— Мы хотим заключить договор об издании двенадцатитомного собрания...

— Нет! — воскликнул Чарльстон.— Тысячу раз нет, вы меня понимаете? Договор — успеется. Мы явились сюда для другого торжественного события. Вы не догадываетесь, почему мы оделись, как на бал?

— Нет, конечно! — Я делал нечеловеческие усилия, чтобы не показать смятения. Была минута, когда я боялся, что упаду в обморок.

— Посмотрите на него, Блейк и Сузпилс! Этот обманщик еще говорит «конечно»! В жизни не встречал

большего мистификатора. Дорогой Генри, Дороти открыла мне, какое вас ожидает сегодня счастье. Надеюсь, вы не посетуете, что организационную сторону поворота вашей жизни я взял на себя. Я не мог позволить вам утруждать свой гениальный мозг такими мелочами, как выбор церкви, приглашение гостей, заказ свадебного ужина. И я преподнес невесте несколько свадебных украшений от вашего имени — в счет гонорара, естественно. Короче, нас ждут в церкви, Гаррис, вы меня понима...

Все совершалось как во сне. Я молча шел, куда вели. Дороти взяла меня под руку. На ней звенели серьги и бусы, сверкали кулоны и диадемы, она держала меня так, чтобы были видны все перстни. Я это снес. Я слабым голосом ответил «да», когда пастор спросил, согласен ли я взять в жены девицу Дороти Томсон. И я не сказал ни слова против, когда Джон объявил, что заказал нам апартаменты в модном отеле, он не сомневался, что ни моя холостяцкая квартира, ни скромное жилище Дороти не годятся для нас. Сквозь толпу незнакомых гостей протиснулся Беллингворс. Он так обнажил клыки, словно хотел тут же разорвать меня. Поздравление соответствовало гримасе.

— Гаррис, вы создали шедевр, — завистливо провизжал он. — Вы доказали, что порядочные люди остались только среди гангстеров. Я дал вашу книгу моему младшему сыну Тому, он мечтает стать убийцей. Поздравляю с замечательной женой, Гаррис! Вы стоите друг друга.

Я все же не влепил ему пощечины, в церкви было неудобно. Зато я улыбнулся ему. Он отскочил, как ужаленный. У него слабые нервы, он не снес моей улыбки. Потом был ужин в банкетном зале отеля, где мне отныне предстояло жить. Еще никогда я так вкусно не ел и не пил. Мой желудок потом неделю мстительно напоминал об этом ужине. А когда мы остались одни с Дороти, она села мне на колени и проворковала:

— Мой дорогой Генри, я так мечтала об этой минуте! Я так мечтала!

Почему-то я ждал именно такой фразы. Я твердо знал, что даже отдаленно похожего в моей жизни не было. Но меня томило ощущение, что происходит нечто давно знакомое, что заново воссоздается уже пережитое. Я обнимал Дороти и молчал. Теперь она должна спросить, люблю ли я ее и попросить, чтобы любил креп-

че. Дороти положила голову мне на плечо и нежно прошептала:

— Генри, вы любите меня? Я хочу, чтобы вы еще крепче любили меня, Генри!

Лишь тяжким усилием воли я не дал себе вздрогнуть. В мою жизнь ворвалось нечто зловещее. Я стал игрушкой в руках враждебных сил.

4

Если определить одним словом мое состояние после женитьбы, то слово такое найдется легко: ошеломление. Я только добавил бы: непрерывное, непрестанное, нестихающее, неуменьшающееся... Можно воспользоваться и формулой из патента фирмы «Голова всмятку»: невозможное о невозможном. Я обитал в непредставимом мире, вращался среди загадок. Куда ни падал мой взгляд, что я ни ловил ухом, все представлялось непостижимым. И самой непостижимой загадкой был успех моего романа!

Вначале я тешил себя иллюзией, что Чарльстон — дурак, что акционеры фирмы — дегенераты, что Беллингворс — подонок и что восторженные читатели — ослы. Но уже и в те недели ошеломления я смутно осознавал, что тайна гораздо глубже и грозней. Я это понял окончательно, когда читал статью знаменитого критика Мака О'Нелли. Мак отмечал легкость моего письма, занимательность сюжета, искусство драматических событий. «Все это не так уже существенно,— утверждал он.— Талантливых писателей немало и помимо Гарриса. Сила Гарриса в проникновенной реальности. Каждое слово его романа дышит глубокой правдой». Я подскочил, читая эти невероятные строки. Мак О'Нелли считался знатоком. Но я писал памфлет, а он прочел оду. Я издевался, он увидел восхваление. Я издавал на бумаге постыдные звуки, он услышал торжественный марш. Он воспринял мое произведение, как Чарльстон с акционерами, как Дороти, как Беллингворс, как миллионы читателей. Кто же ошибается? Может быть, они все правы, а неправ я? Но тогда мы живем в разных мирах!

Помню, что мысль о каких-то разных мирах, перемешанных между собой, явилась мне именно при чтении статьи Мака О'Нелли. Я подозревать не мог тогда, ка-

кие последствия породит эта идея. Вначале она свелась к кичливому успокоению: «Вы — в низменности, а я — на вершинах!» Я готов был допустить, что читатели, барахтающиеся в каждодневности мелочного бытия, и не слышали о высоких сферах, созданных прекрасными книгами. Я книжник, они далеки от искусства!

Возможно, надо было скандально обругать Чарльстона, вышвырнув его чеки. На это у меня не стало решимости. Джон трогательно заботился обо мне. Он твердил, что гордится мной. Он объявил репортерам, что издание моей книги — его величайший жизненный подвиг. «Генри Гаррис создает одни шедевры, вы меня понимаете?» — вдохновенно изливался он на телеэкране. Я не мог нанести ему оскорбления. И я не хотел обижать Дороти. Она так наслаждалась замужеством, такой была нежной! Я только спросил однажды:

— Крошка, откуда эти словечки?.. Ну, те, что ты говоришь, когда ласкаешься. Ты их вычитала в книгах? Ты их слышала когда-нибудь?

Она широко раскрыла глаза.

— Разве их печатают в книгах, милый? Я так мало читаю, ты не сердишься на меня за это? Мне всегда не хватало времени...

— Но откуда ты их берешь?

— От тебя,— сказала она уверенно.— Слова эти рождаются во мне, когда ты обнимаешь меня.

Пришлось ограничиться этим мало что объясняющим объяснением.

Я сумрачно вспоминал бродягу Билла Корвина, по прозвищу Шляпа. Все загадки начались с него. Единственное правдивое в книге было то, что я с точностью воспроизвел немыслимый рассказ Шляпы о жизни благороднейшего из душегубов, честнейшего из вымогателей, величайшего человекострадателя среди убийц. Я посмеивался восхвалениям Корвина, хохотал, перенося на бумагу дикие измышления бродяги, дошедшего от голода до горячечных фантазий. Он и сам не настаивал на правдивости своих откровений, он лишь старался придать им красивую внешность. Но может, и впрямь все было правдой, а Корвин обдуривал меня, хитро накладывая на реальность пестрые краски выдумки? Я ненавидел этого источенного пороками субъекта — в своем голодном вдохновении он показал художественный дар, куда превышающий мои способности.

Я так много размышлял о Билле Корвине, что постоянно видел его перед собой — морщинистого, дурно одетого, скверно пахнущего. Чарльстон намекал, что пора приниматься за новую повесть — желательно, в стиле первой. Дороти нежно ворковала об этом же в промежутках между поцелуями — ей становилось мало моих доходов. Я сел за второй роман, придав одному из героев черты Билла. Мне захотелось расправиться с ним. Сперва я бросил его под автомашину. Но по сюжету он еще был нужен, пришлось его вылечить. Зато потом я втравил Билла в ссору с Дженни Гиеной по прозвищу Змея, и Змея вонзила в его сердце золотой кинжал в форме крестика, она всегда набожно носила на груди эту семейную реликвию, маленький ювелирный шедевр...

В этом месте у меня появилось ощущение, будто я сам убиваю. Я с содроганием бросил рукопись: буквы сочились кровью.

Я снова схватил рукопись и стал ее рвать, потом выбросил в окно останки. Куски расчлененной повести долго носились на ветру. Я возвратился к пишущей машинке. Меня охватило раскаяние. Билл, по прозвищу Шляпа, все же не заслуживал такой жестокой расправы. Он был обманщик, конечно, но от горячности души, а не от злонамерения. Уничтоженный отрывок нужно было переписать заново — и с другим героем, не похожим на злосчастного Билла.

Работа, однако, не шла. Я пошел развеяться. У двери универмага «Все — и больше» компании «Гольдшайс и внук», я увидел толпу вокруг мужчины, лежащего на тротуаре спиной вверх. Пока я проталкивался поближе, подъехала полицейская машина, пострадавшего увезли.

— Загадочная история! — взволнованно говорил один из очевидцев.— Этот пожилой, бедно одетый человек входил в магазин, когда подскочила красивая женщина, вонзила ему в грудь кинжал и тут же словно испарилась.

— И еще удивительней,— добавил второй очевидец,— что кинжал золотой. Убивать золотым кинжалом! Что он золотой, я хорошо видел.

— Мы все видели,— сказал первый.— Кинжал в форме креста. Такие крестики наши бабушки носили на шее. Только он больше крестика!

— Пострадавший ничего не успел сказать?—спросил я.

— Он пробормотал что-то вроде: «Билл... Билл»... Очевидно, это его имя, ведь убийца та женщина. Только у великого писателя Гарриса женщины носят мужские имена. Вы читали его гениальный роман о танцовщице, которой в романе нет?

— Роман Гарриса мне не понравился. Я не люблю этого писателя.— Я отошел от универмага.

Все вдруг приняло облик бреда — дома, автомашины, люди, слова, шумы. А среди этого осуществленного бреда сам я метался одичавшим призраком — сгусток смятения и отчаяния в модном костюме. Я страшился вернуться в отель. Если мне попадется клочок разорванной рукописи, я завою по-собачьи или стану биться лбом о стену.

Это состояние длилось часа три.

— Ладно, старик,— сказал я себе потом.— Конечно, сегодня произошло что-то страшное, но одного такого чуда хватит на всю жизнь. Иди домой, больше чудес не будет.

Однако чудеса в этот день подстерегали меня на каждом шагу.

На малолюдной улице я чуть не столкнулся с молодой женщиной. Женщина показалась знакомой, я поклонился. Она мило кивнула.

Тут я ее узнал. Все в этой женщине принадлежало мне. Я единолично создавал ее с головы до ног. Моей работы были и ее салатно-светлые, чуть косящие глаза, и родинка на левом виске, и припухшие томные губы — над нижней губой я провозился с час, отшлифовывая ее форму и подкрашивая потом синевато-багровой помадой — и тонкая шея, и крепкие руки теннисистки, и широкие плечи, и узкие бедра, такие узкие, что они казались талией, а не бедрами. И она была в том наряде, что я примыслил ей, она не успела переодеться. Я бы узнал ее среди всех женщин мира, ибо был ее отцом и матерью одновременно!

— Простите,— сказал я, холодея.— Вы случайно не Дженни Гиена по прозвищу Змея?

— Друзья иногда зовут меня змейкой, — ответила она, лукаво смеясь.— Но Гиена — фу! Это вульгарно. Извините, я спешу. Я не люблю разговаривать с незнакомыми мужчинами.

Я загородил ей дорогу. Я был вне себя.

— Это я-то вам незнаком? Не ожидал такой нагло-

сти! Ну-ка, признавайтесь, что за мерзость вы сотворили возле универмага?

— Мне кажется, вы нездоровы,— сказала она, отодвигаясь.— Может, вызвать врача? Если разрешите, я позвоню...

— Никуда не пущу! — орал я, схватив ее за руку.— И больше не врите, что вы не Гиена, я этого не потерплю!

Она молча вырывалась. У нее исказилось лицо. Мне чудилось, что она собирается укусить меня. Я разжал руки, и она отскочила в сторону. Тяжело дыша, она поправила растрепавшуюся прическу.

— Что ж вы не кричите? — сказал я.— Зовите полицию!

— Обойдемся без полиции. Вы должны меня пустить, Гаррис! Вам не удастся доказать, что я причастна к делу возле универмага. Друзья сумеют меня защитить! Если бы они не торчали сейчас в баре пройдохи Лемюэля, вам не удалось бы так легко меня заграбастать!

— Ваши друзья? — возразил я, зло усмехаясь.— Не те ли, кого я сам придумал? Уверяю вас, Дженни, это ненадежная защита. Шагайте рядом и боже вас оборони оглядываться по сторонам!

— Что вы надумали сделать со мной?

— Ничего сверхъестественного — возвращу в роман. Вот почему так плохо шла последняя страница! Вы, удрав, разорвали сюжетную нить. Я мучился над каждой буквой, а вы подготавливали злодейство!

— Я осуществила лишь то, о чем вы так ярко написали. Отнесись вы к Биллу Корвину по-иному, я не пошла бы на убийство.

— Делаете соучастником своего преступления? Хватит болтовни! Дайте руку и скажите спасибо, что не веду вас в полицию.

— Гаррис! Больше это у вас не выйдет.

Саркастически усмехаясь, я скрестил руки на груди.

— Зрелище для богов! Литературный герой рвется в жизнь! Персонаж из книги гуляет по улице! Да понимаете ли, какую порете чушь?

— Сами вы порете чушь! Глупец! Вы не запретите мне на денек-другой выбраться из переплета! Я не уверена, что вы сами не... По-моему, я вчера видела вас в «Верном Гуигн...» Впрочем, это ваше дело. Гаррис, отпустите меня! Обещаю, что от меня вам больше не...

— Идите! — Я так потянул, что на ней затрещало платье.

Она пронзительно закричала. Мне показалось, будто за спиной промелькнул силуэт, я поспешно обернулся. На мою голову обрушился тяжкий удар. Я повалился на мостовую.

5

Я лежал, обложенный подушками и оплетенный трубками от приборов и склянок. У постели тихо плакала Дороти. В кресле выливался верхней половиной тела за подлокотники Чарльстон. У двери стояли мужчина в халате — очевидно, врач — и наш слуга Патрик, добрый, пожилой ирландец. Дороти, увидев, что я раскрыл глаза, стала осыпать меня поцелуями. Врач положил ей руку на плечо. Она заговорила:

— Ты жив! Благодарение богу, ты жив, Генри!

— Алло, мальчик! — приветствовал мое возвращение к сознанию толстый издатель.— Как вы себя чувствуете, вы меня понимаете? Когда Патрик позвонил, что вас привезли, я сразу же примчался. И, скажу по совести, сам чуть не повалился, такой у вас был вид. Вас отделали под орех, Генри Гаррис, вы меня понимаете?

Я с трудом приподнялся на кровати. Дороти положила мне под спину все подушки. Я обратился к слуге:

— Кто меня привез, Патрик?

— Двое мужчин и женщина, сэр. Они нашли вас на улице и узнали адрес по визитной карточке, которая была в кармане. Эти трое — истинные джентльмены, они так горевали. Женщина утирала слезы.

Я с минуту набирался духу на новый вопрос. Ответ слуги покажет, бред ли то, что мне привиделось, или страшная реальность. Джон, вытаращив глаза, молчал, Дороти тихо всхлипывала, оба ожидали разъяснения, что, собственно, произошло со мной.

— Та сердобольная женщина, Патрик... У нее рыжие волосы и зеленое платье?

— Совершенно верно, сэр. Рыжее платье и зеленые волосы... То есть наоборот! Я хорошо запомнил — зеленое платье. И она очень миловидна, очень! Вы тоже разглядели ее, сэр?

Я снова закрыл глаза. Бред продолжался. Врач в

халате походил на призрак, Чарльстон на статую разжиревшего Будды. Дороти была так измучена, что я боялся смотреть на нее. Один Патрик выглядел как обычно — во всяком случае, был по-обычному бестолков.

— Скажите, Патрик... Один из мужчин строен и черноволос?..

— Строен и черноволос! Истинно точные слова! А на щеке темное пятно — наверно, родинка, сэр.

— Нет, это шрам от пули. Второй, Патрик... Он, значит, был?..

— Да, сэр, именно так! Огромный верзила с кривым носом, кривым ртом. Не хотел бы я встретить такого на экране, в фильмах они беспощадно убивают. Но в вашей спальне он держался удивительно достойно.

— Вы сказали, у него один глаз, Патрик?

— Один, сэр. Правого не было, я это сразу увидел. Он глядел одним левым глазом, но очень, очень зорко... Я так и думал, что они ваши знакомые. Женщина сказала, что надеется после выздоровления встретить вас в одном баре, названия я не запомнил. Что-то с фамилией Гулливера, это я помню.

— Больному нельзя так много разговаривать,— сказал врач.

Я попросил разрешения сказать еще несколько слов Джону Чарльстону наедине. Он с усилием подвинул кресло ближе и просипел:

— Ужасное происшествие, вы меня пони..?

Я прервал его:

— Мне нужен доктор, Джон.

— Разве мистер Коллинз?.. Он считается отличным хирургом.

— Я нуждаюсь не в хирурге, а в психиатре.

Он смотрел на меня округленными глазами. Мне было безразлично, что он подумает. Он сказал, запинаясь:

— Я вас понимаю, вы меня понимаете, Генри? Конечно, психиатр. Завтра я вам его доставлю. Можете положиться на Чарльстона.

Джон и врач ушли, Патрика я попросил выйти. Дороти присела на кровать и шептала разные хорошие слова. Она была растрогана от того, что так любит меня. У нее влажно блестели глаза. Она упивалась нежностью ко мне. Она любила себя за то, что любит меня.

С каждым ее словом я чувствовал себя все хуже. Нежность ее шла от души, но душа была не своя. В этом противоречии я не мог разобраться. Я понимал, что Дороти неповторима, ни у одной другой женщины волосы не были так мягки, так золотисты, так не пахли, ни одна не смотрела такими яркими глазами, ни у кого не было такой кожи, таких линий, таких плавных движений. Когда Дороти молчала, от ее близости у меня кружилась голова. Она околдовывала, пока молчала. Но едва начинала говорить, очарование пропадало. Она сказала, что это я рождаю в ней все хорошие слова, а я не ощущал их своими.

Я отстранил ее, она встревожилась.

— Я сделала тебе больно, милый? Тебе нехорошо со мной?

— Мне хорошо с тобой. Но хочу отдохнуть.

Она тоже ушла и прислала сиделку. Та стала поправлять трубочки и накачивать в меня лекарства. Я приказал снять все трубочки и спровадил сиделку. Уходя, она отворила окно. Город сверкал рекламами, снаружи вспыхивало, как от молний. Жизнь города доносилась на наш семнадцатый этаж смутным гулом. Я с трудом встал и подошел к окну, мне почудилось, будто в небе сияют звезды. Но это сияли верхние этажи небоскреба Гольдшайс, того самого, где совершилось мерзкое убийство. Я возвратился в кровать.

— Давай рассуждать, Генри,— предложил я себе.— И поменьше эмоций, побольше логики!

Я начал с фактов. Факты могли потрясти даже слона. Литературный персонаж бегает по городу и нападает с кинжалом на людей. Что Дженни Гиена убийца, не так уж и удивительно. Чем еще заниматься ей, как не убивать, если уж она вырвалась с книжных страниц на тротуар? Я вспомнил мудрое изречение: если вы слушаете говорящую лошадь, не удивляйтесь смыслу ее речи, гораздо удивительнее то, что лошадь разговаривает. Удивительное во всей этой истории лишь то, что литературные создания стали реальными людьми. Реальность их доказывает не только смерть Билла Корвина, но и то, что меня измордовали, да и старый Патрик ни минуты не усомнился, что притащившие меня незнакомцы натуральные люди. Били меня не призрачно, об этом твердила каждая косточка.

— Лэмюэль! — говорил я.— Эта бестия Дженни твер-

дила, что ее друзья торчат в баре старого Лэмюэля. А Патрик вспоминает о баре какого-то Гулливера. Итак, Лэмюэль Гулливер. И бар называется «Верный гуигнгнм». Неужели и Гулливер тоже выпрыгнул из книги в реальную жизнь! Кто бы мог этого ожидать от знаменитого доктора и мореплавателя? Знался с лилипутами и великанами, открыл благороднейших лошадей, а кончил тем, что подает коктейли! И в это поверить?

Так я разговаривал с собой взволнованно и бессвязно. Логическое рассуждение не получалось. Мир двигался на голове, было не до рассуждений. Вскоре вернулась Дороти. Она молча присела рядом, осторожно обняла меня. Молчавшая, она уже не казалась мне невероятной. Я был так благодарен за молчание, что стал ее целовать.

6

Врач, которого привел Чарльстон, удивил меня фамилией.

— Луис Боберман-Пинч,— торжественно объявил толстый издатель.— И если это не самый глубокий знаток человеческого ума на всех трех континентах, то можете плюнуть мне в глаза, вы меня понимаете!

— Не ума, а безумия,— весело поправил Боберман-Пинч.— Это не одно и то же — ум и безумие, хотя связь у них есть, никогда не отрицал ее. Мои критики твердят, что я отдаю примат безумию, а не разуму, но они просто не хотят понять очевидности: безумие шире, глубже, всесторонней, блестящей разума, вот единственное, на чем я настаиваю!

— Шире, глубже, всесторонней, блестящей?..

— Конечно! — восторженно воскликнул он. — Вам, знаменитому писателю, это должно быть ясно! Что такое ум сравнительно с безумием? Ограниченность и примитив! Вдумайтесь, Гаррис. О любой вещи можно сказать только одну правду, ибо каждая вещь существует лишь единственным образом. Вон тот чемодан из фибры, такова сухая, узкая, скучная истина. Разум доискивается истины, это его служебная функция. И вот всей мощью своего огромного, своего несравненного ума вы можете только установить, что чемодан фибровый, на большее вас не хватит. А как солгать о чемодане? Миллиона-

ми способов, одна ложь ярче другой. Чемодан деревянный, железный, гранитный, золотой, бриллиантовый, не чемодан, а кукла, живой слон, детеныш кита, ваш спящий друг, марсианин, проникший в отель... Возможности лжи безграничны! А что такое безумие? Умение все извращать, искусство воображать мир в его фантастической невозможности. Так что же шире? Что глубже? Что, я такого слова не побоюсь, восхитительней?

Я перевел взгляд с Бобермана-Пинча на издателя. Джон так кивал головой, словно речь врача лила бальзам на какие-то его раны.

— И вы лечите от безумия? — осторожно поинтересовался я.

— Именно! С вашего разрешения, член Национальной Академии Наук, член Лондонского Королевского общества... Могу назвать одиннадцать академий, осчастливленных тем, что я согласился стать их членом. Уже не говорю, Гаррис, о премиях Нобеля и Нанги-Банга. Научные премии — это пройденный этап, не будем упоминать о них. Что поделаешь, нужно зарабатывать на кусок хлеба. Моя жена считает, что иметь дома меньше десяти слуг некрасиво, приходится считаться с ее капризами. И я отдал свое знание безумия, свое восхищение перед многообразием его форм на то, чтобы избавлять от него. Истинное величие начинается с того, что ограничиваешь себя, сказал один немецкий философ, безумец, которого по этой причине считают гением. Итак, Гаррис, что вас раздражает? Что вас поражает?

Я сделал знак Чарльстону. Он поспешно вытянул свое тело из кресла. На это ему понадобилось около минуты. Мы с врачом молчали, пока издатель боролся с креслом.

— Вечером я приеду,— сказал Джон.— Можете не волноваться, Генри, я не оставлю вас без присмотра, вы меня понимаете?

Боберман-Пинч снова спросил, что меня поражает. Я признался, что меня поражает его фамилия. Он отнесся к этому одобрительно. Он гордился своей несколько собачьей фамилией. Доберман-пинчеры ведут свое происхождение от его предков, сказал он. Впрочем, не сами собаки, только их название. Его прапрадед Чарльз Доберман-Пинчер вывел новую породу собак, и их стали сперва называть псами Доберман-Пинчера, а потом просто доберман-пинчерами. Прадеду пришлось изменить

фамилию Доберман-Пинчер на Боберман-Пинч, чтобы его не путали с псами. В книгах о доберман-пинчерах происхождение их описывается по-иному, но это ложь — и потому ей верят. Ложь правдоподобней правды, он в своих книгах доказывает это на тысячах примеров.

— Если так, то безумие естественней ума,— сказал я.

Мое замечание привело его в восторг. Он радостно размахивал правой рукой перед моим носом. Я думал, что он будет меня выстукивать и выслушивать, щупать пульс, заворачивать веки, просить показать язык, но он объявил, что лечит без шаманства.

— Человек — это слово! — воскликнул он.— Он выражает себя при помощи слова — любит, ненавидит, командует, подчиняется, исполняет, ослушивается, высказывает свое настроение, свои взгляды, свои желания, свои упования... Болезни психики это раньше всего болезни словотворчества. Итак, что мучит ваше слово?

Пока он говорил, я рассматривал его. Он был высок, худ, темнокож, черноволос. И у него были такие глубокие, такие яркие глаза, они так вспыхивали, когда он поворачивал лицо к собеседнику, что становилось не по себе. К тому же он чрезмерно жестикулировал. Если бы сказали, что он сбежал из психиатрической клиники, я бы не удивился. Общение с больными кладет печать и на здоровых, думал я.

— На меня напали привидения,— сказал я.— Призраки нанесли мне увечья.

— Замечательно! Никогда не слыхал более впечатляющей лжи! Продолжайте, я слушаю вас с восхищением.

— Дело в том, доктор, что мои злоумышленники не реальные люди, а литературные герои. Я их придумал. Они мои создания. И существуют только в написанной мной книге.

— Упоительно! Детище, поднявшее руку на своего создателя! Что может быть прекрасней? Отделали они вас, между прочим, отнюдь не призрачно. И сколько помню, несчастье с вами произошло не на книжной странице, а на какой-то улице. Я правильно понял?

— Совершенно правильно. И это-то меня и смущает!

— Расскажите подробней об этом занимательном происшествии.

Я рассказывал, он требовал уточнений и дополнений. Временами он впадал в такое возбуждение, словно

несчастье совершилось с ним самим. Он пожалел, что не был участником происшествия, хотелось бы на себе оценить меру призрачности преступников. Потом он объявил приговор, так он назвал свое медицинское заключение. Он предупредил, что эмоции не командуют его анализом. У постели больного он человек науки и не позволит себе отойти от хоть и скучной, но добросовестной реальности. Он не из тех, кто предает серую правду ради пленительного обмана, в этом смысле я могу на него положиться.

Диагноз его показался мне невероятным.

Он категорически отверг версию призраков. На меня напали реальные люди. Мне были нанесены реальные увечья. Чудовищно усомниться в фактах. Никакой загадки нет, он объявляет это открыто и торжественно. Не было литературных героев. Я ввел в роман реальных людей, лишь вообразив, что становлюсь их первосоздателем. Его, профессора Луиса Боберман-Пинча, считают великим скептиком, ибо, приступая к запутанной проблеме, он всегда спрашивает себя, а существует ли вообще эта проблема? И вот он утверждает, что еще не было книги столь пронзительно правдивой, как «Танцовщица Чарльз Доппер». Она полна суровой реальностью! Он читал мой роман трижды, и каждый раз его поражало, что среди тысячи вариантов яркой лжи, являвшихся моему воображению, я выбрал единственную правду, сумел отыскать ее в ворохе выдумок, сумел извлечь из ветошной горы фантазий, сумел неприкрытую, бедную, сухую показать читателям! Отказом от фантастических сюжетов я, конечно, обеднил повествование, но обеднение сюжета компенсируется тем, что я совершил нравственный и художественный подвиг, этот подвиг вывел меня в ряд величайших писателей, нет, он, Луис Бобер...

— Но ведь я никого из героев раньше не встречал! — в смятении прервал я его бурную речь.— Я не знал их до того, как выдумал!

Он сверкнул глазами, нетерпеливо махнул рукой. Обычное заблуждение писателя, воображающего, что он создает до него небывшее. К сожалению, каждый писатель нуждается в услугах психиатра. Возможно, впрочем, что если бы за литераторов взялись врачи, то сама литература была бы уничтожена. Форма моего литературного безумия ему ясна. Я фотографировал реальный мир, но вообразил, что придумываю его. Зеркало окружаю-

щего, я тщеславно вообразил себя первотворцем. И этим лишь принижаю свое истинное значение. Выдумывать, то есть лгать, путь плодотворный, но не подвиг, ибо всего проще лгать. Он доказал уже, что ложь — копна соломы, таящая одну-единственную иголку — правду. Я извлек иголку из стога соломы, и сумел справиться с такой дьявольски трудной задачей, он не перестает удивляться моему мастерству!

— Но тогда объясните, каким образом неизвестные мне люди проникли на страницы моей книги,— опять прервал его я.

Этого он объяснить не мог. Безумие, называемое художественным творчеством, до конца не исследовано. Загадок тысячи, решение их оставим будущим поколениям. Когда-нибудь человечество найдет надежные методы лечения от художественного творчества, но он гарантирует, что это будет не завтра.

Я так устал от его торжествующей, громкой речи, что не захотел спорить.

— Вы, стало быть, считаете, что на меня напали реальные прототипы моих выдуманных персонажей?

— Вы напрасно так резко различаете эти понятия: прототипы и персонажи. Уверяю вас, различие не столь принципиально.

— И реально существует таинственный бар «Верный гуигнгнм», где собираются эти призраки?.. Я хочу сказать, эти реальные люди, неизвестно как воплотившиеся в литературных героях?

— Не сомневаюсь.

— И я смогу отыскать этот бар и его посетителей?

— Бар Лэмюэля Гулливера та же иголка в стоге сена. Вы уже показали несравненное умение в ворошении сена жизни...

Я спросил напрямик:

— Я почувствовал себя безумным и поэтому пригласил вас. Вы подтверждаете мою ненормальность?

Он радостно кивнул головой.

— Полностью подтверждаю!

— Повторите вкратце, в чем вы ее увидели. Вы высказали так много соображений, что я запутался. Вам это будет нетрудно?

— Нисколько. Ваша ненормальность в том, что вы сверхъестественно нормальны. Нормальность — редчайшее свойство, почти все люди на чем-нибудь да свихнулись.

Вы нормальны сверх всякой нормы, только один среди миллионов может стать здесь вашим соперником.

— Иначе говоря, мое безумие?..

— Совершенно верно. Оно в том, что, величайший изобраэитель реальной жизни, вы вообразили себя фантазером. Вы потеряли ощущение реальности, столь полно выраженной в вашем великом романе.

— Вы беретесь вылечить меня?

— Я могу вас вылечить. Но, боюсь, что излечение Гарриса от иллюзий станет равнозначно излечению его от таланта. Я подписчик ваших сочинений и не хотел бы, чтобы они ограничились одним томом.

7

Вечером меня посетил Джон со своим внуком. Перси стал рыться в книжном шкафу, а Патрик придвинул для Джона кресло к кровати. Я хотел было встать, но Дороти так нежно упрашивала меня болеть по всем требованиям медицины, что я не мог ослушаться.

Джон поинтересовался, понравился ли мне Боберман-Пинч и его рецепты?

— Боберман-Пинч человек замечательный,— осторожно ответил я.— Не сомневаюсь, он крупный ученый. Мне только показалось нелогичным, что он начал с восхваления безумия как ложного понимания мира... А кончил тем, что нашел во мне правдоискателя и объявил правдивость моим специфическим безумием, и отказался лечить, чтобы лечение не повредило таланту. По-моему, начало с концом как-то не вяжется.

— Вы уловили суть! — восторженно объявил издатель журнала «Голова всмятку» — Просто удивительно, как быстро вы раскусили Бобермана. Он выдающийся ученый, вы меня понимаете. Его сила в том, что он всегда отрицает то, что утверждает. Сколько раз он излечивал безнадежно больных одним тем, что отказывался их лечить. Вижу, к вам он тоже применил этот эффективный метод. Можете отныне считать себя здоровым. Игнорируйте болезнь — и дело ваше в шляпе.

— А если болезнь не согласится игнорировать меня?

— Это второстепенно, как к вам относится болезнь. Важно лишь ваше отношение к ней. Раз вы отказывае-

тесь считать себя больным, значит, вы здоровы, вы меня понимаете?

Перси вынимал одну книгу за другой, перелистывал, ставил снова на место. Хорошенький подросток лет тринадцати, он был одет в замысловатый костюм — какая-то смесь из одеяний испанского идальго и американского ковбоя. Впрочем, наряд шел к нему. Мне нравилось, как он берет книги в руки — увлеченно и опасливо, книга казалась ему как бы восхитительным, но ненадежным зверьком, от такого ожидаешь и радости и худа. Он изредка поворачивал к нам умное лицо — полное, румяное, немного наивное, но с проницательными глазами. Я решил про себя, что из мальчишки выйдет толк. Парни этого сорта становятся профессорами и агрономами. На них, если хорошенько взнуздать, можно скакать, не опасаясь свалиться на обочину.

— Перси страшно любит книги, — сказал Чарльстон, понизив голос, чтобы внук не услыхал. — Он так жадно глотает их, что каждая основательно уменьшается в объеме, когда он возвращает ее на полку. И он любит их перечитывать. После трех-четырех перечитываний от книг остается один переплет. Переплетами он не интересуется.

— Вы ему давали мой роман, Джон?

Чарльстон смущается не часто, а когда выпадает такой случай, весь багровеет. Мой вопрос вызвал прилив крови к его лицу. Он закашлялся, вытер толстые губы платком, шумно дышал.

— Видите ли, Генри. Вы, конечно, гений, вы меня понимаете? Ваш роман — концентрированное выражение, абсолютное воплощение... В общем, шедевр. Вы сегодня у всех на языке, Генри. Осмелюсь надеяться, я тоже сыграл некоторую роль в создании вам популярности... Нет, Генри, я не давал вашей книги Перси. И, скажу по чести, не дам!

Я так удивился, что даже не обиделся.

— Посмотрите на него, Генри,— жарко шептал издатель.— Что он знает? Что умеет? Что видел? Подумайте, как узок его мирок, как скудны чувства. Он весь в своем окружении, в идиллическом островочке спокойствия среди бушующего моря. Имею ли я право бросать его в бурные волны нереальности, в ту трагическую фантасмагорию?.. Нет, я не дал ему вашего замечательного романа!

— Вы сказали — бурные волны нереальности?

Он поспешно поправился, но не скажу, чтобы удачно — сложность некоторых понятий превосходила возможности обыденного языка.

— Вы меня не поняли, Гаррис. Я не отрицаю реальности нереального, у меня и мысли не было о таком абсурде. Наоборот, я всегда считал, что единственно реально захватывающее... в общем, вы меня понимаете, единственно серьезное — это то, о чем человек в испуге восклицает: «Не может быть!» Нереальность — это реальный удар молотком по голове на спокойной дороге. Кто осмелится утверждать, что молотком не бьют, покажите мне такого скептика, Гаррис! Так вот, нереальность это концентрат реальности, это сгусток, это... Короче, литература! И потому литература жизненней самой жизни. И высший мастер этой литературы космическо-ядерного века — вы, Генри. И чтобы до поры уберечь моего внука от ужасов жизни, я должен уберечь его от вашей книги. И это свидетельствует не о плохом к вам отношении, а о глубочайшем уважении, о вере в ваш талант, о понимании вашего гения. Надеюсь, вы не обиделись, Генри, вы меня понимаете?

— Я чувствую себя польщенным, Джон. — Я закрыл глаза. Откровенное, хотя и путаное, признание Чарльстона утомило меня.

Вечером я сел у окна. В городе творилась обычная вакханалия света и цвета. Город то ослепляюще озарялся, то тускнел. Демоны реклам бежали по крышам, карабкались по фасадам. В комнату вошла Дороти и молча присела рядом. За дни моей болезни она научилась молчать, я радовался этому. Потом она прижималась — и опять говорила: ласкаться и не говорить она не могла. Слова, сопровождавшие ласки, раздражали меня. В них все было сто тысяч лет мне знакомо! Если, и вправду, я их рождал у нее, то я рождал плохого ребенка, он был не мой, он был общий — стертый, бледный, тусклый, безликий...

Ночью я думал о городе, который шумел и сверкал за окнами. Где-то в нем удивительный бар «Верный гуигнгнм» Лэмюэля Гулливера.

— Я найду его, — шептал я себе. — Я найду его.

8

Мне фантастически повезло. Я повстречал Дон Кихота. Был вечер, и не очень хороший вечер, шел дождь, начиналась буря, а человек этот, Дон Кихот, сторожил у калитки в сад, где почти человеческими голосами вопили темные деревья. Я остановился. Сторож вытянул длинную, худую шею, я не видел лица, но понимал, что старик настороженно всматривается в меня, чем-то я встревожил этого долговязого охранителя входа в сад.

— Какой злой ветер! — сказал я. — Между прочим, я вас знаю.

Он покачал головой, протянул руку, словно предлагая мне пройти мимо. На морщинистой руке блестели капли, это была крепкая рука, могучая и добрая, от нее нельзя было ждать зла.

— Мы незнакомы, — сказал он глуховатым басом. — Будьте здоровы.

— Нет, — ответил я. — Я не уйду. И неважно, что вы меня не знаете. Я вас знаю, это важней. Я видел вас в любимой книге моего детства. На вас были тогда шлем и кольчуга.

— Панцирь. Впрочем, каждый художник по-своему изображал...

— Я ищу питейное заведение Лэмюэля Гулливера,— сказал я.— Знаете, «Верный Гуигнгнм»? Не могли бы помочь мне?

Он заколебался.

— Если бы знать, кто вы... Сколько написано...

Я был в приступе вдохновения. Я знал, что любая ложь сойдет мне с рук. В мире, куда я попал, реально было одно нереальное — безумный доктор Боберман-Пинч мог назвать этот мир своим.

— Я из новой книги. Автор — Генри Гаррис, эдакий модный писака. Не могу похвалиться, что он создал меня столь же пристойным, как Мигель Сервантес вас. Нет, куда мне! Зовут Билл Корвин, неудачник, на сто четырнадцатой странице убит, а до того промышлял... Впрочем, хвастаться нечем: три части, сорок четыре преступления, двадцать одно убийство. В общем, конвейерное производство романов, такова методика Гарриса, он ведь ученик Беллингворса.

Он сказал со вздохом:

— Ручная работа прежних творцов была рельефней.

Я в современной одежде, но вы меня сразу признали. А создания Беллингворса к нам захаживают, Джон Недотрога недавно устроил скандал, столько перебито посуды!.. А потом затерялся в толпе. Между прочим, меня теперь зовут Дунс Кехада, неудобно пользоваться известной фамилией. Многие смеются, услышав: Дон Кихот!

— А где ваш слуга Санчо Пансо?

— Сан Чопано? Я два года работал на его кожевенном заводе. Вчера он отпраздновал выход из тюрьмы Каина Адамяна и перебрал... В наше время коньяков не пили.

— Вы сказали: Каин Адамян?.. Неужели его засадили?

— А вы не знали? Об этой истории писали в газетах.

— Я читаю лишь «Ежедневного убийцу» — там не было.

— До убийства не дошло. Но если вдуматься... Два брата, Каин и Авель Адамяны,— неплохие коммерсанты. И вот Каин подделывает вексель младшего брата, а того доводят до разорения. Их мать Ева, чудесная старушка, умерла от огорчения, у бедняги Авеля сердечный приступ, через два месяца тоже скончался, а бандита Каина упрятали на пять лет. Так расправиться с братом!

— Раньше он разбивал брату голову топором, а не подделывал векселя. Все-таки цивилизовались преступления! Так вы поможете мне отыскать бар старика Гулливера? Так хочется посидеть среди своих, поесть ирландских пирожков!

— Пирожки с мясом и зеленью прославили Лэмюэля, — с чувством сказал старик. — Он устроился лучше нас всех, надо признать. Впрочем, неудивительно — столько вытерпел, в стольких странах побывал, и из каждой кое-что вынес ценного, не так ли? Кстати, почему вы говорите бар? Я бы назвал заведение клубом, там и ресторан, и комнаты отдыха.

— Тем более вы понимаете мое нетерпение, дорогой Дунс Кехада. К тому же портится погода, а где найти пристанище недавно выпущенному в свет человеку?

Жалоба на погоду была удачным ходом. Полил холодный дождь, ветер бил брызгами, как свинцовой дробью. Старик согнулся, запахнул старенький плащ. Человеку, взращенному на знойных холмах Ламанчи, не мог быть по душе наш климат. Он должен был посочувствовать бездомному бродяге. Он торжественно объявил:

— Вы неплохой человек, Билл Корвин. Удивительно, что в современном произведении, да еще пользующемся успехом... Входите в эту дверь, друг мой. Непогрешимый литературный инстинкт привел вас в место, какое искали: я сторож клуба «Верный гуигнгнм» доктора Лемюэля Гулливера. Не поскользнитесь, ступеньки мокрые!

9

Сперва было огромное помещение с теряющимся в полусумраке потолком: мне показалось даже, что потолка нет, а над исполинским залом нависает небо, но то было все же не небо, а потолок, похожий на небеса. Вдоль стен тянулись шкафы, такие высокие, что я видел лишь нижние полки, верхние пропадали в полутьме. И во всех шкафах были книги, миллионы книг, гигантские, в полный лист, и миниатюрные, с наперсток, серые, темные, золотые, красные, сжигающе оранжевые, пронзительно зеленые и синие... Зал был пуст и темен: ни столов, ни кресел, ни лесенок, чтобы доставать книги с полок, ни света для чтения. В недоумении, я оглядывался. Зачем ввели меня в это книгохранилище? Куда идти? Мне стало страшно в этом безмерном мире книг: я не мог сделать и шага.

Вдруг вспыхнуло в углу. Ко мне шла женщина в мягкой тунике, одежде древних. Она освещалась не светом со стороны, а сама сияла, ее обрисовывал собственный свет. Я знал ее, но не помнил, как ее зовут. И стройная фигура, и золотистые вьющиеся волосы, и самосветящиеся зеленые глаза, и протянутая ко мне рука, совершенная рука богини, а не смертной — все это было так знакомо, словно я тысячи раз встречался с ней.

— Привет тебе, герой! — сказала женщина, голос ее, глубокий, звучный, донесся звоном серебряных колокольчиков. — Ты из новой книги, правда? Меня зовут Ариадна. Я проведу тебя к собратьям! Твое имя, герой? Твоя профессия? Откуда ты?

— Билл... Билл Корвин, — пробормотал я, запинаясь. — Меня сочинил Гаррис, плохой писатель, не отрицаю, но им так увлекаются... И вообще я... гангстер... Но очень добрый, очень... Мой шеф приводит в исполнение только один из десяти договоров на убийство, только один из десяти, клянусь!.. Мы великодушны.

Сияние величественной Ариадны немного потускнело.

— Не мне обсуждать профессии современных героев, добрый убийца. Следуй за мной, Билл Корвин, великодушный гангстер. Ты шагаешь сейчас мимо всех литературных творений, созданных человечеством. Кланяйся своим предшественникам, Билл Корвин, частичка каждого из них в тебе, хоть ты и мало похож на своих знаменитых предков.

10

Зал, куда ввела меня Ариадна, напоминал ресторан среднего разряда. За столиками беседовали и горланили, закусывали и выпивали. И это было необыкновенно разношерстное скопище, все эти гости Лэмюэля Гулливера. Я привык, что любое заведение имеет свой стиль, свой образ посетителей: в портовой таверне — рабочие и бродяги, в тайном уголке на окраине — пьяницы и наркоманы, воры и проститутки, в Уолдорф Астории — дипломаты и короли, бизнесмены и министры. А здесь, как в Ноевом Ковчеге, каждой твари было по паре. И одного взгляда хватило, чтобы понять, что я среди знакомых. Если фамилии сразу не припоминались, то облик был известен.

Я торопливо прошел между столиками, высматривая свободное местечко: не хотелось привлекать к себе внимания. В уголке сидели три толстяка, четвертый стул был свободен. У одного была длинная седая борода. Он смотрел воинственно и надменно. Второй, мощнотелый, выглядел пьяницей. Третий мне понравился — невысокий, округлый, с приятным и добрым лицом. Я сказал, что меня зовут Корвин, я из нового романа, нельзя ли составить компанию героям знаменитых книг?

— Садитесь, Корвин, — разрешил тот, что выглядел подобрей. — Я, Сэмюэль Пиквик, к вашим услугам. Этот стул обычно занимает пан Заглоба, но его сегодня почему-то нет.

— Джон Фальстаф, — проворчал надменный. — И хорошо, что нет. Заглоба действует мне на нервы. Не люблю, если кто врет больше меня.

— Аббат Горанфло, — представился пьяница. — Просите пива, Корвин. Скряга Лэмюэль подмешивает химию в виноградный сок и называет свое пойло марочным ви-

ном. Ужас и смех! Надуть меня, определяющего с первого стакана, какое я пью вино из ста восьмидесяти трех сортов французских вин, а со второго и третьего, сколько вину лет и рос ли виноград на северном или на южном склоне. Хорошее вино можно вкусить лишь у бармена Шико, но до его лавчонки далеко.

— Рад встретиться с вами не на страницах, а за столиком, друзья, — сказал я. — Я ваш поклонник. Ваши ратные подвиги и успех у прекрасных дам, Джон Фальстаф, всегда приводили меня в восхищение.

— Надеюсь, что так, — проворчал он. — Не собираетесь ли вы по этому поводу накачать меня до упоя?

— Заказывайте! Случайно я при деньгах.

— Гаврош! — рявкнул Горанфло. К нам подлетел мальчик-официант. — Дюжину пива и четыре порции сосисок — живо!

— Вы еще не оплатили прошлый заказ, — возразил мальчик. — Ищите дураков в другом месте, я не из тех, на ком скачут верхом.

— Не тревожьтесь, я плачу, — сказал я, и Гаврош умчался.

— Напрасно вы так вежливы с этим сорванцом, — посетовал Фальстаф. — Выдрать бы его за грубость, а уж потом объяснить, кто платит.

К нам подошел Заглоба, одноглазый, седой, довольно подвижный для своих лет. Пиквик привстал, здороваясь, Фальстаф отвернулся. Я хотел уступить занятый стул, но Горанфло не дал — возможно, побаивался, что некому будет оплачивать заказ, если я уйду. Заглоба поинтересовался, не попадались ли нам его приятели пан Володиевский и пан Подбипента, а также Богдан Хмельницкий, крымский хан Гирей и шведский король Густав, те трое, хоть и не литературные герои, но тоже большие его друзья. Ни одного соседи не видели, и Заглоба убрался в другой конец зала. Я спросил о четверке у соседнего столика.

— Один, несомненно, Рокамболь, другой Вотрен, третий Шерлок Холмс. А четвертый? Я говорю вон о том, хмуром.

— Жавер, — сказал Горанфло. — Вон уж кого не терплю! Даже среди моих монахов не было такого постника. И зачем его ввели в литературу?

— Странная компанийка! Рокамболь с Холмсом, Вотрен с Жавером.

— Очень солидная компания! — засияв доброжелательной улыбкой, подхватил Пиквик.— По слухам, к ним скоро присоединятся патер Браун, комиссар Мэгре и Эркюль Пуаро. Такое мощное объединение детективов, будем надеяться, сумеет устоять против самого Джека Недотроги из романов Беллингворса.

— Сомневаюсь, — проворчал Фальстаф, прихлебывая пенистый напиток. — Сколько этих рыцарей детектива? И сколько Джеков? Хо-хо! Никто не заподозрит меня в трусости, но и я сто раз подумал бы, прежде чем двинуться на орду Беллингворса...

Мои соседи мирно потягивали пиво, мирно беседовали, я изредка вставлял реплики. Они, я понимал, не знали, кто я литературно, тем более — реально, я мог надеяться что и другие меня не признают. И я осторожно осматривался, стараясь определить, кто есть кто, и чем все эти знаменитости заняты в клубе «Верный гуигнгнм»?

За столиком, по другую сторону от нас, я увидел новую четверку знакомых: финансисты Каупервуд и Акула Додсон чокались с жуликами Джинглем и Джеффом Питерсом. Подальше Гамлет с Пьером Безуховым громко спорили с Жеромом Куаньяром, а четвертый, веселый старик Кола Брюньон вторил им раскатистым хохотом. Там же Шейлок о чем-то договаривался с Гобсеком, клятвенно призывая в арбитры французского банкира Нюсингена и русского помещика Плюшкина. Нарядный Онегин болтал около площадки оркестра с принцем Гарри, в их разговор вторгался лорд Генри — и, похоже, острил, все трое смеялись. Три милые дамы, Лаура, Офелия и Маргарита, с интересом слушали рассказы знаменитых путешественников, Мелмота-Скитальца, Агасфера и золотоискателя Мелмута Кида, великие бродяги перебивали друг друга, каждому не терпелось поделиться своими приключениями. Мальчишки Оливер Твист и Гекльберри Финн не отрывали от путешественников по земле и во времени зачарованных глаз. Рослый король Лир, возвышавшийся над стойкой, как божок, величественно разливал пиво, и добрый десяток официантов — среди них я заметил, кроме Гавроша, еще Фигаро и Сганареля, Труффальдино и Конселя — разносили кружки по столикам. На площадке играли на рояле и скрипке Леверкюн и Нагель, а Вертер с Беатриче пели.

По ковровой дорожке прогуливались пары. Я узнал капитанов Немо и Гаттераса, оба вышагивали так, слов-

но отрабатывали вахту на параде, впрочем, это ни у кого не привлекало внимания. Не вызвала интереса и вторая пара — Робинзон Крузо с капитаном «Летучего голландца», хотя живописные лохмотья обоих, и особенно мрачный череп мертвеца у капитана призрачного корабля, заслуживали большего, чем равнодушный взгляд. Зато пара проходимцев — Панург и Остап Бендер — заставила всех повернуться, они прошли, приветственно помахивая руками, рассыпая улыбки и поклоны: эти двое явно всем нравились.

И хоть я всюду встречал знакомые лица, во мне постепенно вырастало новое ощущение: большинство горланивших и прогуливающихся по залу, и особенно столпившихся у бара, были мне неизвестны. Всех этих ярких прославленных фигур, дворян и князей, знаменитых мошенников и пронырливых дельцов, забивала масса безликих, тупых, приглушенно серых.

Я осторожно заговорил об этом с соседями по столу.

— А чего вы хотите? — возразил Фальстаф. — Неизвестные ныне в силе. Сами вы, например?

— О, я из недавно вышедшей книги. Правда, готовится новый тираж — сразу два миллиона экземпляров...

— Не уверен, что это хорошая рекомендация — большой тираж.

— К сожалению, комиксы забивают классику, — со вздохом подтвердил Пиквик. — Дрянь одолела шедевры. Персонажи из комиксов заседают в парламенте, вершат в деловом мире, подмяли искусство. А что остается нам? Прежние исполины служат официантами, подметают улицы.

— Нас забыли, — прогудел Фальстаф. — Король Лир жил во дворце, а сегодня его не пускают даже в пещеру Лейхтвейса. Кто мы? Что мы? Вертер с Беатриче поют в баре, Евридика с Еленой нанялись в стриптиз, Дон Жуан с Карлом Моором трудятся на почте, Робинзон Крузо открыл крохотное меховое ателье и прогорает, бедняга, Фиеско преподает гимнастику, Медея, великая Медея, еле устроилась воспитательницей в детский сад! Я уже не говорю об Орфее, его столько раз вышибали из джазов за неспособность к музыке! А я, прославленный Джон Фальстаф, служу в банке швейцаром — у меня седая борода, это нравится хозяевам. Они тоже из комиксов, мои хозяева, но бород им не дали.

— Мой друг Панург обратился недавно к оракулу Бо-

жественной Бутылки, — сообщил, улыбаясь, Горанфло.— Оракул возвестил, что скоро отменят книги. Цивилизация превратится в телевизацию. В телевизионном мире незачем читать. А пить будут больше, это все же утешает.

— Как бы я поработал кулаками среди телевизионного сброда! — прорычал Фальстаф. — Вон тот, круглоликий, патлы под битлов, студентик из племени бао-бао. Не уверен, что он уже произошел от обезьяны. Или эта убогая богиня с двумя внебрачными мужьями под ручку. Артисты из певческого заведения Джона Флинта.

В зал входили все новые посетители. Среди них был и тот нагловатый парень с плечами штангиста-тяжеловеса, который, по Фальстафу, еще не успел превратиться из обезьяны в человека, и змеефигурная дама, подкрашенная радиоактивными красками — она поводила пылающими глазами, как фарами. Появились две женщины — бледные, стройные, с такими строгими лицами, что дух захватывало. Горанфло прошептал, что клуб удостоили визитом Медея с Электрой, дочерью Агамемнона, такие удачи выпадают нечасто, надо бы выпить по этому случаю. Прихлебывая пиво, я рассматривал непрерывно прибывающих гостей. Две красивые и изящные пары — граф Фиеско с Эдмондом Дантесом и Антигона с Сольвейг прошли так близко, что пахнуло ароматом дорогих арабских трав. За ними проследовали улыбчивый Пер Гюнт и задумчивый лейтенант Глан, внешне они различались сильно, но было в них что-то пленительно единое, я привстал и поклонился им, как добрым знакомым. Глан рассеянно поглядел, а забулдыга Пер так дружелюбно ухмыльнулся, что у меня стало светлей на душе.

Новая группа гостей заставила меня поспешно отвернуться. Харя Джексон, Том Тапкинс и Дженни Гиена прошли в дальний угол и исчезли там в табачном дыму среди пальм в кадках.

— Скажи, почему наш сторож Дон Кихот назвался Дунсом Кехадой? Разве у него две фамилии? — спросил я Фальстафа.

— А разве вы в жизни тоже Корвин?

— Да.

— Вам можно, вы все же не классик. А мы прячемся под псевдонимами. Только в клубе старины Гулливера никто не скрывается.

Неподалеку внезапно разгорелся скандал. На шум поперли любопытные. Из буфетной двери выскочил хозя-

ин. Я наконец увидел Гулливера в жизни, а не на книжной странице. Он был в пиджаке, а не в камзоле, и без парика и шпаги. Худое лицо Гулливера перекосилось от страха. Он кинулся к месту ссоры.

— Послушайте, Джек! — лепетал он. — Успокойтесь, молю вас.

Я увидел красивого мавра средних лет, на которого наступал громила с кулаками в футбольный мяч.

— Негр! — ревел громила. — До Джека Недотроги дотронулся паршивый негр! И белым это не проходит даром, а негру — смерть!

Из толпы выступил человек в одежде пастора и взял громилу под руку. Тот обернул к священнику бешеное лицо и рявкнул:

— Еще чего? Вы кто такой?

— Я пастор Браун. И я хочу сообщить вам, дорогой друг, что вы ошиблись. Этот человек — знаменитый адмирал Отелло. Можете мне поверить, я детектив-любитель и много распутывал трудных загадок.

Громила заорал на пастора Брауна:

— Убирайтесь, вы, драный плащ! Чтобы разглядеть негра, мне не нужно помощи детектива. Он дотронулся до меня, когда я проходил мимо. Дотронулся, можете вы это понять, сюсюка в сутане!

— Вы просто слишком пошатывались, — спокойно сказал Отелло.

На Джека Недотрогу все же произвело впечатление громкое имя Отелло, и он убавил тон. Но в ссору вмешались еще двое — толстенький коротышка в дорогом костюме и представительный мужчина с глазами профессионального убийцы. Я узнал обоих. Добром их появление кончиться не могло. Коротышка властно тронул Отелло за плечо.

— Я Ник Картер. Надеюсь, вам это кое-что говорит? Проследуйте за мной, Отелло. Надо выяснить, как вы пробрались сюда. Очевидно, у вас немало сообщников среди издателей.

Отелло скрестил руки на груди.

— Я здесь по праву классика. А на насилие сумею ответить.

Спутник Ника Картера улыбнулся. Зловещая ухмылка означала приговор.

— Я Джеймс Бонд, Отелло. Стреляю без промаха.

Из уважения к вашей известности, адмирал, даю вам три минуты, чтобы убраться из этого зала и литературы.

Снова взорвался потускневший было Джек Недотрога:

— С негром разговаривать? Коленкой его под зад — и точка!

— Не спешите, приятель! — воскликнул подоспевший Карл Моор. — Найдутся люди, которые не позволят глумиться над невинными.

К Моору присоединились Гамлет и Пьер Безухов. Джеймс Бонд, улыбаясь еще зловещей, сунул руку в карман, но не стал сразу стрелять, обстановка заведения Гулливера, видимо, влияла и на него. Джек Недотрога, с тяжелым недоумением рассматривая защитников Отелло, натужно прохрипел:

— Белые за негров! И господь смотрит на это с небес?

Посетители размежевались на две кучки. Одна, маленькая, концентрировалась вокруг Отелло, другая, огромная, безлико-разъяренная — ревущие пасти, и дикие глазища — напирала на них. К кучке Отелло протолкались д'Артаньян и Робин Гуд, к ним присоединились доктор Штокман с Пер Гюнтом, маленький пан Володиевский и кудрявый Анжольрас. Д'Артаньян проворно отломал одну ножку от стола, остальными тремя завладели его товарищи. Володиевский взмахнул палкой, как саблей, она так свистнула в воздухе, что нападающие попятились.

— Ну, что ж, Недотрога! — насмешливо крикнул д'Артаньян. — Вам не понравилось прикосновение руки адмирала, но, может быть, прикосновение деревяшки будет приятней?

Мои толстяки явно не хотели вмешиваться в ссору. Сперва исчез Фальстаф, за ним Горанфло и Пиквик. Гулливер умолял завсегдатаев помочь навести порядок. Джек Недотрога молча сгреб его и отшвырнул. Бонд выхватил пистолет и выстрелил в Отелло. В тот же миг Володиевский сделал выпад, ножка от стола ударила под руку Бонда, пистолет разрядился в потолок, а Бонд с воплем схватился за покалеченный локоть. Я много читал и о дьявольской быстроте, с какой агент 007 производит свои выстрелы, и о мастерстве славного польского полковника, но ловкость обоих показалась мне сверхъестественной. Все произошло за долю секунды: стремительно вырвавшаяся из кармана рука, еще стремительнее ударившая по руке палка.

Джеймс Бонд со своей поврежденной рукой опасности для защитников Отелло уже не представлял, но выстрел стал сигналом к атаке. Толпа безликостей ринулась на классиков. Рожи напирали на лица, фигуры хватали за горло образы. По залу разнесся дикий рев Джека:

— Выбить из классиков пыль! В окно их!

Схватка мигом стала всеобщей. И хоть классики сражались умело и отважно, орда безликих брала числом. Они орали, ругались, падали, вскакивали, снова перли — тупо и беспощадно. Ни одного упавшего классика я не увидел, каждый держался на ногах гораздо тверже героев чтива, но шеренга их постепенно оттеснялась. Один звероподобный тип напал на Заглобу: старый шляхтич зычным басом звал друзей к оружию, это не понравилось какому-то персонажу, явно еще не превратившемуся из обезьяны в человека. Заглоба, струсив, пытался убежать, но тип настиг его, и тогда страх превратился у Заглобы в отчаянную храбрость. Закричав: «Ах ты, Бурлай!» — возможно, старинное польское ругательство, так хватил преследователя кулаком, что тот рухнул. На помощь к Заглобе поспешили Перегринус Тис и Фигаро, а он, гордый победой, благоразумно убрался в тыл, не переставая взывать: «К оружию, кто в бога верует, к оружию!» Над толпой, жалобно вереща, пронесся толстый гений Тетель, похожий скорей на пиявку, чем на благопристойного гения, он метался, выискивая в зале спокойное местечко.

Я, конечно, понимал, что мне не только ввязываться в сражение, но и показываться нельзя, и, затаившись за пальмой в кадке, украдкой наблюдал битву. И вдруг я увидал, что Дженни Гиена вцепилась в белокурые локоны Маргариты и с клекотом тащит ее к раскрытому окну. Этого вынести я не мог. Я метнул в Дженни пивную бутылку. Гиена затявкала, стала оглядываться, и Маргарита спаслась. Выскочив из-за пальмы, я нокаутировал рожу, одолевавшую отважного, но в боксе несведущего Одиссея. Рядом старик Просперо отчаянно вырывался из лап двух страшнорылых одинаковостей, я свалил их на пол.

— Спасибо, мой дорогой Ариэль! — воскликнул Просперо. — Если бы не вы, мои клочья уже летели бы по воздуху. В какое время мы живем!

В этот момент меня узнал Том Тапкинс.

— Чужой! — взвыл он. — Бейте его, он не из книги!

— Бейте его! — загремели, заорали, замычали, заклекотали, залаяли, завизжали безликости, все враз поворачивая на меня. — Бейте его, он не из книги!

Меня прижали к стене, я отбивался стулом от хищных лап. В толпу врезались сразу трое — д'Артаньян, Анжольрас и Володиевский. В бою каждый из них стоил дюжины бандитов — те снова попятились.

— В дверь! — крикнул д'Артаньян. — Живей, приятель, живей!

Какую-то секунду меня томил стыд, бегство походило на предательство, ведь тем, кого я с детства любил, кому всегда желал подражать, приходилось плохо. Но спаситель мой снова закричал, чтобы я немедленно бежал, и я рванулся из зала.

11

Убегая, я знал — надо захлопнуть дверь в ресторан и торопиться к выходу, который сторожил Дон Кихот, превратившийся в Дунса Кехаду. Единственная опасность, так мне представлялось, была в том, что кто-либо из безликостей погонится: я плотно прикрыл дверь, навалился на нее телом, чтобы никто не вырвался из зала. Но тут же, потрясенный, забыл и о двери, и о том, что творилось за ней, и об опасности, не отведенной еще от себя. Даже в малярийном бреду я не мог бы прифантазировать то, что предстало моим глазам.

В зале, уставленном высокими шкафами, метались книги.

Трещали распахиваемые изнутри дверки шкафов, наружу выбрасывались фолианты, тома, брошюры. Книги распахивались в воздухе, махали переплетами, как крыльями, рушились одна на другую, подпрыгивали на полу. Зрелище было похоже на землетрясение, я в ужасе ждал, что вот-вот раскроется пропасть и всё туда рухнет — и шкафы, и книги, и призрачные гости славного ресторатора Лэмюэля Гулливера, и я сам. Но то было не землетрясение, а битва.

Книга схватывалась с книгой. Книга шла стеной на книгу.

Трехкилограммовый кожаный фолиант — даже издали было видно, что это роман о великих Гаргантюа и Пантагрюэле — рухнул с верхней полки невдалеке от меня

на кучу ползавших комиксов в бумажных обложках и раздавил их. И еще я увидел, как бездна других комиксов, вырвавшихся из шкафа, словно стая крыс, ринулась на бессмертный роман и облепила его: фолиант ворочался и сметал их, но комиксов все прибывало. Я хотел было поддать ногой в отвратительную кучу крикливо-ярких обложек, но побоялся, что эти поделки ударят на меня. К тому же, оглядываясь, я увидел, что везде классические творения отбивались от дешевых назойливо-красочных изданий: зал превратился в клокочущее месиво озверевших книг. И хоть классики были мощней, массивней и мужественней — поделки, как и безликости в ресторане, брали числом. Мне вдруг вспомнилось, что каждый год на земном шаре теперь печатается свыше пяти тысяч романов — за все века до двадцатого бессмертных творений создано меньше, чем ныне выпускается поделок за десятилетие. Эта мысль не дала вмешаться в сражение книг — я прокладывал себе дорогу к выходу, отбиваясь от того, что падало сверху, и отшвыривая то, что путалось в ногах.

Все новые и новые массы книг вырывались из шкафов, все новые тома торопились в битву. Кружилась печатная миллионостраничная масса, оглушали хлопанье переплетов, дикий шелест рвущихся страниц. Две книги, падая, вонзились одна в другую, как две колоды карт, перетасованные страницы визжали живыми голосами. Я оттолкнул их кулаком. Я шагал по месиву обложек, картинок, страниц, переплетов — и меня терзало ощущение, что это не мертвые вещи, а живые, и я иду не по вещам, а по телам, и под моей пятой они корчатся. Вырванные страницы белыми тучами взметались и реяли, надо было расталкивать их, чтобы не потерять дороги. Впереди замельтешилась оголтелая стая книжиц о Бонде и Джеке Недотроге, они навалились на толстенный том Шерлока Холмса, но великий сыщик, отличный борец, скользя по полу, сметал с переплета всю осаждавшую его непотребь. Визг разрываемых страниц и хлопанье обложек стали подобны непрерывно гремящему взрыву. Я оглох от грохота и визга, не пройдя и половины помещения. Но глаза не утратили зоркости, и я заметил, что в сплошной белизне летящей бумаги замелькали черные фигуры: преследователи вырвались из зала и, слепо шаря руками в бумажной пурге, выискивали, куда я бегу. Опасность придала мне силы, я уже не шел,

а бежал, не отшвыривал, а давил размалеванные поделки, только старался не попасть ногой в сражающиеся великие творения.

Одним рывком я распахнул выходную дверь, другим захлопнул ее. Пробежав мимо растерянного Дон Кихота, я пустился наутек по темной улице. Из переулка вывернулось свободное такси. Я вскочил и крикнул:

— Гоните во весь газ! Меня преследуют бандиты. И вам не поздоровится, если они нас настигнут!

12

Дороти была так встревожена моим долгим отсутствием, что я едва не проболтался, каких происшествий стал участником. Она гладила мои руки, всматривалась — она сразу почувствовала, что приключилось что-то скверное. Я сказал сколько мог веселей:

— Ничего особенного, дорогая. Удирал на такси от бандитов.

Ее глаза, и без того не маленькие, стали огромными.

— Бандиты? Какие бандиты, милый?

— Обыкновенные. Верней, не совсем обыкновенные. Но достаточно скверные. Я бы сказал даже — гнусные.

Она потребовала объяснений. Я дать их не мог. Зато не поскупился на вымысел, он был в данном деле правдоподобней правды: я воспользовался забавной теорией полусумасшедшего исцелителя от сумасшествия Бобермана-Пинча. Бандиты выскочили из темного переулка, когда я шел по окраинной улице. Как очутился на окраине? Обдумывал новый роман и незаметно дошагал до пригорода. Бандиты орали: «Стой! Стой!», я, естественно, побежал. Они, кажется, стреляли, но так звенело в ушах от бега, что не уверен, были ли то выстрелы или почудилось.

— Милый, — сказала она, бледнея от страха: бледность очень шла к ней, — ведь они могли убить тебя пулей. Ты же сам писал о золотых пулях Красавчика Джексона.

— Еще бы! Пистолеты обычно заряжаются пулями, ты права.

— И я бы осталась вдовой! — Она зарыдала от жалости к себе.

Рыдающей я Дороти еще не видел, но слезы тоже не

безобразили ее. Я успокоил Дороти. При выстрелах попадают не все пули, а только одна из десяти, так писали до меня, так и я пишу. Они не успели выстрелить десять раз. Пуля, которая должна была сразить меня, осталась в стволе.

Она была проницательней, чем я думал.

— Гангстеры промахиваются в книгах, Генри, в жизни они часто убивают с первого выстрела.

Она опять залилась слезами, и опять я утешал ее словами и ласками. Потом она прилегла на диван и заснула. Я придвинул кресло к дивану, смотрел на нее, размышлял о ней.

Дороти была красива; это не вызывало сомнения. Красота ее поразила меня при первом знакомстве, с того часа она меньше не стала. Дороти лежала, сжавшись в комочек, положив одну руку под щеку, другую сбросив вниз. Даже эта неуклюжая поза не портила ее. Лицо освещала лампа под оранжевым абажуром. Временами Дороти шевелилась, тогда лицо как бы двигалось и меняло выражение: тонкое, нежное, немного наивное, немного глуповатое, но так по-особому, по-хорошему глуповатое, что становилось от этого еще красивей. Нет, ни на Медею, ни на Маргариту, ни на Офелию, ни даже на Сольвейг, которых я сегодня так близко лицезрел, Дороти не походила, она была красивей тех знаменитых дам, да к тому же не заемной, а своей, неповторимой красотой. И я почувствовал нежность к жене, такой прекрасной и так горячо не пожелавшей быть вдовой.

И тут меня пронзил холод. Я сказал — «своя, неповторимая, особая». Нет, а что в Дороти своего, в чем неповторимость, где особость? Я наклонился к дивану, Дороти сквозь сон почувствовала мое приближение, нежно улыбнулась. Я с трудом удержался от того, чтобы, вскочив, уйти. Я понял страшную истину: в Дороти не было ничего своего. Она была составная. Я снова наклонился, снова всматривался, снова искал... сам не знаю чего! И открывал черты, признаки, особенности, свойства, характерности, заимствованные, украденные, уведенные, срисованные, но — чужие. Вот этот изгиб бровей — он же от знаменитой киноактрисы! А эта линия рта — она же с рекламы французской косметики! И розовая оттопыренность ушек, и локоны, и темно-оранжевая загарность щек!.. А поворот шеи? А томная поза? Это специально разработано для спящих красавиц, только такими

они должны покоиться, чтобы и во сне не потерять привлекательности! Все, все с чужих, все чужое!

Я отошел к столику. Я бессмысленно смотрел на яркие обложки дамских журналов, разбросанных на столике. Я боролся с собой. Ну, хорошо, хорошо, внешность — предмет подражания, все женщины копируют модных красавиц. А мысли? А чувства? Ее любовь ко мне? Разве они не искренние? Разве они не свои? Ответь на этот вопрос, сказал я себе, и тогда устанавливай, какова Дороти.

— Искренни, но не свои! — дал я себе беспощадный ответ. — Все заимствовано!

Я стал вспоминать, как вела себя Дороти, как говорила, что говорила. И с ужасом убеждался, что не припомню ни одного слова, ни одной мысли, которую бы не слышал или не читал раньше. Она объяснялась теми же словами, какие тысячекратно повторены в тысячах книг, теми же интонациями, какими доносили до нас сотни актеров. Я знал теперь, что для любого ее слова и желания найду горы книг, где эти желания и эти слова уже описаны. Она вся от ног до гребешков была десятичностью, сборником тысячекратно повторенных шаблонов. И если и было что-то свое, то лишь в том, что один шаблон она делала своим, а другой — отвергала.

— И это неплохо! — сказал я себе вслух. — Вся наша жизнь — шаблон. Рождаемся, растем, цветем, умираем... Не оригинально. Примирись с этим, друг мой!

Я не мог с этим примириться. Все было гораздо сложней того, что Дороти являла собой собрание повторений и шаблонов. Сама она была лишь крохотным эпизодом, лишь маленькой деталькой огромного, грозного, чудовищного процесса, разразившегося среди людей. И я пытался разобраться в злой проказе, исказившей облик мира, смотрел на красивое усталое лицо Дороти — и не видел ее. Я проверял факты, делал следствия из событий, приходил к чудовищным выводам, от них отшатнулся бы даже певец безумия Боберман-Пинч.

От прежнего наивного представления, что я живу среди естественных людей, остались одни руины. Сегодня я узнал, что общество состоит не только из людей, рожденных женщинами, но и из человекообразных существ, порожденных литературой. О нет, создание книг было не завлекательным сочинительством, как воображалось мне недавно. Книги вторгались в реальность. Сколько раз

я читал, что литература отражает жизнь. Это верно, не возражаю. Но верно и другое: жизнь отражает литературу. И с каждой новой книгой второе делалось могущественней: придуманные великие и мерзкие персонажи оборачивались живыми созданиями — точно такими, как их придумывали: забавными и опасными, благородными и мерзкими, высокими образцами совершенства или подлым комплексом низменности.

Я вышел из спальни, прошел в библиотеку. Почти половину своего сумасбродного гонорара я вложил в эту комнату. Джон использовал все свои связи в книжном мире, чтобы ублажить меня. Семь тысяч томов, шедевры и скудоумные поделки, сияли здесь золотым тиснением корешков, радугой мягких обложек. Какую же массу тысячекратно повторенных псевдолюдей породила каждая! Я схватился за голову, мысли холодными змеями копошились в мозгу. Книг даже в этой комнате так много, что одни хранящиеся здесь человекообразования могут заполнить все поры общества. И я вспоминал комнату, ведущую в призрачный ресторан Гулливера, она в сотни раз больше моей, в ней в тысячи раз больше книг — каждая в свое время была литературным событием, каждая стала источником добра или зла. Как они сражались, те книги! Добро шло на зло, зло подминало добро! А что если реального общества уже нет, и все мы — собрание литературных героев под псевдонимами? И что если сам я, Генри Гаррис, тоже персонаж какой-то позабытой книги? Разве не швырнула мне это в лицо проклятая Дженни Гиена? Какие основания считать, что она врет? И во мне не столько ли жизни, сколько присудил автор той неудавшейся книжицы, моей родительницы?

— Хватит! — крикнул я на себя. — Возьми себя в руки. Персонажи не отменили реальных людей. Не впадай в фантастику!

Нет, человек пока не истреблен, заверял я себя. Но заговор компании литературных персонажей против человечества — несомненен. О нем свидетельствовали и сегодняшняя ссора в зале, и свалка в книгохранилище. Фигуры и безликости поначалу таились среди героев, их было мало, они не набрали сил — сегодня, взыграв, ринулись наступать. Они не остановятся, пока не забьют великие образы, потом пойдут на людей — и превратят жизнь каждого человека в мелкое событие комикса. Таков

адский план. И никто о нем не догадывается, никто, никто!

— Я догадался, я знаю! — страстно объявил я себе.— Я не буду стоять в стороне. Вы пишете в статьях и заверяете в телепередачах, что я гениальный писатель. Узнаете теперь всю тяжкую меру моего гения. Иду на вас! О, это будет зрелище! Всеобщее истребление истребителей! Создаю антилитературу. Битву в книгохранилище повторю на каждой странице нового романа! Книга будет убивать книги. Да, да, да!

Я так долго и так сильно кричал это вслух, что вдруг закружилось все вокруг и я еле доплелся до кресла. Теряя сознание, я думал, что умираю. Но это был только сон.

13

Утром я позвонил Чарльстону:

— Алло, Джон! Начинаю потрясающую вещицу. Воистину невозможное о невозможном! На девяносто девять процентов зачеркиваю всю мировую литературу! Что? Не понял!

— Гаррис, вы титан! — невнятно орал издатель. — Вы переплюнете не только Шекспира, но и Беллингворса. Катайте свою новую книгу, вы меня понимаете? Сегодня перевожу аванс.

Сейчас ночь. Я устал. Я весь день колотил по клавишам. Ничего другого в этот день не произошло, кроме того, что я сидел за машинкой. Но это такое событие, что должен записать его отдельно — продолжаю, оставив книгу, дневник. Ох, что то был за день! Сброду псевдолюдей придется несладко! Я ввел в свой роман чужие персонажи. Известный бандит Джек Недотрога сталкивался с шайкой известного бандита Джима Джексона, по прозвищу Харя-Красавчик, и в развернувшейся ужасной борьбе они взаимно друг друга уничтожали. Попутно Недотрога приканчивал Джеймса Бонда, справедливо заподозрив, что тот совмещает профессию правительственного шпиона с ролью лазутчика враждебной банды. Таков был замысел.

— Сперва один, потом другой! — ликовал я. — Пусть никто не ждет пощады! Взорву изнутри литературу псевдолюдей! Какой удар хватит старую крысу Беллингворса!

Убийство помощника Джека Недотроги сошло легко: его подстерегли, придушили, запихнули в мусорную машину и вывалили на свалке. Но с Гиеной пришлось повозиться. Шайка Джека настигла Змею, когда та выходила из парикмахерской, и Гиена-Змея дорого продала свою жизнь. В момент, когда в нее сбоку стрелял Джеймс Бонд, а с лица сам Недотрога и она, изворачиваясь, сеяла веером пули, и одна, поразив Бонда в руку, превратила его в инвалида и тем предначертала ему в дальнейшем судьбу беззащитной жертвы, — именно в этот момент я ощутил, что действие вдруг раздвоилось. На бумаге марионетки двигались, как я им приказывал, орали предписанными голосами, дико — в точности по заданию — вызверивали рожи; а в голове у меня звучали другие голоса — и они были мне неподвластны.

— Проклятые, вы все-таки меня поймали! Не радуйтесь, Харя-Джексон отомстит ужасно! — хрипела Гиена на бумаге, а внутри меня надрывно вопила: — Не надо, Гаррис! Вспомните, мы на руках принесли вас домой! Посадите меня в тюрьму, только не убивайте!

Я не внял ее мольбам, и Дженни Гиена, по прозвищу Змея, испустила дух. Она лежала на пыльном асфальте у парикмахерской, рыжая, нарядная, в зеленовато-желтом платье, вытянув тонкую шею и раскинув крепкие руки теннисистки. В ее салатных глазах отражалось все, чего она уже не видела, — нахально ухмыляющийся усатый пижон на вывеске парикмахерской и молча стоявшие вокруг прохожие, и два каштана неподалеку, и стоэтажная сияющая башня Радиоцентра — и она смотрела на меня, только на меня, всеми бесчисленными картинами, отраженными в мертвых глазах, корила, что я не пожалел ее. Я вытер с лица холодный пот. Даже придуманных людей убивать не просто. Патрик принес обед, я поел и минут пятнадцать сидел в кресле, закрыв глаза.

Усталость прошла, и я приступил к следующей главе. В ней Джек Недотрога и верзила Том Тапкинс, по прозвищу Крошка, взаимно приканчивали один другого. На первой же странице стало ясно, что пишется трудно не от усталости. Во мне все сильней звучали разные голоса. Одни я переносил на стрницы, они составляли движение сюжета, другие возникали непроизвольно, они опровергали сюжет, путали мои мысли. Я катил роман сквозь эти вторые голоса, как автомобиль сквозь густой кустарник, и с каждой новой фразой сопротивление воз-

растало. Временами мне мерещилось, что сквозь такую разноголосицу не продраться — я оставлял машинку и переводил дух.

— Все в порядке, хозяин, будет исполнено! — бодро рапортовал Том-Крошка Харе-Джексону, посылавшему помощника в логово Джима Недотроги разнюхать обстановку. Заверения верзилы Тапкинса запечатлевала бумага, но в душе моей раздавались иные звуки. Тапкинс говорил с Харей-Красавчиком, а смотрел на меня. — Ты, очкастый слюнтяй, — злобно хрипел гангстер, — попробуй только меня, как бедную змейку!..

Я все же перехитрил Тапкинса, он попал в засаду. Джек Недотрога вонзил в Тома кухонный нож, он по условию шел на свидание без огнестрельного оружия. А Том, рухнув, выпустил в Джека две пули, он условия не сдержал, зная, что к Недотроге, даже лишенному пистолета, без надежной защиты не подходи. Все пока шло по замыслу, тут командовала моя воля. Но уже на земле, издыхая, Том выпустил третью пулю — и не в проклятого Недотрогу, а в меня. Лихорадочно отстукивая сцену смерти, я чуть было не вписал по запарке: «И третьей пулей, выпущенной уже слабеющей рукой, Том Тапкинс, по прозвищу Крошка, сразил самого жестокого своего врага, автора этого романа». Я нервно расхохотался, сообразив, что делаю. Патрик принес кофе. Вошла Дороти. Я отослал обоих. Я был в нетерпении. Сюжет проходил кульминацию. Я вел на гибель самого Харю-Красавчика, знаменитого гангстера Джима Джексона, величайшего человекострадателя среди душегубов. Я создавал шедевр расплаты: вбивал осиновый кол в тело гангстерской литературы!

В отличие от своих помощников, великий гангстер молчал в моей душе. Он чистил пистолет, заряжая его золотыми пулями — прославившее его орудие убийства — и бросал на меня быстрые недобрые взгляды.

— Никого не щадить! — приказывал я себе. — Никого не щадить!

«Получив фальшивую записку уже не существовавшего Тома Тапкинса, ничего не подозревавший Харя-Джексон стал торопливо собираться в дорогу», — лихорадочно отстукивал я на машинке.

И тут случилось чудовищное. Я подвел Джексона к двери. Создатель акционерной компании «Жизнь до востребования» должен был нахлобучить темную шляпу

на глаза и тихо выскользнуть наружу. А он вдруг обернулся и быстро вскинул на меня пистолет. Я отскочил от машинки. Выстрела, конечно, не последовало, но у меня сердце стучало, как мотор с поплавленными цилиндрами.

Я отошел к другому столику и дал себе часовой отдых. На второй машинке я записываю дневник. Меня трясет. Еще никогда я так не нервничал. Сейчас встану и уничтожу созданное мной чудовище. Глупости все эти страхи! Я вел Харю к славе, я сброшу его в бездну ничтожества. Я успокоился.

Я иду!

Послесловие Джона Чарльстона,
директора издательства «Голова всмятку».

Ужасно, вы меня понимаете! Кровоизлияние в мозг произошло в момент, когда великий художник ракетно-ядерной эпохи Генри Гаррис приступил к последней главе своего нового шедевра.

Патрик, увидев хозяина на полу, кинулся к телефону, не трогая тела, чтобы случайно не оставить следов.

Первым примчался Боберман-Пинч. Вторым я. Генри Гаррис лежал на ковре, весь изогнутый и изломанный, словно отчаянно с кем-то перед смертью дрался: ковер был сдвинут, стулья опрокинуты, пишущая машинка валялась у окна, — и должен вам сказать, в таком состоянии, будто ее колотили если не молотком, то тяжелыми сапогами, во всяком случае. И плотная портьера, прикрывавшая окна, была сорвана, не просто сорвана, а обрушена вместе с карнизом. Жуткая картина, говорю вам! Пейзаж небольшого домашнего светопреставления, таким мне предстал рабочий кабинет моего незабвенного великого друга.

Один стол стоял на своем месте несдвинутый и неповрежденный. На столе лежали две рукописи — незаконченный роман и дневник. Роман я забрал, дневником завладел Боберман-Пинч.

Он в восхищении. Он твердит, что большего вздора не читал.

«Это совершеннейшее безумие! — ликует он. — И до того правдоподобно, что хочется повеситься».

Боберман знаменитость, но его выкрики и гримасы утомляют меня. Я сказал, что если он повесится на моих глазах, я не буду торопиться извлекать его из петли.

Он воскликнул, что я верный друг, и растроганно пожал руку.

— И вы, и я расписаны в дневнике такими скотами, что пальчики оближешь!— сказал он с воодушевлением.— Нет, Гаррис видел человека насквозь! Вам понравится. В одном он, впрочем, ошибся. Он думал, что если убьют героев в книге, то они исчезнут. Не понимаю, как в такую светлую голову могла закрасться столь неудачная мысль. Живого человека достаточно убить, чтобы его не стало. Но убитые в книгах герои продолжают жить. Иные становятся еще жизненнее, когда их приканчивают. Ему не надо было ссориться со своими героями, конфликт с ними — вот причина смерти. Это говорю я, Луис Бобермаи-Пинч, и попробуйте меня опровергнуть!

Я не стал спорить и ушел к Дороти. Дороти то льет слезы, то примеряет траурные платья. Я пытался ее утешить, она рыдала еще сильней.

Портнихи действуют на нее лучше, я пригласил сразу двух, они приехали с чемоданами черных тканей. Надеюсь, траурные туалеты отвлекут мою бывшую секретаршу от траурных мыслей.

Когда я воротился в кабинет Гарриса, там хозяйничал капитан полиции с отрядом своих специалистов.

Сыщики ползали по полу, фотографировали мертвое тело, сдвинутую мебель, разбитую пишущую машинку. Они так старались, что я растрогался. Если бы перед ними предстал убийца великого писателя, они, не сомневаюсь, тут же схватили бы его за шиворот — такими все выглядели энергичными и расторопными.

Я спросил капитана, нашли ли что существенное?

— Мы установили, что была драка, — ответил капитан. — Все данные сводятся к тому, что Генри Гаррис жестоко боролся. Он сразу не поддался, это можно считать доказанным. Осмотр помещения дает только такую картину. Уверен, что лабораторное исследование образцов пыли и поломок вещей подтвердит это заключение.

— Что несчастный Генри дорого продал свою жизнь, ясно и без лабораторных исследований. Но с кем он боролся? Кто напал на него? Вот на что дайте ответ.

Капитан смущенно отвел глаза. Он, похоже, затруднился с точным ответом.

— Видите ли... Боюсь, что на Гарриса никто не нападал. Мы не нашли следов посторонних лиц. Гаррис был один.

Капитан справился со своим смущением. Теперь он говорил почти уверенно:

— На Гарриса напал он сам... то есть сам Гаррис. Я хочу сказать, что умерший боролся только с собой. На мебели, на теле, на вещах лишь следы его собственных рук. К сожалению, это все, что нам удалось точно установить.

Пока я разговаривал с капитаном, Пинч что-то искал на теле Гарриса.

— Инсульт, — сказал он, поднимаясь. — А перед разрывом сосудов в мозгу приступ дикой ярости. Нападение на самого себя, самоистребление — такова внешность, и только ее вы видите, капитан. Хороший врач обязан заглянуть глубже. Что породило внешнюю картину гибельного сражения с собой? Вот какой вопрос я задаю себе. И ответ получается естественный. Голову на отсечение, Красавчик успел поразить нашего гения своей золотой пулей. Но и следа нет от выстрела, вот единственное, что меня смущает.

Он искал мифическую золотую пулю!

Нет, вы меня понимаете?

ФОРМУЛА ЧЕЛОВЕКА

Научно-фантастическая повесть

1



меня путаются мысли. Я ошибиться не мог. Тем более нет ошибок в формулах Шефа. После ухода мистера Пайерса я снова и снова гоняю машину. Результат неизменно тот же — в вычислениях все правильно. Я не могу этого принять. Это больше чем катастрофа. Это недопустимо. Я плачу над матрицами и интегралами. Бедный Шеф, великий, несчастный Шеф!

Завтра я проведу опыт на себе. То, что случилось с Шефом, со мной произойти не может. Я обладаю стопроцентной гарантией удачи. На моем столе возвышается горка стальных дисков — уникальнейший документ, исчерпывающая кинолетопись моего детства. Друг отца, кинооператор, заснял на пленку мое появление на свет, мою первую гримасу, первое подергивание ручек и ножек, первые испачканные пеленки. День за днем он запечатлевал, как из живого комочка я превращаюсь в мыслящее существо. Говорю вам, это потрясающе доказательный материал. В любой тяжбе о наследстве, любой суд принял бы мои материалы как неопровержимые. К сожалению, проблема куда сложнее запутанных споров об имуществе. Однако всякую сложность можно свести к конечной сумме простых истин. Я гляжу на стопку дисков и радуюсь, поскольку это возможно в моем горестном состоянии. Завтра я докажу на собственном примере, что теория Шефа безукоризненна. У меня становится светлее на душе, когда я думаю о том, что произойдет завтра.

И если я пишу эти записки, то не в качестве завещания. Несчастья быть не может, ибо я рожден женщиной. Я десятки раз изучал кинопленку своего существования,

кроме первого диска, что лежит сверху. «Этой ленты тебе нельзя смотреть, Ричард, — говорил отец. — На ней увековечены твои роды — твоя мать в постели, твой выход в мир». Но если мне нельзя взирать на обнаженную мать, это могут сделать другие. И это полчаса назад уже сделал Пайерс. Он засвидетельствовал, что я рожден нормально, не легче, но и не труднее, чем все мы. Я отвлекаюсь. Смешно доказывать, что я человек, когда никто в том и не сомневается. Я хотел говорить о другом — о последних днях Шефа.

Шеф заполняет мои мысли и чувства. Я хочу занести на бумагу его проекты, его изречения, его опасения, его восторги. Я вижу его — грохочущего, задумчивого, подавленного, ликующего. Он ходит около меня. Он разговаривает со мной. «Если не ошибаюсь, вы дурак, Ричард!» — говорит он. Он всегда ругается, когда ему весело. Я люблю Шефа. Я содрогаюсь от горя, что все так трагически, так необъяснимо трагически закончилось. Шефа нет, есть его теория. Я не хочу оплакивать Шефа. Я буду его возвеличивать!

2

Шеф разработал теорию автоматов. На основе этой теории он сконструировал машину, определяющую степень искусственности любого объекта. Ничего равноценного его теории и этой машине, которую мы недавно стали испытывать, еще не существовало. Даже перед золотым крестом господа на Страшном суде я буду настаивать, что Шеф совершил поворот в развитии человечества. Все ученые рядом с шефом — мальчишки возле титана. До него вообще не было ученых. Ибо Шеф... нет, не буду предварять события! У меня путаются мысли, и я тороплюсь... Все это слишком необыкновенно, слишком важно для всех нас. Речь идет о судьбах человечества, я не собираюсь это скрывать.

Я вспоминаю, как Шеф швырнул мне на стол кипу исчерканных бумаг. У меня замерло сердце и подогнулись колени. Бумаги выглядели потрясающе: помятые, запачканные чернилами и маслом. Их вид предвещал переворот, может быть, даже катастрофу. Я не мог оторвать от них глаз. Потом я посмотрел на часы и на Шефа. Стрелки показывали восемь, а Шеф был спокоен. От

него исходил аромат, легкий, почти неуловимый, чего-то острого и раздражающего, обычные — и необыкновенные — его духи, так мне тогда казалось. Пусть все знают: новая эпоха началась в восемь часов вечера шестого апреля 1975 года, в Пасадене, городе около Лос-Анджелеса, а Шеф был спокоен, и от него пахло духами. За окном бушевал закат, небо корчилось в безмолвном сиянии — бумаги пылали, как подожженные. А Шеф был почти задумчив в это удивительное мгновение человеческой истории.

— Вы остолоп, Ричард! — заметил он дружески. — Я не встречал большего оболтуса. Ну, чего вы так уставились на стол? Вычисления надо проверить, а не любоваться ими. Введите их в вашу собаку... я хотел сказать — в машину.

Я не мог сделать движения. У меня отказал голос.

— Это?.. Это?.. — еле выговорил я.

— Да, это, — сказал он. — Я поражен вашей проницательностью. Если и дальше пойдет так же, лет через десять вы станете почти умным человеком.

Я взял листочки в руки. Я перебирал их, как драгоценные камни. Они были драгоценней бриллиантов. В них содержалась полная теория биологических автоматов: самонастраивающиеся, самовоспроизводящиеся, саморазвивающиеся системы. Не жалкие механическо-электронные роботы, но разумные искусственные существа. О, нет, я не собираюсь приписывать Шефу честь первосинтезатора живых автоматов! Этот научный подвиг совершил профессор Пайерс. Именно Пайерс, а не Шеф, создал первую живую мышь — и она была настолько живой, что реальные мыши приняли искусственницу в свою среду. К сожалению, первое живое существо пока остается и последним. Ни сам Пайерс, ни другие лаборатории мира не сумели повторить его достижения. Синтетическая мышь Пайерса невоспроизводима. Она была таким же плодом эмпирической работы, как и реальные живые мыши — и в такой же мере случайна и нестандартна. Если бы я не опасался быть ложно понятым, я сказал бы, что Пайерс не сконструировал, а родил свою мышь. Он прилежно собирал ее из клеток, самоотверженно склеивал из тканей, а не рассчитывал по формулам — естественно, что он не сумел воспроизвести своего же шедевра. И от гения нельзя требовать большего, чем он может. Пайерс не обладал математическим расчетом мыши.

В каждом существе от рождения заложена его формула — неудивительно, что любая пара родителей, не трудя мозгов, печет потомство. Производство детей — устоявшаяся эмпирика быта. Но первосоздание — вдохновенный полет в неизвестное. Хорошее первосоздание требует хорошо разработанного проекта. Разработать проект мыши — я уже не говорю о человеке — а затем наладить воспроизводство мышей, может пока лишь господь. Я верю в высшую силу и благоговейно поручаю ей то, чего сам не могу. Шеф, конечно, не Бог. Но он ближе всех приблизился к божественности. И хоть сам он эмпирическим, так сказать, старанием не сумел бы произвести человека (он не был женат и не интересовался женщинами), но зато он первый после господа разработал математический проект человека.

Я снова отвлекся. В восемь часов вечера шестого апреля 1975 года я держал в руках совершенную теорию живых автоматов. Отныне не только синтезированные мыши, но и кошки, волки, собаки, слоны все известные животные, все неизвестные биологические формы, лишь бы они были математически непротиворечивы, стали осуществимыми. О человеке я тогда не думал. Искусственный человек — это было слишком для меня.

Но для могучего разума Шефа проблема людей-автоматов уже и в тот миг не таила в себе ничего сверхъестественного и аморального. Для него не существовало этики — лишь математика.

— В ближайшее время я займусь этой задачкой, — сказал он. — Вывести n-степенную матрицу зачатия и дополнить ее дифференциальным уравнением внутриутробного развития — заманчиво, а, Ричард? — грохотал он.

А потом, поостыв, он добавил:

— Синтетические люди будут выше нынешних продуктов кустарной супружеской деятельности. Человек нашего времени меня разочаровывает. Каждый преследует свои особые цели в жизни. Мне это надоело.

Я осмелился возразить:

— Но, Шеф, не в вашей власти...

Он оборвал меня:

— Я знаю, что власти у меня меньше, чем желания власти. Ах, что бы я сделал, если бы мои руки легли на государственный руль! Я осуществил бы наконец розовую мечту моего детства. А также голубую — юности...

Я любовался Шефом. Он был мужествен и красив —

почти два метра ростом, почти центнер весом, почти с четырехугольным лицом, жесткими черными усиками, мощным ртом, мощным носом, массивным лбом, узкими и сверкающими, как лезвие ножа, глазами. Он врезался, а не вглядывался, пронзал, а не кидал взгляд — таковы были его глаза! Я никогда не понимал, почему женщины отшатываются от Шефа. На их месте я влюблялся бы в него без памяти. В мире не существовало человека столь достойного поклонения. Но женщины чураются гениальности. Так я думал тогда, ибо не знал еще истинной природы Шефа.

— Вы не говорили, что ваши мечты окрашены в разные цвета, Шеф, — сказал я.

— Вы кретин, Ричард, — великодушно разъяснил Шеф. — Бесцветных мечтаний, как и бесцветных дней, не существует. Или вы не знаете, что цветов в спектре столько же, сколько дней в неделе? Только круглый идиот не видит, что понедельник красный, среда желтая, а суббота синяя. Я классифицирую мысли по окраске. По вторникам я размышляю оранжевыми мыслями, для воскресенья же лучше фиолетовые — ярко-лиловые на рассвете, а к вечеру густо-псовые... я хотел сказать — густо-фиолетовые. Ход моих изысканий сверкает радугой. Главная моя сила — в многоцветности мыслей, а вовсе не в их многообразном содержании, как наивно полагают иные...

Я выразил удивление. Шеф с увлечением продолжал:

— Я вам открою одну тайну. Мои мысли пахнут. От теорем веет рокфором, гипотезы отдают селедкой, жаренной на машинном масле, выводы из посылок дышат чесноком. Мой мозг, работая, излучает благовония весеннего луга и хорошо унавоженного огорода. По волне моих ароматов легко распознать, о чем я думаю. Меня можно понять, когда я молчу и стою к вам спиной — надо лишь поводить носом. Одних людей, чтоб распознать их, нужно выспрашивать, других — разглядывать, но меня достаточно вынюхивать.

Я наконец понял природу благовония, постоянно распространяемого Шефом. Это пахнут мысли Шефа, а не духи. Не жалкие запахи парфюмерной промышленности, но могучий дух творческих изысканий — вот чем несло от Шефа.

— Вы говорили о розовой мечте детства, — напомнил я. Шеф, увлекаясь, порою чрезмерно разветвлялся. Даже из такого бледного факта, что дважды два четыре, он

мог извлечь десяток ослепительных теорий и сотню сногсшибательных парадоксов. При нем лучше было не повторять стертых фраз: «Погода хорошая», «Идет дождь», «Я выспался» — на вас тут же обрушивались неожиданности тысяч следствий и выводов.

— Да, розовая, — сказал Шеф. — Я как-то прочитал, что в одном городе все люди ходят в белых брюках. Я скрежетал зубами от ярости. Я ненавидел этих людей, так меня расстраивал тот отвратительный факт, что все они... Я плакал от бессилия. Я придумывал страшные кары белобрючникам, подвергал их пыткам! Ах, детство, золотое детство, сколько в нем непосредственного и наивного, и вместе с тем дьявольски сложного, не правда ли, Ричард?

— А голубая, Шеф?

— Эта была проще. Я возненавидел кипарисы. Опять были бессонные ночи и глухие слезы в подушку. Я про себя издавал указы об истреблении всех кипарисов, наряжал отряды палачей-дровосеков. И лишь когда рушилось последнее древесное отродье, я, измученный, упоенно засыпал.

— Но почему вы невзлюбили эти бедные деревья?

— Они не бедные, а мерзкие! Они слишком стройны и нагло лезут вверх. К тому же от них пахнет гуталином. По-моему, этого достаточно, чтоб лишить их права на жизнь.

— Несомненно, Шеф. Но я возвращаюсь к синтетическим людям. Вы думаете, они в чем-либо превзойдут нас?

— Не в чем-либо, а во всем. Более примитивного создания, чем так называемый естественный человек, в мире не существует. Знаете, что мне не нравится в людях? У каждого личная программа жизни! Это хаотично. Почему вы стремитесь к одному, а я к другому? Я трясусь от бешенства, когда подумаю об этом! Все люди должны желать лишь того, чего желаю я.

— Но согласитесь, Шеф...

— Не соглашусь! Никогда не разрешу!

— Я хотел лишь сказать, что будет трудно добиться такого одночеловечения людей.

— Пустяки! Я математически сформулировал одну программу для всех. Я назвал ее Формулой Человека. Забегая вперед, скажу, что моя Формула Человека — единственный действенный способ навсегда покончить с ком-

мунизмом. Нужно лишь принудить всех людей полностью подчиниться этой Формуле.

— Шеф, я содрогаюсь от нетерпения!

— Го-го-го! И-ги-ги! — Шеф грохотал от восторга. Мысли его были так необыкновенны, что аромат их стал почти непереносим. — Содрогаетесь от нетерпения! Когда я объявлю Формулу, вы рухнете ничком! Не вытаращивайтесь так жутко. Слушайте спокойно. Я запрограммирую человека лишь с одной жизненной целью: во всем обгонять каждого своего соседа.

Сгоряча Формула Человека не показалась мне оригинальной. Воистину, Шеф был прав: я был тупицей и кретином. Сейчас, вспоминая тот разговор, я удивляюсь великодушию Шефа. Он не испепелил меня, не стер в порошок, не затоптал ногами. Он лишь с презрением смотрел на меня.

— Вы ничтожество, Ричард, — вымолвил он со скорбью. — Боже, каких ты мне посылаешь учеников! Признайтесь, вы так и не поняли, что человечество вступает на новый путь и причиной переворота — моя Формула?

— Нет, почему же, — пробормотал я. — Если по-честному... Конечно, это почти... грандиозно!.. Но с другой стороны...

— Не мешайте! Не терплю слов, пахнущих сладковатой неопределенностью сирени. Я за резкие, как вопль, запахи. Говорите так, чтоб мои ноздри ощущали крепость слова.

— Не понимаю! — выпалил я.

— Пахнет изрядно! — одобрил Шеф. — Сера, аммиак и еще — самую малость — паленая шерсть. Почти пороховой ответ. Теперь внимайте — и не одними ушами, но и глазами, и носом, и языком, если вы способны хоть немного воспринимать блеск, аромат и вкус фундаментальных открытий.

Объяснение Шефа, и вправду, было ярко и терпко. У меня свело скулы и оборвало дыхание. Это продолжалось не больше минуты — время, что требуется для духовного прозрения. Шеф говорил, что люди исстари и доныне стремятся к чему-то, что называют удовлетворенностью, благосостоянием, благоденствием, благопристойностью и прочими такими же невыразительно пахнущими, липкими на ощупь, сладенькими на язык словечками. Математическому выражению эти стремления не подда-

ются: крохотные дифференциалы непохожих влечений невозможно суммировать в едином интеграле.

Именно такой, всеобщий, обязательный, могущественный интеграл и представляет собой Формула Человека: быть всегда впереди своего окружения — соседей, знакомых, прохожих, короче, всех людей, о которых ты слышишь или на которых падает твой взгляд. Человек, запрограммированный подобной целью, способен на чудеса. Перед человечеством открываются невообразимые возможности усовершенствования. У Джона четыре костюма? Всеми средствами добивайся, чтоб у тебя было пять. Романо женился на красивой девушке? Если нет более красивой — отбей у Романо его красавицу. Пьер зарабатывает сто в неделю? Расшибись в лепешку, но отхвати сто пять. Сэмюэль съедает три бифштекса за раз? Поднатужься и съешь три с половиной. У Жанны автомобиль последней марки? Заставь мужа купить автомобиль еще новее. А если он не способен на это, брось своего мужа; этот жалкий обормот ни на что не годится. Чарльз обошел тебя по службе? Подставь Чарльзу ножку, утопи в болоте, но обгони. Распихивай соседей локтями, топчи ногами, вонзай в них клыки, но вырывайся вперед! Обязательно вырывайся вперед!

— Но, Шеф!.. — возразил я, потрясенный. — Если не ошибаюсь, вы открываете дорогу изменам, подсиживанию, интригам... даже убийствам!

— Вы слюнтяй! — установил Шеф. — Вы светитесь тускло-голубым, и от вас пахнет ландышевой водой. К сожалению, в нашем несовершенном обществе за убийство карают. Но если обеспечена гарантия, что наказания не будет, тогда, конечно... Я выразил мысль ясно, Ричард?

— Да, ясно, — пролепетал я.

— И еще одно! — воскликнул Шеф, воодушевляясь.— Люди сегодня испытывают тысячи различных чувств — и все они равноценны. Вы меня поняли, Ричард? Любовь, негодование, приязнь, дружба, доброта, гнев — у кого как... Над всем этим хаосом аморфных эмоций завтра вознесется одно организующее чувство — самообожание. Да, самообожание, это отличное слово, оно пахнет гвоздикой и светится пронзительно зеленым. И тут я возвращаюсь к тому, с чего начал. Я начинаю новый этап борьбы с коммунизмом. Политики свыше ста лет пытаются истребить коммунизм языком и палкой, тюрьмой и золотом. И каков результат их стараний? Одни поражения!

Коммунизм политически непобедим. Это теперь ясно даже кретинам. Но я объявляю раковой опухоли коммунизма психологическую борьбу! Я заражаю людей спасительной бациллой самообожания — и коммунизму крышка! Достаточно всем людям беззаветно влюбиться в себя, возлюбить себя, как... как самих себя, Ричард!.. И то, перед чем в страхе отступают беспомощные политики, будет мгновенно повержено. Теперь признавайтесь — каково, а?

Я молчал, ошеломленный. Я думал о том, какое грандиозное ускорение обретет общество, в котором каждый член его запрограммирован целью обставить своих соседей. Я вдруг увидел бездны и тьмы людей — современное общество. Люди тупо толкались на местах, куда их швырнуло в жизнь — серое ковыряние мелочного жизненного уголка, равнодушная масса, инертно поддерживающая примитивное существование. Внезапно на их головы проливается пронзительный свет Формулы Шефа. Из миллионов глоток вырывается свирепый вопль, миллионы тел бешено устремляются вперед, кто-то отстает, кто-то падает, отстающих не поджидают, по трупам упавших бегут — вперед, вперед, хоть на сантиметр, но впереди соседа! У меня покрывалась пупырышками кожа, до того величественно было зрелище нового общества, сведенного судорогой самообожания. И величественно простое решение вековой проблемы коммунизма! Я и раньше не сомневался в гениальности Шефа. Но впервые в тот незабываемый вечер ощутил, что глубина Шефа проистекает от чего-то сверхчеловеческого.

— Теперь вы знаете, что надо делать, — закончил Шеф.— Возьмите автоматы и живые существа и проверьте на них формулы. Созвонитесь с Пайерсом, чтоб он тоже... И пусть ваша свинья... я хотел сказать — ваша машина... Короче, пусть она проанализирует, нет ли погрешности в вычислениях.

3

Пайерс прибежал со своей искусственной мышью на следующий день. Собственно, мышь не бежала, а сидела в клетке, вместе с другими тремя мышами естественного происхождения. Четыре серенька зверька были так схожи, что я не выделил среди них искусственницу.

Пайерс в восторге бил меня по плечу, так порадовала его моя ошибка. Он, как и Шеф, выражает свои эмоции бурно. Но на этом кончается их сходство. Пайерс — маленький, седенький, быстренький, вечно хохочущий, вечно потирающий лапки человечек с помятым личиком. Он похож на свою мышь, только побольше ее. Мне временами кажется, что если бросить его на пол, он побежит на четвереньках, волоча фалду фрака, как хвостик. И я не удивляюсь, что он первосоздал мышь, а не слона — он подбирал животное по себе. Шеф меньше, чем на буйволе, не помирился бы. Пайерс обожает Шефа и поклоняется ему, как иконе. Если бы Шеф разрешил, Пайерс целовал бы Шефу руки и становился перед ним на колени.

— Гениально! Гениально! — попискивал Пайерс, пробегая глазами вычисления Шефа. — Ох, знал бы я все это раньше!

В чрево машины ввели трех естественных мышей, и машина объявила, что они живые организмы — это была проверка ее настройки. А когда в ее недра погрузили мышь-искусственницу, на табло засветилась надпись: «Живой автомат». Я ввел в машину также крохотного электронного робота весьма совершенной конструкции, такого подвижного, что он не меньше, чем искусственница Пайерса, казался живым. Машина указала точно: «Саморегулирующаяся мертвая система. Робот третьей категории».

Мы строили машину еще до того, как Шеф разработал Формулу Человека. Но его теория живых автоматов была уже создана и использована в анализаторах машины.

Во время этих операций появился Шеф. Он радостно загрохотал, здороваясь с Пайерсом.

— Ну, как вам нравится? — сказал Шеф. — Наша машина анализирует форму тела, окраску волос, глаз и кожи, запахи и звуки объекта, электропотенциалы органов, излучения мозга — короче, все! Если она объявит, что существо живое, то можете не сомневаться — полноценная жизнь! А если скажет, что механизм, то сколь искусно ни камуфлируйте под живое — все равно механизм!

— Потрясающая машина, — объявил Пайерс восторженно. — У меня трясутся ноги, когда я погляжу на нее. На человеке вы ее не испробовали?

— Не было нужды. Искусственных людей пока не су-

ществует. — Шеф гулко захохотал. — Но со временем, когда моя теория станет практикой, — с вашей помощью, Пайерс, с вашей помощью! — тогда, конечно, она поможет нам расклассифицировать людей по степени искусственности... Пойдемте в мой кабинет, Пайерс.

Когда они ушли, я некоторое время сидел неподвижно около машины. Я хорошо помню свое состояние в те минуты, когда оба они, Шеф и Пайерс, ушли договариваться о совместной работе. Все во мне ликовало. Я источал запах восторга. Машина работала, согласно формулам Шефа, давала разумные ответы — все, стало быть, было разумно в самой теории! Шеф был самым гениальным из людей! Он был сверхгениален!

И тут впервые мне явилась мысль — проверить Шефа. Я рассуждал так. Если машина объявит, что гениальность Шефа выше всех известных в истории, даже враги Шефа уверуют в его величие.

И тогда, заперев дверь на ключ, весь внутренне содрогаясь, я достал из сейфа сокровеннейший документ, лучшее мое достижение — магнитный паспорт Шефа. Сто сорок девять дней, почти полгода, я трудился над этой пленкой всего в четырнадцать граммов весом, но она вместила в себя столько информации, что для передачи ее словами потребовалась бы целая библиотечка книг. Да и смогли ли бы невыразительные человеческие слова выразить занесенные на пленку темные влечения, тайные помыслы, сокровенные цели, подавляемые позывы, недопустимые мысли? Весь Шеф был здесь, полностью, целиком — физические данные, химическое строение, умственные способности, психические наклонности. Он был, повторяю, полнее на этой пленке, чем в жизни. В жизни, меж нас, Шеф бывал то одним, то другим, здесь он присутствовал всяким, во всей своей всевозможности и всесодержательности. Здесь он был подлинный и настоящий. И, чтоб паспорт был еще полнее, я продиктовал на него последнее, пока не записанное достижение Шефа, — его Формулу Человека.

Я вложил трясущимися руками магнитный паспорт в чрево машины. Магнитный паспорт разматывался, машина вспыхивала разноцветными лампочками, тихо ворчала, излучала тепло и запахи нагретого металла и пластмассы, все ее десять тысяч киловатт трудились, чтоб вложить в единое предложение безмерность психических богатств Шефа. Но когда на табло засветился ответ, я

чуть не потерял сознание. «Живой автомат» — сформулировала машина свое заключение о Шефе.

Я не мог в это поверить. Я был еще слеп в то мгновение. Живых автоматов не существовало, кроме мыши Пайерса. Шеф был сверхчеловек, гений, нечто по ту сторону добра и зла, но не автомат. Проклятая машина не анализировала природу Шефа, а изрыгала на него недопустимую хулу. Это было адское создание, а не машина, старая баба, а не электронный анализатор!

Я погрозил машине в ярости кулаком.

И самое чудовищное, так мне представлялось тогда, было в том, что машину разрабатывал Шеф. Его собственное творение отказало ему в праве называться человеком!

— Демонтирую! — бешено выругался я. — Всю в клочья и винтики демонтирую!

Машина возвышалась надо мной, бесстрастная и высокомерная, разноцветные ее глазки угрюмо вспыхивали и погасали. Она настаивала на своем. «Живой автомат» — утверждала надпись. Она издевалась над моим создателем, а не оценивала его!

Я сбил надпись в табло. Я задал машине новую задачу. На этот раз она должна была описать Шефа полнее. Машина работала около минуты — это была самая тяжелая минута моей жизни. Ответ был красноречив и тяжек: «Самонастраивающаяся, саморегулирующаяся мыслящая автоматическая система. Новой Формуле Человека удовлетворяет, но человеком не является».

Я сбил надпись, спрятал магнитный паспорт в сейф и сел у стола. Мысли прыгали во мне, как расшалившиеся зверьки, я не мог ухватиться ни за одну. Я был растерян, меня душили страх и отчаяние. Мне хотелось плакать. Машина была создана в качестве нашего ученого слуги, она была квалифицированным рабом — и только. И вот — слуга насмехается над работодателем, раб взбунтовался против хозяина!

В лабораторию вошли Шеф с Пайерсом. Шеф повел в мою сторону носом.

— От вас несет жасмином, Ричард,— определил он,— это запах растерянности. И немного ромашкой — это запах испуга. И вы весь светитесь желтым. Желтое — цвет подавленности. Не знаю, каковы вы на вкус, но думаю, что кисловато-горький. Кисловато-горькое свидетельству-

ет о недоумении. Вы у меня першите в горле, Ричард. Я хочу знать, что случилось?

— Ничего важного, — пролепетал я. Я в очередной раз был сражен проницательностью Шефа. — У меня, и впрямь, что-то разболелась... Но я принял пилюли.

— Отлично. Прием лекарств не действует на болезни, но укрепляет сознание исполненного долга. Значит так, Ричард. Сегодня оранжевый день. С утра голубого вы с Пайерсом приступите к разработке практических методов синтезирования живых существ повышенной сложности. Оценку вашей работы даст наша машина. Для подготовки желтый и зеленый дни.

В уме я перевел указания Шефа на более привычный язык. Сегодня был вторник, работа с Пайерсом начиналась в пятницу, среда и четверг отводились на подготовку.

Шеф с Пайерсом заговорили о программе на пятницу, а я рассматривал Шефа, словно увидел впервые. И тут меня пронзило еще не испытанное ощущение. Я смотрел на Шефа теми же глазами, какими всегда глядел, но видел то, чего ни разу не наблюдал. Я будто прозрел.

Шеф, и вправду, был нечеловечен. Или, точнее,— квазичеловечен.

4

Я знал о необычности Шефа. То была необычность выдающегося человека. Она была человечна, эта его о т л и ч н о с т ь от других людей, так мне воображалось. Я еще мог допустить, что своеобразие Шефа сверхчеловечно, ибо он стоял выше нас всех по уму. Я с любовью говорил: необыкновенность Шефа в том, что он обыкновенный сверхчеловек. Все это были метафоры, гиперболы, острые словечки. Шеф оставался человеком, даже будучи сверхчеловеком.

Но он не был ни человеком, ни сверхчеловеком. Он и внешне не походил на человека. Он был слишком угловат и массивен, слишком, я бы сказал геометричен. В человеке формы стерты и округлены, а в Шефе они были выперты острыми гранями. В человеке господствует — и в теле, и в характере — кривая линия, обтекаемая окружность, в Шефе сверкали колючие прямые, он выражался параллелепипедами, а не шарами. А его грохочу-

щий голос? Его пылающие прожекторной мощью глаза? Его целеустремленность тарана? Его ненависть к белым брюкам, остервенение против кипарисов? Человеку наплевать, какие деревья растут на земле, в какой одежде ходят жители дальних стран, лишь бы нелюбимых деревьев не было на его участке, лишь бы в отвратительных одеяньях не прогуливались по улицам его городов. А Шеф не спал ночей, его терзало даже то, что не имело с ним соприкосновения.

Я сравнивал Шефа и Пайерса. Они были во всем разны. Если Пайерс казался человеком, маленьким, жалким, гениальным, но все же человеком, то Шеф был из иного мира. Сколько раз я говорил себе, что он по ту сторону добра и зла. Но он был вне добра и зла. В его мире не существовало таких затрепанных и невыразительных понятий, как добро и зло.

— Права машина! Нет, права машина! — выговорил я вслух.

Они оба повернулись ко мне.

— Ваши запахи усилились, Ричард, — прогремел Шеф. — Теперь вы благоухаете резедой. Это очень решительный аромат, уверяю вас. Думаю, ваши странные колебания кончились. Итак, мы вас слушаем.

— Да, мы вас слушаем! — прошелестел Пайерс. — Говорите, Ричард, не стесняйтесь: в чем же права машина?

— Я не стесняюсь, — сказал я. — Но... все это очень личное...

Пайерс вскоре попрощался, и Шеф, готовясь к приятной беседе со мной, развалился в кресле. Я смотрел на его выпяченные губы и думал, что это скорее глухие балюстрады, а не губы. Уши напоминали раструб кларнета. Я уже не говорю о ногах. Шеф покоился на двух подвижных колоннах, обутых в лакированные туфли. Каждая деталь рассчитывалась отдельно, а потом их собирали в целое, подумал я о Шефе. Мне стало страшно от кощунственных мыслей.

— Кройте! — разрешил Шеф. — Вы пылаете зеленым пламенем нетерпения.

— Шеф, я думал о вас.

— Люблю, когда обо мне думают, — одобрил он. — Думать обо мне нужно фиолетово-красными тонами. Лучшие дни для этого — воскресенье и понедельник. Вы размышляли обо мне вчера?

— Я думал о вас сегодня. И мысли мои были испепеляюще оранжевыми. Вы не человек, Шеф.

— Это сильно сказано, — заметил он.

— Это верно сказано, — отпарировал я.

— Объяснитесь, — потребовал он, оглушительно зевнув. Зевок гремел у него под нёбом, как вопль гремит под сводами пустого храма. Это тоже было нечеловечно.

Я рассказал, как оценила машина магнитный паспорт. Глаза Шефа заблестели. Он стал ходить по лаборатории. Он размышлял, хмурясь. Теперь и я ощущал, как пахнут его мысли. Они пахли лимоном и корицей. Мысли Шефа были терпки.

— Еще раз вложите паспорт в вашу дохлую кошку,— потребовал он, останавливаясь. — Я хотел сказать — в вашу машину.

Я молча ввел магнитную ленту в чрево машины. Опять на табло засветился ответ «Живой автомат», краткая характеристика дополнилась разъяснениями. Шеф возвратился в кресло. Четырехугольные глаза его нестерпимо сияли. Теперь он пахнул луком и редькой. Даже без пояснения я понимал, что это очень категорические запахи. Они свидетельствовали, что время взвешиваний кончилось и настал час выводов.

— Забавно! — сказал Шеф. — И знаете, Ричард, довольно убедительно.

Тогда я взвыл:

— Шеф, подумайте, что вы говорите!

— Не вспыхивайте малиновым цветом, — возразил Шеф. — Приведите себя в более спокойный желто-зеленый. И не так ярко, Ричард, не так ярко, вы слепите глаза. Я все обдумал.

Голос у меня дрожал от путаницы мыслей, но я постарался держаться спокойнее. Я притушил себя.

— Рожденный женщиной, — сказал я. — Рожденный женщиной!.. Шеф, что же это получается?

На это он дал неожиданный ответ:

— Я не знаю родившей меня женщины.

— Вы не знаете родившей вас женщины? — закричал я. — Вы не знаете своей матери? Вы никогда не ощущали вкуса грудного молока? Нежные женские руки не пеленали вас? Ласковые губы не касались вашего лобика?

Он утвердительно кивал головой на мои выкрики-вопросы.

— Я подкидыш. Меня нашли на ступеньках крыльца.

Меня воспитал холостяк, заменивший мне отца. Что до женского молока, то я его пил лишь из бутылочек фирмы «Юнивелер» с надписью: «Настоящее синтетическое грудное первороженицы». Но до сегодняшнего дня я верил, что реальная моя мать, так сказать, в натурально женском ее выражении все-таки существовала.

— А сейчас? Что вы думаете сейчас, Шеф?

Он повел носом и поморщился.

— Не так сильно, Ричард, не так сильно! Говорю вам, мыслите поспокойней. Не вносите в простую проблему такие резкие запахи и такие кричащие краски.

— Боже мой, вы считаете эту проблему простой?

— Абсолютно. Неужели вы серьезно могли подумать, что созданная мною машина могла ошибиться?

— Нет, я этого не думаю, — сказал я, запинаясь. — И если по-честному... Вы, конечно, на человека не похожи... Я имею в виду рядового человека, поверьте... но если даже согласиться с некоторой искусственностью... ведь это страшно сложно, непостижимо сложно!

— Наоборот, кристально просто. Что я не рожден, а изготовлен, по-моему, доказано. Остается дознаться, смонтирован ли я из деталей или синтезирован сразу, как целое.

— И кто вас синтезировал или изготовил? — закричал я. — Кто был вашим синтезатором или изготовителем?

— Да, и это интересно, — согласился он. — Я как-то не подумал о своих изготовителях, но они, несомненно, были. Проблема моих творцов еще ждет своего решения. Я бы с удовольствием встретился с этими существами и пожал им руки.

— Эти люди, ваши создатели... — начал я.

— Будем говорить — существа, — поправил он. — У нас нет доказательств, что мои изготовители были людьми.

Спокойствие Шефа казалось мне непостижимым. Он сразу принял то, что для меня являлось переворотом взглядов. «Принял» — неподходящее слово. Уверовал, что он искусственник. Ему нравилась его квазичеловечность.

— Вы редкий тупица, — сказал он сердечно. — Как мне не радоваться, если я нашел отличное объяснение многим загадкам своей натуры?

Он говорил долго и прекрасно. Я слушал его не прерывая. Я был захвачен его вдохновенной речью. Он описывал страдания несоответствия, томившие его с детства. Он был иной, чем окружавшие его люди, желал

иного, стремился к иному. Он чувствовал, что превосходит всех, с кем соприкасается. Временами его тяготил груз своего духовного превосходства. Его угнетала собственная ненормальность или сверхнормальность, он больше любил это словечко. Но теперь все прояснилось. Он нормален, но нечеловеческой нормой. Он нашел себя. Он именно таков, каким должен быть. И если лежит на его плечах бремя превосходства над жалким миром естественных людей, то это бремя искусственников — вот как он назовет это новое на земле явление. Бремя господства совершенных автоматов над кустарными созданиями, именуемыми людьми. Начинается новая эра, он — предтеча новой эры. Люди под пятой автоматов — как это воодушевляет! Люди, подражающие автоматам, роботизирующие себя, бешено усовершенствующиеся люди — такова перспектива грядущего развития. И то, что он вооружил беспомощно естественных людей могущественной Формулой Человека, тоже логично вытекает из его неожиданно разъясненной природы, ибо Формула Человека, основанная на безмерном, свирепом самообожании...

— Вы вполне удовлетворяете Формуле Человека, — прервал я его мечтания. — Это подтвердила машина.

Он снова показал, что он в первую очередь — ученый.

— Между прочим, это ничего не доказывает. Естественные люди тоже временами удовлетворяют Формуле Человека, хотя и не так совершенно, как мы, искусственники. Но, прежде всего, нужно исчерпывающе доказать мою нечеловечность.

— Вы сомневаетесь в ней, Шеф? Более квазичеловеческого создания,..

— Я не сомневаюсь. Но другие могут усомниться. Ничтожным людям свойственно думать, будто все созданы по их образу и подобию. Что до образа, то внешнее сходство, пожалуй, есть. Но подобие я отрицаю. И я не помирюсь, пока наша разноподобность не станет ясна для последнего человеческого болвана. Короче, введите меня в машину. По мне, живому, пусть она установит мою и н о ж и з н е н н о с т ь.

Я отшатнулся. Я заикался от испуга. На человеке опытов мы не производили.

— Вы не верите в мою искусственность! — сказал Шеф. — Не возражайте, я чую вас носом.

— Я верю, — сказал я. — Но, Шеф...

— Никаких «но», — установил он. — Слово «но» све-

тится тускло и буровато-зеленым, я не переношу этой комбинации цветов. Все «но» в мире пахнут гнилой капустой.

— Я не осмелюсь, — сказал я. — Во всяком случае, один.

— Хорошо. Вы будете работать с Пайерсом. Две подписи под протоколом — по крайней мере, в четыре раза лучше, чем одна. И никаких сомнений, никаких сомнений!

Сомнений у меня не было. Я свято, страстно, абсолютно верил уже, что Шеф не человек, а необыкновенный, удивительный автомат.

5

Пайерс пришел в восторг, узнав, что Шеф — автомат. Он сказал, что давно подозревал что-то похожее. Шеф был слишком великолепен для человека. Одно лишь огорчило Пайерса — что не он первосоздатель искусственников. Но и огорчение не отменило ликования. Он горевал радостно.

— Я так был уверен, что моя мышь уникальна, — болтал он, весь светясь. — Но, оказывается, кто-то опередил меня. Создать такую гигантскую сложную махину, как вы, дорогой профессор!.. Ваши творцы воистину гениальные люди!

— Существа, — поправил Шеф. — Будем осторожны в формулировках, Пайерс.

— Существа, — сказал Пайерс восторженно. — Великие непостижимые существа!

Я подготовил машину к приему Шефа. Она возвышалась над нами, как орган. Я знал, что в расчетах ошибки нет, к тому же машина уже высказала свое мнение о Шефе. Но у меня подгибались колени. Я был несовершенен. Я поддавался проклятому человеческому в себе. Невольно я поставил настройку на малую мощность.

Шеф видел меня насквозь.

— От вас пахнет липой, — установил он. — Липа — запах обмана. Добавьте-ка тысячу киловатт.

Шеф был великолепен. Он вошел в машину невозмутимо, как в салон экспресса.

— До скорого свидания, люди! — сказал он, и это были его последние слова на земле.

Я включил пусковую схему. Машина загрохотала, за-

визжала, заверещала. Она гремела не своим голосом. Она была настолько вне себя, что глазки, вспыхивая, лопались и вылетали наружу брызгами цветного стекла. В световом табло, сменяя одна другую, бешено крутились надписи: «Человек», «Автомат», «Человек», «Автомат». Сквозь грохот взбесившихся механизмов до нас донесся протяжный вопль Шефа. Я исступленно — всем кулаком — ударил по аварийной кнопке.

Я опоздал всего на несколько секунд. Шеф еще дышал, когда мы вытаскивали его из чрева машины. Я вызвал скорую помощь. У меня теплилась надежда, что нам удастся его спасти.

Пайерс, медик по образованию, лучше меня разобрался в состоянии Шефа.

— Агония, — сказал он печально. — Потеряли мы с вами, Ричард, нашего великого друга.

Приехавшие врачи констатировали смерть и увезли Шефа.

Я сидел у стола, отупевший и безгласный. Ни одной мысли не шевелилось у меня в голове. Пайерс страдал не меньше моего, но лучше держал себя в руках.

— Мальчик мой, не надо так убиваться,— сказал Пайерс. — Этого титана уже не воскресить. Давайте проанализируем несчастье. Как по-вашему, нет ли ошибки в расчетах Шефа?

Я с негодованием отверг это предположение. Шеф никогда не ошибался в вычислениях. К тому же машина подтвердила их правильность. В полном согласии с формулами Шефа, она объявила трех естественных мышей живыми организмами, а одну, синтезированную в лаборатории Пайерса, искусственной.

— В таком случае остается одно, — сказал Пайерс.— В Шефе было что-то человеческое.

— В Шефе не было ничего человеческого, — возразил я. — Вспомните, что машина по анализу магнитного паспорта установила, что Шеф — живой автомат. Я уже не говорю о том, что мы, общавшиеся с ним, остро ощущали его нечеловечность. Мы лишь ошибочно считали ее гениальностью.

— Очевидно, паспорт Шефа был не полон. Что-то человеческое в нем осталось, и на эти остатки человеческого произошло короткое замыкание машины, настроенной на полный автомат.

— Естественным в Шефе были лишь вставные зубы.

Они были вынуты из челюсти покойника. Шеф не переносил искусственных заводских зубов.

— А чем вы объясняете, что машина выбрасывала попеременно диагнозы: «Автомат», «Человек»?

— Машина не выдержала могущественных излучений Шефа. Он был ей не по зубам. Я хотел сказать — не по мощности.

Обследование машины вскоре показало, что я не прав. Мощность была использована лишь наполовину. Все схемы работали правильно. Мы поочередно погружали в машину трех естественных мышей, и она сообщала, в соответствии с программой, что в ней живые организмы. А когда мы опять запустили искусственную мышь, машина подтвердила, что та — живой механизм. Для последней проверки мы, сохранив программу искусственной мыши, еще раз ввели в машину естественную мышь. Произошло частичное замыкание, и мышь погибла. Анализ шел безукоризненно.

Пайерс возвратился к мысли, что теория Шефа чем-то грешит. Эта его теория самообожания... Не в ней ли исток нечеловечности Шефа? Не в ней ли причина его ужасной гибели?

Я не мог допустить такого надругательства над памятью покойного. Я стукнул кулаком по столу. Самообожание как способ существования — величайшее из всех открытий Шефа. Самообожание нужно привить каждому человеку, а не сомневаться в человечности этой самой человеческой категории!

— У вас разошлись нервы, — заметил Пайерс.

Я закричал на него:

— Идите вы с вашими нервами! Я докажу, что в теории Шефа верен каждый знак. Говорю вам, человеку свойственно всех ненавидеть и обожать себя. Я всех ненавижу и самозабвенно обожаю себя. А что я человек, я докажу тем, что сам войду в машину.

Пайерс с сомнением смотрел на меня.

— А какую вы зададите программу?

— Разумеется, человека. Или вы сомневаетесь в моей естественности?

— Нет, но... У вас нет этих самых?.. Не самообожания, нет, этого у вас хватает... Вы меня понимаете! Протезов, пластмассовых артерий...

— Единственное искусственное во мне как то, что у бедного Шефа было единственно натуральным, — зубы.

И то не все, а три коренных. На такой ничтожной искусственности машина и не споткнется.

Пайерс заговорил с большой осторожностью:

— Не подумайте, что я подвергаю вас сомнению, но все же... Вы уверены в своем человеческом происхождении? Наш безвременно погибший друг был подкидышем, и, возможно, прискорбный факт, что он не знал своей матери, прикрывал куда более разительный факт, что у него вообще не было матери... А ваши высокие душевные совершенства, столь превосходящие обычные человеческие...

— Я понимаю вас, — сказал я. — И я опровергаю вас. К счастью, у меня сохранились документальные свидетельства моей естественности. Познакомьтесь с ними.

Я извлек из сейфа диски кинолетописи моего детства — те, что горой возвышаются сейчас на столе. Я сидел в кресле, пока Пайерс проглядел их. Он с интересом рассматривал и ту, которую сам я никогда не видел, — мое появление на свет.

— Доказательства вашей естественности не вызывают возражений, — сказал он через час. — Думаю, вы можете спокойно отдать себя машине. Завтра я прихожу утром в вашу лабораторию со своими ассистентами — и начнем опыт.

Он ушел, а я сел за свои записки. Я заканчиваю. Я излил свою скорбь по Шефу. Это загадочное и великолепное существо у меня в глазах. Я не только вижу, но и слышу, обоняю, осязаю его. Я скорблю о нем. Я не знаю, как мне жить без него. Завтра я воздвигну памятник его научным свершениям. Завтра — уже сегодня. В окне побелел восток. Шеф, дорогой Шеф, что произошло? Почему вы ушли от нас? Кто трагически ошибся — вы сами, я, машина? Мой мозг раздирают на части нестерпимые мысли. Я тону, как в воде, в бушующих чувствах. Шеф, мой дорогой Шеф, я плачу о вас...

Дополнения профессора Пайерса

Я прочитал записки Ричарда. Он точно изложил и мое участие в трагической кончине Шефа, и обстоятельства, предшествующие моему появлению в их лаборатории. Я не уверен, что мне удастся с такой же обстоятельностью передать ошеломляющий финал эксперимента с Ричардом.

Бедного Ричарда на свете нет. Нет также и гранди-

озного творения Шефа — универсальной автоматической машины. Машина взорвалась сразу, как ее включили, и вместе с ней на миллионы кусков разлетелся несчастный Ричард. Мы, десять ассистентов и я, находились в отдалении, но и среди нас нет ни одного не пострадавшего. У меня ожоги и перелом ноги, рассечена бровь, выбито восемь зубов — я отделался сравнительно легко. Два ассистента останутся навек калеками, а один, по-видимому, умрет.

Теперь о научном результате эксперимента. Машине была задана программа человека. То, что машина взорвалась, вступив в контакт с Ричардом, можно объяснить лишь одним: контакта не произошло. В Ричарде не оказалось ничего человеческого. Произошло чудовищное короткое замыкание машины на саму себя. Если в Шефе путался автомат с человеком, и машина, погубив его, сама уцелела, то в Ричарде наличествовал один автомат, что и привело к гибели машины, а попутно и к его гибели. Таково единственное научное объяснение катастрофы.

Я не хочу лгать — объяснение это мне непонятно. Я знаю, что Ричард появился на свет естественным путем — он рожден женщиной и в муках. Он был хорошо воспитан, благоразумен, умен и проницателен. С какой стороны на него ни смотреть, он казался человеком. Он говорил как человек. Он ходил как человек. С ним дружили как с человеком. Он аккуратно посещал церковь, он так благопристойно молился! А галстуки его! Никто у нас не умел так вывязывать галстуки, как бедный Ричард!

Правда, его духовные совершенства превосходили обычные человеческие. Он так трогательно презирал всех людей, так сладостно любил лишь себя и Шефа... А его же собственная машина отказала ему в звании человека! Она могла бы открыть в нем выдающиеся человеческие качества, но не найти в нем ничего общего с людьми, объявить его квазичеловечным!.. Это не укладывается в моей голове!

ДРАМА НА НИОБЕЕ

Научно-фантастическая повесть

1



В Музее Космоса всегда было полно посетителей. Больше всего их скапливалось в «романтических» залах — так у сотрудников Музея именовались четыре помещения со стереографиями планет, моделями звездолетов, муляжами зверей, растений и рыб, огромными панно равнин, горных хребтов и вулканов, звездными картами знаменитых космических рейсов: светила складывались в сочетания, несхожие со звездными пейзажами Земли и солнечных планет. «По необычному облику местных небес вы сразу понимаете, как далеко в космос проникли наши первые звездопроходцы, их успехи и представлены в этих залах», — увлеченно говорил посетителям экскурсовод, элегантный робот, смахивающий скорее на подвижного паренька, чем на ученый автомат. И, переходя от звездных карт и стереографий к стоявшим тут же статуям прославленных астронавтов, он дотрагивался указкой до каждой статуи — она оживала и говорила голосом давно умершего звездопроходца о том, как проходил его рейс и что он дал миру.

Кроме «романтических» залов в Музее Космоса были и залы технологические. Здесь среди посетителей преобладали не экскурсанты, а специалисты. Они знакомились детально с условиями полетов, с природой далеких миров, образцами минералов, особенностями жизни, если жизнь была, — тысячи проблем рождал каждый космический рейс, и о многих зрительно оповещали экспонаты. Посетители этих залов не прохаживались в них, не бросали по сторонам любопытные взгляды, а садились перед каким-либо облюбованным экспонатом и возились с ним, осматривали, трогали, вдумывались в его назначение...

Был еще один зал, Пантеонный. Так он именовался на музейном жаргоне, хотя и мало напоминал тот торжественный Пантеон, что высился на главной площади Столицы. В официальном Пантеоне, усыпальнице великих людей человечества, стояли саркофаги с их телами, в зале звучала тихая музыка, посетители переходили от одного саркофага к другому, слушали негромкую справку о жизненном пути того, на чью статую и усыпальницу сейчас смотрели. В Пантеоне души настраивались на величественный лад истории. А в Пантеонном зале Музея Космоса не было и тени величественности, это был скорее склад, а не выставочный зал, но склад сокровищ. И пускали сюда лишь по особому разрешению директора Музея Космоса. Ибо здесь нечем было любоваться, нечем восхищаться, ни о какой беде, приключившейся с героями космоса, не приходилось скорбеть. Вдоль стен стояли ванны из прозрачной стали, в каждой в специальной жидкости плавал вытянутый из черепной коробки мозг умершего астронавта, удостоенного такого почетного отличия. Возле ванны возвышался на урне из малахита, как на постаменте, мраморный бюст того, кто некогда был обладателем мозга, а в урне покоился прах его тела. Это был архив, а не выставка, хранилище ценностей, а не объект для зрелищ — и, пожалуй, напрасно музейные работники присвоили этому помещению пышное название «Пантеонный». Впрочем, оно выражало не так внешнюю обрядность зала, как их собственное отношение к тому богатству, что в нем хранилось.

Но однажды летним утром 2183 года директор подписал разрешение посетить «Пантеонный зал» группе экскурсантов. Двадцать семь выпускников Высшей Школы Звездоплавания пожелали на прощание с Землей — их всех переводили на инопланетные базы — познакомиться и с этим всегда закрытым помещением. Группу принял консультант Музея, немолодой мужчина, высокий, красивый, широкоплечий, с большими ярко голубыми глазами. Он с любопытством оглядел группу.

— Больше половины — женщины, — констатировал он низким хрипловатым голосом. — В мое время женщин в космос старались не брать.

— С тех пор многое изменилось, — вежливо возразил староста группы экскурсантов. — Космос, впрочем, и в ваше время нигде не был заколочен досками для женщин.

Консультант усмехнулся.

— Заколочен досками не был, верно. Но звездные рейсы имеют свои особенности. Вы все астронавигаторы?

— Двое штурманов дальнего звездоплавания, шестеро астронавигаторов второго разряда, остальные — инженеры разных специальностей, — отрапортовал староста и поинтересовался: — Собственно, о каком времени вы говорите, как о своем? Оно давно было?

— Лет сорок назад. Что вы смотрите с таким удивлением? Мне уже под девяносто.

Лет шестьдесят консультанту можно было дать, но не больше. Экскурсанты изобразили на лицах почтительное удивление и промолчали. Консультант поручил экскурсию человекообразному автомату с румяным лицом и широкими усами, он, видимо, копировал кого-то из астронавигаторов, невысокого, плотного, очень энергичного, — посетители все же не припомнили оригинала. И голос робота тоже показался знакомым: экскурсанты на лекциях часто прокручивали пленки с рассказами звездопроходцев об экспедициях. И если бы автомат повторил хоть одну из прославленных чеканных фраз старых героев, напомнил бы хоть об одном знаменитом приключении, слушатели бы не затруднились установить, чей голос воспроизводил робот. Но он не рассказывал о космических драмах, победах, неудачах, а читал как по писаному обычную музейную лекцию. Профессора Высшей Школы Звездоплавания излагали свой учебный материал интересней.

— Все первые астронавты были титанами ума и характера, — вещал усатый автомат. — Но несовершенная техника двадцать первого века была бессильна сохранить их интеллект в его биологической целостности. Только семьдесят лет назад нашли способ консервировать живые клетки. В нашем Музее сохраняется тридцать четыре мозга тридцати пяти великих астронавигаторов, извлеченных из их черепных коробок в момент смерти. Мозг, конечно, сейчас не действует, но и не разрушается. Он хранится для будущих поколений, как некий Банк Интеллектов. Почему для будущих, а не для настоящих? Сегодня воскресить мозг можно, лишь вживив его в тело нормального человека, но кто захочет расставаться со своим мозгом ради чужого, хотя бы и великого? Но в будущем найдут способ оживления любого мозга, отделенного от своего телоносителя. И тогда обратятся в наш

Банк Интеллектов за займом могучих характеров и выдающихся умов. И великие люди прошлого оживут и будут реально — и с того момента вечно! — участвовать в общественной жизни. Какое огромное богатство приобретет человечество! Каждый выдающийся ум уже не погибает в момент смерти его владельца, или, скажем так, мозгоносителя, а рождается как бы заново — и навечно — в независимом от тела существовании. Вот для чего создан наш уникальный Банк Интеллектов, где самые блестящие личности прошлого зарезервированы для будущего.

Робот сделал остановку, и этим воспользовался староста группы. Этот худой высокий парень с необычно большими для мужчины глазами и энергичным — лопатой — подбородком, выделялся живостью и любознательностью.

— Вы сказали, что в этом зале хранится тридцать четыре мозга тридцати пяти знаменитых астронавтов. Мне кажется...

Усатый робот не дал ему договорить.

— Правильно! Один мозг отсутствует. Прах его хозяина Василия Штилике покоится в своей урне, а мозг был использован для нормального функционирования в другом теле. Мы как раз подошли к этому прославленному астронавту, обратите внимание на его урну.

На урне из малахита — ничем она не отличалась от тридцати четырех других урн — возвышался бюст усатого мужчины. На постаменте красовалась надпись: «Василий-Альберт Штилике, астросоциолог. Погиб 49-ти лет от роду на планете Ниобея». Экскурсанты переводили взгляд со статуи на робота, теперь они поняли, кого он напоминал: робот копировал человека, изваянного в мраморе. Все в нем было повторением знаменитого астронавта — и лицо, и голос, и рост. Староста группы сказал:

— Я понял все. Мне кажется теперь...

И опять робот прервал его:

— Вы не поняли. Было не так.

— Но вы ведь не знаете, что я хотел сказать.

— Все знаю!

Робота, очевидно, наделили не только внешним сходством с прославленным Василием Штилике, но придали и черты его характера. Об астросоциологе, погибшем на страшноватой Ниобее, было известно, что он упрям, бесстрашен, быстр в соображении, и вообще ему любое море

по колено, что он неоднократно и доказывал, попадая в непредсказуемые опасные ситуации.

Робот улыбнулся, как человек, — вероятно, и улыбка, насмешливая, но не оскорбительная, была скопирована с его живого прототипа.

— Все не так, как вам показалось. Нет, меня не удостоили чести стать носителем мозга великого Штилике. Я копирую лишь внешность этого выдающегося человека. Его интеллект восстановлен в живом человеческом теле, а я не тело, а конструкция.

Энергичный староста, похоже, взял на себя право выражать общее мнение и задавать интересующие всех вопросы.

— Вы сказали, интеллект Штилике восстановлен в живом человеке, а не в конструкции? На этот раз я правильно понял? — Робот кивнул. — Но перед этим вы же объяснили, что внедрение мозга, сохраняемого в вашем Банке Интеллектов, в другой живой организм, пока не практикуется. Я верно воспроизвожу ваши слова?

— Все верно. Было сделано одно исключение. Впрочем, такие вопросы вне моей программы.

— А этот удивительный человек, столь легко распростившийся с собой ради?..

— Тоже нет. Подразумеваю, что вы просите назвать фамилию нового обладателя интеллекта Штилике.

— И это вне вашей программы? Жаль! Было бы очень интересно познакомиться с живым носителем интеллекта Штилике.

Консультант, молчаливо стоявший в стороне от группы во время разговора робота со старостой, вдруг вмешался в их беседу:

— Почему вас, юноша, так заинтересовал астронавт Штилике?

Староста живо повернулся к нему.

— Меня интересует Ниобея, а не сам Штилике. Впрочем, и он тоже,— тут же поправился староста.— Ибо этот замечательный астронавт сыграл такую роль в истории этой планеты и показал нам, молодым, такой пример мужества и проницательности, такое сочетание...

Консультант, нахмурившись, прервал старосту группы — ему явно не по душе был восторженный тон молодого астронавта:

— Вы сказали, вас интересует Ниобея. Почему?

Староста разъяснил, что на Ниобею направляется

большая комплексная экспедиция — биологи, астросоциологи, строители, инженеры. Естественно, что все связанное с личностью человека, так много сделавшего для благополучия Ниобеи...

— Благополучия Ниобеи? — снова прервал молодого астронавта консультант. — Какое уж благополучие! Пылающая во внутреннем жару планетка, вырождающиеся нибы... Подберите, юноша, другую характеристику, эта не годится.

— Благополучия! — решительно повторил молодой астронавт. — Это самая точная характеристика. Боюсь, вы плохо осведомлены о положении на этой планете. Оно иное, чем представляется вам. Знакомы ли вы с программой для Ниобеи, разработанной сорок лет назад Штилике?

— Программу Штилике я знаю. Но, по-моему, к ее реализации еще не приступали...

— Вы безнадежно отстали, — радостно объявил большеглазый староста экскурсантов. — Я и мои товарищи летим на Ниобею именно для реализации той программы. Наконец пришло время и для нее. И, уверяю вас, успех гарантирован! — Он живо добавил: — Вы мне не верите?

— Нет, почему же? Но верить или не верить — понятия, отличные от понимания. Мне хочется понять, а не только поверить. Разве на Ниобее значительные перемены?

Юный староста показал, что наделен не только энтузиазмом, но и способен вести аргументированные дискуссии.

— Раньше говорили, что вера без дел мертва. Только реальный успех доказывает, что вера в успех была правомочна. Нет, на Ниобее не произошло пока значительных перемен. Но мы отправляемся туда, чтоб создать такие перемены. Вы скоро услышите о нашей работе.

Консультант проницательно глядел на взволновавшегося юношу.

— Как вас зовут, друг мой? — спросил он.

— Курт Сидоров, так меня зовут. Имя это вам ничего не говорит. Пока...

— Буду ждать сообщений о ваших успехах, Курт Сидоров. — Консультант поклонился. — Простите, мне надо уйти.

Он пошел к выходу. Староста группы крикнул вслед:

— А вас как зовут? Вы не назвали себя, а надо же нам знать, кому адресовать сообщения о делах на Ниобее.

Консультант обернулся. Лицо его осветила улыбка.

— Штилике, — сказал он. — Василий Штилике, так меня зовут.

2

Он слышал за собой гул голосов. Уже не один энергичный староста, но и все его товарищи переговаривались, засыпали вопросами усатого робота, так близко воспроизводившего внешность знаменитого астросоциолога. Робот что-то твердил, несомненно, отбивался от всех вопросов запрограммированными для этой темы краткими фразами: «Не знаю, не имею права, вне моей программы». Кто-то побежал за консультантом. Штилике ускорил шаг. Не надо было объявлять себя этим юным энтузиастам подвига, он поступил неблагоразумно, им, конечно, мало его фамилии, им надо знать обстоятельства его перевоплощения, он сам на их месте требовал бы того же, теперь они долго не уго́монятся, ладно, пусть волнуются, это не повредит их работе на Ниобее, раз уж стала возможна там какая-то полезная работа.

Шаги за спиной смолкли. У двери Штилике обернулся. Конечно, это был он, большеглазый, худой романтик космоса, он почти догнал его, но понял, что преследование бессмысленно, остановился, заколебавшись, вот теперь повернулся, возвращается к товарищам. Все в порядке, можно не торопиться.

Штилике все тем же торопливым шагом вошел в свою комнату, захлопнул дверь, перевел дух. Взволноваться от того, что назвал себя! Как будто в названии не обозначение, кто ты, как будто в нем признание в каком-то важном поступке, нет, в проступке, а не в поступке, нет, и не это — в чрезвычайном событии, вот в чем он сегодня признался этим прекрасным молодым людям, этим своим последователям, может быть, даже своим ученикам. Зачем он это сделал? Что принудило открыто объявить то, что известно лишь немногим, что за давностью лет стало почти тайной? И признавшись — убежал! Василий Штилике трусливо бежит! И от чего бежит? От кого? От себя, так получилось! Он, никогда не отступавший перед опасностями, а сколько их было за его долгую, за его трудную жизнь! Таким его всюду знали — бесстрашным, упрямым, непоколебимым, таким все называли — кто с не-

приязнью, кто с уважением — он и сам уверовал, что такой. А от кучки юнцов вдруг побежал, устрашившись их вопросов. Почему? Он должен точно ответить себе — почему? Он стал себе непонятен. Он должен себя понять!

Штилике сел на диван, рассеянно осмотрелся. Все было на месте в маленькой комнате. Большое окно открывалось в сад, несильный ветер раскачивал вершины сосен, и они напевали протяжным глухим шепотком. А подальше, на холмике, плясали две елочки, — отсюда, из комнаты чудилось, что они не только покачиваются, но и грациозно перемещаются по холмику, стараясь не то догнать друг дружку, не то приветно обхватиться лохматыми ветвями. А на стене против окна сияли красочными переплетами старинные книги, можно отдаться любимому занятию — ворошить и перелистывать печатные шедевры двадцать первого века. И на другой стене фото- и стереографии, пейзажи, схемы, портреты. Штилике вдруг удивился. Все в этой комнате было так навечно узнано, что и не ощущалось — просто было, как у каждого есть руки, глаза, ноги, — ничего необычного, не от чего поразиться. Штилике осматривал тысячу раз виденную, почти уже не воспринимаемую комнату — нет, до чего же все словно бы впервые увиделось!

Он смотрел на книги и удивлялся, как много не успел прочитать в этом хорошо подобранном собрании, а ведь собирал, чтобы прочесть, но так и не выбрал свободного времени на свободное неторопливое чтение, а то, что прочитал, наверно, так позабылось, что осталось лишь представление о сюжете, а читал бы снова и воспринимал бы, как почти неизвестное. Вдруг вспомнилось горькое признание Теодора Раздорина, наставника и друга, он тогда медленно умирал, великий звездопроходец, суровый командир, глубокий мыслитель. И он сказал: «Василий, я не жалею, что прожил так, а не по-другому, жизнь была хороша, но одно мне грустно, Василий,— столько прекрасных, столько великих книг в моей библиотеке, а я ухожу в небытие, так и не прочитав их все!» Я тоже скоро уйду в небытие и тоже не прочитал всего, что собрано в этой комнате, а ведь в ней много меньше книг, чем было у моего учителя, и читал я много меньше, чем он. Сколько же сильней его мне горевать, а я не горюю, только с сокрушением говорю себе: много, много высоких радостей мог доставить себе, а не доставил!

Штилике подошел к развешанным на стене портретам: три женщины в центре, двое мужчин по краям. Он всматривался в них, как если бы увидел впервые. Все пятеро давно умерли, все пятеро вечны в его мыслях — к чему рассматривать как бы со стороны, что душевно нетленно? Он шевелил губами, беззвучно твердил себе слова, какие уже тысячу раз повторял и какие при каждом повторении звучали все так же больно и сильно. Я так любил тебя, Анна, говорил он той, что была в центре, — темноволосой, веселоглазой, высоколобой, я жил тобой, моя единственная, и когда ты угасла от неведомой болезни, бича про́клятой самой природой планетки со страшным названием — вполне ей по нраву — Эриния, я молчаливо говорил себе: не переживу, пусть и меня сразит та же тяжкая хворь, что сражает сейчас мою жену. Но ты умерла, а я жив, и долгих десять лет, проклятых лет, благословенных лет, сражался со зловещей планеткой и победил ее, — уже никому она не грозит страданием и смертью!

И тебя я любил, говорил он женщине, что улыбалась, красивая и радостная, справа от жены. Любил, но не спас, когда погибала, сам обрек тебя на гибель, так кинул мне в лицо человек, который был тебе гораздо ближе, чем я, — вот он еще правей на стене, рядом с тобой.

А тебя не любил, говорил он третьей женщине, той, что была слева от Анны. Ты меня ненавидела, и я порой гордился твоей ненавистью. Но, видишь ли, — хотя ты этого при жизни не хотела видеть, а сейчас уже не увидишь, — я жалел тебя и сочувствовал, твоя ненависть ко мне была лишь особым выражением твоей преданной, твоей жертвенной привязанности к другому человеку, моему противнику, тому, чей портрет касается слева рамкой твоей рамки, — как было не понять тебя! Вот все вы здесь, все пятеро, друзья и недруги, вас никого уже нет в живых, все вы во мне и со мной, ибо вы, быть может, самое яркое в том что я называю: моя жизнь.

Штилике воротился к дивану, откинул голову на мягкую спинку. Итак, эти чудесные парни и девушки страшно взволновались, узнав, что перед ними знаменитый Штилике: столько ведь приходилось читать и слышать об освоении Эриннии, о делах на Ниобее, наверно, и курсовые экзамены сдавали, непрерывно поминая эту фамилию — Штилике, Штилике, Штилике... И портреты твои развешаны в учебных аудиториях, наизусть все вытвер-

жено — невысокий, широкоплечий, сутулый, усатый, с запавшими темными глазами, в общем, такой, что отвернувшись, не насмотришься. Впрочем, знаменитостям уродливость прощается, некогда говорили: с лица не воду пить — и корявым можно жить. Нет, а все же какая разница между устоявшимся представлением о некрасивом в молодости, а сейчас, наверно, дряхлом уродливом старце, если он еще жив, и тем величавым, уже немолодым, но еще статным мужчиной, каким ты перед ними предстал! Было чему поразиться! И законно потребовать объяснений, как сталось такое превращение? А ты сбежал от расспросов, нет, не только облик твой переменился, характер тоже, раньше, повторяю, ты ни от чего не бегал!

— Ну, и сбежал, ну, и пусть! — вслух закричал на себя Штилике. — Мои превращения — мои личные дела. Есть еще и такая область — интимность.

«Без истерики! — мысленно одернул себя Штилике.— Давно обветшала твоя мелкая интимность. Да и была ли? Ты в некотором роде историческое явление. Соответствуй себе!»

— Не мог я разговаривать с тем большеглазым, — устало вслух сказал себе Штилике. — Одно дело — работа, исторические решения... Другое совсем — Ирина, Виккерс, Барнхауз, Агнесса... Зачем возобновлять старые споры? Вряд ли они заинтересовали бы этих молодых людей.

И опять он мысленно опроверг сказанное вслух.

— Заинтересовали бы! Они летят на Ниобею. То, что ты называешь интимностью и старыми спорами, неотделимо от реальной истории планеты. А, между прочим, в официальном отчете Академии Наук ты и словечком не обмолвился о своих отношениях с Ириной и Агнессой, с Барнхаузом и Виккерсом. Твой отчет был неполон и необъективен.

— Я рассказал о драме на Ниобее...

— События изложил, а чувства? Разве ваши настроения, ваши желания, ваши характеры не сыграли там, быть может, решающей роли? И не называй, пожалуйста, события на Ниобее тусклым литературным словцом «драма». Была трагедия, и не личная, а социальная. И те, кто вслед за вами направляется ныне на эту столько лет запретную планетку, имеет право знать, что на ней происходило, хотя бы для того, чтобы не повторять ваших ошибок.

— Если экспедиции на Ниобею возобновлены, то даны подробные программы, как вести себя на ней.

— Были ли у вас такие программы?

— У нас не было, у них должны быть! Напрасно что ли я писал свои отчеты?

— Ты писал отчеты о событиях, а не о душах. Как и вы, эти ребята не лишены страстей, надежд и мечтаний! Как загорелись их глаза, когда они услышали, кто ты! Будут, будут среди них и свои Барнхаузы, и Штилике, Ирины и Агнессы. Они должны знать, какой нелегкий путь пролег для вас на планете.

— Не мог я бесстрастно — лекционно! — говорить о наших спорах, о нашем горе, о негодовании и отчаянии, попеременно захватывавших нас... Раскрываться, как на исповеди!.. Милые, но все же чужие люди!

— Согласен. Не мог. Вон там лежит диктофон. Возьми и говори. Ничьи глаза здесь не смущают тебя. Пусть люди, идущие за тобой, знают и то, что осталось нераскрытым в твоих отчетах.

Штилике взял диктофон и заговорил.

3

Я не люблю себя. Я никогда себя не любил. Были часы, когда нелюбовь к себе превращалась в негодование на себя. Тогда я враждовал с собой. Нет, во мне не было двоесущия, я не страдал от раздвоения личности. Я всегда был един — один облик, один характер, одни жизненные цели, одни способы их реализации. Все было проще, чем тысячекратно читалось в романах, живописующих убийственные схватки двух враждебных натур в одном теле — и по одному тому, что было проще, становилось непосильно сложней. Наверно, я говорю непонятно. Неясность не в словах, а в фактах, какие надо высказать словами.

Итак, я не люблю себя, таков первый важный факт. И прежде всего не люблю своего облика. Природа наделила меня неудачной внешностью. Еще в детстве я возненавидел зеркала. В зеркале, когда я подходил к нему, появлялась нескладная фигура, с непомерно широких плеч свисали неприлично короткие, хотя и крепкие руки, на узкой и длинной шее торчала массивная голова — я всегда удивлялся, почему шея не сгибается под ее тя-

жестью, а к несимметричному телу еще и несимметричное лицо... «Ты мог бы сойти за инопланетянина-антропоида, если бы мы не знали, что антропоидов в иных мирах не существует! — сказала мне как-то Анна и добавила с нежностью, ей почему-то нравилось мое уродство: — Вот же судьба, — столько красивых парней увивалось вокруг меня, а влюбилась в тебя».

Я не любил своих поступков — таков второй важный факт. Я делал только то, что надо было и что хотелось. Но делал хуже, чем хотелось. Есть люди, достигшие совершенства, образцом их был мой учитель Теодор-Михаил Раздорин. У таких людей цель и выполнение цели всегда совпадают, одно отвечает другому. Меня одолевала неудовлетворенность: цели были выше выполнения. Я не жалуюсь и не скорблю — констатирую печальный факт.

В моих действиях на Ниобее оба этих свойства — нелюбовь к своей внешности и несовпадение цели и средств — присутствовали в реальном действии. Если бы было не так, я и не упоминал бы о своем характере, на такую деликатность меня бы хватило.

На Ниобею меня направил Теодор Раздорин.

Я пришел к нему вскоре по возвращении с Эриннии. Мне полагался годовой отдых на Земле. Я заранее сокрушался, что года на отдых не хватит. И уж, конечно, ни о каких дальних экспедициях мне не мечталось, я был сыт по горло хлопотней на неустроенных планетах. Ничегонеделание на зеленой Земле было сладостней любых успехов на разных небесных шариках. Так мне воображалось. И, естественно, — теперь сознаю, что в том была естественность, а не принуждение, — не прошло и месяца на Земле, как я снова мчался к звездам.

Это произошло потому, что Теодор Раздорин умирал.

Он лежал в своей спальне на широкой постели, иссиня-бледный и до того исхудавший, что набухшие вены на руках и жилы на шее казались жгутами, приставленными снаружи, а не выступающими из-под кожи. Возле кровати возвышались аппараты для кровообращения и дыхания: собственные органы Раздорина давно перестали служить исправно. В открытое окно врывались голоса деревьев и запахи расцветающих цветов, на дворе творилась очередная — яркая и многошумная — весна. Я потом часто думал — хорошо умирать весной, на свету солнца и на дыхании возрождающейся травы. Именно так — по-своему, радостно и красиво — совершалось это

скорбное событие — уход моего учителя в небытие. Для себя я желаю такой же смерти.

Но обессиленный телесно, сознание Раздорин сохранял до последнего часа. И хоть голос его, прежде громкий и категоричный, звучал уже не так сильно, он был по-прежнему ясен и решителен. Старик с трудом шевелился на своей необъятной кровати — он любил такие, как сам он посмеивался, «стадончики для спанья» — но разговаривал без большого усилия и это, видимо, скрашивало ему тяготы хвори: он всегда охотно говорил, и у него всегда было о чем говорить.

Он глазами показал на стул рядом с кроватью и сказал:

— Садись. Знаю. Вижу. Перестрадал. Возродился.

— Десять лет все-таки, — сказал я. — Даже такого горя на десять лет не хватит. Все стирается.

— Не клевещи на себя. Ты не из забывчивых. Знаю твою любовь к Анне. Годы не сотрут такого несчастья. Да и не было у тебя десяти лет на горе. Даже года не было.

Я лучше, чем кто-либо, — все же любимый его ученик,— знал, как он любит поражать парадоксами. В древности из него вышел бы незаурядный софист. Но этого парадокса я не понял. Он усмехнулся.

— А ведь просто, Василий. Тебя спас твой труд. Та великая цель, какую ты себе наметил. Не то, что года, даже месяца на уход в несчастье ты не имел. Раньше о пророках говорили: он смертью смерть попрал. Ты попрал смерть жизнью. Эриния теперь никому не грозит таинственной гибелью. Это подвиг, Василий.

— Это работа, — сказал я. — И не только моя. Всех нас — и гораздо больше биологов и медиков, а не социологов. Я организовывал их труд — только и всего.

— Твоя, — повторил он и нахмурился. Слова давались ему легче, чем даже легкое движение бровями или рукой. А он, как и встарь, отстаивал любое свое утверждение — не затыкал рта инакомыслящим, но требовал, чтобы против него подыскивали только солидные возражения. — Ты не вносил предложения о переименовании планетки? Эриния, богиня мщения, теперь ей не к лицу.

— Не вносил и не внесу. Пусть остается Эриннией. Название звучное. И лицо у планетки все еще мрачноватое.

— Тебя не переспорить, ты всегда был упрямый, —

сказал он с удовлетворением. Ему нравилось, когда его убедительно опровергали. В моем упрямстве он ощущал обоснованность — во всяком случае, я старался, чтобы было так. Помолчав, он спросил: — А теперь куда?

— Никуда. Отдыхаю.

— И долго намерен?

— Весь положенный по закону отпуск. Не меньше года.

— Осатанеешь от безделья. Буду тебя спасать. Бери командировку на Ниобею. Я походатайствую. Туда не всякого пошлют, а тебе разрешат.

И раньше встречи с Раздориным не проходили гладко. Он поражал не только оригинальными суждениями, но еще больше экстравагантными поступками. И, отправляясь к нему, больному, я говорил себе, что если свидание пройдет без неожиданностей — словесных и деловых, — то болезнь не так уж и грозна, выкарабкается. Болезнь была, из какой не выкарабкиваются, а в неожиданности он ввергал по-прежнему. Я встал на дыбы — с хладнокровием и вежливостью, конечно.

— А какого мне шута в Ниобее, учитель?

— На Ниобее не до шутовства, ты прав. Очень серьезное местечко. Завтра поехать не сумеешь, а через недельку лети.

— Ни завтра, ни через недельку, ни вообще...

— Никаких вообще! А в частности и в особенности — ты! Никто другой — это в частности, и лучше всех — в особенности. Я правильно истолковал тебя?

Я расхохотался. Вероятно, это было не очень корректно — хохотать у кровати умирающего. Корректность не принадлежала к числу достоинств, чтимых Раздориным. Он улыбался — одними глазами. Он был уверен, что переубедит меня. И почему-то ему было нужно, чтобы на Ниобею летел я, а не другой.

— Такое впечатление, учитель, что Ниобея вас задевает больше всех ныне осваиваемых...

Он прервал меня:

— Больше! Интересуешься — почему? Подтверждает мою теорию затухания. Так подтверждает, что лучших доказательств и не желать. Ты помнишь эту теорию?

Еще бы не помнить ее! В свое время она породила много шума. Именно шума, а не споров. О ней не дискутировали, о ней только говорили — кто с улыбкой, кто с раздражением. Один из уважаемых социологов, Домра-

чев, да, тот самый Иван Домрачев, что математически рассчитал пределы прогресса у популяций, живущих одним инстинктом, и безграничность совершенствования обществ, использующих потенции разума. Так вот Домрачев объявил, что поставил своему личному компьютеру — он даже назвал его человеческим именем: Сеня Малый — задачу найти теорию развития, во всех отношениях и со всех сторон максимально удаленную от канонов науки. И Сеня Малый, рассчитав ее самостоятельно, выдал точную концепцию Раздорина. Оба были страшно довольны: социолог и академик Иван Домрачев — что доказал полную ненаучность теории Раздорина; и астросоциолог и астроадминистратор Теодор Раздорин — что ему удалось создать такую во всех отношениях ненаучную науку.

Что до меня, то я никогда не считал теорию затухания Раздорина ни особенно оригинальной, ни столь уж несовместимой с наукой. В ней было много здравых идей — во всяком случае, там, где он не стремился блеснуть оригинальностью. Суть ее, в общем, сводилась к тому, что организованное общество чаще всего гибнет от благосостояния. Жирок душит тело и иссушает душу — явление, замеченное уже давно. Чрезмерное довольство порождает склероз, склероз порождает инфаркт — эту узкую медицинскую истину Раздорин распространил на любое общество и объявил социально-космическим законом. И до него совершались попытки превратить процессы в организме в общественные закономерности, оригинальности он, по-моему, здесь не продемонстрировал. Правда, Раздорин добавлял, что величина губительного жирка у разных обществ различна — одних отравляет и малое благосостояние, другие выдерживают и роскошь.

И он расширил свою горестную философию на человеческое общество. Он с азартом доказывал, что развитие техники привело к такому благосостоянию, что люди разленились. Кое-где создали строй, названный «обществом потребления», и потребление сверх реальной нужды вызвало накопление не только телесной, но и интеллектуальной вялости, потерю динамизма, притупление духовных интересов. Общество потребления впереди ожидала неизбежная деградация. И лишь выход в безграничный космос спас людей от примысленного для них Раздориным печального финала. Пока вся Галактика не освоена человечеством, вещал Раздорин, и динамизма

хватит, и совершенствование будет все совершенствоваться: он именно так косноязычно и высказывался. Галактика, говорил он, область для приложения сил достаточно просторная, на миллион лет хватит, а дальше не будем загадывать.

Вот такая была у него любопытная теория. И надо сказать, что в своей практической деятельности астроадминистратора он блестяще осуществлял этот провозглашенный им космический динамизм. История освоения внесолнечных планет немыслима без частого упоминания имени Теодора-Михаила Раздорина.

Все эти мысли возникали и толклись в моей голове, когда я, сидя у постели, слушал его рассказ о Ниобее. Я плохо знал эту планетку в системе Гармодия и Аристогитона, двух светил из породы красных гигантов. Разумеется, я видел ее стереографии — красивая, но своеобразной красотой: чудовищные вулканы, фонтаны пламени и камней, непрерывно исторгаемых недрами, и роскошная растительность. Ниобейским цветам и деревьям могли бы позавидовать самые прекрасные парки Земли; животных и рыб практически нет; птицы редки. В общем, содружество ада с раем — так охарактеризовал Ниобею сам Раздорин после первого посещения, и в отличие от его социологических концепций, эту оценку никто не опровергал.

А населяют Ниобею нибы — немногочисленное сообщество гуманоидов, до того похожих на людей, что их можно счесть за одно из первобытных человеческих племен. О машинах нибы понятия не имеют, орудия используют самые примитивные, жалкое существование наполнено единственной заботой — выжить. Первооткрыватели обнаружили у этого примитивного народа и страшный обычай каннибализма — нибы поедают один другого. Вместе с тем на Ниобее найдены и поразительные памятники древней цивилизации — роскошные дворцы, величественные скульптуры, яркие картины. Изучение памятников продолжается, но уже ясно, что нынешние нибы так же далеки от того древнего искусства, как питекантропы от дворцов Парфенона. Естественный вывод: на Ниобее некогда существовала развитая цивилизация, ее представители вымерли или переселились на другие планеты, а свою прародину оставили современным пещерным нибам.

Таковы были мои знания о планете, куда меня за-

думал командировать Раздорин. А он все тем же ясным голосом, столь странным у тяжело больного, пункт за пунктом, факт за фактом опровергал мои нетвердые знания.

— Вздор, Василий,— переселились на другие планеты! Во-первых, на какие? В окрестностях Гармодия с Аристогитоном и следов такого переселения не найти. Во-вторых, как? И намека на машинную цивилизацию на Ниобее не было. Откуда же взять звездолеты? Те древние поселенцы, творцы дворцов и картин, и современные дикари — один народ, но на разной стадии развития.

— На разной стадии деградации, стало быть?

— Развития, Василий! Нет, до чего в ваши головы вбита идея автоматического прогресса! Вот же живучее заблуждение! А ведь и появилась недавно, два-три века назад. А до того понимали, что развитие может вести вверх, но может и вниз, а может и вовсе его не быть. Слышал об Экклезиасте? Умный был человек, хотя его, возможно, вовсе и не было. Так он твердил со скорбью: нет ничего нового под солнцем, и вечно возвращается ветер на круги своя.

— Экклезиаста читал и сдавал в курсе истории...

— Вот-вот — сдавал и все сдал, ничего себе не оставив. Теперь припоминать... Долго крутился ветер на ниобейских своих кругах и ослабел. Уверен, хороший поиск показал бы не только прежнюю роскошь и современную нищету, но и закономерное падение от роскоши до нищеты. Деградация как естественный процесс. Только никто этим не занимался. И тебе поставлю другое задание.

— Повернуть общество нибов к прежнему благоденствию? Превратить деградацию в прогресс?

— Напрасно смеешься! Нет, не на прогресс, это тебе не под силу. Остановить падение. Они на краю. Вот-вот сверзятся в пропасть.

— На Ниобее, я слышал, работают геологи, промышленные партии. Соседство с могущественной цивилизацией благотворно для отсталых народов.

— Когда благотворно, а когда губительно. Примеров в истории Земли хватает. Беда Ниобеи в чем? Сказочно богата! Руды стабильных сверхтяжелых элементов! На Земле их синтезируют микрограммами, а на Ниобее — миллионы тонн. Освоение ниобейских недр вызовет чуть

ли не переворот в земной технологии, общее мнение. Короче, не до аборигенов. А ты разберись, Василий. Полети и разберись. Другим бы такого дела не доверил. Тебе могу.

Я на какую-то минуту отвлекся и перестал слушать. Все во мне протестовало против новой командировки. Мне надо было отойти от космоса. Я был по горло сыт Эриннией, вряд ли Ниобея лучше. Я сдержал рвущийся из груди отказ — не хотелось резким отпором огорчать старика. Я промолчал и снова стал прислушиваться. Раздорин уже не уговаривал, а давал деловые наставления:

— ...значит, Барнхауз. Этого бойся. Знаю, знаю, ты не из трусливых. Но все же бойся — не трусливо, а разумно, квалифицированно опасайся. Запомни: он из рода бизнесменов. Дед — основатель компании «Унион-Космос», отец — в первых разведчиках на Ниобее, сын пошел в отца, но стремится превзойти всех предков. Рост и фигура — средней руки медведь, столь же лохмат, и сто лошадиных сил в каждой руке! О деде говорили: пьет с друзьями и тут же ими закусывает. Внук чем или кем закусывает — не знаю, но допускаю наследственность. Совесть у него безразмерная, так мне всегда казалось. Перед отлетом посмотри его официальные отчеты: сложные произведения, в каждом сказано и то, чего в нем не сказано — надо вчитываться. И говорит в такой же манере сплошными подтекстами. Содействия у него требуй, не настораживайся, если протянет руку непрошенной помощи. В общем, неоднозначен. Векторным исчислением его не определить, он многонаправлен, тут нужны тензоры. Впрочем, и ты не лыком шит. Учти, он о тебе знает гораздо больше, чем ты о нем, ты сегодня — полнометражная фигура, а он для Земли пока лишь эскиз растущего руководителя. Это у вас скажется.

— Много вы наговорили о нем,— сказал я со смехом.

— Мало. Он заслуживает большего. Добавлю: умеет быть выгодным всем. Довел свою полезность до искусства. На Земле его ценят и в Академии Наук, и в промышленных министерствах — и за дело ценят, он того стоит. Теперь о его главном помощнике Джозефе Виккерсе. Из моих учеников, но не моей школы. Все у нас были преданные. Он не столько преданный, сколько предающий, таким мне он виделся еще в университете. И предал — пошел к Барнхаузу, не прощу этого! Их

взаимоотношения, Барнхауза и Виккерса,— черт едет на дьяволе. Остальное — несущественно.

— Джозеф Виккерс, вы сказали? Не помню такого на курсе.

— Не можешь помнить. Он лет на двадцать моложе тебя. Теперь уходи. Я устал. Готовься к отлету.

— Завтра приду. А насчет отлета — еще не решил.

— Полетишь. Сколько просить — уходи!

Он закрыл глаза, голос вдруг иссяк. Я с нежностью смотрел на его похудевшее, измученное лицо. Он всегда был красив, мой учитель, красив не внешней гармонией линий и красок лица, а каким-то особым светом, излучаемым всем его существом. Тихо, чтобы даже легким шумом шага не побеспокоить его, я удалился из палаты.

На другой день я пришел в больницу, чтобы объявить твердое решение — никуда не еду. И — для смягчения отказа — пообещать быть с ним, пока он болен. Я знал, что мое присутствие для него так же приятно и нужно, как его для меня.

Но говорить было не с кем. Знаменитый астронавт Теодор-Михаил Раздорин ночью скончался. Врач, с сочувствием глядя на меня, сказал:

— Умерший вспоминал вас. Просил передать, что уверен в вас. Не знаю, как толковать эти слова.

— Зато я хорошо знаю,— ответил я и ушел.

Все было предельно ясно. Надо лететь на Ниобею.

4

Звездолет «Австралия» доставил меня на Галактическую Базу в той же системе двойной звезды Гармодия и Аристогитона, к которой принадлежала Ниобея. Только Ниобея являлась внутренней планетой системы, а База расположилась на внешней, Платее, унылом каменистом шарике, вряд ли много крупней земной Луны. Здесь всего не хватало — света, тепла, гравитации, зелени, воды,— в общем, местечко не для отдыха. Зато работы было на всех с избытком, это я уже знал из отчетов Барнхауза.

Галактическая База на Платее с момента своего основания являлась собственностью Общемирового правительства, но возводила ее, по заказу государства, компания «Унион-Космос». Наставления Раздорина застав-

ляли подозревать, что всем известные традиции этой компании далеко еще не выведены на Платее. И я бы жестоко солгал, сказав, что с безмятежным спокойствием жду первого свидания с Питером-Клодом Барнхаузом, потомком жестоких и умелых дельцов, а ныне Главным Администратором Галактической Базы. Я немного волновался, так это было.

Управление Базы размещалось в многоэтажном здании неподалеку от ремонтных звездолетных заводов. В приемной Барнхауза меня встретила женщина лет под тридцать, его секретарь Агнесса Плавицкая. О ней мне на Земле по секрету сказали: «Ведьма, каких на Брокене и на Лысой горе поискать. В бабы-яги по возрасту пока не вышла, но к помелу присматривается загодя». Если длинноногая, салатноглазая, быстрая блондинка была ведьмой, то незаурядно красивой ведьмой. И по этой одной причине, не только по возрасту, она и не могла быть бабой-ягой: на эту важную должность, я слышал, вербуют уродливых и безобразных — это их профессиональное отличие. Меня прекрасная Агнесса возненавидела, вероятно, еще до личного знакомства, а с первым взглядом ненависть укрепилась. Я тоже не испытал симпатии к изящному секретарю Барнхауза.

— Знаю. Вы астросоциолог Василий Штилике,— установила она, не дожидаясь, пока я назову себя.— Приехали контролировать нашу работу. Мы вас ждали. Посидите в приемной.

— А почему? — спросил я.— Мне бы хотелось пройти сразу к Питеру Барнхаузу. Он сейчас так занят, что не может меня принять?

— Питер-Клод Барнхауз всегда занят,— отчеканила она.— Но сейчас его нет. Он на заводе, подготавливающем два планетолета к полету. Один из планетолетов предназначен для вас. Питер-Клод просит прощения, что опоздает.

Я присел. Она нахмурилась, давая понять, что я разглядываю ее слишком бесцеремонно. Я не просто разглядывал, а изучал ее. Она была ясна, как раскрытая страница книги. Даже на Земле в праздники не наряжались так тщательно и умело, как эта женщина на далекой, сугубо рабочей планетке. И, вдумываясь в ее лицо — подкрашенные сжатые губы, холодный взгляд, тихо позвякивающие при каждом движении сережки-колокольчики, я безошибочно чувствовал, что эта жен-

щина совершенно лишена даже инстинктивного кокетства, она не завлекала нарядом и отработанной изящностью, а лишь подчеркивала ими какую-то особую, высшую свою значительность. Кто бы ни был Питер-Клод Барнхауз, думал я, и ему не просто общаться с такой, по всему, непростой помощницей.

Я переоценил ее умение владеть собой. Она резко обернулась ко мне.

— Что вы так вперились в меня, Василий? Пугаю?

— Немножко есть,— честно признался я.— Но не это главное. Любуюсь.

— Не советую,— холодно отпарировала она.— Неинтересно и бесцельно. Я слыхала, что женщины вам столь неприятны, что ни одну не допускаете в свои экспедиции.

— Не всякому слуху верьте, Агнесса. Одну допустил, это была моя жена. С тех пор, правда, стараюсь работать только с мужчинами — не на Земле, естественно. А любовался я не вами, я бы на это не осмелился, а вашими золотыми сережками. Никогда не видал таких.

Она сняла одну из сережек и протянула мне.

— Теперь можете любоваться. Подарок моего бывшего мужа Жана Матье. Надеюсь, это имя что-то говорит вам, Василий-Альберт?

Я не знаток искусства, но имя лучшего художника нашего времени было ведомо и мне, я не раз знакомился с его картинами на выставках и в музеях. Правда, я не знал, что Матье не только живописец, но и ювелир. Сережка была необычайна: два золотых колокольчика вставлены один в другой; меньший, с крохотным язычком внутри, сам служил ударником для большего колокольчика. Я покачал сережку. Оба колокольчика породили нежный мелодичный звук,— чей-то приглушенный голосок печалился и тихо взывал.

— Понял,— сказал я, возвращая сережку.— Покинутый вами муж оставил вам на память свой голос, вечно оплакивающий расставание.

— Не поняли,— возразила она, прикрепляя сережку к мочке уха.— Не я его покинула, а он меня. И поиздевался на прощание: «Пусть голос сережки оплакивает твою потерю, ибо никогда ты не найдешь человека, равного мне. Не сумела оценить, теперь казнись».

— Жан Матье не страдал, по-видимому, уничижением?

— Все мужчины хвастливы. Гении, вроде Жана, особенно. А я ношу эти сережки, чтобы они всегда звенели мне в ухо: «Ты свободна, ты свободна, ты наконец восхитительно свободна!» Я слышу шаги Питера-Клода, господин Штилике.

Я тоже слышал чьи-то шаги в коридоре. Они усиливались, приближаясь, ноги не скользили, а тяжко били по паркету. Барнхауз не просто передвигался, как все люди, а предварял о себе громкими, как тревожный сигнал, шагами. А затем двери распахнулись и возник он сам. Не появился, не вошел, не проскользнул, а возник — замер, огромный, лохматый, длиннорукий, в проеме двери, как в раме,— давал наглядеться на свою фигуру и на широкое краснощекое распахнутое в улыбке лицо. А голос был неожиданно для мощного роста тонковат и скрипуч, впоследствии, в минуты гнева, охватывавшего Барнхауза, я слышал в его голосе такие режущие визги, как будто он не говорил, а пилил дрова голосом, ставшим подобием быстро вращающейся, но плохо смазанной пилы.

— Похож! — возгласил он на пороге.— Нет, до чего похож! Коллега Штилике, хочу, но не умею выразить, как рад вас видеть!

Я пожал его руку — он надавил с нарочитой силой — и поинтересовался:

— На кого я похож, Барнхауз?

— Как на кого? На себя, разумеется. На свои собственные портреты, Штилике. Вон в моем кабинете два ваших стереообраза, войдите и полюбуйтесь.

Все стены обширного кабинета Барнхауза были увешаны стереографиями, картинами и схемами. Среди этой бездны изображений я скоро не нашел бы себя, но Барнхауз показал, где искать. Вряд ли я теперь походил на те давние изображения. Барнхауз предложил мне сесть на диван и уселся на кресло, придвинув его к дивану.

— Рад, очень рад вашему прилету, Штилике! — повторил он.— Меня предупреждали о вас — огромные полномочия и прочее. Уверен, что теперь программа промышленного освоения Ниобеи получит новое ускорение. Люди вашего ранга прибывают не для лицезрения и прогулок, а для поворотов и переворотов, это мы понимаем.

— Для начала ограничусь лицезрением и прогулка-

ми,— ответил я.— Хочу поближе познакомиться с Ниобеей и ее обитателями.

Он актерским жестом высоко приподнял лохматые брови.

— С геологами и горняками? Люди как люди, ничего выдающегося. Или вас интересуют местные людоеды?

— Нибоеды, Барнхауз,— вежливо поправил я.— Именно они. Сколько слышал на Земле, нибы людей не едят.

Он пренебрежительно фыркнул.

— Много знают на Земле о наших делах. Даже мои краткие отчеты не прочитываются, а просматриваются. Только требования на материалы досконально изучаются — чтобы обнаружить предлог ужать или отказать в запросах. Нет, дорогой Штилике, нибы не едят людей не от отсутствия аппетита. Просто никто из нас не ходит там без оружия и в одиночку. Наше строжайшее правило — не отражать нападение, а не допускать самой возможности напасть на нас. Действует безотказно.

— Неплохое правило! Не хотите ли ознакомиться с моими служебными документами?

Он хорошо владел собой, но по одному тому, что каждую строчку моего командировочного предписания дважды и трижды перечитывал, я понимал, как он поражен, если не сказать — ошарашен.

— Сильные бумаги,— сказал он, возвращая документы.— Правда, не совсем то, на что я надеялся... И скорей даже совсем не то...

Я имел опыт общения с людьми типа Питера-Клода Барнхауза. Они встречались мне не только на Ниобее.

— Будете возражать, Барнхауз? В случае несогласия соблаговолите начертать мотивированный отказ. Вы правитель этого уголка мира, и без вашего разрешения я тут не сумею ступить и шага.

Он все же был не из тех, кого берут голыми руками. Он ухмыльнулся мне прямо в лицо. И ухмылялся, и смеялся он очень по-своему — не такой уж большой рот внезапно расширялся, распахивался, разбегался по щекам до ушей и разверзалась краснонёбая пропасть. Детей даже дружелюбные его улыбки должны были пугать.

— Не рисуйте меня дурачком, Штилике. Я правитель, пока прав. В смысле пока мои действия признаются правильными. Я не поклонник табели о рангах, но по-

нимаю: вы — это вы, я — это я. Шагайте без разрешения, куда поведут вас ноги. И передайте Объединенному правительству Земли, что мятежника во мне никогда не увидят.

— Я понимаю вас в том смысле...

— Именно в том, вы не ошиблись. Я отправлю вас на Ниобею с первым же планетолетом. Кстати, он уже подготовлен. Я снабжу вас всеми данными об этой планетке. Информация будет исчерпывающей, можете мне поверить. Сейчас я познакомлю вас с нашим космоэкспертом Джозефом-Генри Виккерсом, он недавно вернулся с Ниобеи.

Он встал и подошел к столу. На рабочем пульте светили два десятка разноцветных кнопок. Барнхауз нажал одну из них, и спустя минуту в кабинете появился космоэксперт. Я поглядел на Джозефа-Генри Виккерса и понял, что в моей жизни произошло важное событие. Теодор Раздорин слишком мало успел сказать мне о нем. Я и понятия не имел, чем для меня обернется знакомство с Джозефом, но сразу и безошибочно понял, что наши жизненные пути драматически пересеклись. И пусть мне не говорят, что такое понимание возникло позже, что я экстраполирую на прошлое осознанное лишь впоследствии. Я не знал своего будущего, не догадывался, какое страшное будущее — с моей помощью — уготовано Джозефу Виккерсу, но меня охватило смятение, едва он вошел,— и это свое чувство я помню. Я залюбовался Виккерсом. Он был незаурядно красив. Он был из тех, что одной своей внешностью покоряют. Высокий, статный, темноволосый, темноглазый — образец гармоничности роста и веса, ума и красоты — таким он предстал мне. И если в нем что-то и отвращало, то лишь временами вспыхивающие иронией глаза и кривоватая улыбка: в ней чудилось высокомерие, этой улыбкой он не соединялся с собеседником, как это обычно у людей, ибо нормальная улыбка равновелика дружескому слову или рукопожатию, нет, он отстранялся, улыбаясь, он указывал улыбкой дистанцию между собой и другими. Позже я узнал, что у него имеются и другие способы отстранения — вплоть до открытого пренебрежения, всегда нарочитого и потому особо оскорбительного.

— Джо, мой мальчик,— прорезал воздух острым голоском Питер Барнхауз.— Уполномоченный с Земли, зна-

менитый астросоциолог Штилике, решил осчастливить нашу планету очередным благотворительным декретом правительства. В общем, требуют срочно перемонтировать чертей в ангелов. Нужна ваша помощь, Джо.

Джозеф Виккерс поклонился мне, но руки не подал, и я вовремя удержал свою. Он глядел на меня с любопытством, как на диковинное животное. Он засмеялся — достаточно вежливо, чтобы не обидеть, и достаточно иронично, чтобы заранее показать свое отношение ко всем видам внеземной благотворительности. Так я его понял тогда, так это и было реально.

— Мне кажется, я мало гожусь для психомонтажных работ,— сказал он. И голос его покорял — мелодичный, медленный баритон звучал ясно и полновесно. Есть голоса худощавые, писклявые, жирные, просто маслянистые, даже грязноватые, а у него, у Джозефа-Генри Виккерса, голос был чистый и полноватый.

— Джо, мой мальчик, вы не способны смонтировать душу ангела в теле черта, вполне с вами согласен,— острым голосом резал свое Барнхауз.— Но вы же крупнейший знаток Ниобеи. Так вот докажите, что переконструкция ниба в человека неосуществима. Сообщите исследования своей лаборатории. Пусть факты говорят за себя сами, вы меня поняли, дорогой Джо?

— Показать доктору Штилике результаты наших работ я могу,— сказал Виккерс сухо и наклонил голову.— Сегодня вечером, если не возражаете.

Я не возражал. Барнхауз встал, показывая, что деловые разговоры закончены. Для человека, утверждавшего, что он ставит меня гораздо выше себя, он мог бы держаться и не столь начальственно. Ошибки подобного рода он впоследствии делал часто, Раздорин все же переоценил его дипломатическую изворотливость. Впрочем, Барнхауз сразу понял, что со мной надо обороняться, а не переводить в свою веру. Не поднимаясь с дивана, я обратился к Виккерсу.

— Знаете ли, что наш с вами учитель Теодор Раздорин скончался? За день до смерти мы с ним говорили о Ниобее и он вспоминал вас, Джозеф.

В нарочито спокойном лице Виккерса что-то изменилось. Мне показалось, что он смутился. Он не сразу ответил.

— О смерти Раздорина мы знаем,— сказал он.—

Большая потеря для науки, а для Ниобеи особенно. Он так много сделал для нее.

— Он говорил о вас перед смертью,— повторил я.

Виккерс понял, на что я намекаю, и принял вызов.

— Естественно, если разговор ваш шел о Ниобее, а я тут. И, конечно, осуждал меня. Он уверовал, что я отступаю от его учения. Однажды он крикнул мне: «Вы предатель нашей школы!» Надеюсь, он говорил вам что-то в этом же духе?

— Почему — надеетесь? — ответил я вопросом на вопрос.— Надежда на то, что вас будут осуждать,— не слишком ли вычурно сказано?

— Зато точно и правдиво, доктор Штилике. В жизни каждого из учеников Раздорина его личность сыграла поистине огромную роль. Он воспламенял наши души, был великим катализатором наших талантов. Уверен, что такую оценку не сочтете ни преувеличенной, ни чрезмерно вычурной. Но видите ли, доктор Штилике, мы, его ученики, ушли от него по разным дорогам. Одни продолжают его путь, спрямляют и заливают асфальтом проложенные им кривые тропки, другие свернули с них, чтобы найти свой проход в чащобах неизученного. Первых Раздорин восхвалял, вторых осуждал, как предателей.

— Можете гордиться: вас он осуждал, Виккерс. Меня восхвалял: я шагаю по его дороге. Вполне по вашей росписи. Я радуюсь его хвале, вы — его порицанию.

Я поднялся с дивана. Во время нашего разговора с Виккерсом мы с ним сидели, а Барнхауз стоял, переводя взгляд с одного на другого и как бы молчаливо призывая нас закругляться. Я не злобив и не мстителен, но намеренно затягивал разговор, выдерживая Барнхауза в нелепой позе церемонно стоящего между двух сидящих. В другой раз он сообразит, что беседу, начатую мной, буду оканчивать я, а не он. Он понял урок. Ни разу потом он не позволил себе забыться. Он оставался правителем в этом уголке мира, но при мне удерживался от застарелой привычки начальствовать.

Виккерс с Барнхаузом остались в его кабинете, я вышел. В приемной Агнесса так взглянула на меня, что я сразу понял — она подслушивала наш разговор в кабинете. Тогда это было только догадкой, теперь я точно знаю: у нее имелся аппарат, разрешенный Барнхаузом, она могла даже не подслушивать, просто слушать, что

совершается за стенкой, он потом с охотой выспрашивал ее суждения и совета по поводу услышанного.

И в отличие от своего шефа она не считала нужным экранировать свои чувства внешней учтивостью. Сколько я ни придумываю характеристик для тона, каким она заговорила со мной, я не нахожу ничего более точного, чем «ненавидящий голос».

— У вас, конечно, будут распоряжения, господин Штилике, — сказала она этим ненавидящим голосом. — Вы на Земле привыкли к таким удобствам, к такому обслуживанию... Высказывайте, пожалуйста, пожелания.

Ее золотые сережки-колокольчики мелодично позвякивали в ушах, отчеркивая каждое слово. Мне захотелось поставить эту красивую женщину на единственное подходящее ей место, чтобы она знала, что я не сомневаюсь в ее истинном отношении ко мне.

— Понимаю, милая Агнесса, — сказал я. — Вы хотите услышать мои желания, чтобы потом с тихой радостью объявить мне, что на Ниобее они неосуществимы.

— Почему же с тихой? — возразила она. — Я привыкла разговаривать громко. И разве я милая? Обо мне по-разному судачат, но милой — нет, так никогда не называют!

— Значит, немилая? Согласен и на это. Так вот, немилая Агнесса, у меня нет никаких пожеланий. И впредь не будет. Хотел бы, чтобы это вас устроило.

— Трудно с вами, господин Штилике, — сказала она, вспыхнув.

— Все мы народ нелегкий, — сказал я.

Сейчас я понимаю, что можно было взять не такой резкий тон. Хоть я не любил работать с женщинами на далеких планетах, все же грубость в обращении с ними мне не свойственна. Агнесса открыто не вызывала меня на грубость, для этого она достаточно воспитанна. Я отвечал грубостью на ее внутреннюю недоброжелательность, а не на невежливость. Возможно, я держался плохо, но что было, то было. Я поклонился — она не ответила на поклон.

Возвращаясь в гостиницу, я почему-то думал не о Барнхаузе и не о Виккерсе, а об Агнессе. Я говорил себе с усмешкой: «Бывает любовь с первого взгляда, а у нас с ней ненависть с первого взгляда, не странно ли?» Теперь я не вижу в этом никакой странности. Даже больше — утверждаю, что мгновенно возникшая ненависть

встречается чаще, чем мгновенно возникшая любовь. Любовь все же чувство юное, с годами возможность новой любви ослабевает, любовь с первого взгляда обычна у двадцатилетних и чрезвычайно редка у пятидесятилетних. А ненависть, вообще — недоброжелательность и несовместимость, не знают возрастных ограничений, старик способен на такое же острое чувство вражды, как и юнец.

И еще я думал о том, что на Платее за один день я узнал три формы обращения: Агнесса называла меня господином, Барнхауз коллегой, Виккерс доктором. На Земле давно отвыкли от господ, там все сильней внедряется радушное обращение: друг. До Платеи оно, по всему, не дошло. Традиции «Унион-Космос» здесь еще живы, как и остерегал меня Раздорин.

Вечером мне принесли в гостиницу с десяток папок: стереоленты, записи, доклады, отчеты. Работники Барнхауза основательно полазили по Ниобее, от их пытливого взгляда мало что укрылось. Мне трудно описать чувства, вызванные этими отчетами и докладами. Восхищение красотой планеты сменялось ужасом от неистовства стихий в ее недрах. Сострадание к жалкому народу, деградировавшему из величия к ничтожеству, превращалось в отвращение от средств, какими нибы поддерживали свое существование.

Было одно важное обстоятельство, породившее во мне тревогу, чуть ли не уныние: естественный вопрос — почему нибы еще в состоянии цивилизованном ввели каннибализм? Ответ, казалось, лежал на поверхности — в растительной пище не хватает белка, зверей почти нет, птицы почти неуловимы, стало быть, поедание сородичей, особенно стариков, и без такой жертвы близящихся к могиле, гарантирует продолжение расы. Сперва ешь ты, потом тебя — нехитрая формула бытия, неправда ли? И если так, то существуют средства, отвращающие от нибоедения: естественные белки животных, привезенных с Земли и отловленных на Ниобее, разнообразные консервы, заполняющие трюмы звездолетов. Но оказалось, что и животные, и птицы Ниобеи, и консервированные белки с Земли действуют на нибов как яды: в мизерных количествах вызывают отравления, в объемах побольше — «порция на одну десертную ложку» — приводят к гибели. Таких погибших от земного угощения нибов к моему прилету насчитывалось уже с десяток — и ни одного не удалось спасти.

Астрофизиологи — были и такие в лаборатории Виккерса — додумались, что в организмах нибов есть что-то, без чего они не могут существовать и это «что-то» нигде, кроме как в теле у себе подобных, они получить не могут — витанибы, так их пожелал назвать сам Виккерс. Исследования тканей и крови нибов не выявили загадочный витаниб, даже представления нет о том, что это за вещество. А раз так, то нет и возможности ликвидировать нибоедение: уничтожение каннибализма равнозначно уничтожению самих нибов. Еще ни разу за время моих галактических рейсов я не встречал такого мрачного прогноза. И, перечитывая ужасный последний доклад Виккерса, пытался найти контраргументы, но не находил.

Мне дали два дня на изучение материалов и раздумья, а на третий в моем номере появился Джозеф Виккерс. Он, естественно, заранее предупредил, что нанесет визит, он не был способен пренебречь внешними обрядами благопристойности. Он мог, как я убедился вскоре, спокойно вас пристрелить при встрече, если вы встали поперек пути, но и вытаскивая оружие, не преминул бы вежливо поздороваться: «Добрый день, очень рад вас видеть, готовьтесь к смерти!»

— Как вам понравились наши исследования, доктор Штилике?

— Временами испытывал омерзение!

Он кивнул, довольный. Именно на такую реакцию он и рассчитывал.

— Поганый народец, доктор Штилике. Могу надеяться, что вы поддержите наши первоочередные мероприятия на Ниобее как полностью обоснованные?

— Но я не знаю, что вы планируете на Ниобее, Виккерс.

— Разве вас командировали не для ускорения промышленного освоения этой планетки?

Он не мог не знать, что я командирован вовсе не для этого. Барнхауз, конечно, информировал его о нашем разговоре. Я холодно внес ясность в проблему, которую он, похоже, старался запутать.

— Для контроля производимых здесь работ, а не для ускорения их. Для проверки того, насколько они соответствуют общекосмической программе Земли. Мне известно, что Ниобея фантастически богата ценными элементами. Превратить Ниобею в рудную базу космоса —

такова долгосрочная перспектива, она остается. Но вы говорите не о долгосрочных планах, а о каких-то первоочередных мероприятиях, Виккерс.

— Первоочередные мероприятия вытекают из долгосрочных планов. Главное — изолировать нибов. Не перемонтировать чертей в ангелов, как выразился Барнхауз, это технически неосуществимо. Нет, просто оттеснить их подальше от наших промышленных разработок. А лучше всего забыть об их существовании. Я высказываю в данном случае свое личное мнение, доктор Штилике.

Он выкладывал все это неторопливо, благодушно, какими-то округленными звонами и мелодичными переливами бархатного баритона. Он наслаждался и тем, как музыкально красиво звучат его чудовищные предложения, а еще больше тем, что привел меня чуть ли не в трепет. У него блестели глаза. Я не дал ему радости увидеть свое негодование. Я спокойно осведомился:

— У вас имеются основания для такой... — скажем осторожно — необычайной акции, коллега Виккерс?

— Имеются, доктор Штилике. Назову два основания. Первое — нибы препятствуют промышленному освоению планеты. Они еще мирились с появлением малочисленной группы исследователей. Но экскаваторы, бурильные станки, транспортеры приводят их в бешенство. Уже несколько агрегатов уничтожено. Один из водителей грузовика спасся только тем, что бросил свою машину и удрал. Не обольщайтесь внешним добродушием этих дикарей. Они народ капризный, склонный к истерии, на них порой накатывает безумие. Знаете, чем объясняют нибы свою ненависть к машинам? Машины возмущают их эстетически! Вот такое словцо из сотен тысяч человеческих слов выбрал дешифратор для характеристики их машиноборчества. Что бы вы сказали о зверях, которые нападают на других зверей потому, что им не нравится окраска шерсти или звук голоса, или запах кожи?

— Нибы не звери, а разумные существа.

— Нибы — звери, доктор Штилике. Звери с некоторыми зачатками или, точней, остатками разума. В общем, полоумный народец. Нужно ли церемониться с полоумными? Я напомню вам: когда наши предки осваивали Землю, им противодействовали звери и гады, и наши предки не нянчились с львами, тиграми, волками, змеями... Без истребления хищников человек и сам бы не

выжил и не создал бы общечеловеческую цивилизацию из конгломерата дикарских племен.

— Мы сейчас жалеем, что человек переусердствовал в истреблении рыб и птиц, зверей и змей! Столько пород погибло.

— Я не предлагаю переусердствовать, доктор Штилике. Давайте разумно учтем не только положительный, но и отрицательный опыт наших предков. Поселим туземцев в охраняемых резервациях. Но основные пространства Ниобеи от нибов надо очистить. Без этого промышленное освоение планеты невыполнимо. Таково мое первое основание для программы изоляции нибов.

— Слушаю второе основание, Виккерс.

В его мелодичном голосе зазвучал металл.

— Второе в том, что эта популяция полуразумных существ сама осудила себя на вымирание. Ее внутренняя воспроизводительная сила стала меньше ее же внутренней силы уничтожения. Мы явились на Ниобею к последнему акту исторической трагедии ее народа. Сотни две лет без нашей помощи, еще сотню лет при нашем благотворительном воздействии — таков предел их дальнейшего существования. Так стоит ли искусственно продлевать их безнадежное бытие? Надеюсь, я вас убедил?

— Не надейтесь, — сказал я. — Мой мандат предписывает всюду изыскивать меры помощи внеземным цивилизациям, нуждающимся в благотворительности человека. Мандата на истребление инопланетных народов я не получал. Наши предки прошли с огнем и мечом по всем континентам Земли. Мы по-иному выходим в космос. Я сделаю все, чтобы не дать совершиться тем мероприятиям, которые вы называете первоочередными.

Он усмехался высокомерной отстраняющей улыбкой. Я еще не привык к ней, она меня раздражала. Я был готов наговорить ему грубостей из-за одной этой улыбки. Я понимал, что мы отныне враги, он тоже понял это.

— Что же, доктор Штилике, вызов брошен, так говорили в старину. Натянем на лица боевые забрала. Уверен, впрочем, что ваши формальные права значительно превышают ваши реальные силы. Разрешите узнать, что вы намерены предпринять? Подразумеваю поступки, а не философские рассуждения.

— Барнхауз обещал отправить меня на Ниобею. Буду знакомиться с планетой и ее обитателями.

— В таком случае осмелюсь потревожить вас личным

ходатайством. Моя жена, этнолог Ирина Миядзимо, просится на Ниобею. Ей разрешили сопровождать меня, но этого мало для посещения опасных планет. Ирина прибыла сюда от Токийского университета, марка университета — аргумент не из самых сильных. Возьмите ее в помощники или секретари. Барнхауз посчитается с вашим желанием больше, чем с моей просьбой.

Я смотрел на него во все глаза, так меня поразила просьба. Ибо это была не просьба, а вызов. Он, конечно, знал, что в выработке правил, ограничивающих участие женщин в космических экспедициях, я принимал самое активное участие, и многие были моей редакции. Он ожидал отказа и наталкивал на отказ, чтобы иметь личную обиду на меня. Я был — это показало будущее — и прав, и не прав. На отказ он надеялся, но вовсе не для того, чтобы лелеять обиду. Я слишком примитивно оценил его. И, подчиняясь этой ошибочной оценке, уверенный про себя, что не разрешу ей вылететь со мной, я показал объективность, какой не было.

— Хочу предварительно поговорить с вашей женой. Когда это можно сделать?

— Хоть сейчас, доктор Штилике. Ирина сидит в холле гостиницы.

Спустя минуту я пригласил Ирину Миядзимо в кресло. Мы с Джозефом Виккерсом сидели в таких же креслах, образуя равносторонний треугольник. Я спросил, чем могу служить Ирине и чем может послужить мне она. От меня она попросила ходатайства перед Барнхаузом, а мне пообещала помочь в изучении нибов. Она не просто этнолог, а космоэтнолог. Земные народности, этносы, она изучала лишь как учебный материал. В аспирантуре она специализировалась на инопланетных этносах. К сожалению, разумных цивилизаций в космосе мало, да и те уже изучены. Но этнос нибов для этнолога — кладезь открытий. Собственно, она и мужа заставила наняться на Ниобею, чтобы впоследствии присоединиться к нему. Она будет исполнительным сотрудником, какую я ни определю ей должность.

Она говорила долго и горячо, я слушал внимательно только первые минуты. Я всматривался в ее лицо, вслушивался в грудной, глуховатый, очень низкого тона голос, только у одной на тысячу встречаются такие голоса. И я любовался ею. Нет, она не была красива в обычном понимании красоты. В этом смысле ей было далеко до

Агнессы Плавицкой. Даже рядом с красивым мужем она проигрывала: когда я переводил взгляд с него на нее, она казалась дурнушкой, возможно, и была такой. Это не имело значения — красива ли она или только миловидна или даже и этого маленького дара природы лишена — простенькой миловидности. Она была больше, чем красива, она была прекрасна — той особой, той высшей прелестью, какую не выразить ни изяществом линий, ни гармонией форм, ни музыкой голоса. В ней ничто не выделялось, она была совершенна всем естеством. Мой дед, Иоганн-Фридрих Штилике, знаменитый в Баварии виноградарь, часто говорил мне о какой-то нашей соседке, образ ее не сохранился во мне: «Василий-Альберт, она не богиня, нет, но в ней вечно женственное — эвиг вайблихе — и, поверь мне, мальчик, это важней божественности». Что я тогда понимал в речениях деда, его оценки были мне не по возрасту. Но я сразу понял, что именно о такой женщине говорил мой дед Иоганн Штилике, ибо в Ирине Миядзимо было то самое «эвиг вайблихе», то вечно женственное, что значительней любой красоты.

Мне исполнилось сорок девять лет к тому дню, когда Джозеф Виккерс вызвал ко мне свою жену. На Земле до встречи с Анной я много увлекался разными женщинами — влюблялся, не теряя головы, расставался без раны в сердце. Обычной семьи я не создал даже с Анной, мы прожили почти десять лет, но детей у нас не было, нам попросту было не до детей. А после смерти Анны не помню, чтобы приглядывался хоть к одной женщине. Я был влюблен в космос, космические экспедиции были единственной страстью моей души, я не мог делить эту могучую страсть со скорогаснущими страстишками. Но если в мире и существовала женщина, способная породить во мне сильное чувство, то эту женщину звали Ирина Миядзимо. Я понял это еще до того, как она закончила свои просьбы. Но одновременно я помнил, что она жена такого же астронавта, как я, удивительно красивого человека и к тому же вдвое моложе меня, да еще моего принципиального врага; и что я не имею морального права стать соперником своего противника.

Я сделал знак, что Ирина может больше не продолжать.

— Я возьму вас с собой секретарем. Готовьтесь к отлету на Ниобею. Когда рейс, коллега Виккерс?

— Планетолет отлетает завтра, — сказал он слишком спокойно, чтобы это было реальным спокойствием.

Они ушли, а я задумался. Я удивлялся себе и не понимал себя. Что сказал бы мой резкий и категоричный учитель Теодор-Михаил Раздорин, если бы узнал о разговоре с Ириной? Наверно, сыронизировал бы: «Пришла, увидела и села на шею». Уж он-то не поверил бы, что я способен вот так, без сопротивления, покориться настояниям первой встреченной женщины. Я был недоволен собой и тревожился за себя, мне все больше думалось, что совершился плохой поступок и я легко не выкарабкаюсь из создавшейся скверной ситуации.

— Ты влюбился с первого взгляда, дружок, — сказал я себе вслух. — Два важных сегодня события — и оба с первого взгляда. Ненависть к Агнессе, любовь к Ирине. Ненависть взаимна, а любовь односторонняя. К тому же ненависть никто не опорочит, типичная несовместимость характеров и целей, ненавидьте себе на здоровье. А любовь — запретна. Не значит ли отсюда, софистически изрек бы твой учитель Раздорин, что ненависть благостней и поощрительней, чем любовь? Короче, что ненависть лучше любви?

На другой день перед поездкой на планетодром я зашел в Управление. Барнхауз уехал проверять, все ли готово для рейса на Ниобею. У Агнессы торжествующе сияли глаза: она уже знала, что я разрешил Ирине лететь со мной. Она протянула мне какую-то бумагу для подписи. Золотые колокольчики в ее ушах вызванивали похоронный марш.

— Я написала от вашего имени, господин Штилике, объяснение, почему вы сочли нужным разрешить Ирине Миядзимо посещение Ниобеи. Я боялась, что у вас не хватит времени составить этот необходимый документ, а без него вылет Ирины на Ниобею не возможен.

В бумаге было написано, что Ирина Миядзимо направляется на Ниобею, потому что необходимо глубокое изучение нибов, а осуществить такое изучение может только она, выдающийся специалист в этнографии, — всю ответственность за такое решение беру на себя.

— Да это вздор! — воскликнул я. — Откуда мне знать, выдающийся ли она специалист? Я не читал ее работ и вообще лишь раз ее видел.

Колокольчики Агнессы внезапно сменили грустную мелодию на ликующую.

— Не хотите же вы, чтобы я написала, что вы уступили жене Виккерса потому, что она покорила вас, что взяла вас в плен своим обаянием, своим настоянием, своим?.. Короче, кто поверит, что знаменитый покоритель космоса Василий Штилике способен показать такую слабость? Впрочем, если вы настаиваете, я перепишу бумагу.

Я подписал документ и быстро вышел. Я опасался, что не сдержусь и честно выскажу Агнессе все, что думаю о ней. Она злорадно рассмеялась мне вслед.

5

Экспедиционная станция на Ниобее резко отличалась от других инопланетных станций: огороженная металлическим забором территория, башни по углам забора, на башнях пулеметы и боевые лазеры, внутри ограждения гаражи, мастерские, склады, причальные площадки и двухэтажная гостиница человек на тридцать. И, разумеется, вокруг Станции — очищенное от деревьев и кустов пространство, даже холмы сглажены, а ямы засыпаны, чтобы никто не мог скрытно подобраться к забору. Когда на Земле критиковали косморазведчиков Ниобеи за создание такой крепости, они хладнокровно отвергали критику: нет, они не завоеватели, они идут с пальмовой веткой мира в руках, а лазеры и пулеметы лишь на случай, если на них нападут: наступать они ни на кого не собираются, но дадут жестокий отпор всякому, кто покусится напасть.

Командовал Станцией Роберт Мальгрем, высокий швед с золотой, по плечи, гривой и солнечно-яркой бородой.

— Коллега Штилике, вам лучше начать знакомство с туземцами с осмотра их древнего города, — предложил Мальгрем. — Сами нибы в нем давно не живут, хоть иногда и забредают туда, и могут вам повстречаться. Печальное свидетельство нынешней социальной и интеллектуальной деградации несчастного народца — вот таким вам предстанет этот памятник их угаснувшего величия.

Ирина порадовалась, что знакомство с Ниобеей начнется с древнего города. Это местечко, говорила она, напичкано загадками. Все, что разведали о Ниобее, было ей досконально известно. Она выискивала в отчетах информацию, до какой и Мальгрем, и ее муж не доходили.

Она пришла ко мне вечером, у меня сидел Мальгрем, и поделилась своими знаниями. Еще первые астроразведчики обнаружили, что кроме нибов на планете некогда жили и существа, похожие на земных обезьян. Между нибами и ниобейскими обезьянами шли войны, в результате обезьяноподобных истребили. В отчетах приводились скорбные картины: группки обезьян, уныло сидящие за загородками, те же обезьяны, вяло плетущиеся по равнине под охраной нибов...

— Не было войн, — с увлечением доказывала Ирина. — Все, что я вычитала в отчетах, свидетельствует, что нибы на войну не способны. И те обезьянки были не врагами, а домашним скотом. Их не истребляли, о них заботились, как мы о наших коровах и баранах.

— На картинах нибы ведут обезьян под конвоем, — возражал Мальгрем. — Типичное шествие пленных проигранного сражения. Вы завтра посмотрите эти картины: обезьяны упираются, а нибы их торопят, на лицах нибов нетерпение и злость, на лицах обезьян — отчаяние и покорность.

— Нибы просто спасают свое богатство, Роберт. Произошло извержение вулкана, их здесь так много! Нибы перегоняют свой скот подальше от огня и пепла. Вот что я увидела на картинах, приложенных к отчетам. Я уже не раз доказывала Джозефу, что он неверно понимает нибов, но он не соглашается, он их не терпит. Очень хотела бы, чтобы вы отнеслись к ним пообъективней.

Они еще поспорили и ушли. Я вышел на плоскую крышу гостиницы. Оба светила, Гармодий и Аристогитон, закатились, но тьмы не было. Вверху сияли крупные звезды, их было много, голубых и красных, желтых и белых — тысячами бессмертных глаз всматривалось ночное небо в диковинную планету. А на планете бушевали вулканы. Станцию разместили в отдалении от крупных горнил, но на Ниобее не было места, откуда бы не виделись высокие фонтаны пламени в мерцающей бахроме золотого дыма. Планета клокотала всем нутром, с грохотом и гулом исторгалась наружу. Планету мутило и рвало, она облегчала себя раскаленной блевотиной. И это было красиво — струи красной лавы, плывущие по склонам гор, смерчи пламени, устремляющиеся к небу, как взывающие о помощи руки, белокалильные камни, яркими болидами пронзающие воздух. Я долго не мог оторвать глаз от грозной феерии извержений.

— В город будем шагать пешком, — сказал поутру Мальгрем. — Далековато, но лучше, чем в вездеходе. Вы ведь знаете, что нибы недолюбливают машины.

Я не любитель пеших походов. Взбираться на гору мне трудно, а дорога шла вверх. В течение двух часов всех моих физических сил хватало лишь на то, чтобы не падать на крутых склонах и продираться сквозь колючие, пряно пахнущие кусты, а духовных — чтобы не ругаться, когда валился в ямы и расщелины, и не стонать, если ушиб был сильным. Красота роскошного леса прошла мимо моего сознания, красоту нужно созерцать, а я проламывался сквозь нее — в трудной физической борьбе с красотой не оставалось места для эстетического наслаждения. Зато Ирина всю дорогу пребывала в ликовании. Она падала, как и я, но не злилась, а смеялась, а когда цеплялась за колючки какого-нибудь буйно цветущего куста, то восклицала, выдираясь из ветвей: «Боже, насколько же эти орхидеи красивей земных!» В какой-то момент с ближнего вулкана остро потянуло серой, она с наслаждением втянула ноздрями воздух, ее щеки вспыхнули от удовольствия, даже серный дух планеты был ей по душе, ибо по душе была вся эта планета, куда она так долго и так безуспешно старалась попасть.

— Попахивает преисподней! В одном из кругов ада, помню, была такая же атмосфера, — мрачно сострил я.

— В аду не бывала, но не теряю надежды, — отшутилась она. — Вот встретимся после ада и поговорим, лучше там или хуже.

Ни она, ни я и отдаленно не предчувствовали, что уже немного времени до того, как судьба швырнет нас к серным котлам ада — и последующего обмена мнениями не будет.

Впереди неутомимо шагал Роберт Мальгрем. Этот человек рожден быть первопроходцем дебрей. Из таких людей в древности создавались завоеватели земель. Он не продирался сквозь кусты, а давил их тяжелыми сапогами. Временами он подбадривал нас — меня, естественно, а не Ирину — окриками, похожими на воинственные клики. Он как бы шагал по тропе войны и беспокоился, не отстает ли его воинство. Он разительно переменился, Роберт Мальгрем, выбравшись за грозные ограждения своей небольшой крепости. Там, под защитой лазеров и пулеметов, в своем служебном кабинете он был суховат и сдержан, там для него всего важней была эффективность

вверенного ему производственно-космического предприятия. А здесь он дал волю другому своему естеству, здесь он был энергичным, веселым, настороженным, полным воодушевления и тревоги — всем одновременно. Мы только не знали, что вызывает у него тревогу.

Он вдруг прокричал из гущины скрывших его кустов:

— Шагайте быстрей, здесь отдохнем!

Мы выбрались на полянку на склоне горы. Я уселся на камень, Ирина опустилась на траву, она все же сильно устала. Мальгрем весело оглядел нас.

— Поздравляю с удачным выходом из леса, друзья!

— Нам что-нибудь грозило? — живо поинтересовалась Ирина. Мне почудилось, что она даже разочарована, что подстерегали опасности, а ничего опасного не произошло.

Мальгрем разъяснил, что в лесу змеи, многие ядовиты. Впрочем, он захватил с собой противоядие. И хорошо, что не повстречались нибы, этот странный народец сердится, когда люди пробираются к заброшенному городу. Зато в самом городе они приветливы, там с ними можно беседовать — при помощи дешифратора, конечно. И при возвращении из города их можно не опасаться. Еще не было случая, чтобы нибы нападали, когда люди спускаются к себе на Станцию — если люди не уносят ничего из города, этого нибы не любят. Вначале были стычки, когда первые косморазведчики переусердствовали по части золотых вещиц и драгоценных камней. Сейчас вывоз экспонатов запрещен, можно лишь фотографировать изделия нибов и отправлять на Землю добытое на планете сырье.

— Значит, были стычки с нибами? Они нападали? — уточнил я.

— Ну, нападения! Швыряли камни, нападали с палками. Одного отхлестали колючими ветками, он весь покрылся волдырями. Могли и глаза выхлестнуть, если бы не сбросил с плеч золотую змею с аметистами в глазницах. Отличная вещица, можете мне поверить.

Ирина нахмурилась. У нее очень менялось лицо, когда она хмурилась — видно было, с каким усилием она ворочает в голове иные мысли. Сообщение о стычках людей и нибов опровергало ее убежденность, что нибы не воинственны. Она сказала почти враждебно:

— Я все же делаю вывод, Роберт, что причиной столкновения людей с туземцами было поведение людей. Люди грабили нибов, те не стерпели. Разве не так?

— Можно и так, — согласился Мальгрем. — Для нас в первые годы было важно, что нибы могут напасть, если им что не понравится. Чуть до войны однажды не дошло: нибы потребовали, чтобы мы перенесли Станцию на сто километров. Мы упорствовали, они волновались. Барнхауз не пожелал обострять раздор, и мы уступили.

— Нибам нужно было то место, какое вы заняли Станцией?

— Ничего им не было нужно. Станция там портила им пейзаж, так они объяснили. Впрочем, все обернулось к лучшему. Спустя год неподалеку забушевал вулкан. Сейчас место, где стояла Станция, залито лавой. Отдохнули? Полюбуйтесь пейзажем и двинемся дальше.

С полянки открывался великолепный вид. Мы стояли метрах в пятистах над равниной. Равнину покрывали леса, кое-где в темную красень сплошного леса — окраска растений на Ниобее красная и розоватая, только цветы дают все вариации спектра — вкрапливались голубоватые озерца и над деревьями высились остроконечные скалы. А на отдалении вздымались жерла вулканов — орудия, нацеленные в небо. Из них исторгались фонтаны огней и столбы дыма и пыли. Доносился глухой гул извержений. Почва вздрагивала. Ирина, мне показалось, забыла о цели нашего путешествия. Она подошла к обрыву, поворачивала голову то вправо, то влево, всюду находилось что-то, вызывавшее ее интерес. И она опять раскраснелась от восторга, с ней так происходило всегда, когда что-либо занимало ее внимание, а вещей, недостойных внимания, для нее не существовало. Так было на Ниобее, но, думаю, иной она не была и на Земле.

— Как красиво! Нет, как удивительно красиво! — твердила она и оглядывалась то на меня, то на Мальгрема, как бы приглашая нас разделить ее ликование.

Я оставался спокоен, но на сдержанного шведа, оставившего свою служебную невозмутимость на Станции, восхищение Ирины подействовало. Он, впрочем, больше любовался ею, чем красочным пейзажем. Он приблизился к ней, она слишком опасно подошла к обрыву полянки в лесистое ущелье — протянул предостерегающе руку, чтобы ухватить, если она поскользнется. Он был огромен и могуч рядом с ней — эдакая колонна на двух тумбах, крупноголовый, плечистый, с руками, как с лопатами на длинных древках. Оба светила, Гармодий и Аристогитон, красили его золотую бороду, она поблескивала волосками,

как искрами. Но Ирина не любовалась Мальгремом, как любовался им я. Она только стояла рядом с ним — маленькая, тонкая, быстрая, ее голова даже не достигала его плеча. И ее глубокий голос стал еще глубже — он шел, казалось, не из груди, а из самой души. Может быть, это надо сказать и не так выспренно, но Мальгрем так вслушивался в ее голос, что любое преувеличение не противоречило реальности.

— Надо идти, друзья, — напомнил я. Мне, хорошо помню, хотелось прервать и ее созерцание окрестностей и его любование ею. Ухаживания и увлечения в экспедициях не предусмотрены. Мальгрем, хоть и молчаливо, нарушал обычай.

Город открылся минут через десять. Сперва это были небольшие груды камней на склонах горы, груды делались все больше по мере того, как мы поднимались к вершине. Гора была из «столовых», ее почти плоская вершина охватывала с квадратный километр — и всюду громоздились каменные купола. Сдавалось, что мы попали на земной восточный базар, уставленный шатрообразными магазинами: только здесь здания-шатры были и выше и массивней. Я подошел к одному, потрогал стены: камень плотно прилегал к камню — ровная прочная кладка. Я с восхищением покачал головой, Мальгрем откликнулся:

— Умели строить предки этих дикарей. Вот подойдем к их дворцу, вы еще больше удивитесь.

Мальгрем назвал дворцом исполинский каменный шатер в центре города. Если другие купола мало отличались от правильной полусферы, то этот походил скорее на конусообразный ненецкий чум. И он был так высок, что приходилось задирать голову, чтобы разглядеть вершину. Я снова полюбовался подгонкой каменных плит, сиреневых, красных, синих, желтых, черных. Каждая плита резко разнилась цветом от соседних, все вместе создавали пестрый и яркий ковер из самоцветов.

— Как невероятно красиво! — не переставала восторгаться Ирина. Каменные творения нибов восхитили ее еще сильней, чем роскошные пейзажи Ниобеи.

— Как выносят эти сооружения вулканические катаклизмы? — спросил я Мальгрема.

Оказалось, нибы нашли для своих сооружений самую устойчивую форму — здания вздымаются, как гигантские опухоли, землетрясения или, верней, ниобеетрясения та-

ким постройкам опасны лишь при очень больших смещениях почвы.

— Прочность их строений еще не чудо. Настоящее чудо увидите внутри, — пообещал Мальгрем.

Внутрь каменных шатров вело отверстие на уровне почвы, но с небольшим уклоном вниз. Мальгрему пришлось в три погибели согнуться, чтобы пролезть в дыру, Ирина не доставала головой до свода, я, лишь немного выше ее, касался макушкой холодного камня. Мальгрем освещал ручным фонариком путь в туннеле, Ирина шла за ним, я замыкал. Мы опускались в причудливом переплясе фонарных бликов, отражавшихся от стен, как от зеркал, затем Мальгрем погасил фонарь и куда-то исчез. Ирина остановилась, я подтолкнул ее, она сделала шаг и тоже исчезла. Я последовал за ней. Мы вошли в освещенный зал.

Внутренность дворца была внутренностью купола: это был как бы исполинский колокол метров в сорок высотой, по его сужающимся вверх стенам простирались шесть этажей — поясами по периметру. Каждый этаж нависал над залом кольцевой верандой с балюстрадой. И все внутреннее пространство было лишь шестью поясами таких сужающихся веранд, только на самом верху светило гладкое белое пятно — крохотный потолок огромного помещения.

— Великолепно, правда? — и, как в настоящем колоколе, громкий голос Мальгрема загудел, отразился от нижних этажей на верхние и, несколько раз повторяясь эхом, постепенно менял и силу, и тон. «Великолепно, правда?» — грохнуло внизу, «...лепно... авда», — мелодично прозвучало выше, «...лепно...да», — тоненьким звуком донеслось сверху. Мальгрем захохотал и с минуту наслаждался гармонией новых эхо. Ирина тоже смеялась, но ее слабый голос не смог породить столько эхо — Мальгрем потом, уже на Станции, признался, что и раньше многократно испытывал акустику дворца на разной мощи голоса. И для ублажения Ирины — ей все больше нравилась мелодия колокольных эхо — Мальгрем то кричал, то пел, то шептал, но каждый раз на полном дыхании, был ли то шепот или крик, — без этого эхо звучало не так выразительно. «Э-ге-ге!» — гремел Мальгрем, «Ух-ух-ух!» — выкрикивал он, «А-ха-ха!» — шептал и пел он, и купол десятикратно возвращал ему и «Эге-ге», и «Ух-ух», и «А-а!»

Что до меня, то освещение купола поразило меня сильней его многогласных эхо. В зале сияли самосветящиеся веранды всех шести этажей. Каждая балюстрада, все перила, потолки этажей, нависающих над залом — все источало свое особое свечение. На первом этаже преобладало темно-вишневое сияние, прорезанное золотыми полосами, выше оно было оранжевым, потом зеленовато-желтым, а всего выше тонко-голубым. И все краски смешивались с сиянием золота, золото преобладало, отчеркивало собой и угрюмую красноватость низа, и зелень средних поясов, и возвышенную голубизну свода. Даже воздух, сухой и чистый, без примеси серы, столь отчетливой снаружи, как бы сам светился, стал как бы слабой фиолетово-золотой дымкой.

— Любуетесь освещением? — обратился ко мне Мальгрем, когда ему надоело вызывать разноголосицу эха. — Стоит! Я послал предложение внедрить на Земле такую же систему освещения. Не думаю, впрочем, что согласятся. Красиво, но опасно. Это ведь радиоактивные краски. Нибы смешивали истолченные цветные минералы с радиоактивными веществами, и в каждом возбуждалось свое свечение. Вы сейчас увидите их картины, они тоже писаны радиоактивными красками. Наши земные художники до такого не додумались.

Он вел нас по всем шести верандам, опоясывающим кругами внутренность зала. Собственно, это были не круги, а витки спирали, но такого большого радиуса, что отличие от окружностей почти не воспринималось. Да и сам пол был так искусно изогнут, что в любом месте все шесть этажей протягивались над ним без наклона — пол повторял кривизну этажных витков.

На первом этаже мы попали в широкую галерею, уставленную статуями и картинами. Теперь я увидел то, о чем прочел в отчетах Виккерса: внутренность дворца была музеем творений резца и кисти. Но надо собственными глазами увидеть это чудо искусства, чтобы почувствовать его совершенство. Весь нижний этаж заполняли статуи — лес каменных фигур в два и три человеческих роста, парк зеленых полированных змей, вздымавших винтами свои остроголовые туловища, диковинные зубастые птицы, широко распахнувшие голубые крылья в хищном полете, готовящиеся к прыжку красные зверьки, те же зверьки, в испуге распластавшиеся на почве, а еще больше обезьяноподобных существ, рыжих, уша-

стых, хвостатых, длинноногих и длинноруких, длинношерстных с умильно добрыми и унылыми мордочками. Но больше всего было самих нибов — рослых и крохотных, прямошагающих и ползущих, старчески согнутых и помолодому стройных.

Мы пробрались сквозь чащу статуй к стенам. На них были радиоактивные картины. Я вдруг потерял ощущения места. Я знал, что передо мной только стена, но стены не видел. Впереди раскрылась цветущая полянка, усеянная голубоватыми валунами, справа поблескивало темное озерцо, слева высились густолистые деревья, а вдали, над озером и лесом, поднималась конусообразная голова вулкана, она была багрова, как чирей, из нее исторгалось пламя и выбрасывался дым, дым свивался в клубы, его тянуло ветром к нам, я потянул носом воздух и ощутил гарь и серу. Невольно я сделал шаг вперед, к озерку, и ударился головой о стену, и только тогда пропало видение реальной дали и запаха дыма и серы.

Мальгрем гулко захохотал, Ирина смеялась. Сконфуженный, я потер ушибленный лоб.

— Какая стереоскопичность! — воскликнула Ирина. — Даже великие живописцы Земли так не воспроизводили глубину далей.

Меня все же сильней, чем стереоскопичность пейзажа, поражало разнообразие цвета. Я просто не знал, что физически возможна такая палитра ярчайших красок, горящих не от внешнего освещения, а собственным свечением. Я спросил, не опасна ли интенсивность света: вероятно, нибы использовали очень активные вещества. Нет, радиоактивность невысока, ответил Мальгрем, в зале ионизация лишь немного выше, чем снаружи.

— Долгое пребывание внутри дворца людям все же не рекомендуется, — добавил он.

Мы двигались по галерее, переходили со спирали на спираль, а на пути непрерывно тянулась все та же чащоба статуй, а по стенам все такие же яркие, самосветящиеся, разнокрасочные картины. И вскоре стало ясно, что этаж к этажу тематика статуй и картин меняется. Внизу древние художники и скульпторы только вглядывались в мир, они как бы говорили картинами и изваяниями: «Вот это простор перед домом, а вот это — страшный вулкан, хорошо бы от него подальше. А вот звери, рыскающие в лесу, и птицы, несущиеся над лесом. А это уже

мы сами, а рядом обезьяны, у, какие образины!» Но уже на втором этаже появились жанровые сценки: кучка нибов бежала за зверем, другая кучка тащила убитых птиц. Сценок охоты становилось все больше, на третьем этаже кроме них ничего и не было, но здесь к охоте на птиц и зверей добавились картины расправ с обезьянами. На колоссальном, на пол-этажа, панно с жутким совершенством воспроизводилось, как нибы хватают отчаянно отбивающуюся обезьяну — я почти физически слышал надрывный визг жертвы; как метрах в двух подале, на другой ярко светящейся картине, тащат разделанную тушу на костер; и еще дальше как ее поедают и каким удовольствием, почти блаженством светятся нибы — густым сиянием излучалась на нас картина пиршества.

— Отвратительно! — прошептала побледневшая Ирина.

— Выше еще отвратительней! — мрачно предрек Мальгрем.

Выше уже не было ни зверей, ни птиц, ни змей. И статуй стало поменьше — уже не лес самосветящихся изваяний, только отдельные фигурки. Зато живопись становилась искусней и ярче: вместо красочных пейзажей лесов, озер и вулканов — сцены сборищ. Мальгрем на четвертом этаже молча подвел к ужасной картине — нибы поедали ниба. Это был, несомненно, ниб, а не обезьянка, и ели его хмуро, без обжорного блаженства, живописанного этажом ниже. Неведомые художники изобразили не пиршество, а скорбную трапезу, такой мне увиделась картина. Я долго всматривался в группу, понурившуюся у костра, на нем жарился их собрат. На нижних этажах нибы изображались рослыми, краснощекими, их почти безносые лица с вытянутым вперед — по-звериному — ртом, были по-своему привлекательными, запавшие глаза под покатым лбом смотрели весело и разумно. Ничего из внешней привлекательности теперь и в помине не было. Унылые фигуры, бесстрастные лица, тусклые глаза, висящие, как плети, длинные руки...

— Впечатление, что к каннибализму нибов принудила голодуха, — оценил я картину. — И они не радуются, что нашли такой страшный выход из безвыходной нужды.

— На данном этапе их истории, тому лет тысячи две по земному счету, возможно, это было и так, — возразил Мальгрем. — Но потом они превратили нужду в добродетель. Нибоедение превратилось в ритуальный обряд. На

пятом и шестом этажах вы увидите сами, какое пышное оформление получил каннибализм.

На пятом этаже обезьян уже не было ни среди статуй, ни на картинах. Очевидно, к этому времени их больше не существовало. Не существовало и птиц, и зверей, вернее, они стали так редки, что ниби перестали воспроизводить их в рисунках и изваяниях. Теперь скульпторы и живописцы сосредоточились на изображении своих. Ниби как бы погрузились в самопознание — и картины и изваяния воспроизводили их настроения и мысли. Я долго не отрывался от скульптуры молодого ниба — печальное лицо, сумрачные глаза, длинные руки, сложенные крестом на груди: совершенный образ скорби. Рядом старик глядел веселей, он улыбался, подняв вверх лицо, шея и руки его были обвиты пурпурными лентами, гирляндами пурпурных цветов, краски не светились, а пламенели.

— Вас не удивляет убранство старика? — спросил Мальгрем. — Его украсили для жертвоприношения. Подойдем вон к той картине.

На картине был изображен такой же старик, убранный такими же яркими лентами и гирляндами цветов, и на лице его сияла такая же радостная улыбка, он готовился к чему-то отрадному, таким его живописал художник. Но готовили старика к закланию: тускло светили раскаленные камни костра, стояли палачи с каменными секирами в руках. А у очага рослый ниб с распростертыми руками, казалось, призывал свыше благословение на жертву.

— Здесь они священнодействуют перед казнью, на соседних картинах пожирают казненного, — прокомментировал Мальгрем. — На последнем этаже такие же сценки, только мастерством похуже.

Уже к концу пятого этажа стало видно, что и краски светят не так ярко, и рисунки не так выразительны. На шестом, последнем этаже, каменные изваяния выглядели грубыми поделками. На ритуальных картинах появились новые сцены — к очагам на заклание вели уже не одних стариков, попадались и молодые. Но с тем же изощренным старанием живописцы изображали на лицах жертв удовлетворенность, почти радость.

— Противоестественно! — с негодованием воскликнула Ирина. — Никогда не поверю, чтобы живое существо, особенно молодое, радовалось, что его убьют, а потом съедят.

— Возможно, религиозное изуверство, — сказал я. — Фанатики впадают в экстаз. На Земле в старину люди с ликованием самоумертвлялись, чтобы обрести посмертное блаженство.

— Религиозных обрядов мы не обнаружили, — ответил Мальгрем. Он наклонился над перилами галереи и что-то высматривал. — Нас выслеживают! Я побегу вниз, а вы не торопясь идите за мной.

И, когда мы с Ириной сошли с последней галереи, Мальгрем разговаривал в зале с двумя нибами. Я впервые увидел живого ниба. Оба были и похожи, и непохожи на изваяния и фигуры на картинах — те же, но ростом пониже, с тусклыми лицами, с неживыми глазами; узкие покатые плечи плавно сливались с шеей; вытянутый вперед губастый рот придавал сходство с собакой; пальцы, непомерно длинные и гибкие, нервно шевелились. Они что-то произносили, нечленораздельные звуки сливались в протяжный гуд — низкий у одного, повыше у другого. Мальгрем держал портативный дешифратор, провод от него был вставлен в ухо. Гуд оборвался, Мальгрем похлопал по конусовидному плечу одного ниба, подтолкнул другого — и они юркнули в выходной туннель.

— Забеспокоились, не разбойничаем ли в их священном дворце, — сказал Мальгрем, вынимая провод из уха. — Я объяснил, что ничего изымать не будем. Мы можем спокойно возвращаться на Станцию.

— В отчетах сказано, что они нападают только на машины.

— На машины — всегда, на людей иногда. Потащишь что-нибудь из их художественных поделок — неприятностей не оберешься. Из всех подземелий вылезут, набросятся скопом.

— Они живут в подземельях?

— В норах, так точней. В городе, в эпоху расцвета, они тоже копали себе норы. Шатры и купола, которые мы видели, только надстройки над жилыми помещениями. И освещение там такое же, как во дворце, — радиоактивные светильники. Света хватает.

— Туннель во дворце не освещался, — напомнила Ирина.

— Чтобы не привлекать любопытства даже у своих. Они побаиваются темноты. Ритуальные трапезы устраиваются только в полдень. Кстати, скоро будет такая трапеза. Трое нибов, приготовленных к закланию, уже про-

ходят ритуальное очищение. Старшины приглашают нас присутствовать при поедании собрата. Разумеется, в роли зрителей.

— Я хочу посмотреть, — быстро сказала Ирина.

— Не советую, Ирина. Я однажды присутствовал при нибоедении. Отвратительное зрелище.

— Мне надо,— настаивала Ирина.— Я этнолог, я должна досконально знать народ, который изучаю.

Мальгрем отрицательно покачал головой. Ирина обратилась ко мне:

— Штилике, не прощу ни себе, ни вам, если улечу с Ниобеи, не изучив всех обычаев нибов.

— Слишком сильный аргумент — не прощу! — сказал я.— Впрочем, если Мальгрем гарантирует безопасность... Я и сам не прочь повидать ритуал трапезы. Нам ведь надо найти способ ликвидировать нибоедение, а для этого предварительно узнать, что оно собой представляет.

— Что оно представляет, вы видели и на картинах,— хмуро сказал Мальгрем.— Что до безопасности, то есть только одна гарантия: вести себя осторожно.

6

Мальгрем уточнил: до отвратительного пиршества осталось три дня. Эти дни я наполнил знакомством с планетой и рудными промыслами. На участке горных разработок грохотали механизмы — не только машиноненавистники-нибы, но и любой человек на Земле счел бы соседство с ними непереносимым. Дома сложная технология разработки недр ослабляет шум, предотвращает пыль, исключает взрывы. Но на внесолнечных планетах далеко до полного внедрения земных технологий. На Ниобее господствовал период взрывов, пыли и грохота. И, вдумываясь в будущее планеты, я все более утверждался, что надо это безобразие прекратить — до привоза сюда комплекта самых совершенных машин отказаться и от разведки руд, и от их добычи.

Мальгрема в эти дни я почти не видел — он сортировал добытое богатство. Ирина ликовала. Исполнялись ее заветные мечты, она вслух мечтала о своей будущей монографии под выразительным названием «Нибоведение — краткий очерк истории и быта загадочного обще-

ства». Особенно восхитило ее пещерное жилище нибов, она проникла туда вместе с Мальгремом и даже побеседовала с обитателями,— Мальгрем снабдил ее портативным дешифратором, настроенным на язык нибов.

Вечером перед церемонией каннибализма Мальгрем пришел ко мне и неожиданно попросил запретить Ирине посещение пиршества. Такие зрелища не для нее. Пойдем мы вдвоем, если это так важно для науки. Ирина пусть остается на Станции.

— Почему вы делаете для нее исключение?

— Мы с вами мужчины, Штилике, а она женщина. По-моему, этим все сказано.

— Этим еще ничего не сказано. Она исследователь, как вы и я. Принято не замечать в дальних рейсах, кто мужчина, а кто женщина. Все пользуются одинаковыми правами, выполняют одни обязанности.

Он вспылил.

— Плевал я на дурацкое равноправие! Мы с ней не равны и никогда не будем равны. И я знаю, что она легче меня может попасть в беду и знаю также, что моей первой обязанностью будет — всегда и везде защищать таких, как она. Я плюнул бы на свое отражение в зеркале, если бы хоть на миг отказался от своего права и обязанности быть сильней.

Он стоял передо мной разозленный, гневно сжимал кулаки, как если бы уже готовился в драку за нее. Я холодно сказал:

— Почему бы вам не информировать ее о своих мужских правах и обязанностях?

Он мигом остыл.

— Она так посмотрит... Кто я ей в конце концов? А вы уполномоченный Земли, нам велено выполнять ваши распоряжения. Она к тому же ваш работник. Вы можете не просить, а приказывать.

— Я поговорю с ней. Приказывать не буду, уговорить попытаюсь.

Ирина вошла, готовая к спору. Она ни секунды не усомнилась, что я передумал и собираюсь превратить необдуманное разрешение в запрет. Она твердо решила не дать мне использовать свои права. Я это понял сразу же, как увидел ее раскрасневшееся лицо, ее блестящие глаза. Она хорошела, когда сердилась. Она знала это о себе. Это было ее силой, неоднократно проверенной в спорах. Но также и ее слабостью, о чем она еще не

подозревала. И я надумал превратить ее силу в слабость. Решение было верное, конечно. Но и она заранее оценивала, где я силен и где слаб, и собиралась бить туда, где я был послабей.

— Мне не нравится, как вы ведете себя, Ирина,— сказал я.— Простите за откровенность, но вы порождаете среди сотрудников Станции нежелательные чувства.

Она не ожидала такого начала и смутилась.

— Я бы простила вас за откровенность, Василий-Альберт, но пока не услышала ничего откровенного. Нельзя ли расшифровать намек?

— Сейчас расшифрую. Сознательно вы, конечно, не стремитесь стимулировать у нас... у некоторых работников... чувства... В общем, ненужные и вредные. Но ваше объективное поведение...

— Уж не хотите ли обвинить меня, что я заигрываю с сотрудниками Станции?

— Ирина, я не давал вам повода считать меня глупцом. Конечно, вы ни с кем не заигрываете. Но ведете себя так, что сотрудники невольно вспоминают, что они должны опекать вас. Знаете единственный способ заставить соседей забыть о том, что вы женщина? Помнить самой всегда, что вы женщина.

— Вы считаете парадокс объяснением?

— Никакого парадокса! Помнить, что вам непосильно многое, что могут только мужчины. Сознательно избегать всего слишком трудного для женской натуры. И тогда никому не придет на ум, что он должен спешить вам на помощь. Он останется вашим сослуживцем, а не представителем сильного пола.

— Этот разговор имеет отношение к завтрашней церемонии?

— Самое прямое. Мальгрем побаивается пускать вас на сборище нибов. Он убежден, что женщине не место на их пиршестве. Женщине, Ирина, а не косморазведчику, космоэтнологу, моему секретарю наконец. При мысли о грозящей вам опасности он вспомнил, что он, мужчина, должен уберечь вас от беды.

— Он рассказал, какая беда грозит мне, если я пойду?

— Не сказал. Возможно, и сам толком не знает. Но он тревожится. За меня или за себя он и не думает опасаться.

— Вы берете назад свое разрешение?

— Просто прошу вас отказаться от завтрашнего выхода. Мальгрем передал мне свое беспокойство, я разделяю все его чувства.

— Все его чувства? — Она подошла поближе, раздраженная и решительная. Она стояла прямо передо мной в своем комбинезоне астроразведчика с вызовом, она и не думала смирной позой затушеваться, нет, откинула голову, волосы рассыпались по плечам...— Но что значит — разделяете все его чувства? А если он влюблен в меня? Стало быть, и вы в меня влюбились?

Она издевалась и дразнила меня. Она вызывала меня на резкость. Я сделал усилие, чтобы сохранить невозмутимость.

— Нет, Ирина, я не влюблен в вас. Я не из тех, кто нарушает правила поведения в коллективе. И не строю иллюзий.

Она так сморщилась, словно проглотила что-то невкусное.

— Понятно — рыцарь служебной добропорядочности. Я это поняла еще на Платее. Очень скучно, но добродетельно. А как понять утверждение насчет иллюзий?

— В самом прямом, Ирина.— Я старался говорить спокойно, только такой тон сейчас годился.— Я отлично понимаю, кто я и кто вы. С меня этого достаточно, чтобы ни здесь, ни на Земле не влюбиться в вас.

— Вы совершенный образец косморазведчика, это уже установлено!

Я хотел запротестовать, она не дала.

— Я буду осторожна,— сказала она умоляюще.— Очень, очень осторожна! И, учитывая наши объективные различия, ну, просто чтобы польстить хвастающемуся своими преимуществами Мальгрему, буду всюду рядом с ним и с вами и охотно приму вашу помощь, если понадобится. Теперь вам остается доказать, что у вас нет ко мне никакой... в общем, особого чувства.

— Вы — чертовка, Ирина! — сказал я, засмеявшись.— Разве что в доказательство, что у меня нет к вам особых чувств...

Она смеялась со мной. Она была очень хороша в ту минуту. И была уверена, что я вру о своем равнодушии, а на деле влюблен по уши.

7

Этот день, отмеченный черной краской в календаре моей жизни, начался отличной утренней погодой. На безоблачном небе Гармодий с Аристогитоном светили густо и весело, одно солнце сияло красноватым, другое желто-зеленым — причудливые краски ложились на холмы и горы, они менялись непрерывно, зеленое как бы бежало за красным, краснота опережала желтизну. Я любовался величавым шествием солнц и причудливой сумятицей красок — и понимал, что народ, населявший эту планету, не может не быть наделен даром к живописи. Иначе надо обвинить природу в эстетической расточительности — порождает красоту ни для кого и ни для чего, вот такие мысли вызвало во мне прекрасное утро. Возможно, влияло и то, что вулканы в этот день устроили себе выходной, ни пыли не плавало в воздухе, ни серой не разило. Я сказал Ирине:

— Такие дни природой предназначены для выполнения великих дел. А мы идем лицезреть низменное пиршество, которое ничего кроме отвращения вызвать не может.

— У нас — не у них,— возразила она.— Ваше рассуждение человеческое, слишком человеческое, как выразился один древний философ. Понятие низменного и высокого у разных народов различно, говорю вам как специалист-этнолог. Вспомните живопись нибов: с какой истовостью и воодушевлением, с какой гордостью за свою участь шествуют обреченные на съедение. Здесь человеческого отношения к жизни и в помине нет.

Я не нашел лучшего аргумента, кроме стандартного:

— В таком случае будем сравнивать разные формы чистоты и справедливости, если они у других народов непохожи на наши. И тогда я докажу, что наша человеческая, даже слишком человеческая чистота — чище, наша справедливость — справедливей.

— Другого от вас и не ожидала! Вы ведь образец морального совершенства. Но я не верю в абсолютные критерии морали.

Она спорила, улыбаясь. Она умела улыбкой смягчить любой ответ. Ее улыбка говорила: я насмехаюсь над вашими мыслями, но не над вами, я не могу насмехаться над вами, вы мне по душе. Если улыбка ее мужа, холодная и высокомерная, отталкивала, как невежливый

толчок в грудь, то ее улыбка была подобна дружелюбно протянутой руке. Ее улыбка была поступком, а не миной на лице.

Мы снова поднимались к заброшенному городу. Вскоре мы увидели нибов. Они неслышно появлялись из кустов, неслышно исчезали. Некоторые невнятно гудели. Я спросил, о чем их гуд. Мальгрем ответил, что они радуются присутствию людей на торжестве.

Я забыл упомянуть, что перед дворцом простиралась площадь и на ней были разбросаны плоские камни разной высоты. Посередине площади они образовывали правильный треугольник — стенки горна. На остальных восседали нибы. Нибов все прибывало, они уже не просто сидели, а теснились на каменных пьедесталах. Нам троим отвели камень неподалеку от горна. С десяток нибов чистили горн — убирали листья, углубляли дно. А потом при общем вопле сборища из леса вымчалась группка нибов, они несли на плечах большую плиту с раскаленными камнями и торопились, от камней шел жар. Носильщики проворно ссыпали свою ношу в горн, вся внутренность треугольника запылала белокалильным жаром.

— Раскаленные камни приносят из ближайшего вулкана,— прокомментировал Мальгрем.— Подбираются к кратеру и длинными черпаками вытаскивают самые горячие камни. Смотреть — дух захватывает. Нужна чрезвычайная ловкость для ужения огня. Иногда гибнут. Обычай тверд — никакой жар, кроме как из вулкана, не подходит для ритуала.

Еще десяток носильщиков примчал новую партию камней, за ними — третий отряд. Горн заполнился доверху. Сборище разразилось ликующим гудом. Из дворца показались три ниба в полных одеждах, за ними группка, одетая, как и все остальные, в некое подобие штанов из гибких ветвей, в таких же курточках и с каменными палицами в руках.

— Обреченные,— хмуро сказал о троих разряженных Мальгрем.— Один за другим будут демонстрировать свою радость.

Двое были старики, третий выглядел молодым. Первый старик выступил вперед и у самого горна пронзительно загудел. Гуд показался мне унылым, но лицо старика выражало одушевление. Вообще лица нибов, чем-то напоминающие человечьи, а чем-то собачьи, очень

выразительно передают их чувства. Старик вздевал вверх руки, длинные пальцы извивались как змейки, он гудел все пронзительней и медленно обходил раскаленный горн. Завершив круг, он остановился, простер руки в стороны, гуд превратился в визг. И тогда к нему подошли нибы сопровождения, почтительно взяли под руки и торжественно повели во дворец.

— В зале его прикончат, разделают, разложат кусками на каменной жаровне,— продолжал свой комментарий Мальгрем.— То же проделают и с остальными двумя, а когда жаровня наполнится доверху, ее вынесут и водрузят на горн. И начнутся пляски и визг вокруг горна. Будет очень красочно и очень мерзко, можете мне поверить.

— Какой ужас! — прошептала Ирина. Она побледнела.

Вперед выступил второй старик. И все повторилось: он гудел и цел, вздымал и простирал руки, обходил по кругу горн, демонстрируя на все стороны душевное удовлетворение почетной судьбой.

— Посмотрите на молодого, Штилике,— потрясенно прошептала Ирина.— Посмотрите на молодого!

Молодой трясся, лицо перекосило от страха, он затравленно оглядывался, будто отыскивал, куда скрыться. Ничем его поведение не было похоже на то, какое мы видели на картинах во дворце и какое демонстрировали две первые жертвы. И, похоже, его поведение не было очень уж необычным, стража следила за ним, словно ожидая сопротивления.

— Он глядит на нас, он умоляет о спасении! — горячо шептала Ирина.— Боже мой, надо что-то сделать! Роберт, вы здесь все знаете, сделайте что-нибудь!

— Спасти его невозможно, если не хотим восстания нибов! — сурово отозвался Мальгрем.— Сидите и не шевелитесь, чтобы не вызвать беду. Я даже не могу увести вас, это сочтут оскорблением.

— Он смотрит на нас, он умоляет о спасении! — повторяла Ирина.— А мы ничего не делаем, мы ничего не делаем!

Второго старика увели во дворец. Настала очередь последней жертвы. Стражи подвинулись к нему, чтобы силой вытолкнуть вперед. И тогда он рванулся, вскочил на одну из плит горна, отчаянным прыжком перелетел через раскаленные камни и бросился к нам. Он упал

на колени перед Ириной, обхватил ее ноги. Он отчаянно гудел, по лицу лились слезы. Ирина прижала его к себе. Мальгрем в смятении закричал:

— Немедленно отшвырните его! Ирина, нам всем не сносить головы, если вы не оставите его! Ирина, умоляю вас!

Она исступленно закричала:

— Не отдам, никому не отдам!

Бесконечно долгую минуту на площади перед дворцом стояла мертвая тишина, выкрик Ирины на мгновение прервал ее, но не расковал. Стража ошеломленно застыла на своих местах, сидевшие на камнях только таращили глаза. А затем разразился тысячеголосый гуд, все вскочили, стража надвинулась на нас, за стражей напирало все сборище. И, словно услышав в гудящем реве толпы свой окончательный приговор и сразу потеряв волю к спасению, обреченный юноша оторвался от ног Ирины и повернулся к стражам, покорно отдавая себя на расправу. Ирина схватила его за плечо, он вырвался. Мальгрем с силой дернул Ирину к себе и быстро сказал:

— Сейчас на нас бросятся. Я послал на Станцию сигнал тревоги. Нужно укрыться в один из заброшенных домов, пока не подоспеет помощь. Штилике, отступайте назад и охраняйте Ирину, а я задержу нападение.

Он ударил ногой одного из наседавших стражей, ошеломил кулаком второго, выхватил его палицу и вскочил на каменную плиту, на которой мы минуту назад сидели. Нибы нестройно ринулись на него, он взмахом палицы отогнал их, потом обернулся и сердито крикнул:

— Бегите же! И секунды не теряйте, слышите!

Я схватил Ирину за руку и потащил за собой. Она вдруг стала отбиваться, что-то со слезами твердила, я не стал слушать. Выше того места, где мы стояли, метрах в двухстах, я увидел один из каменных шатров с темным входным отверстием внизу и устремился к нему, не отпуская Ирининой руки. Ирина запнулась и упала. Поднимая ее, я оглянулся. Мальгрем продолжал сражаться, не подпуская рвущихся к нам нибов. Он возвышался великаном на каменной плите, палица взлетала и опускалась, он поворачивался то вправо, то влево — и каждому взмаху палицы отвечал визг ниба. И он что-то яростно орал, его выкрики заглушал гуд

толпы. Он весь был охвачен мрачным ликованием боя. Так, вероятно, его древние скандинавские предки в сражениях свирепо орали и пели, отбиваясь и нападая, пока их самих не повергали наземь.

— Штилике, я не могу идти! — донесся до меня рыдающий шепот Ирины.— Я сломала ногу!

Я схватил Ирину на руки и побежал наверх. И тут из леса выскочила группка нибов. Им удалось обойти Мальгрема, не ввязываясь в драку, они устремились за нами. Кто-то ударил палицей меня по голове, я зашатался и выронил Ирину. Увернувшись от нового удара, я пнул ногой напавшего ниба. Он покатился вниз, жалобно гудя. Я, конечно, был гораздо сильней любого из них, а их было не так много, чтобы справиться со мной. Я не схватил брошенной палицы, не орал свирепо и победно, как Мальгрем, я дрался руками и ногами. И, разогнав наседавших нибов, я кинулся поднимать Ирину. Она была без памяти, по лицу — видимо, от удара палицей,— прозмеилась узенькая полоска крови. Я потряс ее — она не открыла глаз. Тогда я снова побежал наверх с ней на руках. Никто больше не преследовал нас. Я внес Ирину внутрь шатра, положил ее на пол и выскочил наружу, чтобы посмотреть, что с Мальгремом.

Мальгрем отступал. Он медленно двигался спиной на меня, палица в его руках вздымалась и опускалась. Он отходил по всем правилам старинного боя — не бежал в панике, а свирепо огрызался. И он пел, громко и грозно пел какой-то боевой гимн. Я оглянулся, не подкрадывается ли кто к убежищу, где я спрятал Ирину. Поблизости были только те нибы, что наседали толпой на Мальгрема, стараясь все же не угодить под его палицу. Я поспешил к нему. Спустя минуту вокруг нас не было ни одного врага. Я в ужасе смотрел на Мальгрема. Окровавленный, с заплывшим правым глазом, с повисшей левой рукой, он еле держался на ногах. Но ожесточение боя еще не угасло в нем, он не бросил палицу и, повернувшись к убежищу, высматривал зрячим глазом, не схоронился ли где несраженный ниб. Потом он прислушался к нагрудному передатчику и хрипло сказал:

— Мои сотрудники спешат с оружием. Этим поганцам придется худо, если они опять нападут.— Только после этого он спросил: — Что с Ириной, Штилике?

— Она без сознания. Ее нужно перенести на Станцию.

Сильно хромая, опираясь на палицу, как на палку, Мальгрем тащился за мной к каменному шатру. Я вынес Ирину на воздух и положил. Мальгрем, встав на колени, всматривался в бледное лицо Ирины, прощупывал здоровой рукой ее пульс. Хмуро сказал:

— Боюсь, дело хуже, чем простая потеря сознания.

Из леса выбежали сотрудники Станции. Я поднял и понес неподвижную Ирину, рядом ковылял Мальгрем, сотрудники Станции охраняли нас. Нибов нигде не было видно. Мы прошли через площадь, обогнули горн. Камни погасали, белокалильный жар превратился в темно-вишневый, но огненное дыхание еще струилось над костром. Мальгрем все трудней передвигался, даже палица не помогала держаться ему прямо. Одна нога была основательно покалечена, вторая от многочисленных ушибов плохо сгибалась. Он сказал с кривой усмешкой:

— В пылу сражения раны как-то не ощущались, но сейчас придется подумать о костылях.

Ирину внесли в больничную палату. Врач долго выслушивал ее сердце, смотрел показания приборов, приставленных к ее телу. Я нервничал, мне думалось, что неплохо бы проявить побольше оперативности, чем переносить датчики аппаратов с одного места на другое. Мальгрем зашел в палату забинтованный, уже не с палицей, а с палкой, левая рука висела на перевязи.

— У нее повреждение мозга, Роберт,— сказал врач Мальгрему.— Состояние грозное. Нужно немедленно лететь на Платею, здесь ни за что не поручусь.

Мальгрем посмотрел на меня, я сказал:

— Срочно подготовьте планетолет. Я полечу с ней.

Мальгрем ушел. Врач остался в палате, временами он подходил к Ирине, переставлял свои аппараты, делал инъекции. Я сел в сторонке, чтобы не мешать. Она лежала неподвижная, с закрытыми глазами, очень бледная, так страшно осунувшаяся, что я все вспоминал старинное выражение: краше в гроб кладут. Гроба не будет, обрывал я себя, клиника на Платее не хуже земных, сейчас люди не умирают от сотрясения мозга! У меня в мозгу звучал голос Ирины, слова, которые я так и не расслышал. Я все вспоминал, все вспоминал — я потащил ее за руку, она отбивалась, что-то со слезами прокричала. Почему она отбивалась? О чем кричала? Может, ее исподтишка ударили палицей, а я не заме-

тил, не сумел отразить удара. Мысли стали непереносимыми. Я спросил врача:

— Вы полетите с нами?

— Конечно,— ответил он, не отрывая глаз от Ирины.

В палату вошел широкоплечий парень, Вильям Петров, пилот того планетолета, что доставил нас с Ириной на Ниобею. Он сказал, что планетолет готов, надо собираться. Я ушел к себе взять вещи и документы. По дороге меня перехватил Мальгрем.

— Понимаю ваше состояние, Штилике.— Сильно хромая, он вошел со мной в мою комнату.— Нужно немедленно решить важные дела до вашего отлета, хочу получить вашу санкцию.

— На что санкцию? — спросил я, собирая вещи.

— На сражение с нибами. Автоматические информаторы, расставленные в поселениях нибов, доносят о большом волнении. Пиршество не возобновили. Приготовленные к трапезе жертвы покинуты во дворце. Нибы спешно собирают все оружие, каким располагают.

— Ваш прогноз, Мальгрем?

— На Станцию готовится нападение. Не думаю, что оно произойдет сегодня или даже завтра, но войны не избежать. Я расставил посты, приказал всем, кто выходит за границы охраняемой территории, брать с собой оружие. Вы знаете, что Земля запрещает вооруженным людям общаться с нибами. Вы видите теперь сами, что все кончилось бы иначе, если бы мы взяли хотя бы пистолеты. Глупый запрет, не правда ли? И я надеюсь, что вы убедите земное начальство, что невооруженные мы отныне не сможем исполнять на Ниобее свои служебные...

Я прервал его:

— Никакого оружия больше не понадобится, Мальгрем. Ибо больше не будет никаких служебных обязанностей на Ниобее. Я предлагаю вам свернуть все работы, законсервировать Станцию и завтра же отбыть всем коллективом на Базу.

Нападение нибов ошеломило его меньше, чем мои слова. Он глядел округленными глазами, словно не верил, серьезно ли я говорю, потом взял себя в руки и через силу усмехнулся.

— Категорическое предписание! А если я не подчинюсь, Штилике? Мой начальник — Питер-Клод Барн-

хауз, а не вы. Он пока не приказывает свернуть работы на Ниобее.

Я сказал спокойно:

— Вы, конечно, можете не подчиниться, я вам не начальник. Но Питер-Клод Барнхауз обязан выполнять приказы правительства Земли. И он встанет перед выбором: либо утвердить ваше решение и тем продемонстрировать свое неповиновение Правительству, либо объявить, что вы действовали по собственной прихоти и против его желаний, то есть принести вас в жертву. Как, по-вашему, он поступит?

Ситуацию Мальгрем уяснил себе без дальнейших разъяснений.

— Завтра эвакуируемся, Штилике.

И, поклонившись, вышел. Он был в таком бешенстве, что даже не хромал выходя.

8

Она лежала на носилках, я сидел с одной стороны, врач с другой. Он иногда вставал, что-то менял в положении аппаратов, приставленных к голове и телу, коротко говорил: «Пока без изменений». И это означало, что она жива, но может умереть в любую минуту. Несколько раз, поручив машину автоматам, выбирался из своей кабины пилот и осторожно подходил к носилкам. На его добродушном лице появлялась скорбь, он чуть не плакал, вглядываясь в Ирину. Он подружился с нами, с Ириной и со мной, когда доставлял нас с Базы на Ниобею — выходил в салон из кабины, шутил, рассказывал забавные истории из своей пилотской практики, он был доволен, что везет таких пассажиров, как она, и не ограничивал себя в похвалах ее мужеству, для него решение женщины изучить бушующую недрами Ниобею, и особенно ее жителей, представлялось чуть ли не героическим поступком. Трагический финал так хорошо начавшегося путешествия терзал его, он все спрашивал врача, не лучше ли Ирине, и получал тот же ответ, что и я: «Пока без перемен».

А я молча смотрел на нее и думал о ней, об Анне — и даже, наверно, больше об Анне, чем об Ирине. Как странно совместилась судьба этих двух женщин с моей судьбой. Анна тяжко умирала от еще неведомой чело-

вечеству болезни, а я вот также сидел у ее постели и спрашивал себя: «Почему она? Почему не я? Для чего такая несправедливость? Она полетела на Эриннию, чтобы не разлучаться со мной, я выпрашивал для нее особое разрешение лететь: мужу с женой ведь нельзя уходить в совместные рейсы, только на постоянное жительство на планете, а мы летели в командировку, а не на поселение — и вот она погибает, а я, вытащивший ее на гибель, спокойно живу, буду и дальше жить, нет, какая чудовищная несправедливость!

Анна до последнего часа жизни сохраняла сознание, она понимала мое горе, она улыбалась мне такой ласковой, такой горькой улыбкой, слабеющим движением протянула руку. Я сжал, крепко сжал ее пылающие жаром пальцы, мучительно силясь передать ей хоть крупицу, хоть каплю своей жизни, но не передал, это пока еще неисполнимо — обмениваться жизнями. Наша командировка кончалась, мы оба, если бы она не заболела, уже мчались бы на Землю, а я, вглядываясь в нее, такую бесконечно исхудавшую, уже знал, что не улечу, что у меня теперь одна цель в жизни — отомстить тем зловещим, тем загадочным силам, что отнимают у меня жену. Анна умерла, а я остался, чтобы побороться с проклятой планетой, чтобы навек истребить угрозу гибели, которой здесь встречали леса и воды, воздух и почва всякого пришельца. Эринния настигнет Эриннию, мщение покарает мстительницу, так я постоянно твердил себе каждый день тех десяти лет жестокой схватки с тлетворным испарением планеты. Кто сейчас вспоминает на Эриннии о страшных днях, когда люди бледнели и задерживали дыхание, ступая на космодром, когда иные даже в герметически отстраненной от местного воздуха гостинице не снимали скафандров, укладываясь спать? Не райское местечко, нет, но и не хуже других планет, вполне пригодна для жилья, рая в космосе, к сожалению, пока не нашли. Вот такая она сегодня, эта недавно столь грозная Эриннія. Я отомстил ее зловещим силам — навсегда уничтожил их!

И вот второй раз в жизни сижу у постели, на которой умирает молодая, еще день назад полная здоровья и радости женщина, и эта женщина, не жена, даже не душевный друг, так же дорога мне, как и та, первая, моя жена. И я также неизбывно виновен перед ней, второй, как и десять лет назад был виновен перед пер-

вой. И эта, Ирина, послана мной на гибель, как и та, Анна. Нет, мне не предъявят формального обвинения, но совесть не знает формальных оправданий, совесть твердит: отказал бы ей в полете на Ниобею, и была бы жива, ты знал, какой риск стоит за твоим разрешением, но пренебрег риском. Собой ты вправе рисковать, но ты рисковал другим человеком, это непрощаемо! За Анну ты отомстил — благородно отомстил, все это признают, сам это признаешь. Будешь ли мстить за Ирину? И кому мстить? Несчастным нибам? А чем они виноваты? Единственно виноватый — ты. Какой же местью покараешь себя?

Врач снова переставил датчики и указатели на теле Ирины.

— Изменений нет,— повторил он свое обычное на мой вопрос.

С каждым новым сообщением, что изменений нет, его голос звучал мрачней.

Ниобея отдалена от Платеи по космическим меркам незначительно, пилот понимал, как важно прибыть на Базу поскорей — потом он говорил, что гнал на пределе. Но только на другой день мы опустились на космодроме.

И все эти долгие часы полета Ирина лежала неподвижная, бледная, с закрытыми глазами. Она дышала, но так слабо, что я не ощущал ее дыхания, лишь приборы регистрировали кислород, поглощаемый легкими. Я несколько раз дотрагивался до ее руки, рука, чуть теплая, еще жила, но жизнью, подошедшей к потусторонности. Однажды, не вынеся ее неподвижности, я спросил врача, нельзя ли привести Ирину в сознание? Он ответил:

— Опасно. Сознание потребует дополнительной энергии на себя. Результатом будет последующее ухудшение. Случаи такого рода часты.

Я тоже слышал, что тяжелобольные перед смертью часто приходят на короткий срок в сознание, близкие видят в этом чуть ли не шаг к выздоровлению, а врачи, наоборот, грозный предвестник агонии.

На космодроме нас ждали санитары. Ирину повезли в больницу. В машину, кроме врачей и санитаров, села Агнесса Плавицкая, она прибыла на космодром вместе со своим шефом. Барнхауз пожал мне руку, лицо его кривилось, он еле удерживался от слез.

— Какой ужас! Какой страшный ужас, коллега Штилике! — твердил он.— Воистину страшный ужас, другого названия нет! Что будет с нашим другом Джозефом? Он так любил жену! Все мы любили Ирину Миядзимо, такую женщину нельзя не любить, удивительный человек, очень, очень удивительный!

— Разве Виккерса на Платее нет? — спросил я.

— Он улетел на астероиды. Их множество вокруг Гармодия и Аристогитона, еще и трети не исследовано, это теперь главная работа Джозефа. Но я послал радиограмму о несчастье с женой, он скоро прибудет.

— Вы так и сообщили — несчастье с женой?

— Нет, конечно же, нет! Осторожней — Ирина заболела, нужно ваше возвращение. Такой ужас! Вы знаете, что сказали врачи, оба врача, ваш с Ниобеи и наш? Что ни за что не ручаются — в один голос!

— Ваш врач еще не осматривал Ирину.

— Он просмотрел записи самописцев, пока Ирину выносили из планетолета. Ни за что не ручается — звучит зловеще, не правда ли?

— Да, зловеще. Простите, Барнхауз, я хочу к себе в гостиницу, потом пройду в больницу.

У него вдруг изменились и лицо, и голос. Он глядел на меня жестко и недоброжелательно.

— Нам нужно срочно поговорить, Штилике. Вы отдали чудовищное распоряжение Мальгрему — свернуть все работы на Ниобее. Я буду протестовать, Штилике.

— Можете даже отменить. Вы правитель в системе Гармодия и Аристогитона. Используйте свои права.

— Раньше хочу побеседовать с вами.

— Тогда — после больницы. Сегодня вечером — хорошо? — Я отошел от него.

После короткого отдыха я пошел в больницу. Оба врача повторили единогласно все ту же формулу, которую я слышал весь полет: «Пока изменений нет». Я больше не мог слушать такие прогнозы и потребовал точного растолкования. Врач Базы был категоричней ниобейского врача.

— Она умирает, друг Штилике. Диагноз «изменений нет» означает, что угасание жизни совершается неотвратимо.

— Неужели современное могущество медицины, ваши совершенные лекарства и методы...

Он прервал меня:

— Их хватает только на то, чтобы задержать умирание. За словами «изменений нет» стоит все могущество современной медицины. Не требуйте от нас чудес. Вы хотите к Миядзимо? Идемте вместе.

Он первый прошел в палату. Изменений не было, он говорил правду. Она по-прежнему лежала на спине, бледная, с закрытыми глазами, с выпростанными поверх одеяла руками. Третий день лежит на спине, ни единого движения, ни единого взгляда, думал я, третий день на спине. Изменений нет — пока...

— Уйдемте отсюда, Штилике,— шепотом велел врач.

Я пошел в управление. Агнесса Плавицкая нервно ходила по приемной. Она встала передо мной, преграждая путь. Мне было не до шуток и иронии, и я не собирался ни шутить, ни иронизировать, но невольно сказал не так, как надо было:

— Ваш начальник не принимает посетителей, друг Агнесса?

Она вспыхнула. Золотые колокольчики в ее ушах зазвенели отчаянной жалобой.

— Он ждет вас, господин Штилике. Но он не вполне... здоров. Пожалейте его, господин Штилике. Даже если он... в общем, если что вам не понравится... все равно, не будьте к нему суровы. Молю вас, господин Штилике!

И колокольчики Агнессы мелодично повторили ее мольбу. Я ничего не понимал. Она говорила возбужденным шепотом. И если бы она остановилась на своей непонятной просьбе, я, наверно, от одной растерянности пообещал бы выполнить все, что она пожелает. Но она добавила:

— Вы теперь должны быть мягче, господин Штилике. Вы так виноваты перед Джозефом и Питером-Клодом! Разве случилось бы это несчастье, если бы вы не разрешили Ирине полететь с вами? Вам так хотелось быть с ней, я понимаю, Ирина очаровательная женщина... Какой урок для всех нас, господин Штилике, эта трагедия на Ниобее. Но я прошу вас, от всей души прошу, если вы... вы понимаете меня?

Это был перебор. Я еле сдерживал бешенство.

— Не понимаю! И осмелюсь заметить, не нуждаюсь в вашем прощении, Агнесса. И буду вести себя так, как велит мой разум, а не вы.

Она отшатнулась от меня как ударенная. Колокольчики зазвенели смятенно и громко.

— Ненавижу вас! — сказала она рыдающим шепотом.— Боже, как ненавижу вас!

— Агнесса, с кем вы шушукаетесь? — донесся из кабинета голос Барнхауза.— Когда же придет этот ваш любимец Штилике?

— Уже пришел,— сказал я, отворяя дверь.

Барнхауз восседал за своим просторным, как теннисный корт, столом — лохматый, краснощекий, широкогубый божок какого-то дикарского племени. Он возложил на стол свои могучие руки — пятипалые лопаты на длинных и толстых черенках, между ними торчала бутылка водки, он придерживал ее черенками рук-лопат, словно охраняя от посягательства. Глаза его, слишком маленькие для такого обширного лица, тускло рдели. Он был пьян.

— Да, пьян в доску, в дребезину, в дым, в... как там еще? — объявил он, поднимаясь и отрывая от бутылки одну из пятипалых лопат для пожатия.— Удивляетесь, конечно?

— Больше, чем удивляюсь,— сказал я.— Возмущаюсь!

— Сам не одобряю. Попробовал бы кто-нибудь из моих сотрудников нализаться! Я бы ему — ого-го! Но не пьют. Никто не пьет, таков закон. А я нарушаю. Изредка, Штилике, только по большим поводам. И втайне. А от вас тайн не имею. Вы на три метра сквозь землю видите — не скрыть!

— Вы сказали — только по большим поводам? А какой?..

— Понял! Все понимаю с полуслова, я такой! Какой повод интересуетесь? Важный, Штилике, очень важный. Погиб хороший человек. По нашей с вами вине погиб. Вы разрешили нести жертву на заклание, я предоставил транспортные средства... в смысле, планетолет, вы понимаете меня?

— Миядзимо еще не погибла,— сказал я. Мной опять овладевало бешенство.

— Погибнет, куда она денется! Смерть у нее в головах, я видел — в саване, машет косой, скверная старуха! Долго ли смогут ее отпугивать лекарствами и облучениями? Не делайте таких глаз, Штилике, нехорошо так выщериваться, поверьте мне. Я не столь воспи-

тан, как Джозеф, у меня без изящества, но кое-какие правила хорошего тона вызубрил. Особенно с полномочными уполномоченными... Сочетание слов, Штилике! Люблю внушительные сочетания — не просто уполномоченный, а еще и полномочный... Еще бы чрезвычайного добавить, а? Как в старину — чрезвычайный и полномочный посол!

— Для чего вы меня вызвали? — прервал я его болтовню.

Он наслаждался моим нетерпением. Я вспомнил слова Теодора Раздорина: «Пьет с приятелями и закусывает ими». Я не был его приятелем, но закусить мною, он, похоже, намеревался. Он был не так пьян, как изображал пьяного.

— Выпьем со мной,— предложил он, не отвечая на вопрос, и достал стакан из ящика стола.— Для осветления мозгов...

— Не нуждаюсь в искусственном воздействии на мозги. И вам не советую, Барнхауз.

— Очень хороший совет, Штилике, очень. Спирт — яд, это доказано. Мой дед, знаменитый создатель компании «Унион-Космос», Рейнольд-Кларк Барнхауз, всегда выражался категорически: «Спирт надо истреблять, где только увидишь!» И истреблял! Бутылками, рюмками, бокалами. Не меньше цистерны алкоголя уничтожил на своем веку. Жуткий был враг спиртного!

— Повторяю: для чего вы меня вызвали, Барнхауз?

— Не вызывал, не вызывал! Покорнейше просил — единственно точная формулировка. Разве я осмелился бы?.. Уже говорил: я — это я, а вы это вы. Разница! Ваша слава, это же великое звание, ваша слава, я же все понимаю, Штилике.

— Слава это не звание, а деяние,— сказал я, чтобы что-нибудь сказать.

Он ухватился за случайную подсказку. Он подстерегал случай, чтобы, забив мне предварительно голову болтовней, удобно повернуть дело.

— Великолепно сказано, Штилике, великолепно! И как верно! Слава — это деяние. Итак, наши деяния. Но предварительно все же позвольте мне чуток принять.

Он налил полстакана и жадно выпил.

— Возвращаемся к нашим деяниям, Штилике. В смысле — начинаем деяния. И опять не так: начинаем не деяния, а обсуждение деяний. Я понятно говорю?

— Слов много.

— Тоже верно — многословие! Все верно у вас, полномочный уполномоченный. Во все вы мигом воспроникаете! Я правильно выразился? А почему, Штилике? Безгрешность! Абсолютная беспорочность! Не пьете, не играете в азартные игры, своей жены нет, чужих жен не отбиваете, хоть временами и бросаете на погибель. В общем, совершенство. Величественная статуя самого себя!

Я встал. Если бы он сказал еще хоть одно слово, я ударил бы его. Он тоже поднялся. Он желал драки. Я глубоко вздохнул, это помогло сдержаться. Он понял, что перешел межу. Голос его звучал также пьяно, но оскорблениями уже не сыпал. И ерничанья стало меньше.

— Сядьте, Штилике. Я занесся, это бывает, когда выпью. Трезвый пьяного не разумеет, такова печальная истина современности. Итак, мы остановились на деяниях. Нет, не остановились, а приступили к деяниям. Штилике! Мне не нравится распоряжение эвакуировать Ниобею.

— Вы уже говорили об этом, Барнхауз.

— Тысячу раз повторю. Бесчеловечный и антигуманный приказ!

Что он будет настаивать на продолжении работ на Ниобее, я заранее знал. И заранее готовился противодействовать его просьбам и доказательствам. Но он неожиданно объявил:

— Антигуманный приказ! Вижу, вижу — потрясены! Потребуете обоснования?

— Не потребую, а попрошу,— вежливо поправил я.— Я ничего не могу от вас требовать, вы подчиняетесь Земле, а не мне. Я всегда помню, что вы — это вы, а я это я.

— Моими словами заговорили, коллега? Напрасно, ваши авторитетней. Попробуй я не согласиться с вашими просьбами... нет, не с просьбами, с деловыми предложениями...

Мне все больше надоедала эта говорня, как Теодор Раздорин называл, обрывая неудачные ответы студентов на экзаменах.

— Если вы считаете своей обязанностью соглашаться с моими предложениями, то о чем еще говорить?

— О вашей антигуманности, вот о чем. Итак, обосно-

вание, которое вы ждете. Начну со своего деда Рейнольда-Кларка Барнхауза. Это был самый удивительный человек в мире, вы ничего о нем не знаете.

— Почему же? Кое-что знаю. Столько легенд ходило о нем. О его дворцах, яхтах, личном звездолете, о гаремах на Земле и на планетах, о противниках, которых он безжалостно сшибал со своей дороги. Вы еще цистерну уничтоженного спирта добавили.

— Было, было! Ничего не опровергну. Но еще другое было, чего не знаете, хоть и воспроникающий, как я вас справедливо назвал. Энтузиазм был, вот что было, Штилике. Энтузиазм, о котором вы и не подозревали и которого сами лишены. Великое стремление.

— Энтузиазм — какой? Стремление к чему? К непрерывному обогащению? К накоплению дворцов, власти, все новых знаков почета?

— К служению человечеству, вот к чему, Штилике. Я был ребенком, когда у этого поразительного человека, моего деда, уже не было того, о чем ходили легенды, как вы изволили выразиться: ни дворцов, ни яхт, ни гаремов, ни тысяч слуг. Все отобрали! Все ограбили... огосударствили, простите, по оплошке употребил любимое словечко деда. Но энтузиастом он был, энтузиастом остался. Разве вы не знаете, что после перехода компании «Унион-Космос» в руки государства дед не ушел в отставку, на пенсию, как многие, а нанялся в тот же, им созданный «Унион-Космос» простым инженером?

— Не простым. Он был выдающийся космостроитель, ваш дед, этого никто не отрицает. И его инженерный талант еще сильней развернулся после огосударствления компании. Это я признаю за ним.

— Признаете? Вспомнили его инженерный талант? А я вспоминаю, как он усаживал меня на колени, гладил голову и говорил: «Питер, ты еще маленький, тебе пока играть и играть. А вырастешь, будет не до игр, будет дело. И поведешь свое дело с таким же запалом, как сегодня играешь, я верю в тебя, внучек. Так веди свое дело, чтобы люди оглядывались на улице и говорили один другому: «Вон Питер-Клод Барнхауз, великий человек, столько сделал хорошего, а ведь совсем молодой!» Уважения и восхищения — вот чего добиваться, так говорил мой дед, Штилике.

— И вы добивались?

— Да, Штилике. Тысячекратно — да! Хотите знать

самую точную, самую правдивую формулу моей жизни? Служение человечеству! Вы протестуете?

— Не могу протестовать против того, в чем не разобрался.

— Многие выше оценивают ваш интеллект. Не поверят, что не разбираетесь в простых понятиях. Ладно, на минуту поверю, что отупели. Несчастье с женой Виккерса, засевшие в мозгах романтические теории вашего учителя Раздорина, всевластные полномочия... факторы, не способствующие трезвому анализу обстановки...

— Между прочим, Виккерс тоже ученик Раздорина.

— Есть ученики, только идущие за учителями, и есть научившиеся от учителя выискивать собственные пути. Так вот, служение человечеству. Надеюсь, вы не будете отрицать, что оно прежде всего в том, чтобы узнать, в чем нуждается человечество — открыть само существование этих нужд, ибо их не всегда заранее знают. И сделать все, чтобы нужды эти, давно известные или только что открытые, были максимально удовлетворены. Возражаете?

— Нет. Правильная посылка.

— Тогда слушайте потрясающую новость! Впрочем, вы уже слышали о ней, уверен, но своим холодным, своим педантичным рассудком не уловили ее пылающего жара, ее гигантского стимулирующего толчка вперед, ее могучего катализирующего действия!..

— А попроще нельзя?

— Можно, Штилике. Только очень непросто излагать сложные вещи просто. Итак, чтобы попроще... Человечество встало перед новым промышленным скачком, перед новой технической революцией — и она будет грандиозней всех предшествующих. Но она немыслима без сверхтяжелых химических элементов. Их, эти сверхтяжелые элементы, создают в лабораториях — синтезируют по атому! Знаем все предпосылки для новой промышленной революции, но создать их — непосильно. Близок локоть, да не укусишь! Вы астросоциолог, Штилике, вы и отдаленно не представляете себе, какие возникли исполинские возможности для совершенствования и какие исполинские трудности мешают этому совершенствованию.

— Почему же не представляю — да еще отдаленно? Кое-что знаю. Сейчас вы объявите мне, что Ниобея —

то самое местечко, где можно практически реализовать высчитанные возможности.

Он закричал, не сдерживаясь, его острый голос, так не гармонировавший с массивным телом, дошел до визга, не проникал в уши, а резал их:

— Нет, не представляете себе, Штилике, нет и еще раз нет! Слушайте меня, тысячами ушей слушайте, всеми мозговыми извилинами резонируйте! Так вот, Ниобея — единственный в космосе кладезь величайших редкостей Вселенной. Ибо здешние руды содержат сверхтяжелые элементы, не радиоактивные, не спонтанно распадающиеся, нет, стабильные,— номера в таблице Менделеева: сто десятый, сто четырнадцатый, сто тридцать второй и еще с десяток номеров — и не отдельными атомами, не граммами, даже не тоннами — миллионами тонн! И редчайшие изотопы уже известных элементов — тоже миллионы тонн. Голова кружится! Сердце замирает — такие богатства! Все будущее промышленное развитие человечества, как на фундамент, обопрется на эту маленькую, вулканизирующую, удивительнейшую из всех планет! А вы приказываете закрыть все разработки, всякую разведку на ней! Как это понять? Как это вытерпеть? Так хладнокровно, так безответственно поставить крест на величайшей возможности человеческого благоденствия!

— И на вашей личной карьере тоже? — холодно уточнил я.

Я знал, что он взорвется — и он взорвался. Но я недооценил его, он был сложней, чем в те дни виделось мне. Он вскочил и орал:

— Да, и на моей карьере, не отрицаю! Я честолюбив, я дьявольски честолюбив! Это преступление? Вы не меньше моего честолюбивы, только скрываете, а я не таю свои цели, свои желания, великое стремление, завещанное мне дедом! Как вы скромно, как намеренно скромно носите свой нимб великого астросоциолога, устраивающего на разных погаденьких планетах приемлемые условия существования. Слава ваша шествует впереди вас, она предваряет вас, никакое она не деяние, просто звание, ореол, предварительное извещение о вашем торжественном явлении, деяние следует потом. Как мы с Джозефом растерялись, узнав о вашем полете к нам, еще не было никаких деяний, а мы сжимались, ожи-

дая вас, вот что она значит, ваша слава! Это ли не результат честолюбия?

Он выплеснул в стакан остатки из бутылки и выхлестнул залпом. Я спокойно напомнил:

— Мы все же говорим о вашем честолюбии, а не о моем. Вы снова упомянули о великом стремлении вашего деда. Оно имеет отношение к вашей карьере?

Он помолчал, собираясь с мыслями. Он все больше пьянел.

— Моя карьера! — сказал он горько.— Мои великие стремления!.. Быть благодетелем человечества — вот мое великое стремление. Вам этого не понять, Штилике, у вас иное честолюбие. Вы довольствуетесь благоустройством глухих уголков Вселенной, мне этого мало. Плевать я хотел на Ниобею, на ее ничтожных каннибалов. Но она может стать плацдармом для прыжка вперед всего человечества! Хотите знать? Я первый, когда еще не знали о богатствах здешних недр, предугадал грядущее их значение. Я не был послан сюда в случайную командировку, как вы, я стремился сюда, я требовал, чтобы меня сюда направили, я доказывал, что только я, один я, лучше всех гожусь для освоения Ниобеи. Доказал, освоил!.. Ваш запрет — не только конец моей служебной карьеры, это выстрел в мое сердце, растоптанная моя душа!..

Я молчал. Он хмуро глядел на стол, потом сказал:

— Штилике, молю — отмените свой запрет! Неужели вы и вправду не понимаете, какая потеря для Земли отказ от этой планеты?

Почти с болью я понимал, как много правды в каждом слове Барнхауза, и отвергать его я не мог, ибо правда неотвергаема. Но была и другая правда, более высокая — так странно сложились обстоятельства, что две правды родились одновременно из одного события, как естественные его следствия, и одна противоборствовала с другой.

— Вы правы, Барнхауз,— сказал я.— Все, что вы сказали о благоденствии человечества, справедливо. И ваше честолюбивое стремление помочь этому благоденствию вызывает уважение. Можете мне поверить, это искренне. Но какую цену заплатить за поспешно создаваемое благоденствие, за лихорадочно ускоряемый промышленный переворот? Гибель маленького народа — вот це-

на. Слишком высокая, безжалостно высокая цена, Питер Барнхауз.

Ему показалось, что появилась хорошая возможность продолжить спор. Он воскликнул:

— Нет, Штилике! Нет этой цены, вы ее придумываете. Кто осмеливается говорить об уничтожении этого народа? Не я, во всяком случае. Не Виккерс. Переместить нибов с одного места обитания в другое место — и исчерпана проблема. И там, в заповеднике, подальше от промышленных разработок, создадим им такие условия жизни, о которых им самим и не мечталось. Расцвет, а не уничтожение — вот что мы предлагаем!

— Уничтожение! — повторил я. — Не камуфлируйте хорошими словами скверные дела, Барнхауз. Общество нибов на краю существования. Их так мало, что еще какие-то небольшие потери, а потери неизбежны при любом переселении — и кончено, популяция покатится неудержимо вниз. Помните, как на Земле погибали рыбы и животные? Не надо было всех перелавливать и перестреливать. Довести до какого-то количества, ниже жизнеспособного минимума, и железные законы вырождения сами довершат остальное. Раньше мы этого не понимали, теперь знаем и понимаем. Барнхауз! Вы служите человечеству, создавая для людей еще неведомые технические усовершенствования, предоставляя им еще неиспробованные бытовые удобства. Но человеку свойственно щадить другие живые существа, поступаться ради их благополучия, ради их жизни собственными удобствами и достатками. Я тоже служу человечеству, Барнхауз. Самому высокому, что есть в человеке — человечности. Пока я имею хоть немного власти, оттеснения в резервации несчастного народа Ниобеи не будет!

Барнхауз вдруг заплакал. Он слишком опьянел, слишком много нервов потратил на наш спор. Лицо его кривилось, он вытирал ладонью со щек слезы, тоненько всхлипывал. Всего я мог ожидать от него в тот момент — и грубой брани, и оскорблений, даже рукоприкладства — только не слез. Я не был подготовлен к его слезам. Я молча глядел на него, не зная, что сказать и надо ли что-нибудь говорить.

— Ладно, — произнес он, покончив с вытиранием слез. — Поговорили... Простите меня, Штилике... Не сдержался. Больше не будет.

В кабинет без стука вошла Агнесса. Она шла прямо на

Барнхауза. Она даже не глянула на меня. Всегда мелодичный и нежный перезвон ее колокольчиков обрел вдруг голос гнева. Она, конечно, слышала все, что мы говорили, и не собиралась скрывать этого.

— Какой стыд, Питер! — глухо выговорила она, подойдя к столу, голос ее прерывался. — Так распускаться! И перед кем? Возьмите себя немедленно в руки!

Он опустил лицо под ее негодующим взглядом. Массивный «медведь средней руки», как его иронически именовал Раздорин, выглядел очень плохо. И хотя я знал, что ни при каких обстоятельствах не уступлю его настояниям, мне стало жаль его — оттого, что он встретился с моим категорическим противодействием и оттого, что его таким растерянным и подавленным увидела красивая и недобрая его помощница. Он заслуживал лучшей участи, чем столкнуться со мной, так я почувствовал уже тогда, так чувствую и теперь.

— Уже успокоился, Агнесса! — сказал он, силясь улыбнуться. — Вы знаете, я немного выпил...

Но если он объявлял себя успокоившимся, то она успокаиваться не желала.

— Безобразие, Питер! Предупреждаю — буду впредь обыскивать ящики вашего стола. И постараюсь, чтобы ни одна контрабандная бутылка не проникла на Базу с Земли. Вы благодарите кого-то за эти запрещенные подарки, а я буду писать рапорта на командиров звездолетов!

— Хорошо, хорошо! — сказал он торопливо. — Агнесса, прошу вас...

— Не просите, не уйду! — отрезала она. Теперь она повернулась ко мне. Ее горячие глаза палили меня. Она взмахнула головой, колокольцы надрывались тонким негодующим звоном. — Так жалко держать себя! И перед кем, снова спрашиваю? Перед сухим чинушей, перед бездушным космическим бюрократом, перед высокомерным вельможей, которому плевать на наши труды, наши усилия, наши духовные и телесные муки, наши великие цели, наши радостные мечты! Вот перед кем вы потеряли свое лицо, Питер, никогда не прощу вам! И еще добавлю, последнее, самое страшное — перед убийцей нашего друга!

Я чувствовал, что побледнел. Все ее оскорбления теряли силу перед последним обвинением. Я с трудом выговорил:

— Ирина уже умерла?

При всех поисках слова помягче, я не могу назвать то выражение, что появилось на ее лице, иначе, как зловещим.

— А вы надеетесь, что не будет мук совести за ее гибель? Не надейтесь! Только что сообщили из больницы, что жизни Ирине Миядзимо осталось час или два.

Я хотел выйти, Агнесса преградила мне путь, как недавно в приемной перед разговором с Барнхаузом.

— Не торопитесь, господин Штилике! Ваш разговор с Барнхаузом не закончен. Питер, сообщите господину уполномоченному о депеше, которую я сегодня утром отправила на Землю.

Он заколебался.

— Агнесса, ответа пока нет, зачем заранее расписывать?..

Она оборвала его. Если бы я не был так раздражен, я залюбовался бы ею — она была не только чертовски красноречива, не только яростна в своих симпатиях и антипатиях, но при всей страстности характера гораздо организованней Барнхауза. Еще до того, как она заговорила от имени их обоих, я понял, что их, Питера Барнхауза и Агнессу Плавицкую, объединяют не одни лишь служебные связи.

— Вы трусите, Питер! — бросила она ему. — И позволяете ему уйти победителем, а никакой он пока не победитель. Я сделаю то, на что вы не решаетесь. Мы, — она подчеркнула голосом это «мы», и взмах головы, громким перезвоном колокольцев утвердил ее слова. — Мы, Штилике, сегодня отправили рапорт на Землю с требованием лишить вас всех полномочий и отозвать с Ниобеи. Можете быть уверены, ваши действия охарактеризованы со всей объективностью, как недопустимые, вредные и противоречащие всем программам освоения Ниобеи.

Она не могла ясней высказать свои неслужебные отношения с Барнхаузом. Пока она говорила, он был красен, безгласен, растерян. Все-таки тяжко мужчине показывать другому мужчине, что он попал под женский каблук. Я сказал сколько мог спокойно:

— Очень жаль, Барнхауз, что вы не начали нашей беседы с этой депеши. Было бы поменьше социальной философии в нашем споре и побольше организационных проблем. Скажу от души — желаю вам полного неуспеха в ваших просьбах к Земле. И в отличие от вас не буду

скрывать, что сегодня же тоже направлю на Землю депешу, где изложу свое понимание дел на Ниобее.

— Потребуете отстранения Барнхауза с поста управляющего нашей Космической Базой? — спросила она с вызовом.

— Нет, почему же? Ваш шеф — отличный администратор. Наверно, не слабей своего знаменитого деда, о котором сегодня столько вспоминалось. Энергия и деловитость в крови у Барнхаузов, я это учитываю. Даже вашего удаления не попрошу, Агнесса, хотя и мог бы: причин для этого достаточно!

Я вышел. Надо было скорей в больницу.

9

В больнице к Ирине меня не пустили.

— Ирина Миядзимо умерла, — сказал в приемной врач. — В палате только что прилетевший Джозеф Виккерс. Я считал нужным вас встретить и предупредить. Конечно, если вы пожелаете...

— Не пожелаю, — сказал я. — С Виккерсом я встречусь попозже. Спасибо за предупреждение.

Теперь надо было идти на Станцию космической связи. Я известил Землю, что общего языка с Барнхаузом не нашел, и попросил для себя чрезвычайных полномочий. Вспомнив, как Барнхауз издевался над старинным званием «чрезвычайный и полномочный посол», я хмуро пожал плечами. В старых речениях, даже на слух странных, было много пригодного и для нашего времени. После этого я воротился в гостиницу и, не зажигая света, сел в кресло. Мысли мои путались.

Гармодий с Аристогитоном закатывались, в окнах темнело. Нигде в космосе нет таких красивых закатов, как на Платее и Ниобее. Небо пылало тысячью разнокрасочных пожаров. Я вяло вглядывался в мистерию заката и думал о Барнхаузе и его подруге. Послать депешу на Землю придумала Агнесса, он подчинился ее настоянию. Вот же проницательная женщина, ни единой секунды не верила, что со мной удастся соглашение — и тайно нанесла предупредительный удар! А он верил, что сумеет меня переубедить. Иронизировал, ерничал, пускался в философские отвлеченности — старался жаром умелого слова зажечь мою холодную душу, они ведь оба видят

ее холодной и бесчувственной. А когда не вышло — расплакался по-ребячьи. Еще недавно мы были с ним в мирных связях — и он мне не нравился, и она еще больше не нравилась, красивая ведьма, так виделось мне, на Брокене и на Лысой Горе шествовала бы царицей сатанинского бала. А сейчас оба пошли стеной против меня — и гораздо больше нравятся мне, чем прежде. Как она просила быть помягче с ним, как умоляюще подрагивали ее колокольчики! И ненавидела, и умоляла, и оскорбляла, и унижалась — все сразу. Любовь, конечно. Нет, любовь не для таких местечек, как Ниобея. Чудовищно неделовое, абсолютно несправедливое чувство! Один вдруг становится важней всех людей, чуть ли не единственным в мире, а чем он лучше миллиардов других? Для возвеличивания одного любимого способна губить целые народы — вот что такое любовь!

Неделовое, несправедливое, необъективное, с горечью думал я. Не для таких местечек, как Ниобея? А сам ты? Или не влюбился? Или все, что делал на этих двух далеких планетах, не шло под знаком несправедливого и неделового чувства? Сучок в чужом глазу разглядел, а как с бревном в собственном? Вот скоро к тебе придет муж женщины, в которую ты так глупо, так горько влюбился. Что скажешь ему, сухой чинуша, бездушный космический бюрократ, высокомерный вельможа? Что вдруг потерял голову, стал необъективен, несправедлив, пристрастен — и от таких неделовых чувств погибла молодая женщина, его любимая женщина, столь дорогая и тебе... Осмелишься ли на признание? Найдешь в себе силы на честный ответ?..

Виккерс пришел, когда закат отпылал и снаружи стало темно. Он отворил дверь и сказал в темноту:

— Штилике, вы здесь?

— Входите, Виккерс, — сказал я. — Сами зажгите свет.

Он зажег свет и сел против меня. Он был страшен. За несколько дней, что мы не виделись, он постарел лет на десять. Некоторое время мы молчали, потом он сказал:

— Она так и не пришла в сознание перед смертью.

— Она не пришла в сознание, — повторил я бесстрастно.

Мы еще помолчали.

— Ничего не выйдет, Штилике, — сказал он с болью. — У вас не получится спокойствия, хоть и силитесь быть спокойным.

— Нет, почему же? — сказал я неопределенно. Я хотел, но не мог сказать что-либо ясней. Я не знал, зачем он пришел ко мне.

— Я хотел вас убить, — сказал он. — Я тешил себя этой мыслью — надо, очень надо отомстить вам за гибель Ирины. Но вот гляжу на вас и понимаю — не смогу вынуть оружие. Взял с собой пистолет, но — не могу.

— Выше ваших сил — стать убийцей?

— Глупости, Штилике! И рука не дрогнет, если захочу убить. Не хочу — потому и не могу. Посмотрел на вас и понял: какая это месть — убить? Оставить вам жизнь — это месть! Посмотрите на себя в зеркало, Штилике, вы за одну неделю так переменились... Вы сами мстите себе — это горше, чем пуля в сердце.

— Зачем вы пришли ко мне, Виккерс? Произошла трагедия, не будем разжижать ее жалкими словами.

— Штилике, ненавижу вас! — у него задрожал голос. — Всей душой ненавижу. Но вижу и ваше горе. И знаю, что оно не меньше моего. Вы любили Ирину.

— Я не давал вам повода...

— Не лгите! Вы влюбились в Ирину в тот самый час, когда я привел ее к вам. Я это увидел тогда по вашему лицу, услышал в голосе.

— Повторяю: я ничем не выдавал себя.

— Не выдавали, верно. Но, значит, было что выдавать? Этим одним вы выдаете себя. Штилике, я сам влюбился в Ирину с первой встречи, с первого взгляда, с первого слова, сразу и навсегда. Мне ли не понять, что и с другим это может произойти?

— Я чист перед вами, Джозеф.

Он горько покривился.

— Знаю, все знаю. Ирина перед отлетом на Ниобею сказала, что вы — полная энциклопедия всех предписанных добродетелей, даже страшно быть рядом с таким безгрешным, так она сказала. Но видите ли, Штилике, ее покоряло все удивительное, а что удивительней, чем нестарый мужчина с ангельскими крылышками на плечах и с вашей громкой славой звездопокорителя? Я ревновал вас, Штилике. Я боялся потерять Ирину. И потерял ее. И вы виновны в том, что ее нет ни для меня, ни для нее самой, ни даже для вас.

— Трагичные обстоятельства...

— Обстоятельства были подвластны вам. Я разговаривал с Мальгремом. Вероятно, ему ампутируют ногу,

левая рука тоже не скоро поправится. Но сознание у него не ампутировано. И он рассказал, как уговаривал и Ирину, и вас, чтобы она не ходила на мерзкое пиршество каннибалов. Вы могли запретить ей, но не захотели.

— Я не оправдываюсь, Джозеф.

— У вас нет оправданий! И если я не убиваю вас, то лишь потому, что вечное сознание своей вины вам горше, чем расставание с жизнью. Я осуждаю вас на мучение, куда тяжелей обычной смерти. Я жалею вас, Штилике, что назначаю вам такую безмерную кару, хоть вы и не поймете моей жалости, такие чувства не для вас.

Я не выдержал:

— Чего вы хотите, Виккерс? Давайте кончим нашу мучительную беседу.

— Мы только начинаем ее, Штилике. — В его глазах загорелся злой огонь. — Совершено злодеяние, надо мстить. Или вам и такое человеческое чувство незнакомо, как желание мести?

— Вы только что сказали, что отказываетесь от мести.

— От мести вам! Ибо вы и без моей мести неизбывно отомщены.

— Вы хотите мстить бедным нибам?

— Не бедным, а подлым! Хоть на час станьте обыкновенным человеком, вы же не статуя святого, вы же пока живой. Взываю к вашей чести! К вашей любви к Ирине наконец!

Он уже не говорил, а кричал. Я приказал себе соблюдать сдержанность.

— Как же вы собираетесь мстить, Джозеф? Разыщете, кто из нибов напал на нас, и устроите космический показательный процесс?

Он в бешенстве топнул ногой, на губах вскипела пена. Он размахивал руками и наступал на меня.

— Истребить всех! Земля запретила являться вооруженными к аборигенам планет. Но для каждого правила есть исключения. Воротиться с оружием на Ниобею и пустить оружие в дело! Потом можете арестовать меня, Штилике, но сейчас не мешайте. Молю вас вашим чувством к Ирине — не мешайте мне отплатить за ее гибель!

Он выкричался и умолк. Не уверен, что он хорошо помнил, что в неистовстве наговорил. Но намерение его было ясно. Я сказал:

— Я арестую вас раньше, чем вы отправитесь на Ни-

обею. Пока у меня в руках власть, я не дам вам воли на преступление.

Он быстро пришел в себя. У этого человека бешенство редко бывало горячим, он чаще леденел, впадая в исступление. Только что он кричал и судорожно дергал руками. Теперь каждым размеренным словом веско подчеркивал угрозу:

— Доктор Штилике, не становитесь мне на дороге. Это опасно, поверьте. За смерть Ирины я вас уже простил. А что до дальнейшего, то предупреждаю: и рука не дрогнет, если появится нужда...

Он быстро повернулся и ушел. Я не успел ничего ему сказать вдогонку. Не уверен, что и хотел ему что-либо говорить. Виккерса надо было вывести из тяжкого состояния. Косморазведчик, потерявший душевное равновесие, не пригоден на дальних планетах. Но он впал в ярость, любое мое слово могло лишь усилить неистовство. Завтра, послезавтра, думал я, отправят тело Ирины на Землю, будет еще время встретиться, что-то по-доброму решить. Завтра, послезавтра — я постепенно цепенел от душевной усталости, все мысли выветривались из головы... Я так и заснул, не выбираясь из кресла. Виккерс не погасил свет, уходя, я спал на свету с лишенной света головой.

Утром Ирину укладывали в саркофаг с консервирующим газом, чтобы нетленным привезти тело на Землю. В прозрачном саркофаге она выглядела красивей, чем в жизни, я долго не мог оторвать от нее глаз. И как десять лет назад, когда умирала Анна, я снова и снова думал, как несправедлива судьба: лучшее, что мне было начертано в программе жизни, я уже выполнил, а ей бы жить и жить, нет, выбрали ее, а не меня. Непереносимо, чудовищно несправедливы были эти две смерти, две скорбные вехи всей моей жизни.

В морг вошел Виккерс, он холодно поклонился, даже в бешенстве и горе вчера, уходя от меня, он не забыл кивнуть и пробормотать: «Прощайте». Как детская машинка с долгосрочным заводом, он был навечно заведен на благопристойность. Я смотрел — прошла ли ярость. Он не пожелал встретиться взглядами, он глядел на одну Ирину — ярости нет, ожесточение не прошло, думал я, уходя из морга. Заперся в номере и два дня не выбирался. Даже на звездолеторемонтные и механические заводы — я на них еще не бывал — идти не хотелось. Во-

круг меня на Платее густела атмосфера вражды, я не имел противогаза против носящегося в воздухе яда. Мальгрем со всеми своими геологами, рударями, строителями, охраной эвакуировал Ниобею, его работники заполнили поселок. Я не хотел с ними встречаться.

С очередным звездолетным рейсом Ирину отправили на Землю. Я не пошел на печальные проводы. Не помню, как провел этот день. Знаю лишь, что был день и была ночь, и настало утро. Утром на настенном экране засветился Барнхауз. Он так всматривался в меня, словно сомневался, я ли это. Я раздраженно сказал:

— Что еще? Я не просил вас...

— Вы здоровы, Штилике? — ответил он вопросом на вопрос.

— Вполне.

— Тогда разрешите прийти к вам. Важное сообщение.

Таких, как Питер Барнхауз, не люблю принимать у себя, в своем доме не всякому скажешь: «Довольно, уходите». А если сам в гостях, в любую минуту можно удалиться. Я сказал:

— Иду к вам.

Агнессы Плавицкой в приемной не было. Барнхауз нервно прохаживался по обширному, как старый городской дворик, кабинету. Думаю, скорей его, а не меня, надо было спрашивать о здоровье, так он спал с тела за несколько дней. Я сел в кресло и молча ждал, что он скажет.

— Важное сообщение с Земли, коллега Штилике, — начал он. — Вы даже не представляете себе его важность!

— Почему же не представляю себе? — сказал я. — Трижды важное — вот какое!

— Трижды важное? — удивился он. — Почему трижды?

— Теперь четырежды: вы ровно четыре раза упомянули его важность. Не мямлите, Барнхауз, оглушайте!

Больше ничего не сказав, он протянул депешу. В ответ на его рапорт Земля извещала, что полностью согласна с его оценкой положения на Ниобее. Ему предписывалось всемерно расширять добычу руд; новые производства на Земле отныне невозможны без сырья с Ниобеи. Всем его требованиям на материалы, механизмы и рабочую силу присваивается высший приоритет. Он может планировать значительное увеличение работ.

Я воротил ему депешу и направился к двери. Он чуть не в испуге воскликнул:

— Штилике, вы куда?

— В гостиницу. Имеете возражения, Барнхауз?

— Позвольте, мы же не обсудили положение! Депеша требует немедленных действий.

— Не вижу нужды что-либо обсуждать, — сказал я намеренно резко, — и если вам нужны действия, да еще немедленные, так действуйте. Но меня в ваши действия не впутывайте.

Только сейчас до него дошло, что я вовсе не собираюсь поднимать вверх руки. Он медленно проговорил:

— Насколько я понимаю... Вы не собираетесь принимать к исполнению директиву Земли?

— Запомните, Барнхауз, — отчеканил я. — Я принимаю к исполнению только то, что предписывается лично мне. Сообщение с Земли адресовано вам, обо мне в вашей депеше ни слова. Не так ли?

Ему все же не сразу раскрылась запутанность ситуации. Он размышлял — я почти физически ощущал, с каким усилием — как громоздкие валуны по дороге — он катит мысли по своим мозговым извилинам. Его секретарь, она же подружка, Агнесса Плавицкая схватывала все быстрей. Будь она с нами, она подсказала бы ему пути-выходы, сам он до них не добирался. Он заговорил снова:

— Мне думалось так. Вы признаете, что новое предписание Земли отменяет ваш приказ об эвакуации Ниобеи. И завтра, в полном согласии с вами, я возвращаю обратно всех прилетевших оттуда. Многие уже хотели воротиться на Землю тем звездолетом, что увез саркофаг Ирины Миядзимо, но я всех задержал. Я предчувствовал, что будет крутой поворот в событиях.

— Блестящая предусмотрительность! — насмешливо бросил я.

И на этот раз ирония не дошла до него. Он вслух рассуждал:

— Но ведь что получается, Штилике? Ведь ничего толкового не получается! Я имею распоряжение усилить горные разработки, а вы... Неужели и теперь настаиваете на своем? Но ведь одно несовместимо с другим — ваш приказ и эта депеша мне!

— Очень рад, что вы это поняли, Барнхауз! Я своего

приказа не отменяю. Остальное — ваше дело. Можете поступать, как вам подсказывают совесть и выгода.

Он был по природе толковый космоадминистратор, но не мятежник. Бунт не импонировал его душе. Он привык отлично выполнять распоряжения, даже заранее подсказывал их, прежде чем ринуться в исполнение. Но уничтожать основы — нет, это была не его стихия.

— Положеньице, — растерянно бормотал он. Даже высокий и резкий голос, так не гармонирующий с массивным телом, вдруг переменился от огорчения: в нем слышался уже не дискант, а глухой баритон, почти бас. — Мне надо посоветоваться, Штилике, перед такой вы меня поставили дилеммой.

— Советуйтесь. Надеюсь, Плавицкая подскажет вам что-нибудь путное.

Он безнадежно махнул рукой.

— Что она подскажет? У нее одна цель — чтобы мне было лучше. А что мне лучше? Надо бы посоветоваться с Виккерсом. Но он улетел.

— На Землю с саркофагом?

— Зачем на Землю? Разве вы не знали? Он сказал, что поставил вас в известность. Иначе я не выдал бы ему планетолета. Он хотел развеять горе, такое намерение. Он умчался на астероиды сегодня утром с Вильямом Петровым, это его пилот, они летают уже третий год.

— Идиот! — простонал я. — Нет, Барнхауз, это я о себе! У вас есть второй планетолет?

— Есть, конечно.

— Немедленно подготовьте. Я полечу за Виккерсом. Его надо вернуть, иначе будет большое несчастье!..

Мясистое лицо Барнхауза изобразило сомнение.

— Позвольте объяснить вам, вы не знаете обстановки... Там же сотни объектов, темные глыбы в космосе... На каком будете искать Виккерса? Равнозначная проблема — иголка в стоге сена.

— Проблема совсем иного рода, Барнхауз! Я лечу на Ниобею. Виккерс вас обманул. Он отправился туда, а не на астероиды.

Значение поступка Виккерса до Барнхауза дошло сразу. Тут была его стихия — оперативно действовать. Он быстро сказал:

— Вызываю пилота. Машина будет через час.

Я собрал в гостинице нужные вещи и прибыл на космодром. Там уже ждали пилот и Барнхауз.

— Если что понадобится, радируйте, — сказал Барнхауз. — Подготовлю здесь партию надежных людей и по первому вашему требованию пошлю вслед. Будьте осторожны, Виккерс в ярости страшен. Успеха, Штилике!

Впервые за наше знакомство я дружески пожал его руку.

С Базы до Ниобеи полета на скоростной машине около суток. Пилот, угрюмый мужчина средних лет, объяснил мне, что на маленьких машинах антигравитаторы работают не так надежно, как на звездолетах, но «сто земных ускорений» погашают надежно — после часового разгона будем нестись с рейсовой скоростью три миллиона километров в час. Я попросил выжать из двигателя максимум — на Ниобею умчался за десять часов до нас человек, замысливший преступление, нужно нагнать его и обезвредить. Пилот обещал постараться. В полете я уснул, а когда проснулся, планетолет вели автоматы, приборы показывали скорость больше тысячи километров в секунду, пилот дремал. Когда до Ниобеи осталось около часа, я разбудил пилота. Он выверил курс и сказал, что посадит машину без оповещения — не будем информировать преступника о погоне: он много раз летал на Ниобею, на Станции ему каждый закоулок знаком.

На посадочной площадке стоял точно такой же планетолет. К нам поспешил широкоплечий парень с добродушным лицом — пилот Вильям Петров, тот, что привез меня и Ирину на Ниобею, потом отвозил нас обратно, а сегодня доставил сюда Виккерса. На этого человека можно было положиться. Он спросил, давно ли мы с Базы, и удивился — ну, и мчались, за двадцать часов добрались! У них не вышло такой прыти, Виккерс сердился, но пришлось смириться: двадцать шесть часов, вот такой вышел рейс — и пусть радуется. Не рекорд, как у вас, но тоже неплохо. Я быстро прикинул, что Виккерс опередил нас на четыре часа, и прервал словоохотливого пилота:

— Где Виккерс?

— Собрал, что ему требовалось, и ушел.

— Что собрал? Куда ушел?

— Проверил личное оружие, достал со склада взрывчатку и бухту каната. И ушел в заброшенный город. Объяснил, что пойдет вон по той дороге. Если случится встреча со взбунтовавшимися нибами, то подаст сигнал тревоги и тогда мне бежать на помощь. До сигнала Стан-

цию не покидать. Он скоро вернется пополнить запас взрывчатки. Вот такие были распоряжения. Да что случилось?

Я сказал обоим пилотам — уже не было смысла что-либо скрывать:

— Виккерс готовит нападение на нибов. Он мстит за жену. Взрывчатка ему понадобилась, чтобы уничтожить поселение нибов. Я пойду искать его. Если он вернется за взрывчаткой, схватите его.

— Чуть покажется, задержим! — уверил мой пилот, а пилот Виккерса, ошарашенный сообщением, только кивнул. В том, что они исправно выполнят мой приказ, я не сомневался.

Теперь оставалась «малость» — найти и обезвредить Виккерса. Он был на голову выше меня, гораздо сильней. Прямая схватка один на один закончится его победой — это я понимал. Я решил идти в одиночку. Я хотел использовать свое преимущество — я знал, что он на Ниобее, он не знал, что я погнался за ним. И в жажде мести он, возможно, будет таиться от нибов, но не от людей — стало быть, сумею подкрасться к нему исподтишка, тем более что мне известно, куда он двинулся. Я проверил оружие и выскользнул за ограду.

Время шло к ниобейскому полдню, Гармодий с Аристогитоном ползли в зенит. Планета вела себя отвратительно: словно по приказу пробудились все вулканы, с юга погромыхивало, на севере грохотало, на востоке и западе раздавались взрывы, клубы пара и дыма взметались над планетой. В воздухе плыли серные запахи и пыль. Я пожалел, что не захватил противогаза — глаза слезились, в горле першило, хотелось непрерывно чихать, а надо было блюсти осторожность.

Быстро пробежав открытое пространство перед Станцией, я углубился в лес. Здесь можно было идти спокойней. До покинутого города далеко, а поселения нибов — около них где-то бродит Виккерс — располагались еще дальше. Я старался только не шуметь, хотя пробудившаяся планета своими гулами, грохотами и взрывами подавляла все прочие звуки.

Так я двигался с полчаса, а потом в тесноте кустов на меня что-то обрушилось, и я потерял сознание.

Не знаю, сколько времени я пробыл в беспамятстве, а когда очнулся, лежал на небольшой полянке — явно не в том месте, где упал. Я был связан: ноги опутывали

витки каната, руки сдавлены такими же петлями. На камне сидел Виккерс и наблюдал за мной.

— Добрый день, доктор Штилике! — приветствовал он. — Впрочем, день не добрый, плохой. Как вы себя чувствуете, дорогой друг? Мне не хотелось бы причинять вам неудобств сверх абсолютно необходимых.

— Немедленно развяжите меня! — Я сделал попытку если не подняться, то пошевелиться, но и это было трудно.

Виккерс надменно улыбнулся.

— Странное желание, доктор Штилике. Я подстерег и связал вас вовсе не для того, чтобы снять путы по первому вашему гневному окрику. Связанным вы мне больше нравитесь, чем свободным.

Он издевался, но голосом серьезным, даже доброжелательным. Он внимательно наблюдал за мной, и я понял: не для того, чтобы помешать мне высвободиться, он был уверен в крепости канатов, но просто хотел знать, примирюсь ли я с поражением. Он еще надеялся на какое-то соглашение. Я сказал:

— Вы выслеживали меня, Виккерс? Не очень благородно...

— Зато разумно. И что значит — выслеживал? По-моему, вы пустились в погоню за мной, а не я за вами. Я опытный косморазведчик и заранее принял меры защиты против вашей агрессии.

— Моей агрессии? У вас диковинное представление о том, что такое агрессия, Виккерс. Я старался предотвратить преступление, а вы готовитесь его совершить. Вы и есть агрессор.

— Преступление — убийство моей жены. Она ни в чем не провинилась ни перед кем, а ее убили. Я мститель! — Он говорил с болью и страстью. — Не смейте называть месть агрессией. Я не позволю вам швыряться высокими понятиями, хоть вы и правительственный уполномоченный.

— Вы выбрали плохое место для юридических дискуссий. Распутайте меня, и мы поговорим о смысле высоких понятий.

— Не считайте меня дураком! Я уже доложил вам: связанный вы меня больше устраиваете, чем свободный.

— Вы говорили — нравлюсь, а не устраиваю. — Я снова сделал попытку освободиться, и снова ничего не вышло. Этот человек, косморазведчик Джозеф Виккерс,

вязал веревочные узлы, как моряк на парусном флоте. — Чего вы от меня хотите?

— Того же, чего и вы от меня, — обезвредить. Сделать так, чтобы вы не могли мне помешать. Я сказал пустомеле Барнхаузу, что вылетаю на астероиды, он не выдал бы мне планетолета на Ниобею. Но я и минуты не сомневался, что вас не обмануть и что вы немедленно устремитесь за мной в погоню. Видите, как я высоко ценю вашу сообразительность, доктор Штилике, гораздо выше, чем вы мою. Но проницательность в последний момент вам отказала. Вы ведь решили, что сжигаемый жаждой мести я без промедления кинусь взрывать селения нибов, стрелять их как бешеных волков. И не задали себе вопроса, зачем я взял с собой бухту каната. А я больше всего боялся, что вы зададите себе именно такой вопрос. Вы бодро двинулись по моим следам, которые я же вам указал, сообщив Петрову, куда иду. А я залег в удобном местечке, оглушил вас, связал и перетащил на эту открытую полянку.

— Зачем?

— Здесь удобней разговаривать. Я вас вижу, вы меня видите, ветки не лезут в рот. Должен признаться, я не люблю тропических лесов, особенно в их ниобейском исполнении. Дубы и сосны моей родины — я родился в Уэллсе — мне больше по душе.

— Вы оглушили и связали меня, чтобы удобней признаваться в любви к соснам?

— Еще раз одобряю вашу проницательность — нет, не для этого, вы правы. Вы будете здесь лежать, пока я не уничтожу основное поселение нибов. Вам интересно знать, как это сделаю? Мальгрем рассказал, что вы были только в заброшенном городе, а в новый город он вас не повел, ему не хотелось пускать Ирину в это смрадное подземелье: добрая сотня пещер, освещенных радиоактивными панелями, но с одним выходом наружу, одним-единственным ходом-выходом, мой добрый доктор Штилике! Я взорву скалу над входом и замурую всех поганцев, пусть задыхаются! И посторожу, не прибежит ли кто на взрыв, его уложу из пистолета. А когда никого в окрестностях не останется, возвращусь и освобожу вас. Если, конечно, до того вы не умрете от усталости, от злости, от высоконравственного негодования на такого злодея, как я.

— Вы не боитесь, что в ваше отсутствие я освобожусь от пут?

— Надеюсь, этого не случится. Я вязал узлы от души. Мне ужасно не хочется убивать вас, Штилике, а придется, если вы освободитесь сами. Не хочу брать лишнего греха на душу.

— Уничтожить целый народ — по-вашему, не брать на себя страшный грех?

— Народ уничтожить — да! Но где вы нашли народ? — Ярость исказила его красивое лицо, он снова впал в исступление, как недавно на Базе.— Вы бросаетесь словами, как шелухой, а слова — гири, слова должны бить по черепу, слова — это действия, Штилике! Я протестую против ваших прилизанных, ваших неискренних слов! Нет народа, не смейте применять к каннибалам этого высокого слова! Есть погибающая популяция обезьянообразных, вырождающееся, уже выродившееся отребье каннибалов, сборище отвратительных недоделышей природы, незадолго до неизбежной гибели превратившихся в расу преступников перед собой, перед людьми, перед своей планетой, перед всем миром. Вот кто они такие! Сумасшедших на Земле запирали в больницах, преступников сажали в тюрьмы. А как поступить с сумасшедшей и преступной расой? Я принял решение и не отступлю! Я знаю, вы потом арестуете меня, едва я разрежу ваши путы, вы повезете меня на Землю, будете там судить. Арестуйте, везите, судите, я готов! И на суде я с гордостью скажу: да, я тот самый Джозеф-Генри Виккерс, который совершил на Ниобее великий и справедливый акт — очистил планету от покрывшей ее ублюдочной плесени.

— Подонок ты! — сказал я спокойно.— Жалкий червь, возомнивший себя Верховным Судией! Что ты знаешь об объективной справедливости природы? Ты живешь только для себя, только собой. Ты выучил одну мелкую примитивную законность — что похоже на тебя, то красиво, что выгодно тебе, то морально, что невыгодно, то безнравственно. А вон та кривая ветка, высунувшаяся из расщелины скалы, по-своему совершенней тебя, ибо ты на такой высоте, при такой скудости питающих ее соков вообще бы не распустился. И, следовательно, та ветка, объективно, по справедливости самой природы, по гармонии ее внутренних законов — тысячекратно прекрасней тебя! Злость, а не доброта правит тобой! Не ра-

зум, а бессилие мысли, неспособной понять, почему вырождается то или иное явление природы, и что можно, что нужно сделать, чтобы превратить вырождение в расцвет. Падающего — толкни! — эту древнюю формулу зверства ты взял символом своего поведения. Неверие в свои силы, боязнь труда, узость кругозора — вот твоя натура, Джозеф-Генри Виккерс! Ты просто не способен никому помочь. Ты изменил нашему великому учителю Теодору Раздорину, думая, что ищешь собственные пути на высоту. Глупец, ты изменил, устрашившись высоты! Ты пустоцвет, Джозеф-Генри Виккерс. Ты начисто обделен даром творчества, ты нищий духом, слабый волей. Сколько же ты морально ниже тех, кого задумал уничтожить! Говорю тебе, ты жесток от трусости, ты преступник от недомыслия. Ты претишь человеческому естеству, ты першишь у меня в горле. Я неподвижен, поэтому наклонись ко мне — хочу плюнуть тебе в лицо!

Я не знаю, как он справился с яростью, но он справился. Уже при первых моих словах он вытащил пистолет. Я знал, что он не выстрелит, пока не дослушает до конца. Но не был уверен, что последнее слово к нему не станет вообще моим последним словом. И я приказал:

— Теперь стреляй, слизняк! Естественный ответ труса — импульс из лучевого пистолета, когда нет сил опровергнуть обвинения! Наберись же трусости убить меня, я жду!

Весь перекосившись, он спрятал пистолет, рука дрожала, он тыкал дулом себе в бедро, а не в карман, потом прошептал обрывающимся голосом:

— Успею, Штилике. Смерть от вас не уйдет. Я связанных не убиваю. С людьми я веду честный бой.

— Тогда развяжи! И хоть ты много сильней, я первый брошусь на тебя. Ибо моими поступками правит смелость, а не трусость мысли, истинная честь, а не самообожание.

Он круто повернулся и кинулся в лес. С минуту я слышал шорох травы и треск веток под его ногами. Я в изнеможении закрыл глаза. В моей голове пробредали медленные, усталые мысли. Они были похожи на редкие белые облачка в сумрачной пустоте вечернего неба. Потом я услышал новые шумы и открыл глаза.

Из леса на поляну выходили нибы.

Они обложили меня широким кругом, рассматрива-

ли, не приближаясь вплотную, тихо и взволнованно гудели меж собой. Они побаивались меня, это было ясно. Мне показалось, что они не знают, как поступить со мной. Я молчал, только следил за ними. У меня появилась надежда, что они насмотрятся и уйдут, не причиняя зла. Но один повелительно загудел, все обернулись к нему. Он простирал в мою сторону длинные руки, сложил трубкой губы. Гуд был ясен и без расшифровки — он приказывал поднять и унести меня. Меня схватили в два десятка рук и подняли. Даже и для такой массы носильщиков я был тяжел, они спотыкались, кто-то упал, его заменил другой — я качался на их руках, как бревно на неспокойной воде.

Впереди шел тот ниб, что велел меня унести, за ним двигалась вся процессия. Меня, как удар копья, пронзила вдруг горькая мысль, что вот примчался на эту проклятую планету, чтобы вызволить их из беды, а они тащат меня куда-то на расправу, возможно, будут жарить и есть. Я вспомнил о двух пилотах, ожидающих на Станции,— может, один из них вышел на рекогносцировку в лес? Я набрал побольше воздуха в легкие и заорал. Мой крик ошеломил носильщиков, они в испуге выронили меня и кинулись кто куда. Лежа кричать было трудно, я замолчал. Нибы опять набросились на меня и понесли, я опять закричал. Но они уже не оставили меня, а пытались прервать мой крик: один закрыл рукой мне рот, я укусил его за пальцы, он с визгом отдернул руку. Другой засунул в мой рот горсть листьев, я подавился криком. Теперь движение шло в полном молчании: я ожесточенно жевал листья, чтобы выплюнуть, но никак не мог освободить рот, а носильщики, сгибаясь под тяжестью, не переговаривались, только показывающий дорогу изредка гудел, но так тихо, что его слышали одни соседи.

Носильщики временами клали меня на почву, их тотчас сменяли другие — движение продолжалось без остановок на отдых. Меня несли наверх, к оставленному городу. В какой-то момент мне удалось выплюнуть листья, я собрал побольше воздуха и опять закричал. Кто-то проворно засунул в рот новую партию листьев — движение наверх возобновилось. В этот момент из леса вырвался Виккерс с пистолетом в руке.

— Штилике, я иду! — прокричал он, и пронзительный луч резанул по деревьям — посыпались ветки.

Все нибы разбежались. Меня с такой силой бросили на почву, что помутилось в глазах. Виккерс добежал до меня, стал рвать узлы на руках и ногах, но, слишком туго затянутые, они не поддавались. Он в отчаянии выругался и вцепился в один узел зубами. Я прошептал:

— Достаньте мой нож, он в нагрудном кармане.

Он выхватил складной нож и стал резать узлы на ногах. Одна нога освободилась быстро, на другой канат резался плохо. Мы находились на вершине одного из многочисленных в чащобе голых каменистых холмиков. Из леса доносился надрывный гуд. Вторая нога тоже освободилась, я сделал попытку подняться, но затекшие ноги не держали, я зашатался. Виккерс подхватил меня, быстро сказал:

— Бежим, здесь мы слишком хорошие мишени для них. Я избавлю вас от веревок на руках в местечке поспокойней.

Он говорил это и подталкивал меня. Я сделал несколько шагов и совсем ослабел. Виккерс уже не толкал, а тащил меня. Я охал и стонал, Виккерс дергался и ругался. Он дотащил меня до чащи, и здесь сам свалился, но тут же вскочил и стал резать узлы на руках. Через минуту я шевелил освобожденными руками.

— Джозеф, до чего хорошо, когда руки действуют!

Он сказал:

— Не простил бы себе, если бы поганцы прикончили вас.

— Что вы сделали со взрывчаткой, Виккерс? Завалили вход в подземное поселение нибов?

Он вяло усмехнулся:

— Можете не тревожиться, подземелье не замуровано. Вы были правы, Штилике, я трус. Не хватило духу взорвать вход в пещеры. Я свалил взрывчатку неподалеку и размышлял, что делать. И не было ни одной толковой мысли: сидел и таращился на лес... И тут донесся ваш крик. Я, кажется, успел вовремя.

— Надо убираться отсюда,— сказал я.— Если мы не дойдем к Станции до темноты, нас прикончат. Да и сейчас здесь небезопасно.

Кровообращение в ногах восстановилось, я уже ходил хорошо, но бежать не мог. Мы пошли напрямик через лес, стараясь не выбираться на холмы и полянки, где могли бы стать удобной мишенью. Нибы не нападали, но временами слышались гуды. Я ругал себя, что

не взял на Станции дешифратор — может, удалось бы разъяснить нибам, что мы не собираемся причинить им зло. Впрочем, за короткое пребывание на Ниобее я не успел хорошо освоиться с этим довольно сложным аппаратом. И я понимал, что нибы правомочны не поверить: наше поведение не могло показаться дружественным. И меня, и Виккерса тревожили доносящиеся из леса гуды. Нибы крались вокруг — вероятно, выбирали место поудобней, чтобы напасть.

— Скоро стемнеет,— сказал Виккерс.— В темноте они нас перебьют. Давайте побежим, Штилике.

— Не могу,— сказал я.— Может, вам поспешить на Станцию одному? Некоторое время я продержусь в каком-нибудь укрытии, а вы с двумя пилотами выручите меня.

Оставлять меня Виккерс не захотел. Мы продолжали тащиться через лес. Гуды нибов становились громче. Теперь они доносились со всех сторон, нибов прибывало. И все трудней дышалось — в воздухе густела пыль, разило серой. Почва временами вздрагивала, беспокойная планета впадала в ярость. Позади нас вдруг разлилось сияние — забушевал новый кратер. Тяжкий грохот взрыва заглушил все звуки. Я зацепился ногой за ветку и упал. И, словно в ответ на мое падение, в лесу разразились яростные вопли. Нибы надрывались — видно, подбадривали и вздыбливали себя на нападение. Я сказал Виккерсу, что надо срочно найти укрытие, иначе несдобровать. Мы в это время пробирались мимо заброшенного поселка нибов. Виккерс предложил укрыться в одном из домиков-шатров. Когда мы подобрались к домику, многоголосый гуд превратился в бешеный рев, нибов явно разочаровало то, что мы нашли укрытие.

— Какое-то время можно не опасаться нападения,— устало сказал Виккерс.— Но не будем обольщаться, Штилике, они попытаются нас захватить. Буду стрелять в любую тень, которая появится у входа.

Нападение совершилось быстрей, чем мы ожидали, и не со стороны входа, а сверху. На крышу обрушились тяжкие удары, посыпалась пыль и осколки кладки. Удары повторялись, на свод рушились глыбы. Крыша обвалилась, в отверстие посыпались кроваво-красные камни, целая груда их выросла посередине шатра. Непереносимый жар наполнил тесное пространство.

— Вот же бестии,— прошептал задыхающийся Вик-

керс.— Мальгрем говорил, что они умеют выуживать жар из кратеров, но нападать раскаленными камнями!.. Что делать, Штилике?

— Нападает взорвавшийся неподалеку вулкан, а не нибы,— сказал я.— И если он повторит нападение, нас изжарит в этом каменном склепе, как в печи. Бежать — и поскорей!

Мы выскочили наружу. На мне загорелся комбинезон, когда я прыгал через раскаленные камни, на Виккерсе тоже затлела одежда. Невидимые нибы встретили наше появление взрывом дикого гуда. Вулкан снова выбросил в воздух облако раскаленных камней, они посыпались вокруг, но, к счастью, ни один не попал в нас. Мы кинулись в сторону от места, откуда летели камни. Нибы тоже удирали, гуды оборвались. Позади над кратером вздулось багровое сияние, лес пронзительно озарился. Уже не одни камни, но брызги и сгустки лавы проносились над лесом. Новый взрыв потряс почву, я не устоял на ногах. И пока, цепляясь руками за кусты, я пытался подняться, новое облако светящихся камней и лавы обрушилось на меня и засыпало ноги. Отчаянным рывком я вырвал себя из горнила, но подняться и идти я уже не мог. Бежавший впереди Виккерс остановился, вернулся назад, наклонился надо мной. И по ужасу в его глазах я понял, что ранен тяжело.

— Идите один, Джозеф,— сказал я.— Давайте рассуждать здраво...

— Плевал я на ваши здравые рассуждения! — огрызнулся он, я услышал отчаяние в его голосе.— До Станции я вас дотащу.

Он схватил меня и понес. Он странно нес меня, держал на руках голову и спину, я сразу отметил это и понял — вероятно, у меня изранены и сожжены ноги, поэтому он так и держит меня. Я не видел своих ног, не хотел спрашивать, что с ними, только вяло думал: за развороченные до костей ноги взяться нельзя, я теперь не человек, а обрубок человека, вот он и несет меня, как обрубок. И еще я думал — спокойными холодными мыслями,— что нести меня не надо, он все равно не донесет, я по дороге умру, так зачем ему подвергать еще и себя опасности, вулкан ведь вот-вот исторгнет новую груду камней.

— Джозеф,— прошептал я.— Не надо...

— Дотащу! — хрипло крикнул он.— Все равно дота-

щу! Берегите дыхание, Штилике, на Станции вам поможем. Молчите, слышите!

Я замолчал. В голове замутилось, все расплывалось перед глазами. «Умираю!», — вяло думал я. И последним, внезапным озарением сознания я вдруг увидел груду раскаленных камней, пронесшихся перед моим лицом, услышал надрывный вопль Виккерса. Я чувствовал, что лежу на траве. Теперь я знал, что меня никто не несет на руках, что Виккерс, наверно, мертв и что я тоже мертв, только почему-то ощущаю это запоздавшим погаснуть сознанием.

10

Пробуждался я неровно — проступило чье-то лицо, исчезло, слышались голоса, замолкали, снова слышались, пустой свет в глазах сменился пустой тьмой. Потом стало твердым, что на меня смотрит Барнхауз, только лицо его расплывалось, не было твердым, оно колебалось, его раздувало и прессовало, но, меняя очертания и величину, оно пребывало, и я заговорил с Барнхаузом.

— Где я? — спросил я, но не услышал своего голоса.

Зато ответ раздался в моих ушах отчетливо — и он прозвучал несомненным голосом Барнхауза.

— Вы на Базе, Штилике. Вас благополучно доставили сюда. Врачи делают все возможное, можете мне поверить.

У меня хватило сил на новый вопрос:

— Что с Виккерсом?

Голос Барнхауза странно отдалился, он звучал теперь словно из другой вселенной, лицо директора Базы пропало во тьме, тьма стала пустой и беззвучной. Но в мое гаснущее сознание проникло, что Виккерс рядом со мной, но врачи не могут привести его в чувство. Спустя некоторое время снова высветилось, по комнате ходил врач, он что-то сказал, я не расслышал. Я скосил глаза. Я лежал на кровати, на соседней лежал Виккерс, я увидел его ясно — он был бледен, глаза закрыты, руки недвижно покоились поверх простыни. Я снова ушел в пустую тьму.

Новое возвращение сознания было более четким. У кровати сидел Мальгрем с перевязанной левой рукой,

к стулу он прислонил свой костыль. Врач держал мою ладонь, чем-то смазывал пальцы. Я повернул голову. Виккерс по-прежнему лежал на соседней кровати и был по-прежнему бледный и неподвижный.

— Он жив? — прошептал я.

— Пока жив,— ответил врач.— Но состояние очень тяжелое.

— Могу я с ним поговорить? — спросил Мальгрем и показал на меня глазами.

— Можете,— ответил врач.

Мальгрем сперва только молча глядел на меня, потом нерешительно пожелал выздоровления. Хорошо помню, что я усмехнулся. Еще никто не разъяснял мне моего состояния, но я уже был уверен, что ног нет. Вместо ответа я вытянул руку и ощупал пальцами кровать. Под пальцами чувствовался только матрац, то, что осталось от моего тела, было короче, чем доставала протянутая рука. Мальгрем побагровел, тяжело задышал.

— Не будем говорить о здоровье,— сказал я. Вероятно, мне потребовалась целая минута, чтобы произнести эту фразу. И еще минута понадобилась, чтобы попросить Мальгрема: — Роберт, расскажите, как мы очутились на Базе.

— Вас принесли на Станцию нибы,— сказал он. И это было единственное, что он сообщил в то первое наше свидание, у меня снова отказало сознание.

Теперь я приходил в себя чаще, оставался в сознании дольше. И почти всегда, открывая глаза, я находил у постели Мальгрема или Барнхауза, а на соседней кровати лежал Виккерс, все такой же бесчувственный, бледный, неподвижный. Пришел и пилот Петров, от него я узнал, как нас спасали. Оба они, он и второй пилот, очень встревожились, когда поблизости от Станции взорвался новый вулкан, а ни я, ни Виккерс не появлялись. Уйти со Станции не позволял мой запрет, они вышли наружу и прислушивались, не раздастся ли где наш крик. Уже к ночи из леса стали выходить нибы. Сперва появилась одна маленькая группка, они взволнованно гудели, показывали на лес, звали туда. Один из пилотов остался на Станции, другой поспешил в лес. Нибы вели его в самую гущину деревьев — временами из кратера выбрасывались камни, в мощнодеревном лесу они не были так опасны, как на открытом месте. Вскоре пилот встретился с основной массой нибов, они несли на руках

меня и Виккерса. Пилот, увидев в каком мы состоянии, бросился готовить машины к отлету. К тому времени, как нас принесли на Станцию, оба планетолета были выведены на стартовую площадку. В одну машину погрузили меня, в другую Виккерса, оба мы не приходили в сознание. Нибы оставались на Станции до отлета, волновались, гудели, бегали вокруг планетолетов...

— Мы с Виккерсом думали, что они готовят на нас нападение,— сказал я Мальгрему.— А они хотели нас спасти! Как мы ошибались в этом народе! Как ошибались!

— Народ удивительный,— согласился он.— У них выработалось предчувствие вулканических извержений. Вероятно, они хотели увести вас подальше от опасного места до того, как начнется извержение, а вы не поняли их. Теперь я думаю, что и Станцию они в свое время заставили перенести, потому что предвидели извержение на ее прежнем месте.

В одну из ночей я услышал голос Виккерса. Он не открывал глаз, в сознание не пришел, но заговорил. Его томил бред, он бормотал, захлебываясь словами, всхлипывал, временами вскрикивал. Я вслушивался в его голос, старался понять, что наполняет его помраченный ум. Он воротился в прошлое, он заново переживал то, что давно уже стало смутным воспоминанием. Он видел себя мальчишкой, провалился на первом экзамене в космонавигаторы, с блеском сдавал второй, с отличием вышел на диплом, определился в космоэксперты компании «Унион-Космос». И встретился с Ириной — влюбился, влюбил в себя, стал мужем... Вся короткая их жизнь с Ириной раскручивалась в его ярком бреду. все в тех их месяцах — слова, взгляды, дни разлук и встреч — многократно возобновлялись.

А когда, уставая от бреда, Виккерс замолкал, я думал о том, что мы скоро умрем, и ему, и мне отведены скупо сосчитанные дни существования. И надо напоследок сосредоточиться на чем-то самом важном, выполнить что-то самое нужное. И я размышлял о нибах, о Станции, о Базе, о Барнхаузе, о Мальгреме. Пробудившееся сознание диктовало новые планы и мысли, и я прикидывал, что принять, а что отбросить. И прежде всего надо было добиться ясности о собственном состоянии.

— Поговорим откровенно,— предложил я врачу.— Не как больной с врачом, даже не как мужчина с мужчи-

ной, а как астросоциолог с астробиологом. Мне нужно отдать важные распоряжения. Я знаю, что должен умереть. Люди, от которых осталась половина туловища, не вправе считать себя жильцами на этом свете.

— Мы делаем все, что можно,— сказал он осторожно.— У вас обширные ожоги на теле.

— На сохранившемся остатке тела, хотите вы сказать? Сколько дней осталось жить Виккерсу?

— Дня два-три,— сказал он честно.— Тело, в общем, в хорошем состоянии, но мозг... Вы ведь знаете, что сожженные мозговые клетки регенерации не поддаются.

— Знаю. Итак, три дня. А мне? Только без утешений. Я не из тех, что ахают и распускают нервы. И отдаю себе отчет, что полусожженный человек не жилец на этом свете. Я уже говорил об этом.

— Не знаю,— сказал врач.— Поверьте, не притворяюсь. Вы демонстрируете возможности, которые отсутствуют у обычных людей.

Я через силу засмеялся. Мне казалось, что я понял, куда он клонит. Все же я уточнил:

— Понимаю вас так, что нормально я должен был уже умереть в вашей палате?

— На Ниобее,— поправил он.— Уже на Станции. А вы не умерли. И здесь живете. И сохраняете ясное сознание. Вашей жизнью командует сейчас не наше лечение, а ваша собственная воля, мы лишь помогаем ей. Поэтому спрашивайте самого себя, сколько вы приказываете своему телу жизни. Вы хотели честного ответа, это самый честный ответ.

— Хорошо,— сказал я.— Значит, с неделю еще проживу. На это у меня хватит душевных сил. Вызовите ко мне Барнхауза.

Барнхауз явился не один, а с Агнессой Плавицкой. Она вошла в палату первой, он шагал за ней и старался умерить грохот своих ножищ: боялся не только тяжким шагом, но и резким движением причинить мне беспокойство. Странно было видеть его массивную фигуру такой скованной. Зато мелодичный перезвон колокольчиков Агнессы заполнил всю палату, она волновалась и сильней обычного взмахивала головой. Я показал обоим на кресла и сказал:

— Между прочим, я звал одного Питера, а не вас, Агнесса.

Она ответила лишь новой волной мелодичного коло-

кольного перезвона, ее лицо огненно вспыхнуло, а он поспешно ответил:

— Я просил жену сопровождать меня, так мне легче разговаривать.

— Жену, Барнхауз? Разве на Базе регистрируются браки? Я был уверен, что это прерогатива Земли.

— Мы женаты уже много лет,— сказал он.— Я скрыл это, когда нанимался на Базу. Была масса конкурентов, я опасался, что меня с женой не возьмут. На совместное проживание нужно ведь специальное разрешение, а все конкуренты были одинокие — немалое преимущество передо мной! Она прилетела потом самостоятельно и тоже не указывала, что к мужу. Мы, впрочем, на Базе жили, как посторонние, в этом смысле правил не нарушали. Вы первый, кому признаемся в нашей многолетней близости.

Он говорил, я смотрел на нее. Она попеременно краснела и бледнела. Разок она перехватила мой настойчивый взгляд — впервые я не увидел в ее глазах вражды. И это изменение ее отношения не могло быть вызвано моим бедственным состоянием, вряд ли она горевала, что я скоро умру. Что-то иное, не просто желание сопровождать мужа, да и не желание проститься со мной или простить меня, заставило ее явиться в палату. Поэтому я прямо сказал:

— У меня к вам дело, Барнхауз, но и у вас, по-моему, что-то есть ко мне. Я не ошибся? Начинайте первый.

Он заторопился:

— Не ошиблись, не ошиблись, Штилике. Получено новое предписание Земли. Адресовано лично вам, копия мне. Сами прочтете или прикажете мне?

Он подчеркнул голосом это «прикажете», и я понял, о чем может быть новое предписание. Я сделал знак, чтобы читал он. Он читал депешу, смешно стараясь сделать свой высокий голос пониже, но визги против его воли, как пики на диаграммной кривой, прорывались в баритональном искусственном голосе. Земля извещала, что отменяет все прежние распоряжения относительно Ниобеи. Меня наделяли единоличной властью на всех обитаемых объектах звездной системы Гармодия и Аристогитона. Все мои распоряжения предписывались к немедленному и точному выполнению. Барнхаузу особо вменялось в обязанность неукоснительно следить за строгим осуществлением моих требований и пресекать всякие

попытки неэнергичного выполнения, тем более — игнорирования.

В общем, было именно то, чего я ждал в ответ на мою депешу Земле.

— Ты победил, галилеянин! — выспренно сказал Барнхауз и торопливо пояснил, чтобы я ненароком не обиделся: — Это, Штилике, цитата из одной старой книги — я говорю о галилеянине.

— Знаю такую цитату,— сказал я и, подумав, поинтересовался: — Земле уже известно, что произошло на Ниобее с Виккерсом и со мной?

— Конечно, Штилике. Мы немедленно отправили доклад о самоуправстве Виккерса и о вашей самоотверженной попытке предотвратить злодеяние. И я не скрыл своей оплошности... Говорю о предоставлении планетолета Виккерсу. Но новые указания Земли, которые я прочитал, отправлены еще до того, как им стало известно о несчастье с вами.

— Это меняет положение, Барнхауз. Когда меня не будет...

В наш разговор вдруг горячо ворвалась Агнесса Плавицкая:

— Это ничего не меняет, господин Штилике. Ровным счетом ничего! Останетесь ли вы на Базе или...— Она мигом поправилась, чтобы нетактичным выражением не раскрыть знаемую ей правду обо мне: — Или улетите на Землю... Но установленные вами правила обращения с Ниобеей сохранятся на многие, многие годы. Изменений не будет.

Она подтверждала свои слова новым перезвоном колокольчиков.

— Я не улечу на Землю,— сказал я.— Меня доставят туда, как почетный, но бесполезный груз. Но стратегия нашего отношения к Ниобее не изменится, вы правы. Изменения будут в том, что вместо меня назначат другого. Уверен, что им будете вы, Барнхауз. Я порекомендую Земле именно вас.

Он хотел что-то сказать, она опередила его:

— Нет, господин Штилике, тысячу раз нет! Не давайте Питеру рекомендации заменить вас, сообщите, что он не годится на ваше место. Пусть поищут другого, только не его. Разрешите ему улететь на Землю. Я пришла с мужем для того, чтобы просить вас об этом.

Она смотрела на меня своими горячими яркими гла-

замп, и снова я не видел в них прежней вражды и зла, только просьбу, почти мольбу. Он подтверждал каждое ее слово молчаливым кивком лохматой массивной головы. Я ничего не понимал.

— Питер-Клод Барнхауз был много лет начальником Базы,— сказал я.— И был отличным администратором, лучше не найти. Почему же он стал не пригоден к той должности, которую так долго и так исправно выполнял? Отвечайте вы, Барнхауз, хочу слышать вас.

— Это же просто, Штилике,— сказал он.— Не существует той должности, которую я так долго и, надеюсь, хорошо выполнял. А к должности, созданной вашей директивой, я не пригоден. Но если вы разрешите, об этом лучше меня скажет жена. Агнесса, объясни, что ты знаешь обо мне и о моих высших стремлениях.

Она не объяснила мне ничего нового. Она повторяла то, что недавно, пьяный, он с три короба наговорил о себе. Но если он, возвеличивая себя, старался при этом, и не только косвенно, унизить меня, то она остерегалась любого слова, которое могло меня задеть. Она знала, когда как держаться. Я слушал и вспоминал, как она объяснялась мне в ненависти, как зло сверкали тогда ее глаза, как неистово звенели ее колокольчики — и отдаленно на то похожего не было. Она умела бороться, когда надо было, умела с достоинством, не делая себя жалкой, переносить поражение.

— У каждого свое призвание, не так ли, господин Штилике? — говорила она. — Ваше — спасать гибнущие цивилизации, наводить социальный порядок в обществах, впадающих в социальный хаос. А Барнхауз — природный промышленник, бизнесмен, как называли его предков. Он не бизнесмен, естественно, но дух предприимчивости внедрен в него генетически. Консервация, охрана — понятия, ему чуждые. А что ныне делать здесь, кроме как охранять от внешних посягательств безмерно богатую, но наглухо законсервированную Ниобею? Дух предприимчивости, внедренный им в этом звездном уголке, выветрился — он задохнется в такой бездуховной атмосфере!

Так она говорила долго и горячо, а он поддакивал молчаливыми кивками массивной головы и проситель-ными улыбками, вспыхивающими на миг на широком мясистом лице. А я ее слушал вполуха, смотрел на обоих вполглаза и думал о них, не тех, что сидели передо

мной, а тех, какими они были вне этой палаты, про себя, в себе, для себя. И я видел и узнавал в них то, чего они, возможно, и сами в себе не видели, и чего, во всяком случае, не хотели бы показать посторонним, а я к тому же был не просто посторонним, а начальником и противником одновременно. До чего же они были разные и сами по себе и в отношении друг к другу. Нет, он, конечно, любил ее, ради этой любви он и отважился нарушить строгие правила космической службы, вытребовав ее к себе,— а ведь он не был ни бунтовщиком, ни лицемером, втайне преступающим то, что вслух восхваляет и требует ото всех,— нормальный делец, энергичный в действиях, педантичный в правилах. Но куда больше, чем ее, он любил, нет, не просто себя, а свое мнение о себе, образ себя, созданный своим воображением, любил не так реального себя, а того, кого придумал в себе — лелеял и непрерывно питал свое честолюбие. И если нанести удар по этому честолюбию, сделать неосуществимым образ, в каком он видится себе, он отвратится от себя, неосуществленного, сделается неприятным самому себе. Нынешнее его самообожание превратится в самоотвращение — наверно, надо сказать как-то по-иному, как-то корректней, но не подобрал слова точней. Нет, думал я, и вправду нечего этому человеку больше оставаться здесь.

А она, думал я, эта прекрасная баба-яга, королева на любом бесовском шабаше, такой она нарисовалась мне в первом знакомстве, ведь она совсем иная, чем показывает себя другим. Ведь в ней, все убежденней думал я, вообще нет необычного, тем паче — бесовского. И вовсе она не ненавидела меня, как вообразилось мне и в чем она сама была убеждена, она просто не способна на настоящую ненависть. В ней только одно всю ее захватившее чувство — любовь к этому огромному, лохматому, длиннорукому детине, к этому «медведю средней руки», как удивительно точно описал его мой учитель Теодор Раздорин, правда, далеко не так точно постигший характер этого человеко-медведя. И все остальные чувства этой женщины второстепенны и производны от того главного всеопределяющего — любви к мужу, восхищения им, обожания его. И она лишь ответно ненавидит тех, кто противоборствует Барнхаузу, готова мигом преобразовать свою некрепкую ненависть в приязнь, ослабь лишь недоброжелательство к нему — в ее душе

слишком мало места для других людей, все заполнено им.

Она почувствовала, что я перестал ее слушать, и замолчала. Я воспользовался этим.

— Ну, хорошо,— сказал я.— Допустим, я соглашусь с вашей просьбой. Но вы видите сами, в каком я состоянии. Кто заменит вас, Барнхауз, когда вы улетите, а я... в общем, когда остатки моего тела повезут на нашу дорогую прародину?

— Не надо так шутить! — воскликнула она, содрогнувшись.— Врачи еще не теряют надежды.

— Нельзя потерять то, чего нет,— сказал я, усмехнувшись.— Ни у них, ни у меня нет никаких надежд. Вы не отвечаете на мой вопрос, Барнхауз.

— Меня заменит Мальгрем,— сказал Барнхауз.— Я с ним говорил, Роберт согласен остаться. Нужно лишь ваше одобрение.

— Вызовите его ко мне,— сказал я и закрыл глаза.

Вероятно, я впал в забытье и не заметил, как они удалились.

Когда сознание воротилось, у моей постели сидел Мальгрем. У него был такой вид, словно он уже давно тут и терпеливо ожидал, когда я приду в себя.

— Вы звали меня, Штилике? — сказал он.

— Звал. Барнхауз улетает на Землю. Он сказал, что вы согласны занять его место. Правда?

— Правда. Он спрашивал меня, я согласился.

— Почему, Роберт? Разве вас не привлекает Земля? Вы достаточно пострадали на Ниобее. Хороший отдых, первоклассное земное лечение, и сама она, наша зеленая, наша прекрасная Земля... Вы заслужили своим трудом, своими несчастьями...

— Не надо, Штилике! — прервал меня Мальгрем.— Ваше красноречие всем известно, оно может и камень растрогать. Но на меня не тратьте его. Не обижайтесь, я твердо решил остаться здесь.

— Вы не отвечаете на мой вопрос. Почему?

— Я люблю Ниобею,— сказал он просто.— Люблю ее великолепные леса, ее бушующие недра — где вы видели вулканы красочней и грозней? И ее жалких нибов по-своему люблю — народ неплохой, только очень уж от нас отличный. И мне, скажу по чести, не так уж важно, будет ли разработка руд расширяться или ее надолго прикроют. Ниобея не станет хуже от того, что я

не выполню каких-то производственных программ. Я не делец, как Барнхауз.

— Земля отменила все производственные программы, вы знаете?

— Барнхауз сказал мне о новой депеше с Земли. Вы сомневаетесь в моей пригодности, друг Василий?

Нет, сомнений у меня не было. Мальгрем не только был способен заменить Барнхауза, он был в новых условиях гораздо лучше Барнхауза. Я почти с благодарностью вспомнил, что в отличие от Виккерса и Барнхауза он никогда не ругал нибов, хотя они и препятствовали расширению его горных разработок. В этом потомке древних викингов — он так напоминал их внешностью — и следов не было человеческого высокомерия и пренебрежения ко всему, что ниже человека. Уверен, что он даже злых животных не обижал, а нибы были все же не животные. Он дрался с нибами, когда они напали на нас во время своего праздника, но я тоже дрался, в той битве виноваты были мы, так уж сложились обстоятельства. Я вполне мог положиться на Роберта Мальгрема.

— Можете считать себя вступившим в новую должность, Роберт. Мое положение вам понятно: я скоро отойду в те блаженные края, которых не было и нет. Запишите мои последние распоряжения и постарайтесь сообразовываться с ними. Считайте запись моим завещанием.

Он зафиксировал на пленке мои пожелания и советы. Возобновление промышленных работ на Ниобее я отменял до поры, когда физиологи откроют структуру таинственных витанибов, поддерживающих жизнедеятельность нибов, а земная промышленность не освоит производство этих пока неведомых биовеществ. Я указал, что природа ниобейского общества описывалась недопустимо поверхностно и первые взаимоотношения людей с нибами принесли много неудач. Продолжение таких взаимоотношений недостойно человека и опасно для нибов. Общество их подошло в своей многотысячелетней прогрессирующей деградации к краю существования, любое прикосновение извне, даже попытка непродуманной помощи, может стать толчком в пропасть. Никакие соображения экономической выгоды не могут играть решающего значения в планах дальнейшего освоения Ниобеи. Человечество ныне достаточно богато и могущественно,

чтобы объявить в отношениях с иными цивилизациями примат нравственного достоинства, а выгоду экономическую счесть второстепенной и производной.

— Записано,— сказал Мальгрем.— Что дальше?

— Дальше — идите командовать Базой. Я устал, Роберт.

Меня снова погрузило в забытье. Забытье налетало периодически, малыми порциями. Это не был сон, форма нашего земного отдыха. Я не отдыхал, а замирал, даже температура понижалась, мне не требовалось глядеть на обложившие меня со всех сторон самописцы, чтобы знать, что холодею. Забытье, как мне теперь думается, было что-то вроде короткой рабочей репетиции смерти. Я не пробуждался из забытья, а как бы возвращался, было чем-то вроде короткой рабочей репетиции смерсна, а разбитым. Все сохранившееся в обрубке моего тела: кости, жилы, все сочленения и сосуды ныли, заново начиная свою совместную трудную деятельность — жизнь.

В тот раз, после ухода Мальгрема, я возвратился из забытья до того болезненно, что даже вскрикнул, пробуждаясь. И меня охватило ощущение, что совершилось что-то чрезвычайное. Смешно теперь вспомнить, но я громко спросил себя: а жив ли я? Я был еще жив, чрезвычайность была в чем-то другом. Я приподнялся, опираясь на руки, осмотрелся. Соседняя кровать была пуста. Виккерса унесли.

Не понимаю сейчас почему, ведь я знал, что Виккерс со дня на день умрет, так и не приходя в сознание, но вид пустой кровати заставил меня задрожать. Вероятно, я просто привык, что на соседней кровати лежит он, неподвижный, безгласный, но живой. Я верил, конечно, самописцам, показывающим, что запасы энергии жизни у него и у меня неодинаковы, это же твердили и врачи. Но про себя каким-то безотчетным ощущением я выровнял его жизнь со своей, граница отпущенного ему существования была и моей жизненной границей. Я вызвал врача.

Он явился не один, а с Мальгремом.

— Виккерс умер? — спросил я.

— И да, и нет,— ответил врач.— Мозг погиб, тело еще живет. Мы подключили тело к нашему компьютеру, простые физиологические команды он отдает хорошо.

Эрзац бытия, конечно,— полностью бездуховное существование...

— И сколько продлится такая безжизненная жизнь?

Врач пожал плечами. Возможно, дня три или четыре, вряд ли больше. Я еще не знал, что они надумали, но спросил прямо:

— Зачем вы поддерживаете в теле Виккерса подобие жизни? Раз мозг умер, значит, умер и человек. Кому нужно продлевать тусклый огонек бытия на несколько дней? Через три дня и компьютер не поможет. Кладите Виккерса в саркофаг и консервируйте газом, а с первым звездолетом отправляйте на Землю. Можете то же самое сделать спустя несколько дней со мной. Не возражаю, чтобы нас отправили, так сказать, одной посылкой.

— На это отвечу вам я, друг Штилике,— сказал Мальгрем. Он сильно волновался, голос его дрожал. Я удивился. На Ниобее я видел его разъяренным, видел возмущенным, но что он способен смущаться, не ожидал.— Получена новая депеша с Земли. Лично о вас, Штилике. В общем, приказ Барнхаузу. Но Барнхауз уже улетел, значит, мне... Короче, если жизнь вашу сохранить не удастся...

— Не удастся, не удастся! — сказал я нетерпеливо.— Перейдем сразу к тому, что вы должны сделать после моей смерти. Не мешкайте, Роберт, это вам не к лицу.

— Да, вы правы — после вашей смерти... Ваш мозг объявлен столь выдающимся достоянием, что его... Иными словами, нам приказано, если не вас в целом, то ваш мозг доставить на Землю в полной жизнедеятельности.

— А этого вы сделать не можете, верно? Даже если сейчас же погрузите меня на звездолет. И десять дней жизни, ваш максимальный срок для меня, слишком мал для перелета. На Землю вы доставите мой законсервированный труп с неразложившимся, но мертвым мозгом. Я верно формулирую ваши опасения?

— Совершенно верно,— подтвердил врач.— И вот мы хотим с вами посоветоваться, ибо без вашего решения...

— Понял. Вы сохраняете тело Виккерса, чтобы составить из нас двоих одного человека? Вживить мой мозг в черепную коробку Виккерса взамен его спаленного, умершего мозга. И для удачи операции сделать это

непременно при моей жизни, что невозможно без моего разрешения. Я не ошибся?

— Именно так,— в один голос сказали врач и Мальгрем.

— Разрешаю. Действуйте,— сказал я.

11

С тех пор прошло сорок лет, сорок долгих лет, сорок трудных, сорок бесплодных лет. Врачи на Платее сделали все, что могли, но что они могли? Составить из двух тел одно они сумели: такие операции отрабатывались еще на Земле. Я сам видел не раз собак, живых, веселых, энергичных, собранных по частям — от одного пса голова, от другого туловище, от третьего ноги и хвост: удачный продукт блестящего эксперимента, так неизменно назывались эти составленные твари. Для собак операция вполне годилась. Но не для человека. Можно, не отрицаю, даже из десяти тел составить одно. Но как из двух личностей, только из двух, образовать одну?

Очнулся я уже на Земле. Врачи и Мальгрем отлично выполнили свое задание — доставить меня домой живым. Лучший способ сохранить жизнь — оставить лишь самые слабые ее проявления, чтобы в пути не растратились ее ничтожные запасы. Во мне, едином из двоих, жизнь не возродили, а законсервировали в тлеющем состоянии. И лишь на Земле, не очень надеясь на успех, так врачи сами мне потом объяснили, меня вывели в нормальное существование. Я открыл глаза и взглянул на мир. Мир исчерпывался больничной палатой и видением двуглавого Арарата в раскрытом окне. Шла весна, в окно врывались томные ароматы цветущих абрикосов, могучий дух распаренной земли. Я вспоминал себя. Я был на Земле, но сознанием оставался еще на Платее, маленькой неухоженной планетке в системе двух грозных звезд — Гармодия и Аристогитона. Я знал о себе, что не то уже погиб там, не то погибаю — обрубком человека. Это было первое, что я вспомнил,— я без ног. Я откинул одеяло, с опаской ощупал свое тело — ноги были на месте. И тогда я отчетливо вспомнил, что это не мои ноги, а ноги погибшего Виккерса. И еще несколько минут я думал, что к моему туловищу просто прира-

стили чужие ноги, я вроде бы радикально подремонтирован.

С трудом я приподнялся на кровати, стал на пол, надо было размять чужие ноги, ставшие моей неотъемлемой собственностью. Ноги функционировали прилично — удержали без дрожи туловище, свободно понесли его к окну и обратно к кровати, также свободно притопнули, сперва левая, потом правая, когда захотелось и такой проверки. Хорошие ноги, мысленно похвалил я, пожалуй, даже лучше моих прежних, те годились лишь на ходьбу, а на прыжки и гимнастические упражнения их не всегда хватало.

После небольшой прогулки по палате мне захотелось посмотреть на себя. Зеркала в палате не было. Я подошел к окну, вгляделся в оконное стекло и чуть не отпрянул в испуге — на меня моим отражением глядел Виккерс. Я снова приблизил лицо к стеклу и снова увидел его. Только теперь вспомнилось все. Меня не подремонтировали, меня переменили. Я сам приказал так поступить со мной. Не на кого жаловаться, некого винить! Я продолжал вглядываться в себя — я был Виккерсом, таким же красивым, молодым, темноволосым, та же его особая ироничная, немного кривоватая улыбка пересекла лицо, когда я захотел улыбнуться себе. И только одно отличало теперь меня от прежнего Джозефа-Генри Виккерса — я, нынешний Виккерс, похудел, глаза не вспыхивали, я был чертовски измучен и вымотан. Неудивительно, сказал я себе, ведь в обоих моих телесных воплощениях я умер, от смерти, даже если потом воскреснешь, устаешь не меньше, чем от тяжкой работы.

Я воротился в постель, лежал, думал. Кто я? Штилике? Виккерс? Да, конечно, облик Виккерса, а интеллект? Что господствует ныне во мне — тело Виккерса или мозг Штилике? Я скоро — надеюсь на это — выйду из больницы, буду ходить по улицам моего родного города. Кем выйду? Кем буду ходить? Как назову себя прежним знакомым, прежним друзьям? Чуждым им Виккерсом? Или Штилике? Я буду тем, кем знаю себя, кем помню свое детство, свое отрочество, свою взрослость — тем, кто вечно сохраняется тысячами пережитых событий и дат. Услужливая память немедля возобновила во мне жизнь Штилике, все мельчайшие детали той жизни полноценно сохранялись во мне. А что я помню о жизни Виккерса? — спросил я себя. Ничего не

вспоминалось и не знался о Виккерсе до того момента, когда он вошел в кабинет Барнхауза для встречи со мной. Итак, все ясно, сказал я себе, никакой я не Виккерс, я — Штилике и иным быть не могу.

В палату вошел врач и радостно заулыбался, увидев, что я лежу с открытыми глазами.

— Как чувствуете себя, Виккерс? — сказал он сердечно.— По графику выздоровления, рассчитанному компьютером, вы должны были пробудиться к сознанию завтра. А вы очнулись сегодня. Считаю это очень благоприятным фактом. Уверен, что быстрое восстановление сил гарантировано. Скажите теперь, чего бы вы хотели?

Я с минуту придумывал, чего мне хочется. Врач ожидал с той же доброжелательной и радостной улыбкой. Он гордился, что лечит меня лучше, чем рассчитал компьютер.

— У меня вроде бы некоторые провалы в памяти,— сказал я осторожно.— Что-то вроде небольшой амнезии. Не сообщите ли, что, собственно, со мной происходило? Если это возможно...

Возможно, вполне возможно, заверил меня врач. Тот же компьютер предсказал, что психика моя после пробуждения будет прочной и действенной, скрывать от меня ничего не надо. Итак, операция. Она была довольно сложной. Слишком уж тяжелой была авария, тело сохранилось в целости, но мозгу нанесли неизлечимые повреждения. В общем, летальный исход стал неизбежен — подключение искусственного мозга кое-что дало, но ведь это — паллиатив, искусственный мозг, он для жизни не годится — никто еще не ходил, таща за собой позади на грузовике сооружение, называемое искусственным мозгом. Вместе с вами, дорогой Виккерс, погибал еще один астронавт, и у него как раз тело получило неизлечимые ранения, а мозг сохранился удовлетворительно. Вам пересадили его мозг, и вы возродились к жизни.

— Чей же мозг мне пересадили? — спросил я.

Врач на мгновение замялся.

— Честно говоря, не знаю. В истории болезни имени вашего погибшего спасителя не назвали. Впрочем, нам известно, что секретный доклад о драме на Ниобее, а, стало быть, и все подробности операции, доставлен в правительство. Уверен, что если вы потребуете, вам его покажут, и тогда вы узнаете, чей важный орган вам

пересажен. Впрочем, мне думается, это не так уж существенно. Главное — вам спасли жизнь, а мы здесь на Земле восстановим ваше здоровье.

Поболтав еще, он оставил меня наедине с моими невеселыми мыслями. Итак, никакой я не Штилике, я Виккерс, так записано в истории моей болезни, у врача и сомнений не появилось, что меня надо называть только так, а не по-другому. Он и не поинтересовался, чей мозг пересажен в тело Виккерса. Даже не существовало для него этого вопроса — чье тело придано мозгу, примат тела перед мозгом был ему бесспорен. Не был ли он бесспорен и для Мальгрема с его тамошним врачом, ведь они прямо так и назвали меня в истории болезни — Виккерс, вовсе не Штилике. Кто же я теперь для себя и для окружающих? Что для себя я — Штилике, сомнений нет. Но что для остального мира я — Виккерс, я уже понимал. Мысли мои метались, я не мог совместить своей души с телом. Столько писали о раздвоении личности, о двух душах, противоборствующих в одном интеллекте — смешные водевили и кровавые трагедии. Во мне нераздвоенный интеллект не координировался с телом — я не знал, как надо обозначить такое редкостное явление. И уж во всяком случае, не догадывался, как практически уживусь с такой раздвоенностью.

И для уяснения того, как мне отныне надо вести себя, я вскоре по уходу из больницы посетил Барнхауза на его квартире. Я спрашивал о нем еще в больнице, мне сказали, что он назначен на Латону, там развернули большое строительство — обширная для него возможность применить свои административные дарования.

Мне открыла дверь Агнесса Плавицкая. Она испугалась, увидев меня. Все те же двойные золотые колокольчики качались в ее ушах. Они приветствовали меня нежным радостным перезвоном.

— Джозеф, вы? — восторженно воскликнула она.— Боже мой, живой, здоровый! Питер, Питер! — закричала она.— К нам гость, самый дорогой гость! Ты просто не поверишь, кто пришел!

Из дальней комнаты выскочил Барнхауз. Он заключил меня в могучие объятья. Если он и вправду был из «медведей средней руки», как именовал его Теодор Раздорин, порода этих медведей относилась к самым могучим.

— Повернитесь, Джо, друг мой! — командовал он,

вращая меня по кругу.— Нет, и спереди, и сзади, и с боков — полная норма! А ведь мы уже горевали с Агнессой, что вас нет на свете. После этого пусть не говорят мне о слабости современной медицины! Так восстановить вас сам Господь бог не сумел бы, хотя по легендам он часто практиковался в исцелении и даже воскрешении. Куда вы теперь, дорогой Джо? Останетесь на Земле?

— Вряд ли,— сказал я.— Попрошусь куда-нибудь подальше.

— Летим на Латону,— предложил он.— Отличное местечко. Жуткие перспективы. Никаких нибов и прочих людоедствующих аборигенов. Что вас держит на Земле?

— Ничего не держит,— сказал я.— Но Латона не привлекает — слишком шумная планета, чуть ли не половина человечества устремилась туда. Мне бы что победней и поглуше. Ниобея отбила у меня вкус к перспективным планетам.

Я говорил непринужденно, даже улыбался — что еще оставалось? Барнхауз помрачнел.

— Да, Ниобея, Джозеф, Ниобея! Вот уж где перспективы, другого столь же богатого шарика в космосе не найти. Если бы не этот человеконенавистник Штилике, я бы с помощью Ниобеи дал такое ускорение промышленности на Земле! Поворот всей нашей истории, не меньше!

Агнесса сказала с мягкостью, какой я не ожидал от нее:

— Штилике не ненавистник, Питер, он фанатик. У него глаза безумца, так мне всегда казалось. Он и жизни своей не пожалеет ради своей мрачной идеи — вытаскивать недочеловеков из пропасти. Страшно даже вспомнить, как он весь спружинивался, когда ты возражал ему. Я и сейчас содрогаюсь, чуть вспомню его.

— Мрачный, мрачный! — радостно подтвердил Барнхауз.— В общем, мир его праху! Поменьше бы таких деятелей. Но насчет идеи ты не права, Агнесса. Я тоже жизнь отдам за свою идею. Но какую? Безмерно умножить благоденствие человечества — вот моя идея. Идея идее рознь, вы не находите, Джозеф?

— Да, идеи бывают разные,— согласился я и стал прощаться, ссылаясь на то, что еще не вполне восстановил свое здоровье.

От Барнхауза я пошел в Управление Дальнего Кос-

моса. Помню, что очень боялся всех прохожих. Среди них могли быть знакомые Виккерса. Они могли кинуться ко мне с расспросами, а я никого из них не знаю — что им говорить?

В Управлении я направился к Игнатию Скоморовскому. Он подписывал мою командировку на Ниобею, он предписывал доставить мой мозг живым на Землю. Не ученик, но друг Раздорина, он уже лет тридцать заведовал всеми делами на внесолнечных планетах. Он не мог не знать, как из двух разнохарактерных людей составили одного человека.

Он дружески обнял меня — не так мощно, как Барнхауз, но еще теплей. Но по тому, как деликатно он отвел от меня глаза, я понял, что ему больше, чем просто непривычно мое преображение. Он не мог скорреспондировать меня с моим теперешним обликом и растерялся — признаваться в том или промолчать?

— Как по-вашему, Игнатий, кто я теперь — Штилике или Виккерс? — спросил я прямо.

Он с полминуты помолчал, перебарывая неприятие моего нынешнего образа.

— Для нас вы всегда Штилике,— сказал он потом.— И для будущих поколений тоже.

— Да, после моей смерти, Игнатий. Когда вы наконец погрузите мой сохраненный мозг в консервирующий жизнь раствор. Но это нескоро. Смерть моя отодвинулась, я ведь вернулся с Ниобеи на четверть века моложе, чем улетел туда. Так что с водворением мозга в Музей придется погодить.

Он отпарировал, что такую задержку с превращением в музейный экспонат от души приветствует и одобряет. Я гнул свою линию. Для себя я — Штилике, для всех, кроме нескольких, посвященных в тайну, — Виккерс. Это становится нестерпимым. Я чувствую себя актером, вынужденным играть нелюбимую роль. Мне надо срочно умчаться куда-нибудь, где меня не знают.

— В качестве всем известного социолога Василия Штилике, я так вас понимаю? — спросил он.

— В качестве мало кому известного Джозефа Виккерса,— отрезал я.— Я надел мало подходящую мне маску, но она срослась со мной — снять ее я не могу.

Игнатий Скоморовский предложил мне Матряну, планетку объемом на три-четыре Земли, спутник белого карлика Саломеи. Астросоциологу на Матряне дел не-

много — небольшое поселение людей, никаких зверей и туземцев, мирная упорядоченная жизнь. На этой благословенной планетке я провел следующие двадцать лет, ничем не отметив их — ни важными делами, ни крупными событиями. И я не желал ни важного, ни крупного. Я был Штилике, но прежнего Штилике — энергичного, целеустремленного, властного, в общем, фанатика, как обозвала меня Агнесса Плавицкая, — нет, и следов этого былого Штилике я не находил в себе. И Виккерсом я остался лишь по фамилии и облику. Смена тела не стала похожей на смену одежды, как представлялось мне поначалу. Я перестал быть Штилике и не стал Виккерсом. Кем я был те двадцать лет на Матряне? Не знаю. Добросовестным, средним работником, тусклой личностью — не выше того. Ни богу свечка, ни черту кочерга — так именовали таких наши предки.

И, окончательно убедившись, что настоящего возрождения не ждать, я воротился на Землю. Теперь я консультант Музея Космоса, заслуженный, но ничем особенным не выдающийся астроинженер Джозеф-Генри Виккерс на отдыхе. В Пантеонном зале стоит пустая урна, ожидающая мой мозг. В Музее знают, что где-то обретается живой человек, носящий в себе мозг знаменитого астросоциолога, но что это за человек, где он, не знает никто. И вряд ли кто поверит, если бы я и признался — слишком уж мало схож непритязательный консультант с человеком, ставшим символом мужественного звездопроходца. А я неожиданно признался молодым парням и девушкам, вылетающим на поселение на далекую Ниобею,— они поверили? Почему я раскрылся им? Обрадовало, что так долго закрытая планетка снова раскрывается? Что же там произошло? Погиб ли навеки несчастный народ нибов или стараниями тех, кто пришел после меня, возрожден к новой жизни? Или смертно захотелось полететь туда с ними, Василий-Альберт Штилике — Джозеф-Генри Виккерс?

ТРИДЦАТЬ ДВА ОБЛИЧЬЯ ПРОФЕССОРА КРЕНА

Памфлет-фантазия



начальнику полиции вошел следователь. Начальник, энергичный старичок с провалившимися щеками и злыми глазками, недовольно повернулся к следователю. Тот походил скорее на тренера команды тяжеловесов, чем на юриста. Начальнику не нравились в помощнике слишком оптимистическая внешность и доверие к людям. За три года работы в полиции этот самодовольный боров довел до смертного приговора всего четырех и не добился для других своих подопечных полных ста лет тюремного заключения. Начальник не одобрял методов следователя. Тяжелый кулак был веским аргументом не всегда. «Вину из обвиняемого лучше выдавливать, чем выдалбливать,— говорил начальник.— А невиновные, если и существуют, то лишь в ближайшем окружении господа бога, да и то потому, что туда нам не добраться». Начальник не позволял себе чертыхаться, но господа бога вспоминал с благоговением часто.

— Я вас не звал, Симкинс,— заметил начальник.

— Совершенно точно, господин полковник,— ответил следователь, кланяясь.— Я, с вашего разрешения, в связи с загадочным вопросом профессора Крена...

— Вы олух, Симкинс,— почти вежливо сказал худой начальник.— Никаких загадочных вопросов в деле Крена не существует. Как этот прохвост Крен?

— Бредит. Третий день не приходит в себя. Врачи ни за что не ручаются.

— Никто бы не дал врачам медной монеты, если бы они за что-нибудь поручились. Врач в самом простом случае должен сомнительно качать головой, он повышает себе этим цену. Зато я поручусь, что меньше двад-

цати пяти пропойца Крен не отхватит. Если, конечно, вы не испортите заварившуюся кашу своим всепрощением.

— Постараюсь, господин полковник. Сделаю все возможное. Между прочим, Крен не пьет. Никогда не пил!

— Вы оглохли, Симкинс? В сотый раз спрашиваю, что вам надо?

— Если позволите... Обгоревший дневник Крена восстановлен почти полностью, много интересного... В парламенте выступал Поппер, я отчеркнул в газете важнейшие места.

— Давайте Поппера! Так, так. Ага, вот: «Я лично осматривал эти великолепные заводы,— произнес оратор в своей речи,— и убежден, что с божьей помощью и дополнительными капиталовложениями их можно переоборудовать для выпуска военной продукции. Что же до мошеннических проектов нынешних акционеров, то от них приходится отказаться, как от беспардонного блефа».

Начальник поднял голову и осмотрел своего помощника с головы до ног.

— Вы слишком плотно ужинаете, Симкинс. К сорока годам в вас будет свыше ста килограммов. Жир вреден, ибо развивает добродушие. У хорошего человека злость сидит в костях, а не в жире. Сколько их было, этих искусственников? Тридцать два, вы сказали?

— Сорок восемь. Крен говорит о тридцати двух, потому что они ему всех ближе. Но всего их было сорок восемь. Ни один пока не пойман.

— Оставьте дневник и можете идти.

Когда следователь осторожно закрыл за собой дверь, начальник пододвинул обгоревшую тетрадь. От первых страниц ничего не осталось, многое отсутствовало и на следующих, но середина и конец составляли почти связный текст. Начальник читал с интересом, временами качал головой и — не то удивленно, не то восхищенно — бормотал про себя: «Прохвост же! Ну, и прохвост! Двадцать пять — и ни года меньше!»

...потрясенный. Я стремился лишь к этому восемь мучительно трудных лет — нет, я не мог поверить! Это было слишком хорошо, немыслимо хорошо! Я заметался по комнате, чуть не плакал, думаю, взгляни кто со стороны, решил бы, что я сошел с ума,— так я был рад!

Потом я сказал: возьми себя в руки, он настал наконец, час твоего торжества,—весь мир вскоре падет к твоим ногам! Я прикрикнул на себя: и на меньшее, чем мир, не соглашайся, руки у тебя достаточно сильны, чтобы поиграть этим шариком, нет, говорю тебе, нет, ты не напрасно потрудился, человечество отметит тебя среди величайших своих благодетелей! После этого я приблизился к аппарату. Колени у меня дрожали. Шарик жил, пульсировал, расчле...

...пошел на убыль: четыре дня реального существования после восьми лет горячечных мечтаний и математических расчетов! Здесь важен факт — мне удалось материализовать мысль, остальное — детали, детали можно переделывать и дорабатывать. Я почувствовал усталость, четверо суток без сна — даже для меня это многовато. Я в последний раз полюбовался рассасывающимся в растворе комочком. Я знал, что когда проснусь, комочка не будет. Он был — лишь это имело значение! Я повалился на диван...

— ...Черт! — сказал он.— Счет электрической компании за этот месяц чудовищный! Вы не жуете эти проклятые киловатты, профессор Крен?

— Не понимаю, чего вы хотите, доктор Паркер? — сказал я, сжимая под столом руки. Я не хотел, чтобы он заметил, как я волнуюсь.

— Отлично понимаете! То, что легко разрешают себе частные компании, нам недоступно. Налогоплательщики раскошеливаются на полицию, а не на науку.

— Вычтите из моего жалованья за лекции. Хоть за три года вперед!

Он фыркнул. У него была рожа самодовольной жабы. Он растянул до ушей синеватые губы. В его выпуклых глазах мерцали зеленые огоньки. Я его ненавидел.

— Вы нахал, Крен! Может, вы припомните, видали вы в последнем семестре кого-нибудь из своих студентов?

Я молчал. В эту зиму я не прочитал ни одной лекции. Я ссылался на нездоровье, на неполадки с аппаратами, находил тысячи других причин, чтобы не появляться в аудитории. Меня корчило при мысли, что придется забросить эксперименты хоть на час. Изредка встречая студентов во дворе колледжа, я отворачивался и торопился пройти мимо.

— Вы израсходовали свое жалованье за десять лет

вперед,— продолжал Паркер.— Два таких профессора, как вы, выпустят в трубу любой университет...

...миллиарды лет! Я содрогнулся, представив себе безмерный однообразный бег столетий, начавшийся с момента, как первый комочек протоплазмы стал развиваться в мыслящую субстанцию. Продолжительность человеческой жизни рядом с продолжительностью процесса, создавшего ее,— песчинка у подножия Монблана! Что сложнее? Быть готовой песчинкой или нагромождать гору, порождающую песчинку. Я задал себе этот вопрос и ужаснулся — ответ был иной, чем я ожидал. Ровно три миллиарда лет понадобилось природе, чтобы даровать женщине умение за девять месяцев породить новую жизнь. Труд женщины и природы несоизмерим. «Монблан и песчинка!» — твердил я себе, шагая по лаборатории из угла в угол.

Да, конечно, я совершил открытие. Я нашел способ миллиарды лет, потраченные природой, сжать в недели и дни. Я уверен: мне поставят памятники во всех городах мира, каждое слово, набросанное мной на листке, будут изучать под микроскопом. «Он был в волнении, когда писал эту букву «а», в ней чувствуется нервозность»,— скажут знаменитые историки. «Нет,— пойдут доказывать другие,— буква «а» спокойна, но взгляните на «б»! Мы берем на себя смелость утверждать, что в момент, когда Крен чертил эту букву, его полоснула ослепительная идея, может, та величайшая его мысль — об искусственно созданном усовершенствованном человеке. Макушка буквы «б» набросана с гениальной свободой и широтой!» Все это будет, не сомневаюсь.

Ничего этого не будет! Рожденное мною детище беспомощно. Я — мать, вышедшая из больницы одинокой во враждебный мир. Я сижу на камне с ребенком в руках, у меня нет денег, нет еды, льет дождь. Ребенок корчится и тихо плачет. Что мне делать? Нет, что же мне...

— ...Мак-Клой! — сказал он, пожимая руку.— Я представлял вас другим. Мне думалось, что вы черный, как паровозная труба. У вас вполне приемлемое лицо, док, уверяю вас.

— И мускулы боксера! — пискнул второй, очень маленький и юркий, с мышиным личиком, желтозубый и редковолосый. Он хихикнул и поправил галстук-бабочку. Рука его была покрыта красноватой шерстью.— Я —

О'Брайен. Вы не выступали на ринге, профессор? Я хорошо помню, как некий Рудольф Крен нокаутировал любимца публики Джойса на втором раунде. Судья сделал все, что мог, но что он мог сделать, если Джойс пришел в себя лишь на другой день? Нет, вспоминаю, того парня звали Карпер. Он вам не родственник?

— Садитесь, Крен! — проговорил третий. Этот не протянул руки, лишь указал на кресло. Мне показалось, что у них он главный. Он был худ и угрюм. Я еще не видал таких колючих глаз, он ударял ими, как гвоздями. Кстати, они были цвета гвоздей.— Моя фамилия Гопкинс. Я читал ваш меморандум. Вам не кажется, что это может плохо кончиться?

Я сразу понял, что с ними нельзя быть искренним. И великан Мак-Клой, и карлик О'Брайен, и железный сухарь Гопкинс были одинаково мне чужды. Их возмутила бы, если не рассмешила, великая страсть, поддерживающая меня восемь тяжких лет. Высокие мотивы моей работы могли им показаться лишь подозрительными, результаты ее — ниспровержением основ. Я внутренне съежился, когда Гопкинс кольнул меня страшными глазами, еле удержался, чтобы не убежать. Я крикнул на себя в душе: «Помни, это твой последний шанс! Ты, кажется, считаешь их скверными людьми? Тебе остается приподлиться к уровню их подлости — проделай это с достоинством!»

Я сел в кресло и закинул ногу за ногу.

— Скажите, джентльмены,— промямлил я,— кто из вас Эдельвейс, а кто — братья?

Мак-Клой и О'Брайен разом ответили:

— Эдельвейс — это я.

Гопкинс хмуро добавил:

— А братья — я. Почему вас это интересует?

— Как бы вам объяснить? М-м!.. Я предпочитаю иметь дело с солидными людьми. Фирма «Эдельвейс и братья», конечно, всемирно... Короче, я не желал бы, чтобы мое открытие попало в недружественные руки.

Я значительно сжал губы и холодно посмотрел на них. Мак-Клой ударил кулаком по столу и захохотал.

— Вот мошенник! Он подозревает, что мы левые. Признайтесь, док, такого проходимца, как вы, еще не существовало со времен потопа! Как, по-вашему, ребята, он сукин сын?

— Очень, очень стоящий человек! — прохихикал

О'Брайен, излучив морщинками серое личико.— Говорю вам, он не хуже своего родственника Карпера смог бы нокаутировать великого Джойса. Думаю, мы сработаемся.

— Я могу удовлетворить ваше любопытство,— проговорил ледяным тоном Гопкинс.— Старый дурак Эдельвейс закончил свою грешную жизнь в ночлежном доме. Не думайте, что мы что-либо имеем против него, он был волк как волк, пожалуй, даже зубастей других. Состояние его поделили Мак-Клой и О'Брайен. Что до братьев, то Джим повесился на сорок четвертой минуте биржевой паники 28 сентября 1995 года, а Джек пустил себе пулю в лоб часом позже. Их акции достались мне. Мы решили не менять название нашей заслуженной фирмы.

— Отлично! — объявил я, закуривая сигарету.— Можете держать себя свободно. Вижу, что не ошибся, считая вас серьезными дельцами. Нам остается договориться о пустяках — сколько миллиардов вы вложите в наше...

— ...Четыре миллиона киловатт? — ужаснулся Мак-Клой.—В жизни не слыхал большей чепухи! Вы послушайте его, ребята! Он требует миллион киловатт на обслуживание одного автомата.

— И химического завода площадью в две тысячи гектаров,— добавил я.— Не забывайте, что мой аппарат займется производством людей.

Мак-Клой энергично выругался.

— Я тоже занимался производством людей, и не без успеха, поверьте: две черноглазые дочки и четыре голубоглазых сына — вот мое сальдо за девятнадцать лет супружеской жизни. Но мне не понадобилась для этого постель в две тысячи гектаров. И потребности в электроэнергии я не ощущал, скорее наоборот: ни разу не забывал выключить лампочку!

Я со скукой пожал плечами.

— Не собираюсь подвергать сомнению качество ваших детей. Но между вашими и моими, машинными, есть разница. Я буду выпускать людей в массовом масштабе, на конвейере, и притом с заранее заданными свойствами. Надеюсь, вы не собираетесь оспаривать, что ваше крохотное семейное производство не больше, чем работа вслепую. Вы заранее не знаете даже, кто получится, мальчик или девочка, не говоря уже о таких важней-

ших элементах, как цвет волос и глаз, влечения и рост, приспособленность к жизни, политические взгляды и прочее. Средневековая кустарщина, Мак-Клой, просто не понимаю, как в наш век поточного машинного производства вы, признанный мастер современной индустрии, осмеливаетесь хвастаться своей жалкой ручной работой. И вообще, я обращаю ваше внимание, джентльмены, на то, что мои машинные создания представляют собой материализованную мысль, получившую на заводе человекоподобное оформление. В наш век материалистического безбожия это тоже кое-чего стоит.

— Стоит! Стоит! — любовно поскрипывал О'Брайен, не отрывая от меня восхищенных глаз. От него исходил сладковатый запах восторга.— Это кощунство, Мак-Клой, сравнивать своих неудачных личных деток с конвейерными созданиями нашей компании. Даже Джон, самый сильный из ваших сыновей, не простоял бы и двух раундов против Джойса. Что до меня, то я требую, чтобы профессор Крен придал человекоподобным свое личное подобие. Вы меня понимаете, Гопкинс? А вы, Мак-Клой? Хи-хи-хе! По десяти в ряд Крены шагают из ворот завода, один к одному красавцы и силачи. Огромная колонна, не иссякающая ни днем, ни ночью — и все на ринг, все на ринг! Вот это будет зрелище, говорю вам! Такого кулачного боя человечество еще не видывало.

Я посмотрел на Гопкинса. Решение зависело от него. Гопкинс уперся гвоздями глаз в стол. Мне показалось, что дерево прогибается под его взглядом: Гопкинс передвигал мысли с усилием, как рычаги. Если бы у меня нашелся радиоскоп, я различил бы скрип приближающихся и отодвигаемых в его голове мыслей. Наконец Гопкинс заговорил:

— Предложение заманчивое, конечно. Но откуда взять такую уйму денег? Мы трое со всеми потрохами не стоим и половины того, что вы запросили для одного себя.

О'Брайен вскочил и, махая ручонками, быстро заверещал:

— Не так, Гопкинс! Как вы все близоруки, джентльмены! Выпустим две тонны акций, пусть их раскупают рабочие нашей компании — вот вам и денежки!

— Нет, тут требуется что-нибудь посолиднее. Я вижу лишь одну возможность — Военное министерство.

— Военное?..— пискнул О'Брайен.— А ведь в самом деле, Гопкинс, великолепная мысль!

— Сногсшибательно! — загрохотал Мак-Клой.— Такого проныры, как вы, Гонкинс, мир не видывал! Я настаиваю, чтобы док в своих человекоподобных оподобил вас.

— Поручите это дело мне,— сказал Гопкинс, вставая.— Я имею в виду переговоры с военными. Их, конечно, заинтересует конвейерная армия солдат с заранее заданными свойствами. Сейчас я из своего кабинета кое с кем потолкую в столице.

Пока Гопкинс вызывал столицу, мы мирно покуривали. Я старался не показать волнения тем двум. Я непрерывно волнуюсь с того дня, как понял, что у меня нет иного выхода, кроме как завязать опасную игру с этими двуногими. Пока я сидел у них на спине, а не в пасти, это было уже хорошо. Я усмехнулся, вспомнив, как они запротестовали, когда я объявил, что меньше, чем на половине доходов, не примирюсь. Мак-Клой подскочил до потолка: «Вы бандит, док, зачем вам такая прорва денег?» Я отрезал: «Собираюсь скупить фирму «Эдельвейс и братья». Я отвлек их от существа проблемы. Только так и надо с ними держаться. Пусть они займутся вырыванием денег у меня из глотки, у них не останется времени совать носы в технологию. Я буду проводить эту линию неукоснительно — заставлю их с боем добиваться того, что мне абсолютно не нужно. Я гордился своим коварством — с такими людьми иначе нельзя!

— Долго же он там! — пропищал О'Брайен.— Поверьте, я никогда так не волновался.

— Дышите глубже и разводите руками в такт вздоха,— строго сказал я.— Приседайте, когда одолевает волнение.

— Вы невероятный человек, Крен! — сказал он восторженно.— В жизни не встречал большей выдержки! Неужели вас не тревожит...

— Меня тревожит одно: успеем ли мы сегодня оформить финансовое соглашение? Драгоценное время тратится на телефонную болтовню, в то время как мы могли...

Мак-Клой поспешил успокоить меня:

— Сейчас мы позовем Пьера Роуба, и он так быстро

приведет вас в форму, что вы и ахнуть не успеете. В мире еще не существовало мерзавцев, равных Роубу.

— Пьером мы гордимся,— подтвердил О'Брайен.— Ни одна из конкурирующих фирм пока не сумела обзавестись таким сотрудником.

— Роуб — ваш адвокат?

— Нет, наш доносчик. Главный клеветник нашей фирмы.

Я понятия не имел, что подобные должности введены официально. Мак-Клой поглядел на меня и загрохотал. О'Брайен тоненько дребезжал.

Я все же овладел собой.

— Люблю специалистов своего дела,— сказал я.— Так вы утверждаете, этот Роуб?..

— Да, утверждаю! — радостно закричал Мак-Клой.— Вы будете целовать его руки, док, когда узнаете старину Пьера поближе. Он и на вас напишет поклеп, не сомневайтесь. У этого человека фантастические способности. Покажите ему молча язык, и он докажет, что вы собираетесь взорвать Дом правительства. Достаточно поглядеть на Роуба, чтобы коленки у вас затряслись и мучительно захотелось признаться в чем-нибудь страшном. Сейчас вы это испытаете! — Он снял трубку телефона и распорядился: — Роуба — поскорее!

— Роуба мы нашли не сразу,— продолжал О'Брайен.— Когда мы прибрали к рукам наследие папаши Эдельвейса, встал вопрос: кого из сотрудников приставят... вы понимаете, Крен? И вот тут мы услыхали, что некоего Роуба прогоняют с десятого места за доносы и полную неспособность к чему-либо иному. «Стоп! — сказал Гопкинс.— Уверен, что это нужный нам парень!» Ровно через неделю после появления у нас Роуб донес куда следует, что мы продались врагам нашего государства и расширяем производство, чтобы неизбежная в последующем безработица стала неисходной. С этой минуты участь Пьера Роуба была решена. Мы удвоили ему жалованье и приблизили к себе. В мире теперь нет сил, которые принудили бы нас расстаться с Пьером.

— А не благоразумней ли наоборот — прогнать Роуба ко всем?..

О'Брайен ужаснулся.

— Какая наивность, Крен! Это ведь свой доносчик. На него надо молиться, как на святого!

— Что значит — свой? Он ведь доносит на вас!

— Ну и что? Кто-нибудь обязательно будет доносить, без этого нельзя. От каждой фирмы должно исходить установленное количество порочащей информации, таков закон. А так неудобно, если не знаешь, кто из твоих ребят и что именно доносит! Роуб же заменяет один целый полк информаторов. Из него изливается столь мощный поток порочащих сведений, что в других клеветниках больше нет нужды. Любимое его изречение о себе: «Роуб шерстью чувствует врага». И в самом деле, когда он видит незнакомого, у него встают дыбом волосы.

— Можно подумать, что вы описываете работу кибернетической машины! — заметил я.

— А что вы думаете? — загремел Мак-Клой.— Наука навета нуждается в автоматизации, я узнал, что Министерство дознаний недавно заказало двенадцать электронных мозгов повышенной скорости — каждый для обработки пяти миллионов доносов в час! Масштаб, не правда ли, док?

В комнату, раздувая ноздри широкого, как мастерок, носа, вошел Роуб. Я собирался возражать Мак-Клою, но запнулся, ошеломленный. Роуб бросил настороженный взгляд в пустой угол комнаты, поглядел налево, потом лишь обернулся ко мне. Я впоследствии узнал, что его волнует пустота. «То, чего нет, подозрительней того, что есть»,— эту мысль я слыхал от него не раз. Но в тот момент меня поразила не философия Роубе, а его облик. В его морщинистом лице, сработанном из синеватого воска, не было ничего живого. Он уперся мутными, как холодец, гляделками и зашевелил оттопыренными ушами. Ближе всего он напоминал огромную взъерошенную летучую мышь. Но это впечатление исчезало, когда он раскрывал рот. Он не говорил, а блеял. К тому же он так торопливо выбрасывал из себя слова, что они, сшибаясь в воздухе, создавали невразумительный гул.

— Я вас слушаю, джентльмены! — быстро-быстро заблеял он.— Я готов к услугам, джентльмены, понимаете, такая штука.

— Поглядите на посетителя, Роуб,— приказал Мак-Клой.— Что вы открываете в его лице?

Роуб так жадно впился в меня, словно хотел сожрать живьем.

— Ничего сногсшибательного! Десять процентов невразумительного, сорок процентов инфантильности,

остальное — нормальная тупость пополам с пижонством, понимаете, такая... Стандартное лицо. В последнее время за такие лица уже не арестовывают.

Мак-Клой шумно ликовал.

— Нет, каково, док? С одного взгляда понял, что вы гениальны. Слушайте, Роуб, вас нужно четвертовать!

— Стараюсь, шеф! — Роуб поклонился.— Вы преувеличиваете мои скромные способности, такая штука.

— Роуб,— запищал О'Брайен,— заготовьте проект соглашения о вступлении профессора Крена в совет директоров компании «Эдельвейс и братья». Он будет одним из братьев.

— Оговорить долю участия, джентльмены?

Мак-Клой и О'Брайен поспешно сказали одинаковыми голосами:

— Долю участия пока не оговаривайте!

Появившийся в дверях Гопкинс знаком приказал Роубу убираться. На сером лице Гопкинса подрагивало что-то, отдаленно напоминающее улыбку, глаза посветлели. Он торжественно положил ноги на стол.

— Все в порядке, ребята! Парни из Военного министерства страшно заинтересовались нашими живыми игрушками. В расходах рекомендуют не жаться и времени зря не терять. Теперь о сути. Ваши претензии, профессор, больше чем неисполнимы — они недопустимы. Наши окончательные условия: вы входите в компанию на правах некоторой части старика Эдельвейса и получаете...

...совершенной автоматики. Тысяча двести сорок чанов, каждый размером с трехэтажный дом, обслуживаются одной кибернетической машиной. В чанах первичная зародышевая клеточка, произведенная Электронным Создателем, проходит все стадии эмбрионального роста, пока в конце химического конвейера белковое образование из нескольких молекул не превратится во взрослого живого человека. В последнем чане новосотворенный человек очищается от технологической грязи, посторонних белковых включений и заусениц, затем неторопливо двигается к выходу, бреется или завивается в парикмахерской и получает одежду, соответствующую классу технологической обработки. В одной из серий питательных чанов человекоподобное новообразование подвергается действию психических стимуляторов. Именно здесь наши искусственные люди приобретают все навыки, зна-

ния и стремления, необходимые для функционирования в обществе.

При полностью освоенном производственном процессе от записи генетической формулы до выхода из ворот завода искусственного парня с сигаретой во рту или кокетливой девушки с модной сумкой пройдет не более пятнадцати часов. Завод спроектирован из расчета, что в каждом чане находится не более одного изготавливаемого существа, то есть на производство одновременно тысячи двухсот сорока людей. Грубо говоря, мы рассчитываем вырабатывать около полумиллиона людей в год. Возможно, однако, запустить в чан сразу два существа. Природа показывает нам пример, временами радуя родителей близнецами и тройняшками. Если чаны перевести на выработку близнецов, то производительность завода поднимется до миллиона человекоголов в год. Впрочем, я увлекся. Это уже дело инженеров с политиками, а не ученого.

На Электронном Создателе я должен остановиться подробней. Он составляет суть изобретения. Сказать о нем, что это искусственный мозг неслыханной мощности, значит, ничего о нем не сказать. Он, конечно, мозг, ибо может молниеносно разрешать задачи любой трудности. В этом свойстве он еще не отличается от любой другой логической машины. Создатель — творец зародышевых клеток. На вводе он перерабатывает полученную информацию в генетическую формулу заданного существа, подбирает нужную комбинацию нуклеиновых кислот и спаивает их в микроскопическую живую клеточку, готовую для развития в чанах. Природа для создания новой жизни не придумала ничего лучшего, чем непосредственное воздействие одной родительской клетки на другую. Мой Электронный Создатель не нуждается в телесном слиянии с партнером, не требует ласковых слов, страстных объяснений, нежных взглядов. Он ограничивается связью по радио. Все совершается в полном молчании — пакет электромагнитных волн, готово, ваша генетическая формула воспроизведена, начинается копирование родителей. Да, копирование, а не дележка свойств — от отца серые глаза, от матери остренький носик... Как часто отец, не находя ничего своего в ребенке, гневно обвиняет жену в измене. От детей, произведенных Электронным Создателем, не отречется ни один из отцов. Зеркало, самооживляющее появившееся в нем изображение, — вот что

такое мой аппарат. И он будет копировать только лучшее, умниц и красавцев, гениев разума и доброты — вот его назначение! Люди, великолепные, как боги, на меньшем я не помирюсь, нет!

Он возвышается надо мною. Он огромен, как небоскреб. В его недрах клокочут миллионы киловатт — он в три раза мощнее всех остальных цехов завода вместе взятых. Моя лаборатория лишь щелка ввода в его электронное нутро. Высокая решетка справа от стола — замаскированный фильтр приема. И когда посетитель садится в кресло, я незаметно нажимаю кнопку...

— ...заболеете! Вам нужно перекусить перед сном. Вы вторые сутки почти не едите.

Я оттолкнул поднос с едой.

— Убирайтесь к дьяволу, Мартин! Я сегодня вкусно пообедал. Салат, кровавый бифштекс, сосиски... Великолепный обед! Вы мне мешаете, Мартин.

— Сосиски были вчера, а бифштекс вы ели на прошлой неделе, профессор. Вся ваша сегодняшняя еда — черный кофе из термоса.

— Ваше счастье, Мартин, что я вам не жена. Без кочерги в руках с вами невозможно разговаривать. Поставьте поднос на стол и исчезните.

Он примостил поднос на свободное от бумаг местечко и отошел в сторону. Я грозно посмотрел на него.

— Вы оглохли, Мартин? Я сказал — исчезните!

— Будет исполнено. Вам нужно раньше освободить поднос.

Я понял, что споры с ним займут больше времени, чем еда. Этот человек упрям, как столб. Из двух зол я всегда выбираю меньшее. Если мне не удается сразу прогнать Мартина, я делаю то, на чем он настаивает. Я мог бы уволить Мартина за непослушание, но новые слуги вряд ли будут лучше. Мне со слугами не везет. Те, до Мартина, тоже ни во что меня не ставили. У него к тому же есть неоценимые достоинства — он немолод, одинок, искренне считает меня научным гением и видит свое счастье в обережении меня от всего, что может помешать моей работе. Правда, дальше хозяйственных дел его забота не идет.

— Пирожки необыкновенно сочные, а бутерброды выше всех похвал,— сказал я, заканчивая еду.— Я, ка-

жется, и вправду проголодался. Теперь вы исполните мою просьбу, дорогой Мартин, и удалитесь?

— Непременно, профессор. В час ночи зайду, профессор.

— Зачем?

— Напомнить, что пора спать.

— Вы считаете меня ребенком, Мартин?

— Нет, профессор. Дети многое умеют делать без подсказки.

Я видел, что и на этот раз переспорить его не удастся.

— Позвоните по телефону, Мартин. Я лягу сейчас же, как вы напомните, что пришло время.

Он с сомнением смотрел на меня. Просто удивительно, как он не верит в мою самостоятельность.

— Хорошо,— сказал он.— Я позвоню.

Это прозвучало угрожающе. Не обычное вежливое: «Слушаюсь!», а что-то вроде: «Ладно, ладно. Не думайте, что это у вас пройдет гладко!» Мне сегодня предстояли слишком важные дела, чтобы завязывать спор из-за пустяков.

Когда Мартин убрался, я опять включил телевизор конвейерной линии. Фигурка уже не походила на зародыш, это было вполне человекоподобное существо. Оно бултыхалась в семьсот тринадцатом чане в почти непрозрачной белковой массе, и я плохо различал его — что-то с головкой, четырьмя конечностями, плотненьким туловищем. В чане бурлил питательный раствор, и человечек то забавно взмывал вверх, отбрасывая конечности, как крылья, то, складывая их, скользил вниз. Я долго любовался моим созданием. У меня сладко щемило сердце. Человечек был больше, чем мой ребенок. Он был — я сам.

Я погасил экран и снова, снова, в бесконечный раз вспоминал, как мне явилась прекрасная мысль воспроизвести себя, удвоить себя в энергичном молодом существе. Это буду я, со всеми моими знаниями и способностями, со всем моим жизненным опытом, но без груза моих сорока восьми лет, я, нынешний, но двадцатилетний, юный и умудренный, с порывистой душой и рассудительным разумом, я, совмещающий в себе все преимущества молодости и все достижения старости. У меня дрожали руки, когда я набирал нужный шифр. На экране главного телевизора вспыхнуло светлое пятно — три

миллиона киловатт, собранные в пронзительные электронные пучки, просвечивали самые темные уголки моего мозга, жадно усиливали его излучения. А затем пятно погасло, и его сменили пляшущие черточки и точки — я был записан, шла выборка из бездны данных того, что необходимо для моей генетической формулы. Черточки и точки на экране загорались и тускнели, то замирали, то вновь начинали метаться. Мне показалось, что я рассматриваю картину известного художника под названием не то «Улыбка любимой», не то «Взрыв в угольной шахте» — хаос световых вспышек, можешь думать о них что угодно, они все равно ни на что не походят. Но я знал, что это я сам, математический шифр моего тела и моей души: генетическая формула того существа, какое называется всего двумя словами: «Профессор Крен», — ибо общество не способно постичь меня глубже этих двух слов. Оно, познавая меня, скользит по моей поверхности, а Электронный Создатель изучает и бесконечно усложненную мою суть, и примитивно простую внешнюю мою форму.

Это было три дня назад, всего три дня назад! Генетическая формула минут десять сияла на экране — черточки и стрелки, точки и тире, густо заполнившие весь экран. Электронный Создатель творил меня из ничего, создавал первую мою зародышевую клетку. Три дня минуло с того часа, всего три дня! Зародышевая клетка прошла за это время сотни реакционных чанов, две трети утробного конвейера — новый человек, мой двойник, собирается твердой ногой вступить в свет!

Я снова включил технологическую линию. Мой двойник барахтался в чане. Ничего, кроме неясного силуэта, нельзя было разобрать при самом энергичном просвечивании. Надо набраться терпения. Я ждал восемь лет, придется подождать еще часок! Я передал распоряжение двойнику — сейчас же по рождении явиться ко мне — и откинулся на спинку кресла. Я мечтал. Неторопливые, радужно-сияющие мысли сменяли друг дружку в моем мозгу. Вероятно, я задремал.

Меня разбудил неуверенный стук в дверь. Я вздрогнул и поднял голову. Часы били полночь. Стук повторился, но по-странному — резкий, нетерпеливый, как бы захлебывающийся. Я вспомнил, что скоро придет мой двойник, и выругался. Посторонние могли испортить радость первого свидания с собой.

— Да! — крикнул я и добавил потише: — Черт бы вам сломал ногу!

На пороге появился мальчик лет двенадцати. Я с изумлением смотрел на него. Я его где-то встречал, но не мог припомнить, где.

— Вам не мешало бы быть повежливее! — проворчал мальчик.— Вы откликнулись лишь на второй стук. Выкладывайте, чего вам надо, я тороплюсь.

— Вы ошибаетесь, я вас не звал,— сказал я.

— Я не из тех, кто ошибается, эти штучки вы бросьте! Гениальней меня еще не существовало человека. Отойдите, я посижу в вашем кресле.

Усевшись, мальчик закинул ножки на стол и опрокинул технологический телевизор. Я успел подхватить аппарат на лету. Мальчик даже не шевельнулся, телевизоры его не интересовали. Я определенно знал когда-то этого скверного мальчишку.

— Прежде всего, я хочу услышать, кто вы такой? — проговорил я почти спокойно.— И на каком основании вы вторглись ко мне?

— Разуйте глаза,— посоветовал мальчишка.— Вы или слепы, или тупы, а вернее, и то и другое. Я — вершина человеческих достижений и Монблан научной мысли. Каждое слово, написанное мной, фотографируют под микроскопом. Даже буквы в моих записных книжках сверхъестественны, так пишут мои биографы. Во всех городах мира мне поставлены памятники. Что вы так вытаращились на меня. Я этого не люблю!

Это была нечеловеческая схватка с собой, но я не дал вырваться наружу бешенству.

— Не знаю, что удержало меня от того, чтоб выпороть вас. Но если вы через минуту не вылетите в эту дверь, вам не поздоровится.

Он поспешно вскочил. Ужас исказил его наглое некрасивое лицо.

— Не смейте, я вас боюсь! — захныкал он.— Что вам от меня нужно? Вычтите мое жалованье за лекции, хоть за три года вперед, но не трогайте. Я предпочитаю иметь дело с солидными людьми.

Я шел на него с распахнутыми руками, как на забившегося в угол зверька. Никого в жизни я так не ненавидел, как это дрянное существо. Он полетел на пол после первой же пощечины. Я добавил пинок ногой.

— Вставай и уходи! Нет, стой! Признавайся, не то вытрясу душу! — Я бешено мотал его из стороны в сторону.— Тебя подослал Роуб? Неужели этот идиот сумел так проникнуть!.. Будешь отвечать?

— Вы меня задушите! — пищал мальчишка.— Дайте глотнуть воздуха! Восемь лет я одиноко работаю над усовершенствованием людей, а люди меня ненавидят. Что я вам сделал плохого?

Я швырнул его на ковер. Мальчишка скорчился и тихо плакал. У меня тяжело стучало сердце. Я начал понимать, что попал в скверную историю.

— Я думал, настал час моего торжества! — по-стариковски причитал мальчик.— Мне так хотелось поиграть земным шариком, побросать его из руки в руку-у-у!

Я не отрывал от него глаз. Все сходилось в одну страшную точку. У меня оглушительно звенело в ушах.

— Прекрати плач! Я тебя больше и пальцем не трону, хоть ты заслуживаешь и не такой взбучки.

К нему моментально возвратился прежний вид. Он подбежал к столу и взгромоздился на него, сбросив на пол мои записи.

— Отлично, профессор! — сказал он.— Можете держать себя свободно. Дышите глубже и размахивайте руками в ритм вздоха. Вижу, что не ошибся, считая вас двуногой акулой. Пока я сижу у вас на спине, а не в пасти.

У меня оставался один шанс, только один шанс! Я в смятении зажмурился, лишь потом заговорил:

— Ты упомянул о восьми годах работы? По виду не скажешь, что ты изнурен. Мне кажется, тебе больше знакомы шалости, а не труд.

Он поглядел на меня с презрением.

— Я не собираюсь подвергать сомнению ваши интеллектуальные способности. Вряд ли существовал более тупой осел, чем вы. Даже слепая летучая мышь увидала бы, что я только что появился на свет.

— Из чана? — спросил я глухо.

— Откуда же еще?

— Зачем же ты говорил о годах работы?

— Без коварства с такими, как вы, нельзя. Вас интересуют пустяки. Сто лет я работал или ни единой минуты — какое это имеет значение?

Я так глубоко задумался, что не слыхал телефонного звонка.

— Возьмите трубку,— сказал мальчик.— И пошлите к чертям того, кто мешает нам разговаривать.

Это был Мартин.

— Час ночи, профессор. Напоминаю, что пора спать.

— Я уже сплю,— сказал я.— И вижу страшный сон, Мартин.

— Лучше видеть плохие сны, чем проводить ночи без сна,— заметил Мартин. Он любил изрекать максимы, почерпнутые из романов мисс Вудворл.

Я повернулся к мальчику. Надменно закинув крохотную головку, он смотрел на меня свысока. Это был, конечно, я — вот отчего он показался мне знакомым. Этот отвратительный уродец был собран из моих черт, напичкан моими мыслями, озвучен моими словами. Я не мог его принять, это было слишком чудовищно!

— Скажете ли вы, наконец, чего вам нужно? — сварливо поинтересовался мальчик.— Я ведь уже объяснял, что спешу.

Я закурил сигарету, мне надо было успокоиться.

— Вы оглохли, профессор?

— Нет, я хорошо слышу. Вы куда-то спешите. Я хотел бы знать, куда вы спешите?

На этот раз он, кажется, искренне удивился.

— Как — куда? Наружу! Если вы не глухой, то слышали, чего мне надо. Я поиграю земным шаром, потом брошу его себе под ноги. Надеюсь, он далеко не откатится. И я намерен полюбоваться моими памятниками. Вы имеете возражения?

— Только одно: сейчас ночь, а земной шар не везде освещен. Вам придется переночевать в нашей гостинице.

Он грозно нахмурился. Мне кажется, он колебался, не ударить ли меня ногой.

— Что за тон, профессор? Придется! Это мне, что ли, придется? Поняли вы, наконец, с кем разговариваете?

Теперь я крепко держал себя в руках.

— Простите, я не хотел вас оскорблять. Я очень бы просил вас соскочить со стола и пройти за мною...

— Я пойду впереди вас,— сказал он высокомерно.— Показывайте, куда идти.

Из лаборатории в гостиницу можно было попасть по коридору. Гостиница, небольшая, на полсотни номеров, была роскошна. Обслуживание в ней вели автоматы: электронные швейцары охраняли здание, электронные горничные убирали, электронные официанты подавали

еду и вина. Она предназначалась для наших гостей — акционеров, военных экспертов, членов парламента. Но мне больше некуда было девать мальчишку.

— Ваш номер первый! — сказал я.— Три личных комнаты, ванная, гостиная на двадцать человек. Карточка занумерованных вин и блюд на столе, номер набираете на клавиатуре.

— Здесь неплохо,— сказал мальчик, задирая голову.— До утра побыть можно. Этот ковер ручной работы? Не забудьте положить ключ на столик.

— Покойной ночи! — сказал я и поклонился.

Он повернулся ко мне спиной.

Я возвратился в лабораторию и в изнеможении упал в кресло.

Голова моя шла кругом. Я, кажется, заплакал.

Потом я сказал себе: слезами горю не поможешь, и заходил по лаборатории. Мне лучше думается, когда я хожу. В ту ночь я не ходил, а бегал. За стеной мерно гудел Электронный Создатель, осуществлявший на холостом ходу самопроверку и регулировку. Это единственная в мире машина, не нуждающаяся в постороннем наладчике, она сама налаживает и исправляет себя. В бешенстве я пригрозил Создателю кулаком. Она налаживала себя, чтоб выдать злую карикатуру, исправляла для искажения. Все его миллионы киловатт работали на беспардонное, бесцеремонное вранье! Я топал ногами, обзывал его последними словами. Утомившись, я прилег на диван. Мне было до того плохо, что пришлось принимать лекарство.

— Ладно,— сказал я себе, глотая пилюли.— Ты откричался, пора и порассуждать. Он, конечно, исказил тебя. Но почему? Неверная запись генетической формулы или неправильная материализация формулы в зародыше? А может, что третье?

Нет, третьего быть не могло. В реакторных чанах человеческий зародыш развивается, а не создается. Они не могут прибавить ему ни одной существенной черты, отсутствующей в зародышевой клетке — простая столовая, удовлетворяющая потребность зародыша в пище. Конвейерная линия чанов к искажению моего образа отношения не имела. Карикатуру на меня совершил

Электронный Создатель. Он один отвечает за этого отвратительного мальчишку.

Мысль о неправильной материализации генетической формулы я тоже не мог принять. В конце концов, это техническая операция — подобрать по расчету нуклеиновые кислоты. Любой школяр, не задумываясь, подставит в алгебраическое выражение численные значения величин, это задачка для начальных классов, а не для Электронного Создателя. Зародыш монтируется правильно, в этом нет сомнений. Если бы Создатель совершал такие грубейшие ошибки, как неправильная сборка зародышевой клетки, то грош бы ему была цена, а заодно и мне.

Дело тоньше, дело гораздо тоньше!

Остается одно: генетическая формула записана с ошибками. Электронный Создатель не разобрался в моих мыслях, неправильно прочитал биотоки мозга, все дальнейшее было лишь развитием этого первоначального искажения. Но что помешало произвести правильную запись? Почему он так обидно отобразил меня двенадцатилетним мальчишкой? Не мог же Создатель прочитать в моем мозгу, что я карликового роста, у меня метр семьдесят семь, откуда же взялись эти проклятые метр сорок? И вообще — случайны ли эти искажения или закономерны? Несовершенства первого воспроизводства человеческого образа или природные свойства воспроизводящего аппарата?

Повторятся ли они в следующем акте творения моего двойника или бесследно исчезнут?

— Надо проверить,— сказал я себе.— Стань под облучатель и через три дня ты узнаешь, таков ли твой новый двойник, как первый.

Я с содроганием отбросил эту мысль. Я заспорил с собой. А если ошибка Электронного Создателя повторится? Один такой мальчишка способен уложить меня в гроб, двоих я не вынесу! Нет, этот путь не для меня.

— Не дури! — сказал я себе.— Ты ученый. Ты должен со всем научным тщанием...

— Глупости! — крикнул я на себя.— Я прежде человек, а потом ученый. Если я еще раз увижу это мерзкое создание, я стану убийцей. Ты хочешь, чтобы я гонялся за ним с ножом в руках?

— Я хочу, чтобы ты успокоился,— возразил я себе, пожимая плечами.— Что за дурацкая манера — орать на

самого себя! Пойми, у тебя нет никаких других возможностей проверки.

— Чепуха. Я вижу тысячи иных вариантов. Разве я не могу воспроизвести кого-нибудь другого, хотя бы того же Мартина или Пьера и посмотреть, соответствует ли их образ оригиналу?

— Можешь, конечно,— согласился я с собой.— Но если Мартин будет воспроизведен точно, это не решит загадку, почему Электронный Создатель наврал, воспроизводя меня. Нет, дружок, нужно еще раз повторить себя, а потом, найдя причину искажений, перемонтировать Создатель. У докторов принято новые лекарства испытывать на себе. Наука без жертв не движется, дорогой!

— Ненавижу жертвы! Слушай мой новый план. Создатель воспроизводил меня по моим мыслям о себе. Сотни людей тоже думают обо мне. Почему мне этим не воспользоваться? Я приглашаю знакомого человека, навожу его на мысль обо мне, а Создатель записывает.

— Пожалуй, можно и так. Решено: записываем первого, кто появится завтра в лаборатории.

Я рухнул на диван и, измученный разочарованиями этой ночи, быстро уснул.

Первым появился О'Брайен. Восторженный карлик часто навещал меня. Он хотел знать, как идет дело, обещавшее солидную жатву денег, и как себя чувствую я. Приходя, он совал свою рожицу в бумаги и книги, чертежи механизмов и образцы питательных сред из чанов. Дурно пахнущие коллоидные растворы восхищали его не меньше, чем гигантские размеры Электронного Создателя.

— Здравствуйте, Крен! — пропищал он, хватая своими лапками мою руку.— Всю ночь думал о вас. Это счастье для нашей фирмы, что вы живете на свете.

С О'Брайеном я церемонился еще меньше, чем с остальными директорами компании.

— В чем же вы нашли счастье, дорогой О'Брайен?

— Как в чем? Вы делаете нам золото, профессор. Чем вы заняты, Крен?

— Собираю схему. Не обращайте внимания, сидите спокойно. Думайте обо мне.

— Думать о вас — истинное наслаждение для каждого из нас!

— Поговорим о золоте, О'Брайен. Зачем оно вам нужно? Лучше одеваться, сытней питаться?

— Вы смеетесь, профессор. Пятнадцатый год я питаюсь одними сухарями. Увы, хорошая еда для меня — несбыточная мечта! Крен, а вы? Я имею в виду разные пикантные блюда — первое, второе, десерт... Хи-хи-хе, по глазам вижу, по глазам — вы лютый чревоугодник, Крен!

— Отпираться не буду — иногда обжираюсь. У вас много наследников, О'Брайен?

— Ни одного, дорогой Крен, ни одного. У меня не было времени ухаживать за женщинами. Я растил не наследников, а деньги.

— Для чего?

— Удивительный вопрос, Крен. Для денег! Деньги порождают деньги, других детей у них нет, разве вы не знали? Что вы крутите на столе?

— Сейчас окончу, и вы сможете побегать... то есть осмотреть аппаратуру лаборатории, дорогой О'Брайен. Продолжайте думать обо мне.

Вошел Мартин с подносом. Я молча показал на стол и на дверь. Он молча поставил поднос, но не ушел. Я молча топнул ногой. Он нерешительно поглядел на меня, на О'Брайена и, все также не открывая рта, медленно направился к двери. Мартин знал, что, когда я вожусь с пусковой клавиатурой Электронного Создателя, со мной лучше не разговаривать.

— Не очень вежливый у вас слуга,— сказал О'Брайен, когда Мартин убрался к себе.

— Нахал. Если бы вы знали, что он иногда себе позволяет!

— Нокаутируйте его, — посоветовал О'Брайен. — Не понимаю, почему вам нужно сдерживать благородные порывы души? Ваш брат Карпер ни одной минуты не колебался бы. Карпер ведь приходится вам братом?

— Да, кажется. Или я ему, или он мне — точно не помню. Можете вставать, О'Брайен.

На экране главного телевизора сияла моя генетическая формула — хаотическое переплетение стрелок, тире и пятен, линий и мазков, нечто вздыбленное и перепутанное, нечто похожее на развалины небоскреба после атомного взрыва. Это была та же формула, что я видел несколько дней назад, я ощущал их схожесть. Вместе с тем это была иная формула, я чувствовал: что-то изменилось, я не знал лишь — существенное или пустяки.

— Боже, как красиво! — пискнул О'Брайен.— У меня дома висит шедевр Джексона Поллока, очень, очень похоже. У вас даже лучше, Крен. Скажите, как вы это получаете?

— Почему вы не спрашиваете, что это означает? — поинтересовался я.

— Я не такой наивный, Крен. Это ничего не означает. Вернее, это означает как раз то, на что оно нисколько не похоже. Должен вам сказать, что среди друзей меня считают знатоком современной живописи.

Я посмотрел на него, возможно, слишком внимательно. Другой человек счел бы такое разглядывание нахальным. Мне захотелось разобраться в характере карлика. Это было важно не только для понимания его самого, но еще больше для понимания моего второго двойника, создаваемого сейчас Электронным Создателем,— О'Брайен, несомненно, видел во мне не то, что видел в себе я сам, второй двойник не мог повторить первого.

— Дышите глубже, О'Брайен! Не суетитесь, не размахивайте руками! — сказал я строго.— Сейчас я задам вам несколько трудных вопросов, а вы ответите на них честно и исчерпывающе. Протокола пока заполнять не будем.

— Вы титан, профессор! — пропищал он восторженно.— Я готов для вас на все. Вы подозреваете меня в уголовных преступлениях? Я не догадывался, что вы еще и криминалист!

— Я философ, это гораздо опасней, чем криминалист. И подозреваю вас в философской извращенности. Обвинение грозное, не отрицаю.

Впервые на его личике появилось что-то похожее на смущение. Он стал заикаться.

— Профессор, уверяю вас... Нет, я никогда... В общем, никаких половых извращений... Я не эротоман, можете мне поверить.

— Повторяю: речь о вечных загадках философии, а не о насущных проблемах эротомании. Итак, соберитесь с духом. Сложите ручки на коленях. Возвращаемся к зловещей тайне, которую уже мельком затрагивали. Итак, зачем вам деньги?

Он поглядел на меня с искренним удивлением.

— Как зачем? Я же ответил: деньги нужны для денег. Одна монета растит десять. Разве это непонятно?

— Темно, как в могиле. Глухой тропический лес в полночь. Для чего вам десять монет, если вы не способны потратить и одну? У вас нет наследников, вы не поклонник женщин, желудок ваш не переносит изысканных блюд, вы не тратитесь на драгоценности, на наряды, на выезды, на слуг, на дворцы... Тысячи прекрасных вещей и дел есть на свете, к которым ваше отношение исчерпывается единственной короткой фразой: «не нужно», даже еще сильней: «не хочу!» Для чего же, черт подери, вам непрерывно, неустанно, непомерно разбухающее состояние?

Он слушал меня с таким напряжением, что у него отвисла нижняя губа. Видимо, я задел его больное место, у него внутри все заклокотало — на углах рта вдруг появилась припадочная пена, тусклые глазки засверкали. И отвечал он с жаром, какого я и ожидать не мог.

— Все правильно, профессор! Не нужно или не хочу! Воистину божественно точная формула, ваш могучий ум сразу проник в нее. Но и всей вашей несравненной проницательности не хватило, чтоб довершить эту формулу главной ее частью: могу! Не нужно, не хочу, но могу! Понимаете, профессор,— могу!

— Что вы можете? Что? Даже поесть нормального обеда...

— Все могу! Нет того, чего бы я не достиг и не получил, захотев истратить хоть часть своего состояния! Одной трети его хватит, чтобы стать президентом этой страны! Пятьдесят миллионов делегатам парламента, сто миллионов газетам, двести на избирательную кампанию — и готово, я президент. Могу, но не хочу. А вы можете? Сколько бы ни хотели, не сможете! Женщины, вы сказали, эротомания? Мне доступны любые красотки, у меня хватит золота, чтобы все они попадали передо мной на колени! Тысячи красавиц у моих ног, молоденькие, голенькие, расфуфыренные, все, все мои! Как часто я вижу, закрыв глаза, такую картину! Но не хочу, ни одной не хочу. Могу, но не нужно. А вы, профессор, можете ли вы получить любую женщину, на которую падет ваш взыскующий взгляд? Обеды, ужины, банкеты! Да понимаете ли вы, что я могу на главной площади столицы расставить сотни столов, а на каждый стол водрузить сотни изысканных блюд, сотни вкуснейших блюд, вдохновенная фантазия лучших поваров мира к моим услугам!.. Любая еда, любая может быть моей, я

могу ее заказать и получить, но не хочу. А вы смогли бы, как бы сильно ни захотели? Вот что дают мне мои монеты, те самые, какие вы варите для меня в ваших чанах. Всевозможность, вседоступность, всемогущество!

Он впал в неистовство. Он не говорил, а кричал. Он прыгал на стуле от возбуждения. Я сделал попытку вылить на его огонь ведро ледяной воды.

— Что значит пустое слово «могу»? Реально вы не лезете в президенты, не завели ни одной любовницы, не устроили ни одного банкета, боитесь прикоснуться вилкой к куску мяса!

— Да, да, да! — закричал он в исступлении.— Никаких реальностей, ибо каждая реальность осуществляет лишь одну возможность, а мне подвластны они все, и я хочу их всех! Я упиваюсь сознанием, что я все могу, все, профессор! С меня этого достаточно. Я не хочу обкрадывать себя, не хочу обедняться, удовольствуясь малой частью того, что мне доступно полностью.

— Обкрадывать себя? Обедняться? — Признаюсь, я растерялся от его неожиданного ответа.

Он взирал на меня почти с презрением. От его недавнего преклонения передо мной ничего не осталось. Уверен, его возмущала моя тупость. Он не мог примириться с тем, что я мыслю по-иному, чем он.

— Профессор, меня удивляет ваше отношение... Неужели непонятно, что, взяв что-либо одно, я тем самым отказываюсь от всего остального! Разве, поев ростбиф, я стану тут же смотреть на бекон, на индейку, на черную икру, наконец? Почему мне отказываться от них ради ростбифа? И от ростбифа ради них? Насыщение порождает отвращение. Мне хочется вкусить всех блюд мира, и я удовлетворяюсь тем, что могу их вкусить, а чтоб такая возможность существовала, отворачиваюсь от каждого отдельного блюда, иначе пробужу в себе отвратительную мелочную сытость. Любовницы? Но если я заведу одну, то пренебрегу всеми другими! Ради блондинки отвернусь от брюнетки, от шатенки, от рыжей, от лиловой, от серой в крапинку, от пестрой в пятнышках... Зачем мне такое обнищание? Я могу иметь их всех и не откажусь от сладостного всеобладания ради скудного обладания одной. Стать реально президентом? Мне доступны все государственные должности нашей страны, неужели пренебрегать возможностью иметь их все? Я всемогущ, пока мне все доступно. Практическое удовлетворение любой воз-

можности безвозвратно губит всевозможность. Формула «все могу» неотрываема от формулы «не хочу». Я ответил на ваши вопросы, профессор?

— На все. Честно и исчерпывающе, как я и требовал.

Он умильно заглянул мне в глаза. Он мгновенно стал прежним льстивым, восторженным, смешным карликом. Но я уже не мог относиться к нему по-старому. О'Брайен был не смешон, а страшен. Он не веселил, а пугал меня!

Я сделал усилие над собой, чтобы держаться непринужденно.

Он поболтал и ушел. Я невесело размышлял у стола, чертил на листке бессмысленные черточки и кружочки — математические эквиваленты моего существа, того неповторимого своеобразного единства души и тела, что называется Креном. Между мною и этими дуракцими значками лежала непроходимая пропасть — удастся ли мне перебросить через нее мосток?

Мои размышления прервал пришедший с обедом Мартин. Я вяло пожевал котлету и выпил стакан апельсинового сока. Генетическая формула на экране телевизора погасла, это означало, что она материализована. Электронный Создатель смонтировал из нуклеиновых кислот и питательной протоплазмы мою зародышевую клетку и отправил ее в рост и расчленение. Мой второй двойник был запущен в эмбриональное развитие в бурно перемешиваемые коллоидные среды первых чанов — он начал жизнь.

— У меня к вам просьба, Мартин, — сказал я. — Посидите в кресле и сосредоточьтесь мыслью на мне.

— Нет ничего проще, — ответил он. — Я всегда думаю о вас. Если я не буду думать о вас, профессор, вы о себе не подумаете.

Третья генетическая формула, вспыхнувшая на экране главного телевизора, по виду походила на первые две, но обостренное чувство убеждало, что внешнее сходство содержит внутренние различия. Электронный Создатель опять создавал что-то иное. Я не знал, исправляет ли он старые ошибки или нагромождает новые. У меня было смутно на душе. Два человека — мои двойники — барахтались в питательных чанах, неуклонно пододвигаясь к рождению. Я ловил себя на мысли, что страшусь знакомства с ними.

Двойник, порожденный неистовым воображением О'Брайена, появился в лаборатории на третий день после обеда. Как раз перед этим я жестоко поссорился с первым двойником, по-прежнему стремившимся наружу. Тот заявил, что ни одного часу больше не останется в гостинице. Вот уже третьи сутки я держу его взаперти, теперь он пойдет напролом, перегрызет мне горло, но вырвется. У этого уродца упрямства было не меньше, чем самомнения. Мне пришлось схватиться за трость. Он визжал и катался по ковру, когда я запирал дверь. Я возвратился расстроенный и позабыл, что предстоит встреча со вторым двойником.

Второй вошел не постучав. Это был детина метра на два, с кулаками в футбольный мяч, сонным лицом и мутными глазами. Он не сказал «Здравствуйте!», а я был так потрясен, что не успел обидеться. Это был, конечно, я, много больше я, чем тот крохотулька Первый, но я не мог, не хотел поверить, что это я, так я был издевательски шаржирован.

Второй, прищурив глаз, осмотрел помещение и сплюнул на ковер. После этого он развалился на диване.

— Алло, парень! — сказал он хриплым голосом. — Значит, ты здесь делаешь монеты?

— Простите, с кем имею честь? — пролепетал я, не соображая, что говорю, ибо я, разумеется, много лучше его знал, кто он такой.

— Я — Карпер, — сообщил он. — Это я свалил твоего братца Джойса на втором раунде. Между прочим, он был парень, что надо. Я не помню, пришел ли он в себя после моего двойного в челюсть? Жалко, что ты на него мало похож! Я спрашиваю, где ты делаешь деньги?

— Э-э... как вам сказать... Есть такое местечко — банк. Они там растут. Увеличиваются, обрастают процентами...

Он довольно мотнул головой.

— Правильно, я слыхал о банках. Это вроде грядок, а на грядках, монеты, верно? Их надо удобрять навозом, чтобы они быстро росли. Ты, кажется, продаешь людей, парень? Если они все похожи на тебя, то двенадцати таких мозгляков не хватит моему кулаку позавтракать. Как ты на этот счет соображаешь дырявой башкой, а?

Он гулко захохотал. Из осторожности и я посмеялся, хотя мне было не до смеха.

— Я тоже изготавливаю людей, — сказал он потом. — Я изобрел машину, которая печет их. Я наготовлю их

миллион, а на выручку заведу денежный огород. Я с большой охотой разбил бы всех людей всмятку, но приходится сдерживать порывы души. Я собираюсь скупить фирму «Эдельвейс». Ты слыхал о ней?

— Да, конечно... Нет, не слыхал.

— Просто удивительно, как ты глуп. Твой брат Джойс, до того как я выбил из него мозговые извилины, соображал быстрее.

На лице его вдруг появилось недоверие. Он поднял голову и смотрел на потолок. Он словно к чему-то принюхивался.

— Врет, конечно, — бормотал он. — Не может быть, чтобы он выращивал их в другом месте.

Он встал и направился к столу. Я непроизвольно преградил ему путь. Он хладнокровно наддал мне коленом, и я отлетел метра на два. Лежа на полу, я глядел, как он расправляется с бумагами и приборами. Но когда, покончив со столом, он повернулся к стальной дверце Главного Щита, я вскочил. За дверкой была клавиатура технологических шифров. Нажимая на кнопки можно было менять процессы в чанах, смешивать растворы в новых пропорциях, переделывать коммутацию и схемы Электронного Создателя. Но среди множества возможных комбинаций цифр имелась одна запрещенная — набери ее, растворы в чанах смешаются, а Электронный Создатель займется демонтажем своей схемы. Я придумал эту комбинацию на случай, если не полажу с акционерами — лишь я буду эксплуатировать свое изобретение.

— Стойте, Карпер! Сейчас вы получите деньги.

Его лицо осветилось. Он хлопнул меня по плечу.

— Рад, что берешься за ум. Давай их сюда!

Он протянул ладонь, похожую на лопату для угля.

— Я немедленно отправлюсь в банк. Кое-что у меня там есть, для начала вам хватит.

Он вынул из кармана нож («Откуда у него нож? — подумал я. — Не в чане же он его нашел?») и сунул мне.

— Возьми мой, он режет, как бритва. Руби монеты под корень и не трать времени на очистку, я займусь этим сам. Где я могу потрескать? Я иногда обжираюсь — первое, второе, третье... до десятого, понимаешь?

— У нас имеется гостиница. Вот ключ от второго номера. Там вы сможете пообедать и подождать моего возвращения.

Я открыл дверь в коридор. Второй двойник шагнул

на порог, секунду постоял в раздумье, обернулся и ткнул меня кулаком в челюсть. Я мгновенно потерял сознание.

Когда я пришел в себя, около меня стоял печальный человек средних лет. Я не сразу сообразил, что это мой третий двойник. Я смотрел на него и думал, почему он плачет. Потом я застонал и дотронулся до головы. Голова разваливалась на части.

Третий утер слезы и радостно улыбнулся.

— Боже, как я счастлив! — сказал он благодарно. — Я стою полчаса около вас. Я боялся, что вы умрете, не приходя в сознание.

Я сел на полу и ощупал челюсть. Кость была цела.

— Могли бы вызвать врача, — сказал я. — Никто бы вам не сделал выговора, если бы вы позвонили по телефону в ближайшую больницу.

Он смутился, весь как-то увял.

— Я не догадался... Теперь вижу, что вполне мог бы, а тогда как-то... Я очень огорчился, что вы в таком состоянии, и ни о чем больше не мог думать.

— Что же вы стоите? Садитесь. Постойте, дайте мне раньше руку. Благодарю.

Я осмотрел его с головы до ног. Он, пожалуй, ближе их всех воспроизводил мой внешний облик. Впрочем, он был худ и бледен, а я скорее отношусь к разряду здоровяков. И у него были такие парикмахерски-мечтательные глаза, что не будь я подавлен неудачами, я бы поиздевался под их неземным сиянием.

— Садитесь, — повторил я. — Сколько раз вам нужно долбить одно и то же, пока вы поймете, чего от вас хотят?

Он покорно сел.

— Теперь ответьте, знаете ли вы, кто вы такой?

Он обнаружил слабые признаки оживления.

— О, конечно! Я ученый. Это когда... Вы представляете себе?

— Немного представляю. Итак, вы — ученый. В какой области вы учены?

Он был, казалось, в затруднении.

— Как вам сказать... Вопрос такой неожиданный, я не очень подготовился. Я занимаюсь изготовлением чего-то... И что-то изобрел!

— Вот как — изобрели? Выходит, даже вы на что-то годитесь?

После неудачной встречи со вторым двойником че-

люсть моя ныла, и я не мог вести светский разговор. Мне надо было высказать возмущение.

Третий двойник увядал на глазах.

— Я изобрел машину, — лепетал он. — Такую, знаете... очень большую. Даже — очень, очень... Она дает много денег, и я завел слуг. Они все делают за меня, а я сам... Мне надо говорить, когда есть, когда спать, что одеть. Счастливее меня нет на свете, потому что у меня слуги. Человек, у которого слуга, счастливый и великий человек.

— Сейчас вы пройдете в гостиницу, мистер счастливый остолоп. Держите, это ключ от третьего номера. Там вы поужинаете. Это делается так — верхняя челюсть на месте, нижняя — вниз и вверх, вниз и вверх. Потом вы уляжетесь в постель и уснете. Подушку под голову, ручку под щечку. И будете ждать моих дальнейших указаний.

— Очень вам благодарен, — проговорил он, сияя. — Просто не могу выразить, как я счастлив, что у меня такой расторопный слуга. Обещаю слушаться вас во всем.

Я вывел его в коридор гостиницы.

— Еще одно, — сказал я. — Не шляйтесь по соседям. Во втором номере поселился громила. Этот тип мечтает разбить всех людей всмятку. Как бы он не начал с вас. У меня ощущение, что для этой цели вы пригодны больше других.

Мне пришлось втолкнуть его в номер и захлопнуть за ним дверь. Я слышал, как, запертый, он все бормочет слова благодарности. Тихо, чтобы не потревожить остальных двойников, я возвратился назад. Электронный Создатель мерно гудел, проверяя и регулируя себя на холостом ходу. В ярости я погрозил ему кулаком. Густая тьма, окутывавшая его работу, прояснялась. Это была нерадостная ясность. Но я не дал усталости и смятению овладеть мной. Фактов было еще мало для больших выводов. Я не мог отвергнуть дело всей моей жизни после трех неудач, хоть и понимал уже, что неудачи не случайны.

— В гостинице пятьдесят номеров, — сказал я себе. — Заполни их своими двойниками. Используй для копирования всех посетителей. Не верю, чтоб хоть один из них не увидел в тебе настоящего человека. Только один — и изобретение твое оправдано!

Директора компании настаивали на пуске завода. Их

подпирали контракты — недели через две мы должны были выдать армии первую тысячу искусственных новобранцев. Они и понятия не имели, что я собирался улучшать человечество, а не поставлять идиотам в погонах эшелоны пушечного мяса. Я ссылался на необходимость наладки каждого технологического узла в отдельности, но компаньоны не хотели ничего слушать. О'Брайен, расстроенный моими отговорками, съел за обедом три печенья вместо двух и свалился от жестокого несварения желудка. Гопкинс и Мак-Клой пришли ко мне — лично подбить итоги.

— Вы шарлатан, док! — гремел Мак-Клой. — Признайтесь по-честному, такого лжеца, как вы, мир не видывал с того часу, как дьявол бросил обдуривать нашу прабабушку Еву. Я восхищаюсь вами, но не кажется ли вам, что это уже слишком?

Гопкинс методично вбивал в меня гвозди своих металлических глаз.

— Контракт есть контракт, Крен! — бубнил он с неумолимостью автомата. — Если ваш Универсальный Создатель...

— Электронный Создатель, — поправил я.

— ...Универсальный Создатель, — повторил он железным голосом, — не может разработать простого человеческого зародыша, то плюхнитесь сами в чан, Крен, и размножайтесь, черт побери! Мы собрались для того, чтобы делать деньги, а не для наладки каких-то технологических узлов.

— Монеты надо рубить под корень, тогда они хороши, — сказал я. — Успокойтесь, джентльмены. Я люблю эти чудные фрукты не меньше вашего. Мы еще насладимся ими!

Я нажал кнопку. На экране вспыхнули два новых варианта моей генетической формулы.

— Мы вынуждены пересмотреть соглашение с вами, Крен, — забил последний гвоздь Гопкинс. — Вы заграбастали слишком большую долю. Вам придется потесниться, Крен, дальше так не пойдет.

Я закурил сигару и забросил ноги на столик, за которым сидели директора. Гопкинс даже не повел носом, когда перед лицом у него возникла подошва моего ботинка. Он был готов на все.

— Что вы мне отрубили в деле папаши Эдельвейса? — пропыхтел я сквозь сигарный дым. — Кусочек плеча и

левую руку? Можете снять еще пару пальцев в свою пользу, джентльмены.

Моя податливость примирила их с неполадками в технологической схеме. У Гопкинса глаза из стальных стали алюминиевыми — это был его способ улыбаться.

— Я пришлю Роуба с новым соглашением, — сказал он. — На той неделе наш завод посетят высокие гости: военная комиссия парламента. Господа из правительства хотят видеть, во что они вогнали миллиарды налогоплательщиков. Объяснение будете давать вы.

— Не сомневаюсь, что вы им задурите головы, док, — добавил Мак-Клой и расхохотался. — Что-что, а засорять мозги вы единственный сейчас мастер на земле.

— Они останутся довольны, — пообещал я.

В этот день лабораторию посетили Паркер и Роуб.

Паркер потребовал уплаты моего долга университету. Он разговаривал со мной совсем по-иному, чем в дни совместной работы. Я слушал его и не уставал удивляться: он был почти вежлив.

— Вы знаете, Крен, я никогда не верил в ваш успех, — признался он. — У вас все же чего-то не хватает, чтоб пробраться в нобелевские лауреаты. Но против очевидности я не иду, а очевидность — за вас. Ваша новая лаборатория шикарна. Вам повезло, Крен.

Я помучил Паркера. Я молчал и слушал, не глядя на него. Восемь лет этот человек был моим кошмаром, гонителем всего лучшего во мне. Я не раз подумывал бросить науку и заняться чисткой сапог — и все потому, что на свете существовал Ральф Фридрих Паркер. Один взгляд этого человека испепелял душу, одно слово иссушало любую свежую идею. Ныне, оглядываясь, я удивляюсь, как мне удалось вынести восемь лет в учреждении, где на всех комнатах лежала зловещая тень этой сварливой жабы — Паркера. И когда он снисходил до визита в подвал, где, рядом с угольным бункером, помещалась моя тогдашняя крохотная лабораторийка, у меня от страха перехватывало горло. Я опускал голову, молча выслушивал его выговоры. Он почему-то решил, что молчание мое от гордыни. Но сейчас я не удостаивал его словом именно от этого, от торжества, что больше он надо мной не властен, — я стегал и изводил его молчанием злее, чем руганью.

— Вы мало переменились, Крен, — заметил он, силясь

улыбнуться. — Возвышение не сделало вас мягче. Как же мы поступим с тем должком?

В этот момент в лаборатории возник Роуб. Он влетел, неслышный и темный, растопырив похожие на крылья, заросшие волосами уши, раздувая синеватый широкий нос. У него радостно запылали глаза, когда он посмотрел на Паркера. Летучие мыши всегда остолбеневают в воздухе, когда видят жаб.

— Вам придется подождать, пока я закончу с этим господином, — сказал я Паркеру. — А вы, Роуб, присаживайтесь вот сюда. Я вижу у вас в руках новое соглашение? Давайте-ка его, Роуб.

Я положил соглашение на стол и принялся настраивать Электронный Создатель на мысли Роуба обо мне. Но проклятый соглядатай не отрывался от Паркера и думал лишь о нем.

— Роуб, вы глядите не туда и думаете не о том, — сказал я строго. — Вы написали какую-то чепуху, а не договор, Роуб.

Ему пришлось поневоле повернуться в мою сторону. К его лицу я уже привык за время работы в фирме «Эдельвейс и братья», но голос, так не походивший на его облик старого лохматого нетопыря, всегда меня поражал. Роуб заблеял, что соглашение составлено по форме, а про себя думал обо мне что-то яростное. Генетическая формула, записанная Электронным Создателем на основе его мыслей обо мне, даже на экране выглядела чудовищной.

— Вот вам чек, Паркер, — сказал я. — Надеюсь, наши взаимные расчеты завершены? А вы, Роуб, держите подписанное соглашение...

Паркер удалился, а Роуб вскочил. Он блеял так быстро, что последующие слова перегоняли в воздухе первые и предложение становилось похожим на:

— Профессор человек за что? Пришел вам к он зачем?

Я это расшифровал так:

— Что это за человек? Зачем он к вам пришел?

— Разные люди ходят ко мне, — сказал я веско. — И по разным причинам, Роуб.

Он блеял все так же энергично и еще непонятней, а я переводил его выкрики на человеческий язык. На этот раз получилось более длинное:

— У него что-то подрывное в лице! Вы заметили, как

он нехорошо улыбался? К этому человеку нужно присмотреться, понимаете, такая штука.

— Присмотреться к нему не мешает, — согласился я.

Роуб, еще шире растопырив похожие на крылья волосатые уши, торопливо унесся за Паркером, а я через полчаса отправил в питательные чаны две только что синтезированные зародышевые клетки моих новых двойников.

Вечером этого же дня я принимал у себя Четвертого и Пятого двойников. Они вошли вдвоем. Четвертый, от Мак-Клоя, был невысокий, быстренький, хохотун, Пятый, от Гопкинса — замедленный, недоверчивый мужчина, из тех, что себе на уме.

— Привет, привет! — еще на пороге развязно закричал Четвертый. — Здравствуйте, как поживаете? У меня великолепный план, профессор, пустяки, миллиончиков двадцать, на больший кусок я не собираюсь вас облапошить... предложить вам участвовать.

— И напрасно, — попенял я, пожимая ему руку. — Большего прохвоста, шарлатана и лжеца, чем вы, в мире не существовало со времен археоптериксов и цератозавров.

— Ага, вы уже слышали обо мне! — сказал он бодро. — Тем лучше, тем лучше. Так вот, мы разворачиваем производство искусственных живых...

Я знаком остановил его и обратился к Пятому двойнику. Тот ходил, осматриваясь, по лаборатории. Перед вводом Электронного Создателя он стоял, задрав голову, больше минуты.

— Вас, кажется, что-то заинтересовало? — спросил я. — Не могу ли быть вам полезным?

Он недоброжелательно поглядел на меня.

— Я должен раньше убедиться, что вы солидный человек, — проворчал он. — Терпеть не могу несолидных людей. Я знал ловкача Эдельвейса, крупнейшая была фигура, старый хрыч, но и тот подох в ночлежке. Где гарантии, что вы крепче его?

— Вот что, друзья, — предложил я. — Сейчас я проведу вас в гостиницу, вы помоетесь, подкрепитесь, отдохнете после рождения, а там настанет время потолковать с вами о планах, а с вами о гарантиях моей солидности.

Из гостиничного коридора до нас донеслась дикая брань, детский визг и старческий плач. Второй двойник,

от О'Брайена, избивал двух других. Новые двойники остановились на пороге.

— Шагайте смелее! — подбодрил я их. — Ничего особенного — несколько паучков в банке. Уверен, вам здесь придется по душе. А к утру я подброшу вам для компании еще пару неплохих экземплярчиков.

Двойники от Паркера и Роуба народились на рассвете и явились ко мне один за другим. Паркеровское создание вошло, задрав нос, не ответило на поклон и молча село у столика. Это был мужчина, похожий на статую римского императора. Он и двигался, как гипсовый.

Для интереса я спросил, как его зовут и зачем он пришел.

— Уберите ноги! — процедил двойник от Паркера. — И помолчите. Не люблю, когда много болтают.

Затянувшееся наше молчание прервал Седьмой двойник. Он подозрительно поглядел на нас с Шестым и кивнул на стену.

— Электронный Пускатель?

— Создатель, — поправил я.

— Значит, так, — возбужденно зашептал Седьмой, присаживаясь ко мне. — Это дело легко организовать. До сих пор интриговали против отдельных государств и правительств, но мы с вами не станем кусочничать. У меня имеется небольшой, хорошо скатанный заговорчик против земного шара, сообразили? Мы выбираем тихий вечерок, нажимаем кнопку этого Пускателя и пускаем мир под откос! Бум, бах, трах — здорово, правда?

Я прибавил этих двух к пятерым прежним...

...посетили меня во вторник. В просторной лаборатории стало тесно от сборища важных господ. Я усадил их в кресла и прочитал лекцию о целях и методах нашего производства. Я хорошо подготовился к встрече — Электронный Создатель был налажен на одновременную запись двадцати схем. На этот раз я фиксировал все их мысли — и то, что взбредало им в голову обо мне, и то, что они думали о себе. Мне надоело воспроизводить карикатуру на себя. Я хотел проверить, так ли они издевательски окарикатуривают себя, как проделывают это со мной.

На голубом экране вспыхивали одна за другой новые генетические формулы — все такие же яркие, переплетенные, ласкающие глаз цветовой симфонией линий и пятен. Я не дал обмануть себя кажущейся приятностью. Я знал, что за нарядной внешностью скрывается непри-

глядная сущность. Я, не торопясь, обводил взглядом лица моих слушателей — вежливые, грубые, миловидные, уродливые, молодые, старые, замкнутые, надменные, веселые. Лица были как лица — разные. Но глаза у всех были одинаковые — холодно-внимательные, отстраняющие, недобрые глаза. Я понимал, что думают обо мне посетители. Они думали обо мне скверное. С этим ничего нельзя было поделать. Но я не был уверен, нет, я не был уверен, что и к себе они относятся лучше! Если они и не ненавидели себя, то понимали свою истинную цену — теперь я знал, что она невысока: много за себя они не дадут. А я еще хотел при помощи их мыслей о себе улучшить все человечество!

Боже, как я был слеп!

Когда погасла последняя генетическая формула и Электронный Создатель приступил к следующей операции — монтировке зародышевых клеток, я в удобном месте прервал лекцию.

— Теперь пройдемся по цеху, господа. Познакомимся на месте с условиями выращивания людей.

В суматохе выхода ко мне пробрались директора компании. Они ликовали.

— Док, я растерялся! — рявкнул громовым шепотом Мак-Клой. — Я не подберу для вас эпитета. Боже, как вы их провели за нос! Вы им продали флакон испорченного воздуха за водородную бомбу! Даже старик Эдельвейс этого не умел.

— Вам надо поставить при жизни памятник! — ликовал О'Брайен. — Я завтра же открою подписку на вашу конную статую. Вы будете в тоге, с саблей на боку и пулеметом в руках — шедевр скульптуры, говорю вам!

— Засоряйте и дальше им мозги перспективами нашего производства, но не заикайтесь о сроке выпуска первой партии искусственных людей, — посоветовал Гопкинс. — Перспективы поражают воображение, а за неисполнение сроков отвечают перед судом. Вам понятна разница, Крен?

В одном из коридоров я повстречал Роуба. В лабораторию его не пустили, но он перехватил нас по дороге. Уши его торчали перпендикулярно к голове. Он был в диком возбуждении.

— Профессор, людей круг блестящий такой вас у собрался как? — проблеял он. Я тут же перевел это на

более привычный мне язык: — Как собрался у вас такой блестящий круг людей, профессор?

— Разве вы не слыхали, Роуб? Нам оказала честь специальная комиссия парламента.

У него заходили ноздри и захлопали уши. В мутных его глазах запылал зеленый огонек. Он блеял еще торопливей, а я расшифровывал:

— Никогда я не видел столь важных господ! Какие они все разные!

— Да, — сказал я. — Все они разные, Роуб. Одни — высокие, другие низенькие. Худой шагает рядом с толстым. Неясно одно — почему они такие разные? По-вашему, это случайно?

Он чуть не задохнулся от открывшихся ему величественных перспектив.

— Вы думаете, Крен?.. Признавайтесь, вы думаете?..

Я ответил уклончиво:

— Все мы что-нибудь думаем, Роуб. Человеку свойственно размышлять, хотя в наше время это не совсем безопасно. Но я говорю не о шатких предположениях мысли, а о твердых, так сказать, физических фактах. Приглядитесь к тем двоим, Роуб. Разве вас не поражает их походка?

Я ткнул пальцем в переднюю пару. Как нарочно, один был высок и массивен, другой худ и изящен. Они шли вдоль линии чанов и мирно беседовали.

— Правильно, сэр! — зашептал Роуб. — Боже, как правильно! Этот огромный вдавливает ботинки в пол, как в тесто. Он не ходит, а попирает ногами землю. Он ненавидит нашу землю, все ясно, как дважды два!.. А второй — крадется и перебирает ножками, как пальцами. О, этот еще хуже, в тысячу раз хуже! Я их проник с единого взгляда, такая штука! Нет, ребятки, вы сосунки, не вам обмануть Роуба...

Он хотел умчаться вперед, но я задержал его.

— Не слыхали, как дела у Паркера? Помните того ученого, с кем я вас познакомил неделю назад?

— Как же, отлично помню — высокий, важный мужчина, тонкие губы, зеленые глаза, один глаз более выпуклый, чем другой... С Паркером все в порядке, профессор. Паркер признался, что подложил две атомные бомбы под систему высшего образования в нашей стране, но не успел взорвать, так как попал в тюрьму. Я забыл сказать, что

Паркера вскоре после визита к вам арестовали. Однако я покорнейше прошу меня...

Я присоединился к гостям, и мы около часа провели на заводе, потом прошли в ресторан. За легким обедом на шесть перемен с девятью сортами вина я сообщил собравшимся радостную новость:

— В конце этой недели, господа, состоится ознакомление с первыми образцами производства нашей фирмы. Я надеюсь, все, кто сегодня почтил нас присутствием, не откажутся выступить в роли экспертов и ценителей. Вам будет продемонстрировано с полсотни бравых парней самой высокой кондиции.

— Слишком много образцов, Крен, — попенял один из гостей. — Для конвейерной продукции это не подойдет. Армия заинтересована в одном-двух, не более, но отработанных до пуговицы типах солдата.

Я успокоил его:

— Вы сами отберете понравившиеся вам образцы, а мы запустим их в массовое производство. Думаю, армия останется довольна. Итак, в следующее воскресенье, господа.

Гости мне аплодировали, а после их ухода директора компании устроили скандал. Железный сухарь Гопкинс орал, как перепившийся золотарь. Даже О'Брайен казался подавленным.

— Что это такое, Крен? — негодовал Гопкинс. — Вы, оказывается, запустили в ход технологические линии, а мы об этом ничего не знаем. Кем вы нас считаете, профессор? Раньше я посмотрю этих парней, а потом кто-то другой. Пусть комиссия выбирает, кто ей нужен, но кого им показать, — будем решать мы.

— Это буду решать я один, — сказал я. — Не забывайте, что в соглашении стоит пункт о том, что технологические вопросы находятся в моей личной компетенции. За продукцию, поставляемую нашим человекопроизводящим конвейером, отвечаю я. Вы занимаетесь представительством, рекламой, финансами, вообще — внешними связями. Вы не забыли этого пункта, джентльмены?

— Мы разорвем соглашение! — бушевал Гопкинс. В этот момент он походил на нормального человека, умеющего раздражаться и огорчаться не хуже других. — Водите кого угодно за нос, но не нас, Крен! Мы вычеркнем этот пункт, слышите вы!

Я улыбнулся ему в лицо.

— В договоре есть и второй пункт, — напомнил я. — Если между директорами и изобретателем возникнут непреодолимые разногласия, директора вправе выставить его за дверь, а изобретатель приводит в негодность Электронного Создателя. Не кажется ли вам, что пришло время воспользоваться этой важной оговоркой?

Гопкинс, ошеломленный, молча глядел на Мак-Клоя и О'Брайена. Я точно рассчитал удар. Гопкинс, остывая, на глазах осухаривался. Теперь это снова была бесчувственная, неторопливая машина для изготовления денег. С ним опять можно было толковать по-деловому.

— Вы ничего не поделаете с этим бессовестным сутягой, Гопкинс! — прогремел Мак-Клой. — Нам понадобилось десять лет, чтобы свалить старину Эдельвейса. Не сомневаюсь, что док прикончил бы его за десять минут.

О'Брайен согласно закивал своей головкой.

— Мы у него в руках, Гопкинс, надо смотреть на вещи здраво. Скажу открыто, профессор, даже с вашим знаменитым противником Джойсом вы не расправились так свирепо, как с нами троими. Я видел Джойса: он пришел в себя на другой день. Когда мы оправимся от вашего нокаута, я даже боюсь загадывать! Нет, вы не довольствуетесь сознанием, что хотя и не все, но многое можете, вам непременно нужно наносить практические удары!

— В воскресенье вы забудете об этом ударе, — утешил я пророка абстрактной всевозможности. — Ручаюсь, вам будет весело в воскресенье.

— Итак, до воскресенья! — сказали они одинаковыми голосами.

О'Брайен, однако, прибежал ко мне на второй день. Он чуть не плакал.

Дело было серьезное.

Пьер Роуб потерпел катастрофу. Его разнесло в щепы на пустом месте.

— Вы помните тех двух — высокого и маленького? — торопливо пищал О'Брайен. — Они всюду ходили вдвоем и на других смотрели вот так... неужели не помните? Боже мой, Крен, вы не знаете, кто они такие? Маленький — Дик! Да, Дик, единственный Дик, сын президента. Дик председательствует в сорока трех компаниях и держит у себя в кармане еще семьдесят шесть независимых фирм, он ровно на четыреста восемьдесят девять

миллионов — круглых миллиончиков, сэр! — стоит больше своего великого отца. А второй, здоровила, — наклонитесь ближе, Крен! — Джонни Поппер. Да, да, великий Поппер, вы угадали, самый знаменитый из политических деятелей. И на этих достойнейших людей наш безрассудный Роуб... Вот что получается, когда взамен величественной возможности все сделать увлекаются мелочным пошлым делом!

— Роуб накатал донос? Ха-ха!

— Не вижу ничего смешного, профессор. Я лично в голом факте... гм... доклада в уважаемое учреждение еще не открываю преступления, нет, Крен, не открываю! Но в чем он их обвинил — вот подлинное безумие! Сегодня за ним пришли двое. Он вырывался и кричал на весь «Эдельвейс»: «Я вам покажу, не на таковского напали! Я притяну Министерство общественного дознания к уголовному суду. Вы у меня наплачетесь!» У меня сердце разрывалось, я не мог слышать его горестных воплей. Такого сотрудника потерять!

— Вам теперь будет трудновато, О'Брайен. Министерство дознания постарается заменить провалившегося Роуба и не доложит, кто вместо него.

— Роуба заменить невозможно, этот гений клеветы незаменим.

— Одного гения заменят десятками талантов — сойдет.

— Откуда у вас такой цинизм, Крен? Даже мысль, что кто-то претендует заменить титана, мне глубоко противна. Жить под тайным взглядом лишенных фантазии, механизированных сексотов — ужасно, ужасно, Крен!

— А вы сами замените Роуба, — посоветовал я.

Он окаменел с выпученными глазами, потом сделал движение, словно что-то заглатывал, засевшее в глотке.

— Вы шутите, Крен?

— Ничуть. Я уверен, у вас неплохо получится. Но надо поторопиться, чтоб не перебежали дорогу. Там теперь такой конкурс претендентов!

Он вскочил, глаза его блудливо бегали по полу. Только природная воспитанность не давала ему опрометью кинуться в дверь, размахивая руками и восторженно вопя. У него даже не очень дрожал голос.

— Я подумаю, Крен, над вашим советом, я подумаю. Нет, честное слово, у вас удивительно мощная мысль, железные логические мускулы, профессор!

Он засеменил к двери, потом вдруг вернулся и со слезами на глазах потряс мою руку. Нервы его не выдержали.

— И можете быть спокойны, Крен! — воскликнул он с горячей благодарностью. — На вас я...

— Доноса не напишете — во всяком случае, первого? Благодарю, О'Брайен. Я не сомневался в вашем благородстве.

Приход О'Брайена немного успокоил меня. В последние дни я плохо сплю, живу на лекарствах. Дружеский разговор с О'Брайеном подействовал на меня лучше душа. Он был неплохим человеком, этот О'Брайен, — наивная увлекающаяся душа. Я долго смеялся, вспоминая слезы признательности на его глазах. Недавно он потряс меня своей страшной философией абстрактной всевозможности. Он показался мне тогда титаном всеуродства. Он был и остался карликом. Он мигом отказался от формулы «все могу, но не хочу» ради сладости мелкого доносительства. Он станет старательным клеветником, но на большее его не хватит. Даже Пьер Роуб был крупнее.

Я вызвал трех роботов в двадцать киловатт мощности каждый и, когда они появились, отправился в гостиницу.

С некоторых пор без надежной охраны я побаивался ходить в это гнездо скорпионов.

Теперь их было сорок восемь: сорок восемь живых, мыслящих, чувствующих, разгуливающихся и скандалящих существ — полсотни бестий в образе человека. Тридцать два копировали меня, остальные шестнадцать воспроизводили гостей из парламента. И хоть все они меж собой были поразительно несхожи, каждый из тридцати двух в отдельности походил на меня, что-то во мне отражал. Я не мог бы назвать их своими детьми. Это были мои двойники, материализованные изображения меня в глазах окружающих и моих собственных, мои фотографические карточки, вынутые и оживленные не из семейного альбома, а из мозга моих знакомых и моего. Я не уставал удивляться, до чего же у меня мерзкий вид на всех этих копиях. Ни один из них даже отдаленно не напоминал того, что я мечтал увидеть в себе. Единственное, что могло служить мне грустным утешением, было то, что остальные шестнадцать были еще гадостней, чем те тридцать два — мои...

Два робота шагали по бокам, один прикрывал меня сзади. Я сказал механическим телохранителям:

— Сегодня придется жарковато! Следите, чтоб с вас не сбили управляющие антенны.

У входа на меня набросился первый двойник, мой крохотный уродец, не устававший кричать, что гениальнее его на свете человека не существовало. Он вынесся из двери, только я вступил в коридор, и попытался укусить меня в руку. Робот легко отшвырнул его к стенке.

— Вы наглец! — надрывался первый двойник. — Вы троглодит! Вы неконституционны! Никто не дал вам права лишать меня человеческих прав! Отдайте мне земной шар! Я пожалуюсь на ваш деспотизм в Верховный Суд!

Его визг расшевелил остальных. Один за другим они выползали и выскакивали из номеров. Я прибавил шагу. Даже под защитой трех роботов я не хотел столкнуться со всей их оравой в коридоре. Я шел, а они торопились за мной — огромные и крохотные, широкоплечие и узкогрудые, вымахавшие до двух метров двадцати и не добравшиеся до метра сорока, удивительно разнообразный по внешности народ, мертвенно, уродливо-однообразный по существу.

В обширном холле я присел за столик у стены и открыл совещание своих и прочих двойников. Я вежливо попросил их рассесться. Три робота бдительно следили, чтоб ни один не приблизился ко мне.

— Итак, джентльмены, начнем! — предложил я. — У вас, кажется, имеются ко мне претензии?

— Деньги! — прорычал второй двойник, от О'Брайена. — Вы обещали нарубить монет, профессор. Какого черта вы медлите?

— Здесь так мало слуг! — простонал Третий, от Мартина. — Меня водит под руку один робот. Разве это можно вытерпеть? Я хочу, чтоб меня водили под обе руки.

— Внимание, джентльмены, внимание! — надрывался, ерзая в кресле, юркий двойничок от Мак-Клоя, Четвертый по счету. — Я сейчас вас всех объего... то есть успокою! Мы создаем компанию на один миллиард долларов под моим председательством и легко вытаскиваем...

Седьмой двойник, от Роуба, не вынес напора ожесточенных страстей и вскочил. Его дикие глаза зловеще фосфоресцировали.

— Я предложу уважаемому собранию изящненький заговорчик! — проскрипел он. — Удивительно красивая штучка, ее можно носить в кармане. Мы берем государ-

ство, продырявливаем его посередине, потом закладываем, понимаете, такая штука....

Все голоса заглушил железный зык верзилы, воспроизводившего одного из гостей.

— Минометы! — заревел он. — Орудия и торпеды! Я хочу поиграть ручной атомной бомбой!

Тут все они разом заорали, завопили, завизжали, заскрежетали и заскулили. Я молча разглядывал их разъяренные морды. Я испытывал радостный трепет от мысли, что участь их решена. Разумеется, я не показал им, о чем думаю. Я был холоден и невозмутим. Если бы я держался хоть немного по-иному, они разорвали бы меня в клочья, смяв охраняющих роботов. Просто удивительно, до какого жара накалялась злоба, одушевлявшая эти конвейерные создания. Они жили лишь ради того, чтоб кого-то кусать, облапошивать, взрывать и валить.

Когда на мгновение наступила тишина, Шестой двойник, от Паркера, надменно проговорил, откидываясь в кресле:

— Какой невероятный шум, профессор! Не могли бы вы повырывать языки у этих весьма уважаемых джентльменов?

Я поднял руку, чтоб притушить хоть немного новую бурю воя, визга и рева.

— Я вполне понимаю ваши благородные желания! — сказал я. — И от души им сочувствую. Но, поверьте, не все зависит от меня. Я не могу своей личной властью выпустить вас в мир. Нужно, чтоб с вами познакомились предварительно ваши духовные отцы, они-то и решат, кто из вас достоин существования и воспроизводства.

— Подавайте нам отцов! — завопил Одиннадцатый двойник, не то мой, не то одного из членов комиссии, я так до конца и не разобрался, кого он копирует. — Ох, и поговорю я со своим папашей!

Я продолжал:

— В это воскресенье состоится ваша встреча с родителями. Вы выскажете им все, что думаете о них и что желаете получить. Советую основательно поразмыслить перед встречей.

— Пулеметы будут? — прогремел Восемнадцатый. — Я категорически настаиваю на пулеметах. Раздайте нам хотя бы по ножу. Без этого встреча не удастся, не тешьте себя напрасными иллюзиями!

— Ах, и подведу же я под них одну штучку! — востор-

женно проблеял Седьмой. — Легкое нажатие — и все покатится!..

Минуты две они ликовали, топали ногами, аплодировали, орали «ура». Я решил, что в самый раз удалиться, пока не остыл их восторг. Я шепнул роботам, чтоб они меня прикрыли, и осторожно направился к двери. Первый двойник, увидев, что я подбираюсь к выходу, пронзительно заклекотал:

— Он уходит! Он уходит! Он уходит!

— Бейте его! — крикнул кто-то в задних рядах. — Не выпускайте его живым!

На меня ринулся Второй. Он нацелился мне в челюсть, но попал на железный локоть робота. Взвыв от боли, Второй отпрянул назад и угодил на ногу чопорного Шестого. Шестой выругался, и Второй тут же его нокаутировал. Восемнадцатый поспешил на помощь Шестому, но сам попал под кулак Двадцать девятого. Первый, остервенело визжа, вонзил клыки в ногу Третьему, тот, заливаясь слезами, сзывал на помощь слуг. Ловкач Четвертый прыгнул на спину Седьмому и впился в горло, жадно добираясь до артерии. Седьмой заметался по холлу и, если бы случайно не ударил развевающимися ногами Четвертого по колонне, то был бы минуты через три полностью высосан. Свирепо облизывая окровавленные губы, Четвертый извивался на полу, стараясь уползти меж ног дерущихся.

Схватка стала всеобщей.

Два робота, пробивая железными кулаками проход в толпе беснующихся двойников, постепенно продвигались к двери в спасительный коридор. Третий робот методично отбивал ожесточенные атаки со спины. И недалеко от двери произошло то самое, чего я опасался и от чего предостерегал роботов, но что, как я сейчас понимаю, может быть, по-настоящему и спасло меня.

Яростно нападавший Второй умелым ударом сбил с одного из роботов управляющую антенну, и робот, потеряв согласование с моими приказами и координацию движений, превратился в тупую сражающуюся машину. Взревев металлическим голосом, он бешено завертелся на месте, сшибая все, что подворачивалось под его страшные ручные рычаги. Один за другим двойники рушились к его бронированным ногам. Со всех сторон понеслись крики ужаса. Двойники, от страха обретая благоразумие, выскакивали в коридор и разбегались по номерам, наглухо

закрывая двери. Не прошло и минуты, как в холле стало пусто. Один взбесившийся робот вертелся волчком и дико размахивал руками. Потом он налетел на колонну и распался в груду дымящихся обломков.

Я посмотрел на останки моего защитника и пошел к себе.

— Надо со всем этим кончать! — говорил я себе. — Надо, надо!

Я не спал эту ночь, не спал и следующие. Я заперся в лаборатории, сидел в кресле, уставив глаза на ковер. Пусть никто не думает, что решение далось мне легко. Мысли мои были тяжелей ударов кулака — я не щадил себя.

Одно я понимал теперь с окончательной полнотой: великое открытие мое следовало срочно закрыть, оно не удалось. Все остальное было пока в тумане.

Я прорывался сквозь туман, настойчиво освещал его логикой рассуждений, пронзал прожекторным лучом неотвергаемых фактов. И мало-помалу мне становилась ясной грандиозность моей ошибки. Одним уничтожением созданных мной человекоподобных тварей дело не могло ограничиться. Надо идти дальше, значительно дальше.

Я с горечью вспоминал, какие высокие мечты кружили мне голову, когда я сидел над расчетами Электронного Создателя. Я трудился не для денег и не ради того, чтоб к четырем миллиардам людей, населяющих земной шар, прибавить еще парочку миллиардов. Я хотел вывести нового человека — благородного, умного, доброго, талантливого. Мне думалось, Электронный Создатель вполне годится для этой цели. Он превращает в живую плоть мысленное представление людей о себе. Нам свойственно любить себя, гордиться собой, мы любим себя за хорошее, гордимся в себе прекрасным — так я наивно думал. Как я ошибся, как непоправимо ошибся! Вот оно, наше материализованное представление о себе — двуногие волки, беснующиеся сейчас в роскошной гостинице!

Значит ли это, что Электронный Создатель искажает, творя копии, что он всего лишь кривое зеркало? Нет, он работает точно. Он только воспроизводит не людей, но мнение их о себе и других, придает этому мнению человекообразную форму. Он материализовал нечеловеческие, зверские отношения, связывающие людей в нашем насквозь прогнившем обществе. Боже, сколько раз мне приходилось слышать мерзкие изречения: «Каждый за себя,

один бог за всех!», «Человек человеку — волк!». Здоровый эгоизм, конкуренция, индивидуализм — все эти словечки казались стертыми, словесная мишура и мертвечина, я не вдумывался в них. А они жили страшной и тайной жизнью, злокачественные бактерии социальной гнили. Я опрометчиво придал им очеловеченную плоть, и вот они забушевали на свету — грабители, убийцы, стяжатели, всяческие человеконенавистники. А разве я сам среди этих людей — нет, разве я лучше их? Может, талантливей, но не лучше! Я ненавидел и презирал их, как и они меня, я издевался над ними, боялся их и подличал перед ними, обманывал их — разве не точно воспроизвел мои поступки и мысли двенадцатилетний уродец? В той грязи и подлости, что взметнул со дна наших душ Электронный Создатель, немалая толика моей личной грязи, мне от нее не отречься!

Итак, Электронный Создатель не способен усовершенствовать человека. Больше того, он вреден. Поработай он месяца три на полной мощности — какой смрадный поток ринется в мир, какого нестерпимого накала достигнет глухо тлеющая сейчас в глубине общественная злоба. Может, в другие времена, в других странах, где человек объявит человека братом и другом, возможно, не зарекаюсь, там мой Электронный Создатель и пригодится. Но сейчас его надо уничтожить! Я прозреваю. И ненавижу, став зрячим!

Как я ненавижу!

Под утро я задремал. Меня разбудил Мартин.

— Доброго утра, профессор. Не хотите ли погулять? Сегодня воскресенье, сэр.

Я вскочил с дивана.

— Великолепно, Мартин. Воскресенье — день возрождения. Приготовьте завтрак и можете уходить, куда хотите.

Он был так поражен, что пришлось объясниться.

— Видите ли, Мартин, ко мне должны прийти... гм... одна дама. Я уверен в вашей скромности, но дама такая подозрительная. Короче, раньше четырех часов не возвращайтесь.

— Будет исполнено. Я очень рад, что вы... Я боялся, что занятия наукой навсегда отвлекли вас от всего... простите мою откровенность, профессор!

Он, кажется, искренне обрадовался, этот чудак, что во мне пробудились обычные человеческие чувства. Я

выставил его за дверь и позавтракал, потом, не торопясь, набрал на клавиатуре Главного Щита одиннадцать цифр из двенадцати, составляющих единственную запрещенную комбинацию. Мне остается теперь лишь ткнуть пальцем в последнюю кнопочку, и комбинация полностью осуществится, а с ней осуществится то самое, о чем мечтает двойник от Роуба — бум, бах, трах! И не станет Электронного Создателя, не будет гениальная моя машина взамен усовершенствованного человека выплевывать на свет грязь и подлость. И вас не станет, мои уродливые создания! Что мне вас жалеть? Разве вы сами способны кого пожалеть?

Я делаю последние записи, потом запру тетрадь в сейф. В окно мне видно, как к воротам лаборатории подъезжают одна за другой машины. Высокие гости прибыли. Сейчас я пойду вас встречать и выпущу на вас жильцов гостиницы. Потолкуем, уважаемые джентльмены, с собственными детьми, воспроизводящими открытой человеческой плотью всю вашу внутреннюю, глубоко скрываемую, зверскую нечеловечность!

Теперь вы у меня попляшете, голубчики!..

Начальник откинулся в кресле, закрыл глаза, сжал в кулачок худое лицо — это была его манера размышлять. Потом он снова подвинул к себе газету и перечел речь Поппера: «Это было великолепное побоище, — сказал депутат парламента. — Перед тем как выломать двери, орава Крена дала волю кулакам. В основном они тузили друг друга, но и нам кое-что перепало. Ни в высказываниях, ни в поступках этих ребят я не обнаружил ничего нечеловеческого. Лично я предполагаю, что Крен устроил грандиозный шантаж, набрав где-то шайку готовых на все парней, а доверчивым акционерам выдал их за искусственников. Докопаться до истины нелегко, ибо, придя в отчаяние от страха разоблачения, этот ловкий мошенник на наших глазах взорвал главный аппарат. Только чудо господне сохранило нас, когда кругом валились обломки и взвивались языки пламени. Что касается выстроенных предприятий, то я лично осматривал...»

В комнату торопливо вошел взволнованный следователь.

— Полковник! — закричал он с порога. — Похоже, что мы напали на след этих...

Начальник со скукой уставился на своего помощника. В его взгляде было столько откровенного презрения, что следователь запнулся на слове.

— Этих? — промямлил начальник. — Кого «этих», Симкинс?

— Как кого? — пробормотал помощник. — Я вас не понимаю. Я говорю об искусственниках, проходящих по делу об изобретении Крена.

— Вам надо меньше есть, Симкинс, — строго посоветовал начальник. — У тех, кто объедается, кровь отливает от головы к желудку и в мозгах вечный туман. В сто первый раз докладываю вам, Симкинс, что раз не существует дела об изобретении, то и не существует искусственников, проходящих по этому делу. Неужели вам не ясно? Я спрашиваю, вам не ясно?

— Но позвольте! Да, конечно, мне все ясно. Будет исполнено.

— Вот это уже лучше, Симкинс. Люблю четкость мысли. Кстати, что именно вы собираетесь исполнять?

— Ваше приказание, разумеется. Отменим «напали на след», прекратим преследование...

— Хорошо, — одобрил начальник. — У вас появляется полицейское чутье, Симкинс, я очень рад. Бедные парни ничем не хуже нас с вами, а вы спустили на них орду сыщиков. Разъясните своим болванам, что полиция стоит на страже спокойствия честных граждан. Еще одно, Симкинс. Этот, как его?..

— Вы имеете в виду профессора Крена?

— Да, да, пройдоху Крена. Узнайте, как у него в личной жизни. Разные преступные увлечения, порочащие знакомства, всякие мошенничества... Это, уверен, много серьезней несуществующего изобретения. Лет на двадцать пять, вы меня понимаете, Симкинс?

ЧЕТЫРЕ ДРУГА

Фантастическая повесть

1



ачну с признания: я не принадлежу к числу горячих поклонников Кондрата Сабурова. И я не был его близким другом, как считают многие. Больше того, он временами был мне антипатичен. Прекрасная Адель Войцехович со свойственной ей бесцеремонностью убеждала Кондрата, да и меня самого, что я ему завидую. Не думаю, что она права. Я не собираюсь ни обелять себя, ни тем более напяливать на себя ангельские крылышки. Я не ангел, это бесспорно. Но и не дьявол, каким она меня живописует. Уверен, что мои споры с Кондратом, оставляя в стороне их объективную научную ценность, имели и то немаловажное субъективное значение, что ограничивали его фантазию. Он заносился, его нужно было одергивать. Когда человек вообразит себя непогрешимым, ему море по колено. А море топит корабли, на нем разражаются бури. Здесь главный источник наших разногласий. Я настаиваю на этом, что бы теперь ни говорили о моем скверном характере Адель и Эдуард, изменившие Кондрату в труднейший час его изысканий. Трагический финал экспериментов свидетельствует, что прав был я, требовавший от Кондрата осмотрительности, а не они, толкавшие его на научные авантюры. И я оплакивал гибель Кондрата ничуть не меньше, чем те двое. Ибо ушел от Кондрата, а не предал его. Он мне однажды сказал: «В тебе я уверен, Мартын, ты не изменишь: изменить может только друг, а какой ты мне друг!» Так он понимал меня, Кондрат Сабуров, руководитель Лаборатории Ротоновой энергии. И у меня нет причин стыдиться такой оценки.

Именно в таком смысле я и высказался, когда директор Объединенного Института № 18 академик Огюст Ларр

и его заместитель Карл-Фридрих Сомов вызвали меня на собеседование. Я ни минуты не сомневался, что будет не собеседование, а допрос, и не постеснялся довести до их сведения это мое понимание.

Хорошо помню, как по-разному они восприняли мой выпад. Сейчас я формально обязался вести запись всего, что хоть в отдаленной степени касалось работ в Ротоновой лаборатории, — и с удовольствием вписываю в свой отчет и ту беседу с руководителями института, ибо она не в отдаленной, а в очень близкой степени затрагивает обстоятельства трагедии.

Огюст Ларр вызвал меня в свой роскошный кабинет в полдень: окно выходило на южную сторону, и сквозь стекла лилось жаркое солнце. Я не люблю чрезмерного света и сел к солнцу спиной. Против своего обыкновения, Ларр сидел за столом. На огромном столе лежала толстая папка с какими-то бумагами. Я сказал «против обыкновения», потому что почтенный академик редко обретается в кабинете, его любимое местопребывание — институтские коридоры, где он прогуливается то с одним, то с другим сотрудником, заводя бесконечные обсуждения. А если и проникает в свой кабинет, то не сидит, а прохаживается вдоль окон или стены — длиннющим его ногам, видимо, противопоказан покой. Сейчас он сидел, а не прохаживался, и это, не сомневаюсь, должно было подчеркивать важность разговора. Он положил на стол волосатые, лопатой, ладони, вытянул ноги под столом и не сводил с меня настороженного, но, в общем, доброго взгляда — под кустистыми бровями на узком лице, перегороженном, как барьером, огромным носом. Глаза его, ярко-голубые, посверкивали, как подожженные изнутри. У него, конечно, красочная физиономия, у нашего прославленного астрофизика Огюста Ларра. В Портретном зале Академии Наук только президент Академии Альберт Боячек может соперничать с ним в выразительности лица.

А Карл-Фридрих Сомов, заместитель по общим проблемам, сидел у торца директорского стола и, не глядя на меня, что-то писал и черкал в блокноте. Он притворялся, что инициатива вызова принадлежит Ларру, а не ему. И то, что он вызывающе отстраняется от беседы, предоставляя ее директору, хотя каждому в институте ведомо, что именно Сомов, а не Ларр занимается всем, что не имеет сугубо научного содержания, сразу возмутило меня. Если Сомов хотел заставить дать сдачи в от-

вет на любое принуждение, то он мог заранее рассчитывать на полный успех.

— Друг Мартын, нам хорошо известно, что вы невиновны в несчастье в Ротоновой лаборатории, — так дипломатично начал Огюст Ларр. Он, несомненно, планировал умелой фразой смягчить ожидаемую от меня резкость. И план его, естественно, имел бы успех, если бы сам Ларр не испортил его последующими словами: — Но вы были посвящены во все детали исследований Сабурова, знали его цели и намерения, он делился с вами своими идеями.

Я понял, что нужно немедля поставить межи разговору, ибо он грозил безбрежно расплыться.

— Детали совершавшихся экспериментов я, конечно, знал. О целях, которые ставил себе Сабуров, иногда догадывался. Что до идей, то они являлись ему столь густо и были столь разнообразны, что он и сам в них не всегда разбирался, а уж поделиться ими зачастую забывал.

— Но его намерения...

— То же относится и к его намерениям. Я полагаю, речь идет об экспериментах, а не общечеловеческих свойствах? В быту его намерения были обычны: поесть, если уж стало невтерпеж после пропуска обеда пропускать еще и ужин, поспать часок днем после бессонной ночи. Тут он был такой же, как вы или я.

— Вы считаете обычным быть таким, как вы? Но, друг Мартын, общее мнение в институте, что если и поискать необычностей, то лучшего примера, чем даете вы, не найти.

— В институте № 18 ошибаются не только в научных экспериментах, — парировал я. — Однако не понимаю: вы вызвали меня для обсуждения моего характера?

— Вы сами догадываетесь: не для этого. Мы пригласили вас, чтобы разобраться в причинах взрыва в Ротоновой лаборатории.

— Вы недовольны отчетом вами же назначенной следственной комиссии? Разве она не зафиксировала все обстоятельства трагедии?

— Ваше мнение не отражено в выводах комиссии, а оно существенно важно, вы были самым близким сотрудником Сабурова.

— Во время взрыва и последующего расследования я находился в командировке на дальних планетах, поэтому не мог приобщить своих показаний к тому, что ко-

миссия установила. К тому же последние эксперименты Сабурова мне неизвестны. И у меня не было никакого желания знакомиться с ними. Я не из тех, кто сует свой нос в дела, от которых его бесцеремонно отстраняют.

— Вы написали мне, что просите перевода, потому что вас заинтересовали другие темы, — мягко напомнил директор.

Я не сдержал горечи.

— А как было писать? Что Кондрат указал мне на дверь? Ведь было так! Не просто указал на дверь, а схватил за шиворот и пытался вытолкнуть в коридор. Только то, что я много сильней его и не постеснялся доказать ему это, спасло меня от вылета наружу. Этого было достаточно, чтобы я навсегда перестал интересоваться всем, что Сабуров делает в лаборатории. Не требуйте от меня никаких показаний. Я не уверен, что они смогут быть объективными.

Ларр, по всему, не ожидал такого отпора. И тут в беседу вступил Карл-Фридрих Сомов. Я никогда не разделял ненависти Кондрата к первому заместителю директора. Но и мне был неприятен этот сухой педант — широкое, безжизненно-желтоватое лицо, желтые волосы, желтые глаза, удивительно скучный голос. Кондрат и голос со злостью называл желтым. Вообще, мне кажется, каждый несет в себе свой особый основной цвет, и этот цвет можно бы фиксировать фотометром и вносить в паспорт наряду с группой крови и рисунком линий на пальцах как важное индивидуальное отличие. Например, в этой шкале цветов Кондрат был бы пламенно-малиновым, Адель — тонко-салатной, Эдуард — томно-фиолетовым, а наш директор Огюст Ларр — мощно-оранжевым: ведь оранжевый проникает сквозь туман и пыль, а разве такое проникновение сквозь темень научных проблем не является характерной чертой академика Огюста Ларра, многолетнего директора Объединенного Института № 18?

Карл-Фридрих Сомов сказал, невыразительно глянув на меня глубоко посаженными тусклыми глазами:

— Ваши отношения с Сабуровым имеют для нас важное значение, друг Мартын. Вы, очевидно, не соглашались в чем-то с методикой его экспериментов. Последующие события косвенно оправдывают ваше враждебное отношение...

Я прервал его:

— Я не был врагом Сабурову. У Кондрата не было врагов. Впрочем, ошибаюсь. Один враг у него в институте все-таки был.

— Назовите его! — Сомов, конечно, знал, кого я имею в виду, — и шел напролом.

— Этот враг — вы! Только вы — и никто другой!

Ларр молча переводил удивленный взгляд с меня на Сомова и снова на меня. Я твердо решил высказать Сомову если не все, то многое, что думаю о нем. Он не показал ни удивления, ни гнева. Он с издевательской вежливостью вопросил объяснения, и на мгновение даже тусклые глаза его вспыхнули.

— Сколько понимаю, вы наносите мне личное оскорбление? Я правильно понял?

— Неправильно, конечно. Не оскорбляю, а квалифицирую ваше отношение к Сабурову.

Ларр счел, что нужно вмешаться в перепалку, опасно уводившую разговор от намеченной темы.

— Друг Мартын, мне неприятно ваше высказывание. В Институте нет вражды. Соперничество, соревнование, споры — да, но не вражда.

Я молча пожал плечами. Я дал им обоим понять, что имею свое мнение о взаимоотношениях в институте. И, хоть не намерен всюду кричать об этом, они с моим мнением должны считаться.

Карл-Фридрих Сомов принадлежал к людям, которых резкое суждение не способно сбить с толку. На его широком лице засветилась усмешка. Иногда он изменял своей камуфлирующей неприметности, сейчас был такой редкий случай. Мне показалось, что ему даже приятно обвинение во вражде к Сабурову и что он не прочь признаться в ней, только мешает категорический запрет Огюста Ларра.

Опять заговорил директор:

— Мы имеем официальный отчет о несчастье в Лаборатории Ротоновой энергии. Отчет добросовестен и точен, но не полон. Дело в том, что сохранились дневники Сабурова, и они показывают, что, кроме научных интересов, были и сугубо личные. Нам важно установить в его экспериментах меру личного и производственного. И мы хотим поручить это вам. Вы лучше всех в Институте способны разобраться в загадке трагедии и дополнить официальный отчет важными деталями.

— У меня теперь иные научные темы, — сказал я.

— Они не срочные. Мы разрешим вам временно законсервировать их.

Я задумался. Разумеется, я понимал, что проблемы ротоновой энергии несравненно значительней того, что я нынче изучал в своей крохотной лабораторийке. И, естественно, после гибели Кондрата, именно я был всех компетентней в ротоновых экспериментах. Скажу даже: если бы, задумав восстановление лаборатории, поручили другому разобраться в загадках взрыва, я был бы уязвлен. Но воспоминание о ссоре с Кондратом мешало сразу ответить «да». Я думал об Адели Войцехович и об Эдуарде Ширвинде: они воспримут мое возвращение к ротоновым делам как попытку свести посмертные счеты с Кондратом. Не считаться с их чувствами я не мог.

— Мы понимаем ваши колебания... — осторожно сказал директор.

— Вряд ли, — отрезал я. — Мои колебания к науке отношения не имеют. В общем, я согласен.

По тому, как облегченно вздохнул Огюст Ларр, было ясно, что он не надеялся на столь быстрое согласие. Даже сухарь Сомов радостно ухмыльнулся. Оба эти непохожие один на другого человека одинаково неверно воспринимали меня. Впрочем, не только они преувеличивали дурные свойства моего характера, и я привык к таким преувеличениям. Даже — охотно признаюсь в этой маленькой хитрости — научился использовать превратное представление о себе, как о несдержанном и резком до грубости.

Сомов протянул мне пухлую папку с бумагами.

— Здесь отчет комиссии и дневник Сабурова. Они вам понадобятся.

Я отвел рукой папку.

— Не сейчас. Раньше составлю собственное мнение о происшествии, потом буду сверять его с отчетом и дневником.

— Еще одно, друг Мартын, — сказал Огюст Ларр. — Вам будет предоставлено право вызывать к себе любого сотрудника для вопросов. И если захотите поговорить со мной или Сомовым, требуйте и нас к себе.

— Непременно воспользуюсь этой привилегией, — пообещал я и ушел.

В моей лаборатории были свои маленькие загадки и срочные проблемы, но они меня больше не интересовали. Я воротился в лабораторию, выключил приборы, остано-

вил генераторы и попросил повесить пломбу на дверях.

— Месяц меня здесь не будет, — сказал я сотрудникам, их было трое, хорошие работящие парни. — И вас тоже не будет. В Австралии сейчас весна, почему бы вам не позагорать на пляжах Тихого океана?

Чудаки даже не поинтересовались, отчего неожиданный перерыв в работе. Впрочем, они всегда ворчали, что я тиран и что им не хватает времени даже на еду, не говоря о «полнометражном сне», так они именовали свои мечты о безделье. Уверен, что еще не кончился день, как вся троица катила куда-нибудь подальше от Столицы — и адресов своих мест отдыха предусмотрительно не оставили.

А я пошел в Институтский парк. По графику Управления Земной Оси в районе Столицы сейчас значилась осень — метеорологи только гармонизировали природный климат, не заменяли его своими искусственными разработками.

Я сел на скамейку у озера. Ласковый ветерок морщил воду, шелестел в желтеющих липах и вязах. По небу пробегали быстрые яркие облачки, на высоте, видимо, дуло сильней, чем на Земле. Мне было хорошо и скверно. Хорошо от картины воды и облаков, от теплого ветра, овевающего лицо, от смутного бормотания деревьев и еще от того, что несправедливость отстранения меня от любимого дела теперь отменена и мне выпала судьба восстановить важные эксперименты. Некогда я весь, всеми мыслями и чувствами жил ими, а недавно горевал, что они стали мне недосягаемо далеки... И было скверно, что к радостной перспективе восстановления Ротоновой лаборатории надо было идти мучительной дорогой — разбираться в ошибках и просчетах Кондрата, в своих ошибках и просчетах, которые, несомненно, тоже были. И снова переживать со всей душевной болью и нашу с ним ссору, и его такую нелепую, такую немыслимую гибель. Сколько молчаливых слез я пролил после известия о ней. Неизбежно снова их лить...

— Ладно, держи себя в руках! — вслух сказал я. — Ты на людях сохранял завидную невозмутимость, только наедине разрешал себе раскисать. Теперь умение показывать спокойствие понадобится еще больше. Ибо среди тех, кого тебе разрешено вызывать, первыми будут Адель и Эдуард. Не завидую тебе, старина. Впрочем, и им за-

видовать не стоит; им будет еще труднее. Ты хвастался, что у тебя своя методика и что ты обойдешься без официальных отчетов и интимных дневников, — демонстрируй эффективность обещанной методики. С чего ты начнешь?

Я начал с воспоминаний. Я велел своей памяти восстановить, как начиналась проблема ротоновой энергии, кто ее начинал, как шло осуществление. Нет, я не вспоминал расчетов, я видел лица, а не формулы, вникал в души, а не в цифры. Меня окружили те, кого я так долго любил, кого поддерживал и кого опровергал. Был полдень, когда я вышел в парк, светлый полдень перешел в хмурый вечер, вечер превратился в недобрую ночь, хлынул дождь, кричащие деревья крушил листобой, а я, закутавшись в плащ, не отряхивая усеивающих плечи мокрых листьев, все вспоминал, вспоминал...

2

Это было страшно давно, лет десять назад.

В нашем университете объявили публичную лекцию профессора из Праги Клода-Евгения Прохазки.

В научном мире всегда есть два рода гениев — общепризнанные, прославленные — чаще всего посмертно — в общем, узаконенные реформаторы науки. И гении непризнанные, но вполне гениальные: в их гениальности никто про себя не сомневается, но вслух этого не выскажут, ибо они ведут себя не так, как предписано гению.

Профессор Прохазка был ярким образцом такого никем не признанного, но несомненного научного гения. Он взрывал основы космологии — это было, естественно, актом гениальным. И каждым своим словом, каждым новым расчетом он не так опровергал устоявшиеся воззрения, как оскорблял представителей этих воззрений. А кто тогда мыслил по-иному, чем предписывалось сложившейся наукой? Его выслушивали — он умел заставить себя слушать, но дружно отказывали в признании. Он раздражался, изобретательно высмеивал оппонентов, устраивал публичные скандалы из нормальных дискуссий. Если в мире существовал академический дебошан, то его, вне сомнения, звали профессором Прохазкой.

И он известил Столичный университет, что намерен провести открытую дискуссию на животрепещущую для космологов тему: как возникла наша Вселенная и что

с ней сейчас происходит? Легко догадаться, что его предстоящий приезд породил смятение у наших университетских светил. Научный блеск иных стариков уже погасал, сияние других, помоложе, только разгоралось. Но все они опасались, что в сверкающем пламени мятежных идей пражского профессора каждый потускнеет и потеряет уже завоеванный солидный облик.

Я пришел в актовый зал университета вместе со своей сокурсницей Аделью Войцехович.

Мне тогда казалось, что я в нее влюблен. Нет, Адель еще не была той красавицей, в какую потом превратилась. И еще не выделялась роскошной укладкой светло-салатных волос, так гармонирующих с блеском почти четырехугольных совершенно зеленых глаз. Разумеется, она и тогда была миловидна и заботилась о своей внешности не меньше, чем делает это теперь. И фигура ее в те дни была такой, о каких Эдуард насмешливо высказывается: «Слеплена на пять — все, что требуется, есть!» И все же она была скорей простушка, чем богиня. Ни особого интереса к науке, ни тем более научных успехов в ней тогда и отдаленно не угадывалось. Она говорила мне о родителях, о детских увлечениях, о местах, где родилась и училась, — какие-то леса и поселки возле древнего польского городка Ольштына: те места, по ее рассказам, были чем-то вроде маленького филиала райских угодий. В общем, кто знает нынешнюю Адель Войцехович, доктора и профессора астрономии, несомненного в будущем академика, те и не поверят, что она могла быть такой, какой я ее знал, когда мы были студентами.

Мы явились за час до начала лекции, чтобы раздобыть хорошие места. Но не одни мы проявили предусмотрительность. Зал был уже заполнен. Мы с Аделью осматривались в проходе, когда нас окликнул невысокий, плотный — он уже тогда начал полнеть — юноша:

— Друзья, идите сюда! Специально для хороших людей храним два местечка.

Он снял какие-то вещи, положенные на соседние кресла, чтобы показать, что они заняты. Адель уселась рядом с ним, я поместился крайним в четверке. Юноша весело сказал:

— Кондрат, хочу познакомить тебя с нашими новыми друзьями.

— Мартын Колесниченко, будущий ядерщик.— Я протянул руку второму парню.

— Кондратий Петрович Сабуров, космолог.— Кондрат говорил на хорошем международном языке, общепринятом для знакомства, но, по русскому обычаю, назвал отчество. Кондрат, как древний аристократ, каким он, впрочем, не был, гордился своим происхождением от сибиряков, в незапамятные времена покоривших дикий край. И он, надо сказать, знал те давние времена гораздо лучше нас и не упускал случая щегольнуть своими незаурядными знаниями. А я отметил в те минуты знакомства, что он сказал не «будущий космолог», а именно «космолог», хотя по годам еще не мог выйти из студенчества. Самоуверенность была его характерной чертой: к любому своему намерению он относился так, словно оно уже осуществлено, и требовал такого же отношения от нас.

— Адель Януаровна Войцехович, астроном, — сказала Адель, протягивая руку Кондрату. Она, думаю, бессознательно подделалась под его манеру называть себя. Впоследствии она подделывалась под его прихоти сознательно и достигала быстрого успеха — этого умения у нее не отнять.

Полный юноша сказал:

— Теперь, когда ты познакомился с соседями, представь им и меня. — И, не дожидаясь, пока медлительный Кондрат отреагирует, он весело протянул руку Адели. — Адочка, меня — Эдик Ширвинд, специальности не называю: пока не имею, а в будущем — не уверен, что получится. Естественно, прошу любить и жаловать. Согласен даже на исполнение половины просьбы — только любить. Но в этом случае — крепко!

Мы смеялись. Так от случайной встречи на лекции приезжей знаменитости началась наша дружба. Возможно, для каждого из нас, не для одного Кондрата, было бы лучше, если бы этого знакомства не произошло. Но что было, то было. Точным предвидением грядущего никого из нас природа не одарила.

Эдик шутил, пока на кафедру не взошел Прохазка. В прошлом году он умер, и теперь его могут видеть на всех континентах — портреты его вывешены не только в университетах, но и в школах. Посмертного признания он удостоился. Но тогда мы увидели его впервые — зрелище из впечатляющих. Невысокий, но такой широкоплечий, что казался почти квадратным, огромная голова, а на голове чудовищная копна серых от густой седины

волос, и каждая волосинка, как наэлектризованная, отталкивается от соседней и торчит самостоятельно. Щеки впалые, как у смертно голодающего, нос вряд ли поменьше, чем у нашего Огюста Ларра, а в довершение пейзажа — именно этим словом сформулировал Эдуард впечатление от облика Прохазки, — голосок, очень сильный, очень резкий и такой высокий, что не столь проникал в уши, сколь пронзал их. Первые же слова профессора вызвали физическую дрожь, так непривычен был этот острый звук. Я говорил, что каждому свойствен свой цвет. Профессор Прохазка был синим. Я видел ясно, что у него красноватые, как у индейца, щеки, но излучал он в синих тонах. Он был главным в себе — словами, мыслями, темпераментом — убивающе синим. Эдуард потом уверял, что в помещениях, где долго обретается Прохазка, чахнут мухи и гибнут комары. Он шутил, но в каждой шутке гранула правды — истина, открытая задолго до нас.

Своеобразная известность Прохазки заставляла ожидать с первых же слов каких-то необычных утверждений. Но он начал с понятий, известных и школьнику. Он поведал аудитории, что в двадцатом веке ученые заинтересовались происхождением и эволюцией того, что тогда же назвали Большой Вселенной. И в том же двадцатом веке те же древние ученые «согласились о нижеследующем» (и в этом выражении прозвучала свойственная Прохазке издёвка): существовал-де некогда нерасчлененный сгусток материи, а вокруг безграничное пустое пространство. И вот неизвестно по какой причине первоначальный комок сверхплотной материи взорвался, и миллиарды его кусков стали с бешеной скоростью разлетаться в безграничном пространстве. И часы истории Вселенной пошли. В первые мгновения взрыва почти вся взорвавшаяся материя превратилась в фотоны, то есть свет. Таким образом, в начале Вселенной был свет, — в резком голосе Прохазки снова прозвучала ирония. Частицы света быстро трансформировались в стандартные ныне протоны, нейтроны, электроны, позитроны, нейтрино и прочие материальные частицы, а частицы стеснились в звезды и скопления звезд — галактики. А галактики продолжали разлетаться от места взрыва, и та, которая мчалась побойчей, убегала подальше, а медлительные — отставали. Явление это назвали «расширением Вселенной в результате Большого Взрыва» — выразительное название показалось синонимом истинного понимания. Сосчитали даже

скорость бегства галактик и звезд от места, где Первичный Взрыв наддал им пинка в беспредельное пространство. И обнаружили, что в дальнем далеке бесконечной Вселенной звездные беглецы так быстро мчатся, что уже подошли к скорости света — тремстам тысячам километров в секунду: воистину, бег без памяти к границе физического бытия! А дальше, видимо, провал в бездну несуществования. Вот такой рисовалась в двадцатом веке Большая Вселенная: первоначальный взрыв и бешеное улепетывание всей материи во все бока, а на бегу — формирование нынешних звезд, галактик, скоплений галактик.

— За минусом словесных красот, довольно тривиальная картина Вселенной, — шепотом прокомментировал Эдуард начало лекции. — В общем, будь профессор студентом, в нашем университете ему поставили бы тройку. Со строгим указанием на нестрогость формулировок.

Прохазка, закончив почти веселое изложение разработанных в двадцатом веке космологических гипотез, перешел к их критике. Много слабых мест было у тех теорий, и на них долго не обращали внимания, увлеченные красивой картиной Вселенского Взрыва, — так говорил профессор. И главная слабость — проблема пространства. Ну, хорошо, имелась первичная глыба нерасчлененной материи, и та глыба, содержащая в себе все вещество мира, неведомо почему взорвалась и разлетелась в пространстве. А само пространство уже было? Или тоже возникло в момент взрыва? О физическом времени уже в двадцатом веке согласились, что до взрыва его не было, мировые часы стали отсчитывать секунды, минуты, годы, миллионолетия, лишь когда Вселенная взрывом начала существовать. А загадку пространства попросту игнорировали. Забыли, что еще великий Ньютон называл пространство «чувствилищем бога», указывая тем самым на особое его значение во Вселенной. Наличие пустого беспредельного пространства было величайшей тайной мироздания — и сколь долго этого не понимали!

Находка чудом сохранившихся бумаг Андрея Танева, еще в двадцатом веке доказавшего взаимопревращаемость пространства и вещества, бросила новый свет на структуру Вселенной, продолжал Прохазка. Но Танев больше поэт, чем ученый, — расчеты его, два столетия пролежавшие в архивной пыли, немного дали для практического использования. Лишь великий Доменик Нгоро сумел превратить хаотичные озарения старого поэта в безукориз-

ненные таблицы матриц и алгебраических рядов. Так были созданы аннигиляторы пространства, сгущаемого в вещество, и аннигиляторы вещества, превращаемого в пространство. И появилась возможность сконструировать ныне столь обычные звездолеты, уничтожающие перед собой пространство и благодаря этому достигающие сверхсветовых скоростей.

Я пока излагаю то, что вам и без меня хорошо известно, с аффектацией известил Прохазка. А теперь обязан высказать мои собственные недоумения. Почему, нет, я спрашиваю еще и еще, — почему никто не увидел того, что прямо-таки бросалось в глаза? Разве пространство, превращаясь в вещество, и вещество, разлетаясь пространством, не доказывали тем самым, что вещество и пространство — лишь взаимообращаемые формы единой материи? Вещество таит пространство в себе, пространство же никакая не геометрическая пустота, а нечто вещественное — вот такого понимания требовала логика после уравнений Нгоро. Но простого этого понимания не усвоили самые мудрые головы. В головах зияла все та же абсолютная пустота — я говорю о восприятии пространства, а не о всем прочем содержимом голов. И в этой беспредельной пустоте бешено разлетались во все стороны атомы, кванты, звезды, галактики... Вселенная, получив первоначальный могучий толчок, все разлетается и разлетается. И ничто ей не мешает мчаться к бездне, физическому пределу скорости. Ибо «убег» совершается в невещественной пустоте, а пустота сопротивления не оказывает.

— Кажется, начинает стучать кулаком по столу, — удовлетворенно прошептал Эдуард. Столь развившаяся потом в нем любовь к научным скандалам в зародышевой форме была уже и тогда.

Прохазка перешел к сути своей теории. Уверен, что именно на той университетской лекции, на которой мы вчетвером присутствовали, он впервые высказал ее в полноте. И торжественно объявил, что первоначальный Большой Взрыв полностью принимает, одновременно отказываясь, как и все его предшественники, от объяснения, почему материя взорвалась. Взорвалась — и все, душа из нее вон! Зато категорично отрицает тот характер Большого Взрыва, какой ему доныне приписывается. Взорвалась не материя, взорвалось, верней, вырвалось пространство. Первоначальное, безмерно плотное вещество существовало не только во времени, но и вне пространства.

Все мгновенно народилось в тот удивительный момент — время, движение, расстояние, массы, плотности, силовые поля, заряды... В общем, все то, что мы сегодня называем физическими характеристиками объектов Вселенной.

— Лихо, даже очень лихо! — пробормотал Эдуард. Никто из нас не отозвался. Гипотеза Прохазки была слишком серьезна, чтобы сопровождать ее ироническими репликами.

Итак, взрыв произошел оттого, что народилось пространство и оно разметало первоначальную массу, продолжал Прохазка. Вещество исторгалось, парило, дымило пространством — и разлеталось, разбрасывало вещество, расширялось, стремилось к беспредельности. И в те первоначальные мгновения скорость новообразования пространства была столь исполински велика, что постороннему взгляду, если бы он существовал, показалось бы, что частицы вещества разлетаются с быстротой света. А это равносильно тому, что сами частицы могли быть только фотонами, ибо один свет обладает максимальной скоростью. Вселенная в момент своего создания была неистовым, всепоглотительным светом, как справедливо считали космологи уже в двадцатом веке, неправильно, впрочем, интерпретируя это явление.

По мере выброса непрерывно исторгаемого вещества пространства скорость его расширения падала, и это было равнозначно тому, что падает скорость частиц, — и они превращались из фотонов в электроны и протоны, нейтроны и нейтрино. И появилась новая сила — мировое тяготение. Оно, так я думаю, тоже родилось в момент Большого Взрыва. Пространство, разбегаясь, разбрасывало частицы вещества, тяготение стягивало их в кучи. И, когда распирание пространства потеряло первоначальную неистовую быстроту, тяготение приступило к своей организующей роли — стало сгущать безмерные массы частиц в туманности, звезды и галактики. Так возникла современная Вселенная.

Пространство продолжает исторгаться из вещества, говорил Прохазка. И это означает, что Вселенная расширяется — в целом, и в каждой точке, где имеется вещество. А нам воображается, что все объекты Вселенной отдаляются от нас благодаря собственной скорости разбега. Между космическими объектами взаимные их отдаления увеличиваются, но собственного бега нет, и звезды, и галактики только отбрасывает одну от другой истор-

гаемое ими самими новое пространство. Еще в двадцатом веке заметили удивительный факт — чем дальше от нас звезды, тем они быстрей отдаляются. И никто не обратил внимания на несуразность — почему так неодинаковы скорости убегания разных звезд, ведь первоначальный Взрыв должен был наддать частицам одинаковое ускорение. Но если принять мою теорию, то парадоксы исчезают. Раз пространство одинаково везде новообразуется, то чем дальше объект от нас, тем больше между нами создается пространства, а это равнозначно тому, что у дальних объектов скорости удаления закономерно больше, чем у объектов близких.

И последнее, — говорил Прохазка. Взрывное самоистечение пространства давно себя исчерпало. И, видимо, интенсивность образования пространства продолжает падать, вещество все меньше и меньше испаряет его из себя. Это означает, что расширение Вселенной замедляется. В какое-то время вещество полностью растратит внутренние пространственные ресурсы — и тогда начнется обратный процесс, схлопывание Вселенной. Тяготение будет сжимать разрозненные массы, пока не сольет все вещество во Вселенной в прежний сверхплотный комок. Вселенная возвратится к исходному пункту, где уже не будет ни пространства, ни времени, ни тяготения, ни сконструированного в материальные частицы вещества.

— А потом новый Большой Взрыв создаст новую Вселенную, — не удержался от комментария Эдуард.

На этом Прохазка закончил. Правда, он еще демонстрировал на экране математические уравнения, они, естественно, свидетельствовали об абсолютной правоте его идей, потом отвечал на вопросы и высмеивал оппонентов (такие тоже нашлись) — обычный ритуал его публичных выступлений.

Профессор принял букет ярких роз от покоренных слушателей и церемонно раскланялся.

Мы вчетвером вышли из зала.

3

Эдуард предложил погулять по университетскому парку — для остужения пылающих мозгов. Он говорил это всем, но глядел на одну Адель, и она за всех ответила согласием. Не могу сказать, что мне хотелось гулять в

компании малознакомых людей, тем более что Эдуард слишком уж вызывающе кинулся в ухаживание за Аделью, не поинтересовавшись, нравится ли это мне. Он не сомневался, что ей-то понравятся комплименты, которыми он намеревался ее одарить, — и не ошибся. Я заметил, что и Кондрат не выразил прогулочного энтузиазма, он, кажется, даже хотел отказаться, чтобы в одиночестве поразмыслить о теориях Прохазки. Но я не мог оставить Адель наедине с Эдуардом и дружески взял Кондрата под руку — он посмотрел на меня удивленно. Он трудно сходился с людьми, и приятельские отношения у него надо было заслужить, а не запросто получить. Все же, высвободившись из моей руки, он молчаливо побрел с нами.

В парке творился весенний вечер. Теплый ветерок шелестел листвой, томно дышали цветы, перекликались ночные птицы. Мы знали, разумеется, что вечер сработан по графику, Управление Земной Оси в последние годы трудилось без накладок. Но разве не все равно, сама ли природа приносит нам радостные дары или ее вежливо и непреклонно принуждают быть доброй и щедрой? Мне было хорошо в весеннем парке, к тому же Эдуард, увлеченный желанием запоздало поспорить с Прохазкой, на время перестал назойливо покорять Адель.

— Профессор малость заврался, — сказал Эдуард. — Малость, в смысле — очень сильно. Собираюсь доказать это. Где мы это сделаем?

— На первой свободной скамейке, — сказал я.

В парке не мы одни «остужали пылающие мозги». По всем дорожкам ходили пары, кучки и одиночки. Не найдя нигде свободной скамейки, мы уселись на откосе берега. Внизу посверкивало мелкими волнами парковое озерцо, на другом берегу, уже вне университетской территории, сиял широкими окнами Объединенный Институт № 18. Адель подбодрила Эдуарда, ей показалось, что его вдруг одолела робость:

— Итак, Эдик, доказывайте, что профессор заблуждается.

Робость относилась к разряду свойств абсолютно неведомых Эдуарду Ширвинду. Он просто удобней усаживался на земле.

— Одну минуточку, Адочка. Какой-то сучок попал под это самое... Прохазка не заблуждается, а завирается. А это вещи разные.

— Мне не показалось, что он очень путал, — заметил я.

— Он увлек вас широтой концепции. Заворожил, покорил, очаровал. Он пользуется на трибуне недозволенными средствами художественного воздействия. Заметьте, ему одному подносят цветы на лекциях — такие подношения, словно он певец или музыкант, случались не только сегодня.

В отличие от Кондрата, да, пожалуй, и от меня, Эдуард был умелым оратором. Я говорю «умелый», а не прирожденный или блестящий — так точней... Словесными красотами он пренебрегал, разнообразием интонаций не брал, хотя отлично знал, что они воздействуют не только на женщин. Он покорял логикой, в этом было его ораторское умение. В тот весенний вечер особенного ораторского искусства и не требовалось, проблема была из простейших — для несложного вычисления, что тут же доказала Адель. А говорил он о том, что нынешняя материя выделяет из себя нового пространства еще больше, чем в первоначальные минуты взрыва. Ибо что было тогда? Комок разлетающегося вещества! А что сейчас? Огромный космос! И границы его отстоят от нас на миллиарды светолет. Сколько же надо и сегодня превращать материального вещества в пустое пространство, чтобы стал возможен такой разлет?

Меня Эдуард убедил, хоть я старался подобрать контрвыводы. Как и многие люди — особенно если оппонент неприятен, — я не так даже старался вдумываться в его аргументацию, сколько тут же подыскивал возражения. В тот вечер Эдуард меня скорей раздражал, чем нравился, но убедительного опровержения я не придумал.

А Кондрат взорвался. Он так закричал на Эдуарда, что я удивился. Грубость не резонировала с обсуждением научной проблемы. Прошел не один год, пока я стал если и не оправдывать, то понимать Кондрата. Мы трое еще обсуждали прослушанную интересную лекцию, а он уже шел гораздо дальше. Кондрат защищал не Прохазку, а новые свои идеи. Они были бы не верны, если бы был прав Эдуард.

— Вздор! — раздраженно крикнул Кондрат. — Чушь и чепуха! Скорость создания пространства не может оставаться постоянной. Прав Прохазка, а не ты!

— Возможно, прав Прохазка, а не я, — сказал Эдуард. — Но, друг мой Кондратий, зачем орать об этом на

весь парк? По-моему, надо проделать небольшое вычисление, и станет ясно, чепуха ли и вздор...

— Я уже сделала вычисление, — прервала его Адель.

Еще когда Эдуард доказывал, что Прохазка ошибся, Адель достала из сумочки карманный компьютер. Если и был в нашем кругу человек, свято выполнявший завет древнего философа Лейбница, изобретателя дифференциального исчисления: «Не будем спорить, будем вычислять!», то им была именно она, пока еще простушка, пока только миловидная, а не красавица, будущий астроном, а не светило космологии — наша зеленоокая салатноволосая Адель Войцехович. Слова она приберегала для выражения чувств и живописания жизненных целей, слов и для этого временами не хватало в ее словарном запасе. Для научных же проблем ей служили формулы и цифры. А сияние далеких окон Института № 18 давало вдосталь света для игры на клавишах карманного калькулятора.

Адель объявила:

— Исхожу из того, что высвобождение пространства зависит только от массы вещества и совершается всюду одинаково. Так вот, объем в один кубический сантиметр расширяется в год на один сантиметр, помноженный на пять в минус десятой степени. Иначе говоря, удвоение объема космоса при современной скорости его расширения потребует что-то около пятидесяти миллиардов лет.

— Между тем возраст Вселенной определяется нынче всего в двадцать миллиардов лет, — сказал я, чтобы показать, что не безучастен к спору.

Кондрат с прежним раздражением сказал Эдуарду:

— Теперь ты понимаешь, что нынешняя ничтожная скорость расширения космоса не годится для Большого Взрыва? Тогда выброс пространства разбрасывал частицы со световой скоростью, отчего они и превратились в фотоны. Категорически настаиваю на этом!

Эдуард снисходительно улыбался.

— Если категорически настаиваешь... Не ожидал, что это для тебя так важно, Кондрат.

— Важно! — отрезал Кондрат. Он любил оставлять за собой последнее слово.

Не один день прошел, пока мы поняли, как воистину важно было Кондрату оказаться в этом споре правым.

Бурная вспышка Кондрата оборвала обсуждение лекции Прохазки. Да и поздно уже было. Кондрат пожал мне и Адели руку и позвал с собой Эдуарда. Эдуард по-

обещал догнать его, небрежно тряхнул мою руку, долго не выпускал руки Адели и сказал ей, что поражен ее пониманием трудных вопросов космологии и быстротой вычислений. Потом он побежал догонять Кондрата — побежал, а не просто поспешил за ним.

— Впечатление, что боится потерять своего друга, — сказал я, следя, как Эдуард перескакивает через кустики. — Скачет, как конь.

— Да, замечательные люди! — горячо сказала Адель.

— Что ты заметила в них замечательного?

Она не уловила моей иронии.

— Все, Мартын! Умные, остроумные. И такие друзья!

— Да, пожалуй. Особенно чувствовалась их дружба, когда Кондрат орал на Эдуарда.

Ирония наконец дошла до нее, а ума ей было не занимать.

— В тебе чувствуется недоброжелательство, Мартын. Ты сердишься, что Эдуард ухаживал за мной.

— Мы говорили об их дружбе, а не обо мне.

— Да, об их дружбе. Скажи, ты мог бы так закричать на чужого человека, как Кондрат на Эдуарда?

— Только если бы он смертельно оскорбил меня.

— И ты, думаю, не потерпел бы, если бы на тебя так закричали?

— Нет, конечно.

— Вот видишь. А Эдуард стерпел. И то, что Кондрат в научном споре кричит на Эдуарда, а тот не обижается — и есть доказательство дружбы, для которой подобная вспышка мелочь.

— Дружба или несдержанность?

— Разве дружба неравнозначна полной раскованности души? Зачем с другом напяливать на себя панцирь отстраняющей вежливости?

Я промолчал, она добавила:

— Но главное — не их дружба. Мало ли кто с кем дружит! Мы с тобой тоже друзья. Они живут наукой! Наука у них — самое важное в жизни. Я бы очень хотела укрепить наше знакомство. Ты не возражаешь?

— Ты знаешь, Ада: твои желания для меня — закон.

Я говорил искренно. Но жестоко бы соврал, сказав, что меня обрадовало ее желание. Умных парней хватало в университете и без этих двух. И меня огорчили ее слова о том, что мы с ней друзья. Сколько раз она дока-

зывала мне, что мы больше, чем друзья! Я предугадывал, что новое знакомство внесет разлад в наши отношения. В последней кучке деревьев перед входом в студенческую гостиницу я стал целовать ее. Целовалась она всегда охотно и нежно, так было и в тот вечер. Но когда я предложил подняться ко мне, она ласково оттолкнула меня:

— Не сегодня, Мартын. У нас с тобой впереди целая жизнь.

Впереди, точно, была целая жизнь. Но общей жизни уже не было.

Ни она, ни я этого еще не понимали.

4

Так, развалясь на траве на берегу институтского озера, я вспоминал начало нашей общей дружбы. Уже наступила ночь, на другом берегу темнело здание университета, наша ласковая «альма-матер», наша «мать кормящая», где мы учились, где приобретали и теряли любимых, где из пытливых «сосунков науки», так мы сами себя тогда окрестили, постепенно превращались в мастеров мысли и знания.

И я рассердился на себя. Не о том надо думать! Единственно важным был красочный, бурноречивый Клод-Евгений Прохазка, его тогда еще мало кем признанная, теперь узаконенная теория Большой Вселенной. Именно из парадоксальной теории пражского профессора, из идеи непрерывного умножения мирового пространства родилась работа Кондрата Сабурова. И возникли все мы, «призовая четверка ошалелых гениев», как обозвал нас однажды Карл-Фридрих Сомов, сегодня потребовавший от меня расследования горестного финала так блестяще начатых исследований. Истоки несчастья были в космологических теориях Прохазки. Надо было размышлять о них, а я видел Адель и не хотел вникать в то короткое, так быстро ею проделанное на карманном компьютере вычисление, хоть и знал теперь, что существенно важным было оно, это маленькое вычисление, а не внешний облик Адели, ее глаза, шелест ее платья, ее руки, так ласково обнимавшие меня в тот вечер, запах ее духов, смешавших в себе смутные ароматы гвоздики, яблок и ананасов. «Твои духи так аппетитны, что ими можно насыщаться. Какое-то сладкое попурри из плодов и цветов!» — вскоре

скажет ей Эдуард и будет часто со смехом повторять свою не то остроту, не то комплимент. «У нас с тобой впереди целая жизнь, Мартын!» — так сказала она, прощаясь. И — понимаю это — сказала не так для меня, как для себя самой, ибо чувствовала, что знакомство с двумя новыми студентами станет барьером для нашей близости. Я не жалуюсь и не огорчаюсь. Наша любовь возникла случайно, распад ее совершился закономерно. Совершенно не уверен, что было бы лучше, если бы любовь продолжалась.

— Опять не о том! — упрекнул я себя. — Адель да Адель! Не превращай свои личные неудачи в причину научных просчетов. Думай о Прохазке, думай об идеях Кондрата, такое тебе задание.

Задание было ясное. Но ясно было одно: все темно! И загадка была, конечно, не в Адели. Но не думать о ней я не мог. Столько лет после разрыва я равнодушно смотрел на нее, спокойно с ней разговаривал, она меня не волновала — так шли наши дальнейшие отношения. Но в тот вечер, когда мы слушали лекцию Прохазки, Адель была важной частью моего существования. И в воспоминаниях о том вечере она возобновилась во мне во всей тогдашней близости. На какой-то час в воспоминании она стала важней и Прохазки, и Кондрата, и Эдуарда, и всех наших дел. И я видел как бы со стороны, что хожу вдоль общежития, смотрю на ее освещенное окно, — почему она так долго не гасит света, почему не ложится, может, чувствует, что я еще здесь, внизу, может, раскроет окно и выглянет? Свет горел долго, вероятно, она читала в постели, потом окно погасло. Я еще постоял немного и пошел к себе.

— Вот так и кончилась твоя любовь, — сказал я себе и рассмеялся. — Никто в окно не выглянул, и ты пошел спать и, помнится, спал хорошо. Любовные неудачи никогда не нарушали твоего спокойствия, немного подосадуешь, и все. Многое, очень многое было тебе важней любви, Адель лишь первая подтвердила это. Будешь теперь думать о буйном профессоре из прекрасного древнего города Праги? А если не сможешь возобновить сегодня все вызванные его лекцией события, то отправляйся спать и спи безмятежно, как в тот последний вечер, когда Адель еще считала себя твоей возлюбленной. Вспомни напоследок пословицу предков: утро вечера мудреней.

Я направился домой.

Утром я пошел в Лабораторию Ротоновой энергии.

Ровно год я не переступал порога этого одноэтажного над землей, многоэтажного под ней здания и перед закрытой дверью остановился. Действует ли мой шифр? В час нашей последней ссоры с Кондратом он с гневом кричал: «И не смей приближаться к лаборатории! Я вычеркиваю твой шифр из двери, как вычеркиваю тебя из моей памяти!» В ярости он перебирал в угрозах: в лаборатории хранились мои вещи, он не мог запретить мне прийти за ними. Но я не пришел, я все бросил — перечеркнул прошлое навеки, так мне казалось. И я не захотел проверять, так ли абсолютен запрет Кондрата, как он сулил. А с той поры случилась и трагедия взрыва — сожженные генераторы, гибель Кондрата... Возможно, никакие цифры теперь не действенны. Придется тогда просить разрешения на принудительное открытие дверей — так, наверно, входили в лабораторию члены следственной комиссии, ведь ни у кого из них не было личного шифра входа.

Долгую минуту я рассматривал массивную дверь. Никаких следов повреждений! Та же угрюмая поворотная махина, которую шесть лет я ежедневно созерцал, не возмущаясь, что от команды на вход до входа протягиваются сорок секунд, бесценные сорок секунд, которые можно потратить куда эффективней, чем на лицезрение тупой броневой плиты. А когда я говорил Кондрату, что он отделился от внешнего мира слишком неповоротливыми механизмами, он ухмылялся: «Зато надежными, Мартын. Кстати, зачем ты пялишь глаза на дверь? Думай о своих делах, пока компьютер высчитывает, достоин ли ты входа. Я всегда так поступаю». Он думал, что каждый способен так всецело впадать в размышление, как он. Эдуард уверял, что видел, как дверь открылась, побыла открытой, потом снова закрылась, а перед дверью стоял Кондрат и так задумался, что забыл переступить открывшийся на десять секунд порог.

Без уверенности, что механизмы работают, я положил левую руку на пластинку в небольшом углублении. Ничто не показывало, что линии моей ладони прочитаны. Впрочем, и раньше все совершалось без шума, только Адель с ее слухом летучей мыши различала какие-то темные подрагивания и поскрипывания. Я поглядел на часы, секунды плелись еще медленней, чем при Кондрате. Стрелка проползла цифру сорок, входа не было. Я еще постоял

секунд пять и повернулся уходить. Но на пятидесятой секунде дверная плита задвигалась, я заторопился вернуться — вход открывался только на десять секунд, сейчас могло быть и того меньше. Переступив порог, я остановился. Дверная плита закрылась через четырнадцать секунд. Все было как до моего ухода из лаборатории, лишь чуть замедленней. Но шифр мой действовал, Кондрат не стер его из памяти компьютера. Я еще не знал, почему он не выполнил своей угрозы, но мне это было приятно.

Я вынул из кармана два датчика мыслеграфа и закрепил их за ушами. Теперь все, о чем я подумаю, что увижу, что услышу, даже все, что почувствую, будет зафиксировано на бесстрастной пленке моего личного самописца. В помещениях вспыхивали светильники, я переходил из комнаты в комнату. И здесь все было на своих местах, все было цело. Как будто и не было взрыва, и никто не погиб, а временно прекращены работы. Перед комнатой Кондрата я остановился. Мне не хотелось в нее входить, но входить было нужно. В ней ничего не переменилось — стол, два стула, диван, компьютер с дисплеем, шкаф для документов, шкаф для приборов. На стене, над столом четыре портрета — Ньютона, Эйнштейна, Игоро и Прохазки. На стене против дивана — Ферми и Жолио. Кондрат редко бывал в своей комнате, он любил ходить, а здесь не хватало простора. Внизу, в обширных подвальных помещениях, он проводил часы, там, среди тесно сомкнувшихся механизмов, ему было свободней — одна из тысяч его странностей. Впрочем, у этого поразительного человека, в избытке напрессованного странностями, странными казались лишь общераспространенные особенности. Он удивлял, когда становился похожим на других.

Я заглянул в комнаты Адели и Эдуарда, но не стал в них задерживаться — в них не было ничего интересного. Даже духа бывших хозяев не ощущалось в этих самых роскошных помещениях лаборатории. Еще при мне Кондрат с яростью выметал, выбрасывал, выскребывал все, что хоть отдаленно напоминало о ней и о нем. Залитые светом, пустые, обширные, они стали еще тогда ни для чего и ни для кого. Сам он сюда никогда не заглядывал, мне эти комнаты были не нужны, только компьютер иногда включал автоматические пылесосы. Что же осталось в моей комнате? — думал я. Ведь ссору со

мной Кондрат переживал сильней, чем разрыв с Аделью и Эдуардом.

Пораженный и растроганный, я оглядывался. Ничего не изменилось в моей комнате. Будто не год назад, а только вчера я покинул ее. Если бы сюда заходил посторонний, он непременно что-нибудь переставил бы, — стул, стоявший боком к столу, так и просился повернуться аккуратней, настольная лампа — я любил это древнее приспособление для света — по-прежнему торчала на краю стола. Я всегда ставил ее на самый край, чтобы побольше было свободы на столе — коснись неосторожно, вмиг упадет, — нет, не упала, не сдвинута к середине. Я сел за стол, выдвинул ящик, там, на кучке бумаги, лежал наискосок мой рабочий журнал. Хорошо помню, что бросил его именно наискосок, времени не было поправить, — в комнату в эту минуту ворвался рассвирепевший Кондрат. Вот журнал лежит, придавив своей тяжестью легкие пластиковые листочки заметок и записок, — точно наискосок, ни разу за год моего отсутствия его не коснулась чужая рука...

И хоть ничего в моей комнате не изменилось, я не ощущал в ней заброшенности. Ничто не свидетельствовало, что ее посещали, но я сразу уверовал, что Кондрат в ней бывал: входил, пересекал по диагонали, осматривался и уходил, — так бывало, когда я в ней работал, так происходило после нашего разрыва. Любой другой посетитель, войдя, что-нибудь чуть-чуть поправил бы, чуть-чуть переместил, только Кондрат мог двигаться в этой небольшой комнатушке так, ни до чего не дотрагиваясь. Нет, здесь не было уважения ко мне, скорей уж мщение — вот ты ушел, мне трудно без тебя, но смотри — ничего не беру, ничего не меняю. Все твое — твое! Тебя нет — есть недобрая память о тебе! С Аделью и Эдуардом он вел себя по-иному.

Я раскрыл журнал на последней записи и перевернул страницу.

На новой странице я вывел заглавие: «Лаборатория Ротоновой энергии. Создание и гибель замысла».

Теперь тема была обозначена ясно. Оставалось расчленить ее на главы важнейших событий, и каждое исследовать особо. Кондрата, будь он жив, взбесила бы моя педантичность, он выходил из себя всякий раз, когда я разрабатывал методику очередного эксперимента. Он привык скакать через ступеньки. Ему это удавалось, но я не

обладал его чудовищной прозорливостью. Историю исследований Кондрата я мог описывать лишь от узла к узлу, а не теми прыжками над горами и пропастями, как она реально мчалась к трагическому финалу.

Я вывел на второй странице:

Основные ступеньки движения

1. Знакомство на лекции профессора Прохазки.
2. Туманные идеи Кондрата Сабурова.
3. Содружество четырех. Идеи проясняются.
4. Диплом и назначение в Объединенный Институт № 18.
5. Лучезарный Огюст Ларр и зловещий Карл-Фридрих Сомов.
6. Лаборатория Ротоновой энергии получает первое признание.
7. Женитьба Сабурова и бегство Ширвинда.
8. Эдуард Ширвинд возвращается.
9. Карл-Фридрих Сомов ставит палки в колеса.
10. Сабуров обнаруживает ошибки в своей теории.
11. Измена Адели Войцехович и Эдуарда Ширвинда.
12. Изгнание Мартына Колесниченко.
13. Взрыв.

— Отличная программа! — произнес за моей спиной насмешливый голос. — Если не ошибаюсь, друг Мартын, вы собираетесь писать детективный роман в древнем стиле — таинственные преступления, любовные страсти, злобные противники и прекраснодушные покровители... Не так?

Я вскочил. Позади стоял Сомов. Его глубоко посаженные глаза горели, широкое лицо кривилось в усмешке. Он наслаждался, словно поймал меня на скверном поступке, которого заранее ожидал. Я возмутился:

— Кто дал вам право вторгаться в мою комнату? Я не посылал разрешения на вход.

Усмешка слетела с его лица. Теперь он глядел холодно и хмуро. Тысячи раз я видел его таким.

— Обращаю ваше внимание на две ошибки, друг Мартын. — Голос звучал бесстрастно и отстраняюще — тот «желтый» голос, каким он разговаривал с подчиненными — во всяком случае, со мной всегда. — Первая: заместителю директора Института не требуется иного разрешения на вход в любую лабораторию, кроме его личного шифра. Вторая: эта комната не ваша, а бывшая ваша.

Если вы того пожелаете, она снова станет вашей. Но вы такого желания пока не высказали.

Во мне все сильнее закипал гнев.

— Даже положение заместителя директора не дает права высматривать через плечо, что я пишу.

— Третья ошибка. Я не заглядывал вам за плечо. — Он показал на дисплей настольного компьютера — на нем сияла исписанная мной страница. — Советую в другой раз использовать старинные карандаши, а не современное стило, переносящее каждую букву на экран. Укажу и на четвертую ошибку. На дисплее изображена программа расследования катастрофы: именно то задание, которое мы с Ларром вам предложили. Стало быть, нет вины в том, что я случайно с ней познакомился.

Я взял себя в руки.

— Все логично. У вас есть замечания к программе?

— Пока стилистические. Лучезарный Огюст, зловещий Карл-Фридрих, бегство Ширвинда, измена, изгнание... Не слишком ли много цветистой старины даже для любителя старого стиля? Например, вот это — ставить палки в колеса! Колесный транспорт можно увидеть только в музеях. К чему в век ракет и антигравитаторов такие древние термины?

— Хочу доказать, что и в наш век антигравитаторов иные старинные выражения точно отражают реальность.

Он сел, не дожидаясь приглашения.

— Ваше право. Как вы догадываетесь, я пришел не для того, чтобы вычитывать с дисплея предварительную программу вашего расследования. Будет день — вы сами доложите мне методику поиска.

— Результаты, а не методику, — поправил я. Сомов многого хотел. Наши личные отношения, сколь ни важны они были для Кондрата и для меня, Карлу-Фридриху я раскрывать не собирался.

Он пожал плечами.

— Границы установите сами. Я не любитель старинных детективов, так что с этой стороны можете оставаться спокойным.

— Итак, вы пришли сюда ради того, чтобы... — напомнил я.

— Совершенно верно: чтобы вручить вам эту папку с документами лаборатории.

Он протянул толстый пакет, который держал в руках. Я сказал:

— Разве я не известил вас с Ларром, что отчет комиссии, расследовавшей катастрофу, и личные дневники Сабурова пока меня не интересуют? Я обращусь к ним, когда стану сверять свое мнение с официальными выводами.

— Вот, вот! Пусть все эти документы будут у вас под рукой, когда понадобятся. Кстати, здесь не только доклад комиссии и дневники Сабурова, но и рабочие журналы лаборатории. Без них вы вряд ли восстановите в памяти все детали экспериментов.

Я положил пакет на стол. Было что-то раздражающее в настойчивости, с какой Сомов стремился заранее воздействовать чужими мнениями на мое, еще не сложившееся. Мне захотелось показать этому человеку, что я отлично его понимаю.

— Кажется, вас беспокоит, что мое заключение будет сильно отличаться от того, какое вы хотели бы получить?

Он хладнокровно снес мой выпад.

— Почему вам так кажется?

— Ну, знаете, Карл-Фридрих!.. Наши с вами отношения никогда не были дружескими. Эдуард острил, что если всюду, где вы говорите «да», поставить «нет», то будет сносно. Но до этого с вами трудно.

— Ширвинд хорошо острил, мне часто нравились его шутки. И отношения с вашей блестящей четверкой могли быть лучшими, чем реально были. Но какую это имеет связь с сегодняшней беседой?

— А ту, — резко сказал я, — что мы всегда были вам нежеланны в Институте. И особенно был неприятен я. Разве вы не жаловались на мою бесцеремонную прямоту еще больше, чем на грубость Кондрата? И сомневаюсь, что вам нравились остроты Эдуарда! И уверен, что из всех кандидатур в расследовании трагедии с ротонами моя — самая для вас неприемлемая. Могу представить себе, какой нажим оказал на вас директор, чтобы вы согласились привлечь именно меня, а не другого.

— Не представляете, — холодно возразил он. — Обычное ваше попурри из ошибок и истины. Вашу кандидатуру предложил я, а не Ларр. И могу информировать, что он согласился только под моим нажимом.

Я бы жестоко соврал, если бы сказал, что ожидал такого признания. На какую-то минуту я растерялся. Сомов пристально и спокойно глядел на меня.

— Все-таки, я думаю...

Он прервал меня:

— Будет еще время разобраться во всех почему и отчего. Сейчас вы знаете, что я сам желал вашей кандидатуры — и это облегчит мою просьбу к вам.

— Вы сказали — просьбу?

— Я сказал — просьбу. Она такова. Со временем ваши выводы станут известны всем. Но пока они не отлились в окончательную форму, не делитесь своими соображениями ни с кем. Особенно — с вашими друзьями Войцехович и Ширвиндом. Они, вы сами понимаете, пристрастны.

Я снова сделал ошибку. В этот первый день расследования мне предстояло непрерывно ступать на тропки, уводящие от истины.

— Я толкую ваши слова, Карл-Фридрих, так, что посвящать в свои предварительные соображения я должен только Ларра и вас?

— Вы неправильно толкуете мои слова, друг Мартын. Только меня. Академик Ларр относится к тем, кого нельзя знакомить с фактами, не получившими завершенной оценки. И, скажу откровенно, я настаивал на вашей кандидатуре не только потому, что вы лучше всех знаете Ротоновую лабораторию, но еще и потому, что надеялся с вами легче чем с другими достичь такой договоренности.

— Что кроется за вашими странными просьбами?

— Только одно. Огюст Ларр — выдающийся энтузиаст чистой науки. Но я опасаюсь, что в вашем расследовании обнаружатся обстоятельства, весьма далекие от специфических научных задач. Зачем подвергать испытанию глубокую мысль и чуткую совесть нашего руководителя?

Нет, решительно в этот день мне суждено было нагромождать одно заблуждение на другое!

— Это звучит так, словно вы опасаетесь раскрытия каких-то преступных действий, задевающих вас лично!

— Преступных действий? И задевающих меня лично? Уж не подозреваете ли вы, что какие-то мои административные решения вызвали взрыв в лаборатории?

— Во всяком случае, не буду поражен, если обнаружится что-либо похожее. Вы столько мешали нам, столько...

— Ставил вам палки в колеса, так? — Он кивнул на дисплей, там еще сияла моя программа. Я сердитым на-

жатием кнопки погасил экран.— Что ж, исследуйте и это, друг Мартын.

— Не премину, — с вызовом отозвался я.

Впервые он улыбнулся. В улыбке было больше печали, чем сарказма. Что-что, а печаль мало соответствовала его характеру.

— Вот видите, вы уже сами готовы признать, что в трагедии могут появиться побочные к науке обстоятельства. Это меня устраивает. Для полноты укажу вам еще одну тему из таких побочных. Имею в виду вашу личную роль в лаборатории.

— Вы, кажется, считаете, что я причастен к взрыву?

— А почему бы и нет? Вы глубже всех разбираетесь в специфике ротоновых исследований, вы были близким другом Сабурову.... И вы поссорились с ним, да еще так, что и слышать не хотели о ротонах, создали собственную, принципиально иную лабораторию. Сабуров, вы это сегодня сами узнали, не отменил вашего входного шифра, он оставил вам возможность возвращения, но вы возненавидели его лабораторию и его самого. Отсюда один шаг до мщения. Логичная цепь, не правда ли?

Я засмеялся. Мой смех звучал, наверно, невесело.

— И вы верите в правдоподобность этой любопытной цепи?

Он встал.

— Я верю, что вы исследуете и эту логическую цепь и доложите мне первому выводы, к каким придете. У меня нет причин сомневаться в вашей человеческой и научной честности.

Сухо кивнув, он ушел.

5

Многое я мог вообразить, только не то, что меня самого можно заподозрить в причастности к катастрофе. И самым, вероятно, удивительным было то, что логика в таком подозрении имелась. Наша ссора с Кондратом прямо наводила на такую мысль. Я вдруг понял, каким искаженным может выглядеть мой уход из лаборатории. И я не мог доказательно опровергнуть такое искажение. Не мог же я объявить: Кондрат стал непереносим, потому и покинул его. Подобные объяснения звучат слишком уж

по-детски. И я сам в ходатайстве об уходе указал другую причину: охладел к ротоновой тематике, хочу поэкспериментировать в другой области. Ларр с Сомовым понимали, что причина не в охлаждении к ротонам, а в чем-то более важном. Но в чем? Сомов только что объяснил: испугались-де, что эксперименты ведут к катастрофе, и заблаговременно сбежали. Могли поднять тревогу, могли потребовать обсуждения экспериментальных трудностей, могли, стало быть, предотвратить трагедию — нет, не предотвратили, просто сбежали. Вот так приходится толковать ваш поступок. И я не могу возмутиться, не могу на оскорбительное подозрение ответить оскорбительной дерзостью, ибо есть нечто, в чем я себе самому долго не позволял признаться: не было настоящей причины для моего ухода из лаборатории! Прав, прав сухарь и недоброжелатель Сомов, он точно нащупал больную точку и безошибочно ударил в нее. Он ведает, что творит. Он сообразил, что сам я не способен оценить свои поступки, и предлагает взгляд со стороны — вот эти официальные отчеты, рабочие журналы да в придачу дневники Кондрата, такие же путаные и пристрастные, какими мы оба с ним были.

Я положил в ящик стола принесенный Сомовым пакет.

— Не удалась ваша подсказка, дорогой Карл-Фридрих, — сказал я вслух. — И не удастся! Понимаю, понимаю вашу цель! Представить трагедию если и не в светлых одеждах, то хотя бы как благородный научный риск. Даже вызовет уважение — ах, как опасна их работа на наше общее благо, вот они, герои науки, благоговеть перед ними! Нет, Карл-Фридрих, слишком уж элементарна задумка! Хотите знать правду? Правда в том, что я понятия не имею, какова правда. Но постараюсь узнать. Это единственное — обещаю. — Я включил дисплей. На экране снова засияла намеченная мной программа. — Итак, встреча четырех на лекции Клода-Евгения Прохазки. Слушаю себя. Что еще скажешь о Прохазке?

Но мне нечего было говорить о Прохазке, кроме того, что существовал такой научный скандалист, невысокий, почти четырехугольный, лохматый, крупноносый человечище. И что он приехал в нашу прекрасную Столицу из древнего города Праги и мощнотрубным голосом крушил с университетской трибуны фундаменты космологии. И что мы, четверо юнцов, покоренные красочным обликом

профессора и его голосищем, увлеклись яркостью его революционных теорий. И что космогоническая теория Прохазки наконец стала общепринятой, а сам он умер вскоре после того, как ему поставили в его родном городе первый прижизненный памятник. И что теперь этих памятников немало во всех университетских городах и что в аудиториях молодые профессора многословно умиляются: как много сделал в науке этот удивительный ученый. Столько веков наука исследовала одно материальное вещество, углублялась в недра атомов и ядер, и лишь Прохазка, первый и при жизни единственный, показал, что величайшая загадка мироздания вовсе не вещество, излучающее из себя энергию, а мировое пространство, то пустое пространство, природа которого так долго игнорировалась наукой.

— Вот и все, что я знаю о великолепном научном буяне, — сказал я вслух экрану, на котором светилась его фамилия. — Что там следующее? Туманные идеи Кондрата? Но ведь если они туманные, чего-либо ясного о них не сказать.

Я закрыл глаза и задумался. Закрытые глаза мало помогали мысли, но так лучше вспоминалось прошлое. Я шел по университетскому парку. На свободной скамейке сидел Кондрат. Я присел рядом, он неодобрительно посмотрел на меня. Я решил это перетерпеть. На всякий случай сказал:

— Мы недавно познакомились. Вас зовут Сабуров, верно?

— Кондратий Петрович Сабуров, — ответил он хмуро. — А вы парень этой... Клавдии Войцехович?

— Адели, а не Клавдии. Нет, я сам по себе, а не чейто. Надеюсь, возражений не будет?

— Ну, и оставайтесь сами по себе, мне какое дело, — пробурчал он и отвернулся.

Я тоже молчал. В парке весна переходила в лето. Время шло к полудню. В вышине торчали неподвижные золотые тучки — и от этого все небо казалось золотым. Я вспомнил две строчки древнего поэта: «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, Аи». Я никогда не видел черных роз и не знаю, что такое Аи, — просто лимонад или что покрепче. Но насчет неба поэт не ошибся, оно сегодня было таким.

— Почему вы молчите? — вдруг с негодованием спросил Кондрат.

— Вы тоже молчите, — огрызнулся я. На возражение умнее я не нашелся.

— Я размышляю.

— Вы считаете, что размышлять свойственно только вам?

— Ничего вы не размышляете! — Он все больше сердился. — У вас пустые глаза. Вы любуетесь небом и цветами, вот что вы делаете! Это даже слепой увидит.

— А вы, естественно, не слепой. Если хотите, чтобы я ушел, скажите прямо. Не буду навязывать своего нежелательного присутствия.

— Я не гоню. Оставайтесь.

— Благодарю за разрешение. Какие еще веления?

В нем совершилась перемена. Потом я привык к скачкам его настроений, но в тот день удивился. Он произнес очень дружески:

— Послушайте, помогите мне. Вы сможете.

— А какого рода помощь?

— Простая. Мне нужно совершить одно великое открытие. Оно у меня на языке, но никак не формулируется. Помните вашу Адель?

— В каком смысле надо ее помнить? Я с ней дружу уже несколько лет. Но она, между прочим, не моя, а тоже своя собственная. И очень своя, могу вас уверить.

— Это хорошо. Я хотел бы, чтобы вы вспомнили ее маленькое вычисление. Поразительный результат, не правда ли?

Мне показалось тогда, что я понял нового знакомого. Этот сумрачный верзила с таким переменчивым настроением, видимо, не знает меры в оценках: какую-то — несомненно, мелковатую, идею называет великим открытием, да еще уверяет, что совершать великие открытия очень просто. А в примитивном арифметическом подсчете обнаружил поразительные результаты. Я постарался, чтобы моя ирония дошла до него.

— Адель непрерывно что-нибудь вычисляет. Для этого она и носит крохотный компьютер в сумочке. Вычисление — рабочая площадка астронома-теоретика. Разве вы этого не знали?

Он нетерпеливо отмахнулся.

— Знаю, знаю! И что она готовится в теоретики. И что вы тоже... это самое... ядерщик! Я говорю о расчете, что она сделала на лекции Прохазки. Все думаю и думаю о нем.

— И в результате этих дум пришли к великому открытию?

Ирония до него не дошла. Насмешки его не брали. Он был слишком глубок, чтобы замечать такие мелочи, как издевка или зубоскальство. Человек, лишенный чувства смешного, вот таким он был. Он сказал с какой-то только ему свойственной задумчивой рассеянностью:

— Любой комочек вещества рождает пространство. И ваша Адель подсчитала, что для удвоения объема потребуется, примерно, пятьдесят миллиардов лет, в два раза больше, чем возраст нашей Вселенной. Вас это не потрясает?

— Нисколько. Я не уверен в точности вычисления.

— Приблизительно верно, я проверил. Да и какое это имеет значение — один миллиард лет больше, один меньше. Вы не согласны?

Мне было совершенно безразлично, сколько миллиардов лет потребуется для удвоения объема любого предмета, тем более объема космоса. Земное бытие эти фантастические цифры не затрагивали. К тому же я шел в ядерщики, а не в космологи: проблема была вне моей специальности.

Кондрат вслух размышлял:

— Пятьдесят миллиардов лет на удвоение объема. А объем мирового космоса с момента Первичного Взрыва увеличился не вдвое, а в миллиарды миллиардов раз! Но ведь из этого следует, что образование пространства ныне идет значительно медленней, чем в момент рождения Вселенной. Вот почему основная материя в мире состоит уже не из света, не из фотонов, а из вещественных частиц — протонов, нейтронов и прочего. Вселенная все тускнеет и тускнеет, разве не так?

— Вы уже высказывали эту идею своему приятелю Эдуарду, — напомнил я. — В этой печальной идее и заключается ваше великое открытие? Я имею в виду непрерывное потускнение Вселенной.

— Почему печальная? Нормальная, а не печальная. Нас не должно огорчать падение дозы света в Большом космосе.

— Меня во всяком случае не огорчает. На миллиарды лет существования я не рассчитываю. Удовлетворился бы ста годами, а на это время света в мире хватит. Так в чем ваше великое открытие?

Нет, до него решительно не доходила ирония! Он сказал:

— Пока не открытие, только идея открытия. И по-настоящему великого, вы в этом сейчас убедитесь. Слушайте меня и не прерывайте. Терпеть не могу, когда перебивают. Итак, скорость образования пространства непрерывно падает. Но если она способна меняться, то может не только падать, но и убыстряться. Вот если бы наддать ускорения созданию пространства!

— Вам мало простора в сегодняшнем космосе? — все же прервал его я. — Или хотите сотворить новый Большой Взрыв во Вселенной?

Он гневно махнул рукой. Доброе настроение вмиг превратилось в раздражение.

— Не говорите глупостей, Мартын! Ведь вас зовут Мартыном, верно? Зачем мне устраивать вселенские взрывы в космосе? Но небольшой, хорошо контролируемый взрыв пространства в лабораторном масштабе, внутри специального механизма!.. Неужели вас не прельщает такая идея?

— Я ее не понимаю, — сказал я. Твердо знаю, что в ту минуту и отдаленно не постигал, на что Кондрат замахнулся. Но что слушаю не бред, а нечто заслуживающее внимания, уже соображал. — Зачем вам взрыв пространства внутри лабораторного механизма?

И его охватило вдохновение. Он не высказывался, а исторгался. Немногословный, быстро раздражающийся от того, что его плохо понимают, а сам он мало способен популяризировать себя, он в ту нашу встречу был захватывающе красноречив. И он еще не кончил своей речи, как я был полностью убежден. Больше чем убежден — покорен.

О чем он говорил? Сейчас я не мог бы точно передать его слова. Мне вспоминаются озаренное лицо, глубокий глуховатый голос. Но не сомневаюсь, что он уже тогда говорил о том, чем спустя несколько лет мы стали заниматься вчетвером. Использование энергии, образованной в атомном ядре, заново создающимся пространством — так впоследствии, тяжело и невнятно для непосвященного, он сам назвал свою идею.

— Мартын, какой мы построим механизм для вычерпывания энергии из вакуума! — говорил он. — Древняя мечта о вечном двигателе покажется мелким пустячком рядом с нашими гигантскими генераторами!

Вот такой он был! Любая идея, вдруг явившаяся в голову, казалась ему уже осуществленной, раз она засела в мозгу. Он был одарен великой способностью открывать, но равноценной способности претворять ему дано не было. Интуитивно понимая это, он отыскивал и создавал помощников и вскоре превращал их в почитателей и преданных научных слуг. Такими были мы трое — Адель, Эдуард и я. Но каждый только до поры до времени.

А в тот день, как ни был я сам увлечен, я постарался вылить ведро холодной воды на его разгоряченную голову.

— Интересно, Кондрат. Интересно и значительно. Но ведь это только идея открытия, а не само открытие. И довольно туманная идея, доложу вам.

Он нехотя согласился.

— Да, пожалуй. Добавлю одно — пока туманная. Когда мы засядем за расчеты? По-моему, сегодняшний вечер вполне пригоден для начала.

— Ни сегодня, ни завтра, — сказал я. — Еще не уверен, что гожусь для такой работы, даже если найдутся свободные вечера и дни.

Он был так уверен, что я уже его помощник, что пропустил возражение мимо ушей. Он умел не слышать того, что ему не нравилось.

— А четвертой будет ваша подруга... Адель, я правильно называю? Надо бы с ней встретиться. Вы проводите меня к ней?

— В любое время. Вы сказали, что она — четвертая. А кто третий? Считая, что первый вы, а второй — я, что, впрочем, не бесспорно.

— Третий — Эдик. Эдуард Ширвинд, вы его знаете. Он, пожалуй, легковесен. Зато хорош в критике неудач. Нам он пригодится.

Даже мысли такой ему не явилось в голову — что кто-то из нас троих откажется идти к нему в помощники!

6

Адель не обрадовалась появлению Кондрата. Она готовилась к экзаменам по небесной механике. Курс был трудный. «Небесный механик» — старичок очень ученый и очень педант — спрашивал строго, а у Адели была рас-

точительная привычка все экзамены сдавать только на «отлично».

— Друзья, вы выбрали неудачное время. Давайте встретимся через несколько дней.

Я поднялся уходить. У нас с Аделью уже шло к разрыву, только мы оба еще не знали этого, нам казалось, что трудная экзаменационная сессия — единственная помеха к продолжению ежедневных встреч. Но Кондрат остановил меня. Он не мог уйти не высказавшись. Что Адель не способна внимательно слушать, его не смущало. Она должна слушать, — идея, какую он выскажет, несравненно важней всех ее экзаменов, и сегодняшних, и будущих.

И он высказался. Без того вдохновения, каким воздействовал на меня, зато короче. Не думаю, чтобы новизна его идей захватила Адель, но в отличие от него она была хорошо воспитана.

— Очень интересно, Кондрат. Я, конечно, смогу помочь вам как вычислитель. Но только после экзаменов.

Она сказала это так категорично, что Кондрат потускнел. С Аделью он вообще был сдержанней, чем с нами,— первое время, естественно. Надолго скудных запасов его тактичности не хватило. Он ушел, а я задержался у Адели. Она со смехом сказала:

— У нашего нового знакомого есть божество, которому он поклоняется. Это божество — он сам. Заботы других ему безразличны.

В те дни я уже глубже разобрался в характере Кондрата, чем Адель.

— В нем совершается наука, Ада. Она — его единственное божество. И он поклоняется только ей.

— Возможно, Мартын. Но божество его выглядит мрачноватым. Мало радости поклоняться такой требовательной науке. Наверно, поэтому Сабуров сам выглядит хмурым и недовольным. Его товарищ Эдик гораздо приятней. Ты не знаешь, где он обретается?

— Могу специально для тебя разузнать. Кондрат с ним общается.

— Не надо. А теперь уходи. Честное слово, много работы.

Я ушел. Потом была экзаменационная сессия. Адель сдала все экзамены с блеском, я — посредственно. Что выходило за межи специализации, меня не захватывало. Я готовил себя в узкие профессионалы и утешался этим,

когда получал тройки. А после экзаменов был праздничный вечер, и на нем сверкнула Адель. Студенты показывали свои артистические умения, Адель пела арии из оперет. Небольшой голос не очаровывал, но она очаровывала фигурой, движеньями, просто тем, что красиво стояла на сцене. Ни одной студентке так много не хлопали, как ей. У меня и на другой день болели ладони.

Ко мне пришли Кондрат с Эдуардом. Я не видел Эдика с лекции Прохазки, он еще больше пополнел. Эдуард радостно сказал:

— Совершил важное открытие на экзаменах. Духовная пища по эффективности обратно пропорциональна телесной. Чем больше я вгоняю в мозги духовных яств, тем более пустым ощущает себя мой желудок. Вот почему все ученые мужи выглядят истощенными.

— По тебе не скажешь, что истощен, — мы с Эдиком сразу перешли на «ты». С Кондратом эта операция так быстро не совершалась.

— Ты не уловил сути моего открытия, — важно сказал Эдуард. — Раз наполнение мозгов опустошает желудок, значит, надо нейтрализовать опустошение усиленной порцией еды. Вот почему я полнею от интенсивного интеллектуального труда.

— Пойдемте к Адели, — нетерпеливо сказал Кондрат. — Экзамены кончились, пора приступать к делу.

Адель встретила нас около общежития. Она была одета по-дорожному, держала в руках чемоданчик.

— Сегодня начинаем работу, — объявил Кондрат.

— Сегодня я улетаю к родным в Ольштын, — сказала Адель. — И вернусь к осенним лекциям. На меня не рассчитывайте.

У Кондрата был такой обалделый вид, что я не удержался от смеха. От неожиданности он терялся, Эдуард был человеком иного сорта. Он мигом показал, как преодолевать любые затруднения.

— Отлично! — бодро сказал он. — Сейчас вы докажете нам, Адель, что в вас таится научная знаменитость. Давайте я понесу чемоданчик обратно.

Она отвела руку Эдуарда и сухо сказала:

— Разве вы не слышали? Ровно через час я улетаю в Польшу.

— Наука требует жертв, Адель. И масштабы жертв соразмерны величию успеха. В этом году родные обойдутся без вас. А спустя десять лет они приедут сюда, где

мы стоим, и будут любоваться тем, что воздвигнется на этом месте.

И, говоря все это, он широким жестом руки обвел кругом, а мы поворачивали головы, куда он показывал. Местечко было из захудалых: десяток кустиков сирени, налезавших один на другой, скамейки и чуть подальше — два могучих вяза. Сама лужайка была как лужайка — заросшая травой площадка. В общем, любимый студенческий уголок. Днем здесь на травке штудировали записи и выслушивали магнитофонные лекции, а вечерами назначали свидания.

Кондрат опять показал, что соображает туго.

— Эдуард, что может здесь воздвигнуться? Здания не построить, а если насадят деревья, так через десять лет они будут еще маленькие.

Эдуард наслаждался нашим недоумением.

— Друзья мои, наука требует не только жертв, но и воображения. Что до жертв, то все мы готовы их приносить. Адель сегодня покажет нам великолепный пример в этом смысле. Но с воображением у вас слабовато, констатирую это с душевной скорбью. Памятник вознесется на этом месте, вот что произойдет через десять лет.

— Умрет какая-нибудь знаменитость? — поинтересовался я.— Не расшифруешь, кого собираешься умертвить?

— Познай самого себя,— так говорили греки. Худо, худо у нас с самопознанием! Памятник воздвигнут нам четверым — живым, а не мертвым. И, естественно, всемирно знаменитым, без этого мрамора не дадут. И впереди на постаменте шагает Адель Войцехович, прекрасная как Афродита, и мудрая, как Афина,— в камне она получится еще красивей и умней, чем в жизни. А за ней компактно мы трое. И надпись — золотые буквы, завитушки и все прочее, что именно на этом месте, именно в этот день сразу после экзаменов четверо студентов начали совместное исследование, которое ошеломительно двинуло вперед человечество. Как вы думаете, Адель, понравится вашим родителям групповой памятник с вами во главе? Что до линий фигуры и складок одежды, все будет по классу «люкс», это гарантирую.

Мы хохотали. Меня потом долго удивляло, что шутка Эдуарда могла так подействовать на Адель.

— Неси назад, Эдик! — Она протянула ему чемоданчик. Я отметил про себя, что Адель без полагающихся

в таком деле церемоний сама сказала ему «ты».— Поездка отменяется. Вычислять будем у меня.

Так началась наша совместная работа. И началась с неудачи. Первый блин вышел комом. Идея Кондрата была слишком туманна, чтобы послужить практическим фундаментом. Это была именно идея, а не теория и даже не гипотеза. Она увлекла нас многими достоинствами — широтой, глубиной, интеллектуальным изяществом, философской гармонией,— но превратить ее в математический расчет не удавалось. Это стало очевидно, когда Адель застучала длинными, как у пианистки, пальцами по своему калькулятору. Мы знали уравнения Прохазки, по которым не вещественные объекты разбегаются в беспредельном пространстве, а динамическое пространство, непрерывно нарождаясь, разбрасывает в себе эти самые объекты. Но из уравнений Прохазки не сумели вывести своих, ибо он описывал существующий пейзаж Вселенной, а мы хотели менять его. Принципиально разные подходы. Один древний мыслитель великолепно выразился: «Философы до сих пор только объясняли мир, а задача заключается в том, чтобы мир изменить». Прохазка тоже лишь объяснял реальный мир, а мы пожелали его переконструировать. И не хватило пороха.

Собирались мы всегда у Адели. Кондрат жаловался, что в ее комнатушке нельзя ходить, а без хождения у него и мысли плохо двигаются, лучше бы трудиться в пустом лекционном зале или — при хорошей погоде — в парке. Мы не поддавались на упрашивания. Адель любила работать за столом, пухлый Эдуард чувствовал себя уютно на диванчике, а для меня комнатка Адели была родным местом — столько в ней было отрадных минут! Я закрываю глаза и снова вижу ту узкую комнату: две боковые стены в сиреневых — в полутон — обоях, входная дверь задернута портьерой, и окно шире двери. А в окне, в оранжевой брусчатке, как в броне, главная университетская площадь, отделившая общежитие от учебных корпусов. И в комнатке четверо — Адель за столом, Эдуард на диване, я на стуле сбоку стола, а Кондрат на любом свободном месте и всегда стоит. Это, он объяснял, дает отдаленное впечатление ходьбы. Он хмуро молчит, выслушивает нас и сердится, если что не так. Особенно достается мне: он почему-то придает значение каждому моему слову. А я слушаю вполуха, вполмысли размышляю и украдкой любуюсь профилем

Адели. Я уже вспоминал, что она тогда была далеко не той красавицей, какой ныне стала: миловидна и только, говорили о ней не одни девушки, но и парни. Но профиль у нее и тогда был прекрасен — ровная линия высокого лба, с легкой горбинкой нос, губы, похожие на красный цветок, и точно соразмеренный подбородок. В общем, древние скульпторы такие профили вытесывали у своих богинь — говорю о хороших богинях, бывали, кажется, и скверные. Для тех Адель моделью бы не послужила.

Хорошо помню, как мы вдруг поняли, что ничего не выйдет из нашей попытки совершить научную революцию. Я сказал «вдруг», потому что ни разу до того мы не задумывались, сколь безмерно малы наши средства по сравнению с целью. Было чудовищное несоответствие между теорией происхождения Вселенной и попыткой применить эту теорию для конструирования нового генератора энергии. Мы были так увлечены своими мечтами — самый точный термин — что громадность несоответствия Вселенной и маленького лабораторного генератора и отдаленно до нас не доходила. А в тот день дошла.

Адель бросила вычислять и с досадой объявила:

— Ничего не получится, пока мы не раскроем главную загадку: почему вообще возникло пространство? И как можно влиять на его образование? У Прохазки об этом ни слова — и у нас не больше.

Кондрат тоже понял, что от космологических теорий непросто перейти к технологическим делам, но не мог отречься от своей идеи.

— Кое-какие результаты все же получены. Мы теперь знаем, какую энергию можно получить от того, что пространство новообразуется. И не в масштабах вселенной, а в ядерных превращениях внутри лабораторного механизма.

Эдуард — он был далеко не такой вычислитель, как Адель, и ему всех раньше надоели бесперспективные расчеты,— безжалостно опроверг Кондрата:

— Помнишь пословицу: ежели бы да кабы, да во рту бы росли бобы, то был бы не рот, а огород. Точная формула нашего исследования. Кабы скорость образования пространства увеличилась вдвое, то прирост энергии был бы такой-то, а ежели втрое — то другой. Если это называется результатом, то что называть перелива-

нием из пустого в порожнее? Дорогой Кондрат, предлагаю прервать нашу работу. Лето — слишком хорошее время, чтобы так бездарно его терять. Завтра отправляюсь в горы. На семитысячники я поднимался, а восьмитысячники не покорял. Считаю это серьезным просчетом.

Мы отложили работы до осени, Адель улетела в Ольштын к родным, Эдуард пропал в Гималаях, я провел отпуск на Тихом океане. В то лето мне казалось, что наши совместные изыскания постигла окончательная неудача. Я встретился с Кондратом, и он подтвердил, что потерял надежду на успех. Встреча произошла в Туруханске, многомиллионном городе на Енисее. Нашу ракету, летевшую с тропических островов Тихого океана, задержали в Туруханске по навигационным причинам, и я воспользовался этим, чтобы познакомиться с городом. Уже давно не строят таких исполинов, как Туруханск. Он да новый Бийск, оба возведенные в XXI веке,— последние гиганты Сибири. Я знал, что разрастанию заштатного городка Туруханска способствовало, что он стал административным центром Великой Северной магистрали, связавшей север Норвегии с Камчаткой. А когда железные дороги потеряли свое значение, еще больший импульс городу дало открытие в приенисейских краях уникальных рудных богатств.

Туруханск меня не восхитил. Город как город — небоскребы, широкие проспекты, экзотические парки, вечерние гуляния на Енисее. Только золотые лиственницы, впадавшие в осеннюю дрему, да ночью показанное местным Управлением Земной Оси красочное полярное сияние впечатляли: ни такого густого золота деревьев, ни такой неистовой светопляски в небе в других городах не встретишь.

В ресторане я увидел Кондрата. Собственно, не я его, а он меня. Я сидел за столом, он подошел, сел, кивнул головой, ткнул вилкой в закуску, прожевал и хмуро выговорил:

— Здравствуй, Мартын. Ты что здесь делаешь?

— То же, что и ты,— ужинаю,— ответил я.

— Ты же на Тихом океане?

— Был.

— Сейчас в Туруханске?

— Сейчас в Туруханске. Тебе не откажешь в наблюдательности.

— Перестань ерничать! Что за привычка надо всем издеваться?

— Иронизировать, а не издеваться,— поправил я.— И не надо всем. Ты преувеличиваешь.

— Я здесь живу,— сообщил он.

— В Туруханске? Влечет к большим городам? Не ожидал.

— Не влечет, нет, я здесь учился. А родной дом — на Курейке. Слыхал, наверное? Речка небольшая, около тысячи километров, но красота!.. Мартын, поедем со мной! Еще две недели до ученья. Метеорологи обещают у нас небывалую осень — теплынь, тишину. Будем грибы собирать, удить рыбу. Ты знаешь, какая рыба? Нельма, муксун, хариус, попадается и осетр. От одних названий во рту слюна! Не пожалеешь.

Я еще не слышал от Кондрата столь зажигательной речи. Даже когда он излагал космогонические идеи, у него так не светились глаза.

— Мы ведь хотели собраться пораньше, чтобы поработать еще над идеей,— напомнил я.

Он вмиг потускнел. У него было неподвижное лицо — черные лохмы прикрывали две трети могучего лба, скуластые щеки, выдвинутые вперед двумя подушками, почти поглощали собой незначительный нос, широкий рот окаймляли слишком тонкие губы, а подбородок вообще не годился для такого массивного лица — слишком маленький, да к тому же и округлый. Тонкие чувства таким невыразительным лицом не изобразить. Да он и не старался — тонкие чувства были ему не по душе. Он знал одни большие страсти и умел их показывать. Единственно подвижными на лице были глаза — легко вспыхивали и погасали, то расширялись (при гневе) так, что становились огромными, то суживались до щелок, лишенных света. И еще была странность в глазах — ярко-голубые, они светили на темнокожем лице (от предков эвенков, и таких прародителей отыскал Кондрат в своей родословной). Но в минуты крайних чувств глаза вдруг меняли свой цвет. Это звучит фантастично, но в воспоминаниях я вижу несхоже разных Кондратов — безмятежно голубоглазого и почти черноглазого, с глазами такой пронзительной яркости, что трудно было на них глядеть.

В туруханском ресторане он поглядел на меня потемневшими глазами и буркнул:

— Ну, и езжай, если не терпится. Собирайтесь втроем без меня. Без меня вам будет интересней.

— Почему такая опала на нас?

— Не опала, а трезвая оценка ситуации.

— Не потерял ли ты веру в свою идею?

— Не я, а вы. Не было у вас настоящей веры, не появилось и старания. Ты больше заглядывался на Адель, чем размышлял о проблеме. Эдуард про себя прикидывал, как бы отбить ее у тебя. А она только бездумно вычисляла и была довольна, что два таких парня не отрывают от нее глаз. Не хотел говорить, но раз уж к слову... Никогда не прощу тебе!

— Чего именно? Того, что заглядывался на Адель?

— И этого. Напрасно ухмыляешься! Адель все равно тебе не достанется, ты не про нее. И она не годится для тебя.

Я чувствовал, что разговор должен кончиться ссорой. В отличие от Кондрата я еще пытался сдерживаться.

— Разреши, мой милый, мне самому определять, кто и что мне годится. В твоих советах я не нуждаюсь.

Он распоясался. Впервые я видел его таким злым. Впоследствии, правда, выпадали сцены и поскандальней.

— Ты слепец! — воскликнул он.— Как можно так себя не понимать? Ты же талант, ты способен на такое!.. Ни от Эдуарда, ни от твоей смазливой Адели настоящей помощи не ждал и не жду. Выполнять указания, приобщаться к идее — это они да! Но ты?.. Сколько великих умов погубил шаблон создавать семью! На глазах тривиально гибнешь! Как это терпеть, я спрашиваю?

— И не терпи,— холодно посоветовал я.— Выходи из себя, рви волосы, проклинай человеческую природу, осуждай любовь мужчины и женщины. Но делай это про себя. Я не из тех, к кому безопасно лезть в душу грязными сапогами! Тебе понятно, дорогой Кондрат?

— Грязные сапоги!.. Вот как ты это понимаешь? Ладно, твое дело. Но когда-нибудь сам об этом заговоришь со мной...

— Не на Курейке ли, куда приглашаешь меня погостить? Слишком короткий срок, чтобы отделаться от шаблона заводить семью.

— Отменяю приглашение! — Он встал.— Нечего тебе делать на такой реке, как Курейка!

Я не пытался его задержать.

В Столице я пошел к Адели, она воротилась из Ольштына за день до меня. Она очень смеялась, когда я рассказал, как мы хорошо поговорили с Кондратом в Туруханске.

— Все-таки замечательный он человек! И во многом прав.

— Какую же правоту ты заметила в этом замечательном человеке?

Она взмахнула головой. Ей очень шло, когда тяжелые густые волосы закрывали на секунду лицо и снова, как приглаженные, ложились на плечи.

— Нет, ты подумай, Мартын! Влюбляться, рожать, забыть о себе ради детей... Неужели человек появляется на свет только ради того, чтобы продолжить цепь кровных родственников? Кондрат отрицает общечеловеческий шаблон ради чего-то высшего в себе. Это не может не покорять!

— Еще никому из великих людей не мешало достичь величия, если они обзаводились семьей,— неосторожно возразил я.

Она лучше меня знала биографии великих людей науки.

— Ты уверен в этом? Тогда почему оставались холостыми такие гении как Архимед, Платон, Ньютон, Декарт, Спиноза, Кант, Лейбниц, Руссо, Гоголь... Нужны еще имена?

Я попытался внести в разговор веселую нотку.

— Мало ли что было в древности! Тогда заботы о семье ложились на плечи бедняков таким непосильным грузом, что было не до науки. Но ты меня пугаешь, Адель. Неужели и тебя прельщает отказ от человеческого шаблона — любить, быть любимой, иметь детей?..

Она смеялась.

— Я не великий человек, как он и ты сам, если верить его мнению о тебе. И трудно уклониться от шаблона влюбленности, когда двое так заглядываются на тебя: цитирую Кондрата в твоем изложении. Кстати, разве Эдуард мной увлечен? Он больше подшучивает надо мной, чем сыплет комплиментами. На шаблон его ухаживание не похоже.

— Новый способ покорения — не любезничать, а подшучивать. Между прочим, Адель, хотя Кондрат и провидит во мне что-то великое, ни от одного из хороших

человеческих шаблонов не откажусь. И меня устраивает, что и ты от них не отрекаешься. Ты понимаешь меня?

Она стала серьезной.

— Не надо, Мартын. Столько надо сделать на свободе, прежде чем залезать в клетку семьи. Наберись терпения.

— Терпение у влюбленных продукт скоропортящийся,— грустно пошутил я.

Таким был наш разговор после каникул — закончили объяснение смехом. Она почему-то не хотела открыто сказать, что уже не видит во мне будущего мужа. Я набрался терпения и ждал. Впрочем, год выпал такой, что было не до любви. Предпоследний курс университета всегда самый трудный, а этот для меня стал трудным особенно. В тот год открыли ротоны и мне предложили специализироваться в экспериментальной ротонологии. Дело было из тех, что захватывает и душу, и время. Не уверен, что в тот год я хоть одну ночь нормально выспался. В такой обстановке не до любовных свиданий и тем более не до разработки посторонних проектов.

У Адели и Эдуарда тоже хватало своих забот. Кондрат не показывался на люди. За всю ту зиму мы ни разу не встречались.

7

Открытие ротонов сыграло решающую роль в реализации идеи Кондрата. И первым это понял я.

О ротонах сейчас много говорят: впечатление, будто о них все знают. Но количество слов, посвященных ротонам, обратно пропорционально пониманию их природы. Ротоны — одна из великих загадок физики. Ныне меня называют «ведущим специалистом» по ротонам, хотя я никого не веду за собой и вся моя специализация исчерпывается признанием, что я мало понимаю в этих удивительных частицах. Конечно, я знаю, что ротоны — связующее звено между вакуумом и веществом, что они возникают из вакуума и исчезают в нем, и что никакие превращения вещества в энергию без их посредства не происходят. Я могу любые действия с ротонами описать безукоризненными уравнениями, а разработанные — не только мною, но, главным образом, мною — ротоновые

генераторы убедительно доказывают, что нам доступны практические действия с ними. И все же — что такое ротоны? На этот такой простой вопрос я не могу найти ни простого, ни сложного ответа.

И я иногда вспоминаю одного остроумного физика первой половины двадцатого века. В те годы открыли волновое уравнение, описывающее взаимодействие микрочастиц. В уравнение входила загадочная функция «пси». И вот этот физик, Яков Френкель, шутил: «Мы все умеем делать с функцией пси — логарифмировать и интегрировать, вводить и выводить ее из уравнений, установили ее точное соотношение с другими функциями. Мы только одного не знаем о ней — что она, собственно, такое?» Потом узнали — и природа функции «пси» оказалась удивительной: не частица, не действие, а вероятность того, что с частицей совершится какое-то действие. Возможно, и мы когда-нибудь узнаем, что такое ротоны, но пока известно лишь, что они существуют и что с ними можно производить кое-какие практические операции.

Вскоре после того как я углубился в практические операции с ротонами, мне стало ясно: они вполне годятся для Кондрата. И тогда я пошел его отыскивать.

Кондрат готовился к экзаменам, а это означало, что ни в аудитории, ни в лаборатории, ни в библиотеке, ни тем более в общежитии его не найти. Я обнаружил его на берегу университетского пруда, он лежал спиной на траве и, как мне показалось, задумчиво поплевывал в небо. Он, правда, думал, что предается размышлению о том, что всю математику не осилить и стремиться к этому — что бы ни говорили наши профессора — не нужно.

— Здравствуй! — сказал я.

— Постараюсь, — скучно отозвался он. Это тоже относилось к свойствам его характера — в тривиальных выражениях вдруг отыскивать их первозданный смысл.— Но трудно, Мартын. Математика душит.

— А на что вычислительные машины? — Я уселся рядом с ним.— С компьютерами даже малыши интегрируют дифференциальные уравнения. Почему бы тебе не воспользоваться передовым опытом детских садов?

— Я не Адель, которая без карманного компьютера боится ответить на вопросы: «Вы голодны? Не пойти ли нам прогуляться?» Впрочем, что ожидать от астро-

нома? Максимум их интеллектуальных возможностей — в перерывах от вычислений фотографировать небо, не замечая, что оно затянуто тучами.

Он сказал это так, словно и впрямь верил, что все мыслительные способности Адели сосредоточены в пальцах, играющих на клавиатуре компьютера. Когда им овладевало раздражение — особенно беспричинное,— он терял объективную оценку вещей и людей. Я как-то видел, как он в приступе подобного раздражения с такой силой врезал ногой по стулу, что стул взвился птицей и еще в воздухе распался на части. И Кондрат мигом успокоился, как будто единственное, что его выводило из себя, был этот стул, мирно покоившийся на своих четырех ножках.

Я весело сказал:

— Между прочим, Адель мыслит не хуже нас с тобой. И еще не раз нам прибегать к ее великолепному дару любую мысль превращать в таблицу знаков и чисел.

Он пробурчал:

— Ладно, пусть мыслит, если умеет. Меня это не касается.

— Очень касается, Кондрат. Нехорошо недооценивать друзей.

— Слушай, к чему эта скучная дидактика? И зачем ты вообще явился ко мне? Я тебя не звал.

— Ошибка на ошибке. Не просто звал, а призывал. Требовал и умолял, чтобы я появился. В душе, конечно, а не на словах. И вот я уступил твоему внутреннему отчаянному зову. Теперь радуйся.

— Иди к черту! — Он уже догадывался, что произошло что-то чрезвычайное.

— Не пойду, Кондрат. Черти упразднены. Теперь слушай внимательно. Вскрикивать от восхищения разрешаю.

— Опять ерничаешь! — Он приподнялся. Слушать лежа он органически не умел.

Вскрикивать от восхищения он не стал, но на одобрительные реплики не поскупился. Я описывал, какие эксперименты с ротонами поставлены в нашей университетской лаборатории. Одно уже очевидно: что бы собой реально ни представляли ротоны, они — тот единственный ключик, который способен раскрыть сокровищницу вакуума. Вакуум — великое хранилище вещества,

энергии, самого пространства, самого времени, но вход в это хранилище был наглухо закрыт. А теперь появилась возможность распахнуть таинственные подвалы. Не воспользоваться этим — грех.

Кондрат вскочил на ноги — и так стремительно, что мне показалось, будто он хочет куда-то бежать.

— Куда торопишься? — спросил я и тоже поднялся.

— Отыщем Эдуарда и Адель! И немедленно разработаем инженерную модель.

Он уже настолько уверовал в эффективность ротонов, что мысленно видел тот механизм, формулы для которого еще не было изобретено. Я сказал, посмеиваясь:

— А зачем нам Адель? Мыслить не умеет, астроном, а не инженер. Не послать ли ее к черту, как недавно посылал меня?

— Ты же сам сказал, что черти упразднены, посылать некуда.— И добавил с волнением: — Я всегда верил в тебя, Мартын. Я знал, что ты предназначен для чего-то более высокого, чем зубоскалить и нудно влюбляться в хорошеньких студенток. И когда наша установка заработает, я торжественно всем объявлю, что главный ее творец — ты!

Когда наша установка заработала, он и не подумал выделить мою роль в ее конструировании. Он и свою, воистину главную роль, не выпячивал. Это была наша общая работа — что же говорить обо мне!

Но все же мне было приятно, что он так сказал.

8

Путь от расчета к инженерной модели оказался много сложней, чем представлялось даже мне, а меня Адель и Кондрат быстро отнесли к тому разряду людей, которых именуют бесплодными скептиками. Кондрат негодовал: я, нашедший единственный путь к успеху, меньше их всех верил в успех и своим неверием гасил общее воодушевление. Систематическое сомнение способно родить одни провалы — разве не так? Адель вторила: плодотворна увлеченность, а не скепсис — истина, выстраданная всем человечеством. Она завершила труднейшие вычисления в университетском вычислительном центре — впервые отказалась от своего карманного компьютера, как от слабого средства,— и численные вы-

воды безукоризненно совпали с теоретическими ожиданиями. Но отличное окончание ее труда было началом, а не завершением нашей общей работы. Лишь я умел оперировать с ротонами, а в моей крохотной лаборатории и отдаленно не получалось того, что изображалось математическими уравнениями. Оба они — Адель и Кондрат — подозревали, что я не показываю усердия, если вообще не лишен экспериментаторского дара.

Эдуард один понял суть моих затруднений, когда сам я уже не знал, как оправдываться.

— Ребята, не душите Мартына,— сказал он.— Конечно, он звезд с неба не хватает и пороха пока что не выдумал, тем более что выдумывать порох уже не надо. Но в лаборатории он каждому даст десять очков форы. И если у него не получается, значит, так и должно быть, чтобы не получалось.

Кондрат вздыбился.

— И ты разуверился в нашей работе? А кто горячей всех уверял, что нас ждет неслыханный успех? Какие только ни находил слова!

— И сейчас на них не скуплюсь. И в том памятнике, который нам прижизненно воздвигнут, давно зарезервировал себе местечко слева, плечом к плечу с тобой. Но одно дело грядущий памятник, другое — лабораторный стенд. Лаборатория Мартына слишком скудна, чтобы воспроизвести в ней теоретические эффекты.

— Создать новую лабораторию специально для нас?

— Именно, Кондрат!

— Пустые мечты! — сказала Адель. — Ты позабыл, Эдик, что университетские лаборатории оборудуются для учебных курсов, а не для научных потуг студентов. Кто мы такие, чтобы нам создавали новую?

Эдуарда нелегко было сбить с курса.

— Адочка, у меня и мысли нет требовать для нас новой университетской лаборатории.

— Этим сказано все, Эдик!

— Пока ничего. Дальше будет так: «Квод лицет йови, нон лицет бови»,— прости мое латинское произношение. Впрочем, кто знает сегодня, как римляне говорили две тысячи с лишним лет назад. Смысл: что прилично Юпитеру, то неприлично быку... Или в данном конкретном случае, что неприлично быку...

— Не тяни! — приказал Кондрат.

— Не буду. Короче, предлагаю открыть ротоновую

лабораторию не в университете, а в лучшем научном центре Столицы — в знаменитом Объединенном Институте № 18, том самом, который вознесся своими прекрасными корпусами на другом берегу нашего паркового пруда.

— Нет, ты с ума сошел! — воскликнула Адель.— Соображаешь, что говоришь?

— Отлично соображаю! Сейчас вы в этом убедитесь.

Кондрат смотрел в окно. На другом берегу высились величественные здания Объединенного Института, они были хорошо видны из окна. Там все сотрудники — крупные фигуры науки, институт не так создает новые знаменитые имена, как привлекает в свои кабинеты и лаборатории уже замеченных и отмеченных. За десять последних лет ни один выпускник университета не получил назначения в Объединенный Институт, нужно было раньше потрудиться на заводах, в других научных учреждениях, опубликовать толковые исследования, удостоиться ученого звания и почетной медали — и лишь тогда Объединенный Институт заинтересовывался тобой. Адель была права: если в университете мы четверо кое-что значили (все-таки из лучших студентов), то на том берегу наше научное значение — нуль!

Эдуард опровергал наши возражения и рассеивал наши сомнения. Нужно различать научное значение и научную известность. Научное значение — это реальная ценность уже сделанных работ, новизна уже рожденных идей. А научная известность — лишь доведенное для всех извещение, что ты имеешь это самое научное значение. Так вот, научное значение мы уже имеем, ибо творцы великого открытия, которое, правда, еще не открыто, но скоро будет ясным всем и каждому. А научной известности пока — никакой, ибо, кроме нас самих, никто не знает, какие мы выдающиеся ребята. Но что трудней приобрести — научное значение, свидетельствующее о масштабе таланта, или научную известность, отражающую отношение к тебе других людей?

— Итак, научное значение у нас есть, но известности нет, а в Объединенный Институт принимают только известных,— прокомментировала Адель.— Довольно скудная мысль, доложу тебе, Эдуард.

— Зато из скудной мысли воспоследуют богатые выводы!

Выводы были такие: нужно популяризировать себя.

Пусть о нас заговорят крупные ученые. То, что в старину называлось рекламой. И начать с оповещения наших профессоров о том, что мы втайне от них разрабатываем. Второй шаг: каждый выбирает для защиты диплома свой раздел нашей общей темы. И третий шаг: на защиту приглашаем самых знаменитых из знаменитостей Объединенного Института.

— Не вижу, как мы сможем пригласить прославленных ученых на студенческую защиту,— сказал Кондрат.

— Зато я вижу,— отпарировал Эдуард.— И это важней! Вы разрабатываете темы своих дипломных работ. Остальное делаю я.

Я пошутил:

— В старые времена одна похоронная компания так рекламировала свою деятельность: «Господин клиент, ваша основная задача — умереть. Все остальное сделаем мы!» Ты действуешь по рецептам той компании.

— С тем отличием, что буду не хоронить вас, а выводить в большую науку. Называйте свои темы, друзья.

Кондрат сформулировал свою тему так: «Общая проблема применения теории Клода-Евгения Прохазки о непрерывном нарастании пространства в космосе в разработке лабораторной модели установки, выводящей энергию вакуума в предметный мир». Мы дружно объявили название труднопроизносимым. Но для Кондрата точность была важней фразеологических удобств.

Мне досталась разработка ротоновых генераторов, Адель взяла себе математическую теорию производства энергии путем использования ротоновых ливней из вакуума. Не могу не отметить, что термин этот «ротоновые ливни» является ее личным изобретением. А Эдуард настроился на доказательство, что от нашего изобретения следует ожидать такого же переворота в технике, какие принесли с собою в прошлом пар, электричество, ядерные реакции и солнечные генераторы.

— То есть будешь научно обосновывать, что надо безотлагательно приступить к сооружению нам четверым прижизненного памятника.— Адель смеялась, но я видел, что тема Эдуарда ей по душе.

Так началось то, что предстало вскоре в форме четырех разных работ на одну научную тему. И сама тема поразила университетских профессоров, а еще большее удивление вызвало то, что в этой новой научной теме сразу выделено четыре проблемы — и каждой по-

священно законченное исследование. Но Эдуард не ограничился шумихой в университете. Он объявил нам:

— Друзья, торжественно информирую. На нашу защиту прибудет сам великий Огюст! В смысле: академик Огюст Ларр, директор Объединенного Института № 18, выдающийся астрофизик, член тридцати академий и сорока научных советов — точное их число не подсчитывал, но если ошибаюсь, то в сторону уменьшения.

Адель восхитилась:

— Эдуард, ты гений организации!

— Немножко есть,— согласился он.— Когда я показал академику отзывы наших научных руководителей, он ахнул, такими мы расписаны начинающими гениями.

— И ты тоже? — съехидничал я.

— Я — особенно, друг мой Мартын! И не начинающим, а уже полноценным, в отличие от вас троих... Ибо вы только еще обещаете что-то сделать, а я широкими мазками живописую реальные последствия ваших пока нереальных проектов. Это ли не научный подвиг — воздвигнуть гигантское здание на фундаменте, которого еще нет!

Кондрат после первой радости стал хмуриться.

— Одно мне не нравится, Эдуард: твое хвастовство! Ты, конечно, хорошо подвешенным языком мог как колоколом...

— Не было! — опроверг Эдуард.— Хорошо подвешенный язык не качался, колокол красноречия не звучал. Было совсем другое. Был сутулый мужчина с длинными ногами и носом, размером и конструкцией с боевую секиру предков, и был застенчивый юноша, семенящий мелкими шажками рядом с широко шагающим по коридору академиком. И были отзывы, которые робкий юноша совал академику, роняя их от смущения на пол и не мешая академику самому поднимать их. И был трубный возглас академика: «Да если здесь написанное хоть наполовину правда, то вы четверо — гении, друзья мои!» Я из скромности не протестовал против обвинения в гениальности. И тогда он подвел итог нашей встрече: «Непременно приду на защиту и задам несколько вопросов». Вот так было.

— Самое главное — мы замечены! — ликовала Адель.

— Самое главное — неизвестные нам вопросы, которые Ларр задаст,— сказал я.— И возможность осканда-литься на ответах.

— Каждый будет отвечать по своей теме, а общие проблемы возьмет Кондрат, — постановил Эдуард. — В себе и Адели я уверен, Кондрат одним своим хмурым видом покажет такую мыслительную сосредоточенность, что любой ответ примут как откровение. А за тебя, Мартын, побаиваюсь. Ты от обычного человеческого слабоволия, которое почему-то именуешь научной честностью, способен на вопрос «Уверены ли вы, что дважды два четыре?» нерешительно промямлить: «сомнения, конечно, есть, и довольно обоснованные, но с другой стороны...»

— Буду помнить, что дважды два четыре, и не мямлить.

А затем была защита наших работ — четыре исследования четырех разных сторон одной темы. Один за другим выходили мы на трибуну — первым Кондрат, за ним Адель, потом я и завершал цепочку Эдуард. И хорошо завершил, говорил он лучше нас всех.

В зале сидели гости — Огюст Ларр, хорошо каждому ведомый по его портретам, и рядом с ним большеголовый широколицый блондин. На него я сразу обратил внимание. Даже красочный Ларр так не заинтересовал меня, как этот невыразительный человек, — несомненное предчувствие будущих стычек с ним. Я спросил Эдуарда:

— Ты все знаешь, Эдик. Кто это рядом с Ларром?

— Рыжий? Серый кардинал Объединенного института.

— Кардинал? Разве имеются такие должности в научном штате? И почему серый? Он скорей желтый.

— Надо лучше изучать историю, дружище. Серый кардинал — прозвище духовника Ришелье, втихаря подсказывавшего своему владыке многие решения. В общем, тайная сила. Та самая левая рука, о действиях которой ничего не знает правая. У Ларра — он духовник. В смысле — главный заместитель по второстепенным делам. Понятно?

— Не очень. Но пока хватит.

Директор Объединенного Института № 18 обещал задать несколько вопросов. Он задал один и адресовал его мне. Уверен ли я, что генератор ротоновых ливней будет работать надежно? Я ответил, что пока генератор не сконструирован, остается доверять теоретическому расчету. Ларру понравился мой неопределенный ответ.

После защиты Ларр подозвал нас четверых.

— Поздравляю, юные друзья! И тема многообещаю-

щая, и разработка солидная. Мы с моим другом Карлом-Фридрихом Сомовым,— он кивнул на желтоволосого соседа,— хотели бы видеть вас в коллективе нашего института. Возражения будут?

— Ни в коем случае! — заверил Эдуард.— Трудиться в вашем институте — предел мечтаний для начинающего ученого.

— Я тоже так считаю. Вам надо подумать, в какой лаборатории вы собираетесь трудиться.

— В собственной. В лаборатории ротоновой энергии.

Ни о собственной лаборатории, ни тем более о ее особом названии мы между собой не говорили, это была отсебятина Кондрата. Ларр, вероятно, удивился не меньше, чем мы трое, но не стер улыбки.

— Как думаете, Карл-Фридрих,— сказал он Сомову,— найдется ли у нас особая лаборатория для четырех юных талантов? Название ей уже дано, так что остается немного — выделить помещение, заказать оборудование, разработать программу экспериментов, утвердить штат...

— Посмотреть можно,— ответил Сомов.

— Завтра ждем вас,— сказал Ларр.— Поскольку научная программа у вас, кажется, разработана на несколько лет, принесите и ее.

Когда Ларр с Сомовым ушли, мы набросились на Кондрата.

— Нет, ты сошел с ума! — негодовала Адель.— Представить завтра программу! Да нам недели не хватит. Все, что ты Ларру наговорил, несерьезно.

— Не все, но многое,— поправил Эдуард.— Что Кондрат выпросил нам собственную лабораторию — успех. Но успех может превратиться в провал, ибо без обоснованной программы...

— Программа есть,— сказал Кондрат.— Я ее уже составил. И можете не сомневаться — каждый ее пункт обоснован.

— Ты не говорил, что разрабатываешь программу лабораторных исследований,— сказал Эдуард, успокаиваясь.— Конечно, если ты по-хорошему потрудился... Показывай, где она у тебя?

— Вот здесь! — Кондрат хлопнул себя по лбу.

9

Я устал размышлять. Сидеть в кресле и вспоминать прошлое — тоже работа. И утомительная работа. Проще действовать у стенда руками, чем перекатывать мысли, как валуны. Я снял оба датчика мыслеграфа, закрепленные за ушами. Все, что я думал и что разворачивалось в мозгу живыми картинами, зафиксировано на пленку. Если захочу, она заговорит моим голосом, покажет, что видели мои глаза — в прошлом и сегодня. Интересно, заметил ли Сомов, что я слушаю его, навесив датчики? Вряд ли! Хоть волосы у меня не так длинны и не так кудрявы, как у Эдуарда, но уши они прикрывают. Я засмеялся. Карл-Фридрих дьявольски умен. Он мог и не заметить двух крохотных датчиков за ушами, но он и не мог не знать, что я непременно повешу. Программу воспоминаний на дисплее он заметил сразу. Что любая моя мысль и слово будут фиксироваться, он знал заранее. И сам говорил не только для меня, но и на запись.

— Тем лучше,— сказал я вслух и встал. В прошлом в этой же комнате я часто забывал и об обеде, и об ужине. Сегодня забывать о еде резона не было.

Мне захотелось перед уходом еще раз заглянуть в комнату Кондрата. Он редко в ней засиживался, я уже вспоминал об этом, и чаще садился на диван, а не за стол. Я поглядел на научный иконостас: над столом — четыре гения, четыре лика — Ньютон, Эйнштейн, Нгоро и Прохазка,— и сел на диван.

Теперь с противоположной стены в меня вглядывались два физика — Фредерик Жолио и Энрике Ферми. И я вспомнил, как великая четверка была над столом с первого дня лаборатории, а эти двое появились незадолго до ухода Адели и Эдуарда. Эдуард тогда удивился:

— Зачем еще два портрета, Кондрат? К нашей тематике их работы отношения не имеют.

— Для Мартына,— буркнул Кондрат.— Чтоб не забывал, что ядерщик, как они.

— Если для Мартына, то повесь их в его кабинете, а не у себя.

Переносить ко мне портреты старых ядерщиков Кондрат не захотел. Зато он, как и я сейчас, часто всматривался с дивана в оба портрета, что-то выискивал в тон-

ких одухотворенных лицах. Я как-то тоже поинтересовался, чем они так привлекают его.

— Великие ученые — разве ты не знаешь?

— Знаю. Но Эдик прав — портреты Исаака Ньютона, Альберта Эйнштейна, Доменика Нгоро и Клода-Евгения Прохазки больше отвечают тематике нашей лаборатории. Будем поклоняться тем, кто нам ближе.

— Что называть поклонением? У этих двоих судьба сложилась по-иному, чем у Ньютона, Эйнштейна и Нгоро. Те просто творили — шли от одной великой теории к другой. И Прохазка таков же. А эти отреклись от собственных великих достижений. Научная трагедия двух гениев — разве не интересно? Тема для литературного произведения.

Никогда до этого я не замечал, чтобы Кондрата интересовала литература, живописующая личные драмы. Биографии великих ученых занимали его гораздо меньше, чем их научные труды. К тому же я больше знал об истории ядерных исследований, чем Кондрат. И, естественно, внес поправку в его неточные представления.

— Что до Жолио, то, пожалуй, ты прав. Один из первооткрывателей ядерной энергии, он протестовал против ее военного применения. Он был первым председателем Всемирного Совета мира, объявившего ядерную бомбу вне закона, был автором знаменитого Стокгольмского воззвания к человечеству против атомных безумцев. Но насчет Энрико Ферми ты ошибаешься. Ферми санкционировал применение атомной бомбы против городов Японии, он был одним из создателей этой бомбы. И когда его упрекнули, что он сотворил страшилище, он хладнокровно ответил: «Но ведь это такая интересная физика, господа!»

— Не хладнокровно, а со смущением.

— По-твоему, это меняет дело? Триста тысяч человек погибли в Хиросиме и Нагасаки — вот такая интересная физика. Что тогда назвать злодеянием?

— Но разве Ферми не бросил потом военные исследования? Другие продолжали совершенствовать бомбу, он не захотел.

— Не уверен, что это его оправдывает. Страшное дело уже было сделано. А если и были у него моральные страдания, то лишь наедине со своей совестью.

— Наедине со своей совестью? Хорошая формулировка, Мартын. Ты иногда точно схватываешь суть.

— Стараюсь, Кондрат.

Больше мы не разговаривали о двух старых физиках. Я вышел из кабинета Кондрата и направился домой.

Утром я пришел в свою бывшую комнату на работу воспоминаний, как на службу. Опять прикрепил к ушам датчики мыслеграфа и стал восстанавливать в памяти прошлое.

Итак, мы четверо стали сотрудниками знаменитого института. И не просто сотрудниками, а работниками собственной лаборатории. И оказалось, что в этом таятся свои неудобства. Лаборатория существовала лишь как название. Даже помещения не было: все свободные комнаты давно освоили другие лаборатории и мастерские.

— Как вы отнесетесь к тому, что построим для вас специальный корпус? — спросил Карл-Фридрих Сомов.

Мы отнеслись хорошо — и совершили ошибку. Даже Кондрат, горячей всех настаивавший на самостоятельности, вскоре понял наш просчет. Если бы мы отвоевали себе комнатушку, кого-либо утеснив, работа началась бы неотлагательно. Но нам сперва проектировали, потом строили, потом монтировали отдельный корпус. А пока все это делалось, мы истомились в безделье. Адель проверяла многократно проделанные вычисления, Эдуард внедрялся во все отделения института и всюду разносил известия, что мы четверо осуществляем великие планы, на нас вскоре будут с почтением оглядываться прославленные научные старцы.

— И ведь верят! — со смехом говорил он.— Считаю, что теперь мы просто не имеем права быть меньше, чем научными титанами.

— Болтун! — сердито говорил Кондрат.

— Не болтун, а популяризатор,— весело огрызался Эдуард.— Нечто гораздо более почетное.

Наблюдение за ходом строительства и монтажа друзья поручили мне. Но я проваливался. Я каждый день приходил к Сомову, каждый день на что-то жаловался и чего-то требовал. Он успокаивал меня, обещал ускорить работы — ничего не ускорялось.

Адель первая поняла, что Сомов наш противник, а не покровитель.

— Я это почувствовала давно,— говорила она.— Он почему-то не терпит нас, но старается не показать этого.

Я читала в одной старой книге, что был деловой термин — тянуть резину. Вот он и тянет резину, хотя я не очень понимаю, что это за штука — резина, которую нужно тянуть.

— Которую не надо тянуть! — поправил Эдуард.— Резина — древний строительный материал, который ныне не употребляется. Для чего ее тянули, сейчас не установить. Но хорошего в этом не было, это точно.

— Разберись! — приказал мне Кондрат.— Не что такое резина, а для чего ее тянет Сомов. Выясни его истинное отношение к нам.

Но как я мог выяснить истинное отношение Сомова, если он скрывал его за маской вежливости и сочувствия? Я всматривался в его невыразительное лицо — на нем ничего не открывалось, а в душу залезть я не мог. Кондрат как-то пошел вместе со мной к Сомову.

— Я его раскрою, Мартын! А ты фиксируй в уме, что заметишь. Сцена будет впечатляющая.

Сцена, разыгранная Кондратом, мало походила на деловое объяснение. Кондрат обвинил Сомова, что тот намеренно мешает нашим исследованиям, потому что не верит в их значение. И Сомов немного приоткрылся. В глубоко посаженных тусклых глазах замерцало что-то живое.

— Вот как — не верю в значение ваших работ? — в голосе, который мы называли «желтым», слышалась ирония.— А почему должен верить? Потому, что вам этого хочется? Основание недостаточное. Покажите результаты, и посмотрим, каковы они.

— Чтобы были результаты, нужно чтобы мы начали работать, а вы этому не способствуете! Вы словно опасаетесь чего-то плохого.

Он высокомерно усмехнулся. Улыбка редко появлялась на его лице, а такая — особенно.

— Если бы я опасался чего-то плохого, я вообще бы не разрешил вашей лаборатории. Но известные сомнения у меня имеются. Наш директор горячо увлечен вами, у меня такого увлечения нет. Очень надеюсь, что в дальнейшем вы опровергнете все мои сомнения.

Два результата тот разговор имел: строительство лаборатории ускорилось, и Кондрат возненавидел Сомова. Кондрат выходил из себя при одном упоминании о нем. И, чтобы не порождать вспышек, мы трое сговорились

при Кондрате избегать разговоров о заместителе директора Института.

Затем произошло два важных события: стала функционировать наша лаборатория, и развалилась наша творческая группа.

Адель объявила, что выходит замуж за Кондрата.

10

Лишь впоследствии я понял, что только для меня было неожиданностью решение Адели и Кондрата соединиться. Я слишком ушел в конструирование и наладку ротонового генератора и проглядел, что совершается с тремя друзьями. Конечно, я знал, что Кондрат нравится Адели, она этого не скрывала. Но ведь и я ей когда-то нравился, и Эдуард тоже. У меня иногда появлялась мысль, что она выберет Эдуарда. Я говорил: она, а не он — подразумевая под «он» всех троих,— ибо все мы могли лишь подчиниться или не подчиниться, решала она одна.

Было сумрачное осеннее утро, был тяжкий день, шел монтаж оборудования — и уже не помню, светило ли в тот день солнце, лил ли дождь, шастал ли по деревьям сухой ветер. И был вечер, когда мы наконец распрямили спины и подумали об отдыхе. Мы, трое мужчин, сидели на диване у Кондрата, а Адель раздавала нам бутерброды и бутылочки с апельсиновым соком. Она пододвинула к дивану стул, села и сказала:

— Ребята, имею сообщение. Мы с Кондратом поженимся.

Хорошо помню, что сразу обернулся к Кондрату. Он побагровел, низко опустил голову, дышал прерывисто — так волновался. Она улыбалась. У нее была — да и теперь бывает — удивительная улыбка, та самая, которую предки называли пленительной. Не уверен, что такой улыбкой можно пленить, но что она хватает за душу, знаю по себе. Эдуард пробурчал:

— Поздравляю обоих!

Адель поглядела на меня. Из миловидной она вдруг стала красавицей. От нее трудно было оторвать взгляд — еще трудней было смотреть на нее.

— Почему ты молчишь, Мартын? У тебя есть возражения?

Я наконец обрел голос:

— Какие могут быть возражения? Я рад за тебя и Кондрата.

Эдуард попробовал благопристойно пошутить:

— Очень жаль, конечно, что ты выбрала не меня, Адочка. Но против рожна не попрешь. В смысле: насильно мил не будешь. Такова печальная истина, установленная тысячелетними изысканиями человечества. Мы с Мартыном примиряемся с нашей горькой участью — в смысле, счастливы вашим счастьем! Какие нести подарки на свадьбу?

— Только один: хорошее настроение.

— Хорошо, отвечай криво. Кривая линия — реальность жены!

И мы чокнулись бутылочками с апельсиновым соком.

В эту ночь я дежурил. Адель и Кондрат ушли, Эдуард остался мне помогать. Мы работали и говорили всю ночь, Эдуард не скрывал, что подавлен. Он признался, что влюблен в Адель со встречи на лекции Прохазки. Я сказал, что он умело камуфлировал свое чувство дружескими шутками. Неужели так и не открылся ей?

— Что было открывать? Тебе и Кондрату, чтоб поняли, нужно подробно растолковать, желательно с приложением формул и чертежей. А она чужие чувства ощущает без слов. Всем существом резонирует на любовь.

— На твою любовь не прорезонировала, Эдуард.

— На твою тоже. И что до тебя — правильно поступила.

— Почему такая дискриминация моих чувств?

— Не дискриминация, а понимание. Не сердись, я от души. Ты ведь кто? Фанатик науки. Куда больший фанатик, чем сам Кондрат. Адель с тобой не могла быть счастливой, хоть ты, верно, уверял ее в другом.

— Ни в чем я ее не уверял.

— Тем лучше! В смысле: тем хуже для тебя. Ибо ты, конечно, мечтал ее в жены. Не так? Вот видишь! А она чувствовала, что будет лишь при тебе, а не в тебе. Придаток к научным исследованиям, красочная деталь в семейном пейзаже, который сам по себе второстепенен... Нет, такая судьба не для нее.

— С тобой у нее была бы иная судьба?

— Можешь не сомневаться! Видишь ли, Мартын, мы с Адой вовсе не гении, хоть и пыжимся. Новую главу

в науке не обозначат ни ее, ни моим именем. Мы всегда будем при вас — при Кондрате и при тебе. Это не значит, что я уже объявляю вас научными исполинами. Но вы можете, если повезет, вырасти в исполинов. А мы — нет. Улавливаешь разницу? Вот почему для меня Адель совсем иное, чем для вас. Даже при условии, что вы ее любите так же, как я, а этого тоже нет.

— Короче, ты в нее по-настоящему влюблен!

— Настоящее, не настоящее! Какая еще может быть любовь, кроме настоящей?

— Тогда объясни все-таки, почему она не отрезонировала благожелательно на твое чувство, которое сулит ей счастливую судьбу? Почему вдруг покорилась желанию Кондрата взять ее в жены? Сам же говоришь, что он не будет хорошим мужем — и она не может этого не чувствовать.

— Она не покорилась желанию Кондрата, а возбудила в нем такое желание.

— Ты не отвечаешь прямо, Эдуард.

— Нет прямой линии в том хитросплетении чувств и помыслов, какие называются душой Адели Войцехович.

— Хорошо, отвечай криво. Кривая линия — реальность не только в математике. И отлично соединяет крайние точки — незнание и истину.

— Мартын, знаешь главную страсть Адели?

— Откуда мне знать? Я не удостоился такой близости.

— Опять заблуждаешься! То, чего мы с тобой в ней не знаем, куда менее важно, чем то, что открыто всем. Адель честолюбива — вот доминанта ее характера...

— Все мы честолюбивы.

— По-иному. Для тебя и Кондрата слава — признание важности ваших работ, признание их научного значения. Вы гордитесь ими, а не собой. А для нее слава — признание ее собственного значения. Результаты, принесшие ей славу, не просто открыты ею, а она сама раскрыта в них, они лишь ее иновыражение, так она понимает почет. Тебе понятен этот философский термин — иновыражение?

— Я плохой философ, с этим ничего не поделаешь. Значит, она сошлась с Кондратом ради будущей славы? Но слава, если будет, равно осенит нас всех. И раз так,

то ей должна быть дороже близость с тобой, ибо ты сильней любишь ее.

— Не всех одинаково осеняет слава. Больше всех ее достойны вы с Кондратом. Я считаю, что ты крупней, чем Кондрат, но она уверена в обратном.

— И я уверен в обратном. Это не мешает мне спокойно спать, когда есть возможность выспаться. Эдуард, а тебе не приходило в голову, что Адель попросту влюбилась в него? С людьми иногда это бывает — влюбляются. Вот и она влюбилась в Кондрата, с нами дружит, а его любит.

Эдуард покачал головой.

— Если бы так! С ее любовью к другому человеку, особенно к Кондрату, я бы примирился. Во всех нас угнездилось уважение к любви без разума и расчета. В старину говорили: «Любовь зла — полюбишь и козла». В необоснованности любви угадывали ее силу, это не могло не трогать. Но нет любви! Аделью командует честолюбие, а не страсть.

Мы помолчали. Я проверил монтажную схему ротонового генератора, Эдуард отмечал силу импульсов при включении. Потом он сказал:

— Только для тебя, Мартын... Раз уж исповедуюсь...

— Валяй! Дальше меня твоя исповедь не уйдет.

— Адель, конечно, будет изображать семейное счастье. Видеть это, боюсь, свыше моих сил.

— Устроишь сцены ревности? Поссоришься с Кондратом?

— Хорошо бы,— сказал он с сожалением.— На кулачках либо на шпагах! В старину бытовали неплохие обычаи эффективно решать личные проблемы. Да не модно ныне! Нет, я выбрал другой путь. И в буквальном смысле путь — улечу с Земли!

— Ты рехнулся, Эдуард! Уйти перед успехом? Когда каждый так нужен в общем деле.

— До успеха — нескоро. И на время монтажа и пуска я менее всех нужен. Мне отведено Кондратом и тобой внедрение результатов, а не эксперименты. Катастрофы не будет, если я на год откомандируюсь на другую планету. Год — срок достаточный для излечения больной души.

— Особенно — если болезнь не смертельна.

Он засмеялся.

— Друг мой Мартын, ты разишь безошибочно. Са-

моубийства от любви — давно пройденный этап человеческой истории.

— Куда же ты «откомандировываешься»?

— В планетную систему Цереры. В смысле — на Гарпию.

Я уставился на него. Среди новооткрытых планет не было страшнее Гарпии. И грозное это название отвечало обстановке — на ней обитали существа, похожие на мифических гарпий.

— Там же война!

Он пожал плечами.

— Ну, и что? Если война, повоюю!

— Но там погибают наши астронавты! Такого страшилища, как Гарпия, надо избегать.

Он не преминул поострить, раз выпала такая возможность.

— Люди обычно погибают в постелях, Мартын. Но я еще не встречал человека, который на этом основании избегал бы постели.

Мы посмеялись, потом я сказал:

— Когда собираешься улетать?

— После их свадьбы. Не сразу, чтобы они не связали с ней мой отъезд. Буду аргументировать, что временно мое присутствие не обязательно, поэтому хочу поразмять мускулы и поднакопить житейского опыта. Крепко надеюсь, что ты меня, во-первых, не выдашь, а во-вторых, поддержишь просьбу.

Я пообещал:

— Во-первых, не выдам, во-вторых — поддержу.

11

Вот так стала разваливаться наша группа.

Еще месяца два Эдуард исправно трудился в лаборатории, ни Кондрату, ни Адели не говоря, что надумал уходить. Лишь я угадывал подспудность иных его поступков. Он слишком громко требовал, чтоб ему выдали конкретное задание: он меньше всех загружен, и это ему не нравится. Не знаю, как Адель, а Кондрат видел в этих требованиях лишь усердие и выдумывал Эдуарду работу.

Как-то я показал Эдуарду пусковой график ротонового генератора.

— Кондрат еще не видел? — быстро спросил он.

— Пока не видел. Улавливаешь ситуацию?

— Все ясно! Пуск через неделю — тогда у всех загрузка по горло. Короче: сейчас или никогда!

— Сейчас или никогда. Но советовал бы передумать.

— Об этом не может быть и речи, Мартын!

В этот день Эдуард объявил, что ему предложили рейс на Гарпию, сроком на год — и он согласился. В лаборатории этот год будет наладочным, в общем, мы легко обойдемся без него. А на Гарпии небольшой коллектив наших астронавтов отражает натиск местных чудовищ. Люди требуют срочной помощи: звездолет поврежден, припасов и орудий защиты надолго не хватит. Спасательную экспедицию возглавляет знаменитый астронавигатор Семен Мияко, проделавший четырнадцать дальних рейсов — больше него никто не налетал среди звезд. Эдуарду поручено разобраться в обстановке и дать рекомендации по освоению планеты.

Если Эдуард надеялся обмануть Кондрата и Адель, то сомневаюсь, чтобы по отношению к Адели это удалось. Она так побледнела, что и без слов было ясно, как ее поразил его отъезд. Она сказала, что и я говорил ему:

— Там же опасно, Эдик. Там война.

— Типичная картина дикости, Адочка, — ответил он весело. — И на Земле когда-то бывали войны. Битвы двух популяций гарпов со сладостным поеданием побежденных. Не то гражданская война, не то охота за кормом.

— Но ведь они едят и людей, Эдик.

— А почему бы им их и не есть? Ты видела изображение гарпов? По-моему, человек даже по внешнему виду вкусней. При современной технике задача не попасть чудищам в зубы не относится к безнадежным. Спустя год я ворочусь живым, здоровым, лишь похудею, но это скорей меня радует, чем пугает.

Она настаивала:

— Не шути, Эдик. Если астронавты просят срочной помощи, значит, им грозит реальная перспектива стать пищей для бестий.

Он понял, что надо отвечать серьезней:

— Есть одно затруднение, Адель, — и именно поиски выхода из него и составят мою задачу. Ты знаешь, что астронавтам запрещено использовать убийственное оружие? Они являются в иные миры с миссией мира, так это формулируется. Все древние пушки, автоматы, пи-

столеты, бомбы простые и ядерные, смертоносные лучи и газы — все они объявлены музейными экспонатами и запрещены к производству. Вот почему астронавты и просят помощи — на них лезут с распахнутыми пастями, а они не могут ответить ни пулей, ни бомбой. Есть еще вопросы?

— Есть,— ответил Кондрат.— Мы еще не согласились на твой отъезд.

— Думаю, у Мартына возражений не будет. Я не ошибся?

— Не будет. Ты не ошибся.

— А у меня будут,— сердито сказал Кондрат.— Ты астрофизик, а не астросоциолог. Почему же тебя приглашают решать социологические проблемы? Мне непонятна цель твоей командировки.

Эдуард знал, что именно такой вопрос задаст ему Кондрат.

— Я не сказал вам важного обстоятельства. Дело в том, что дикие обитатели Гарпии не только лезут с раскрытыми пастями, но и обстреливают импульсными генераторами.

— Какая же это дикость, если дикари владеют такой техникой? Производство импульсных генераторов...

— Они не производят генераторов, Кондрат. Они сами являются генераторами. Гарпы — живые, разумные и полуразумные — орудия. Они убивают своим естеством, а не с помощью механизмов. Вот так.

Кондрат был порядком озадачен. Я тоже впервые слышал о странной природе гарпов.

— Вы, естественно, ошарашены,— спокойно продолжал Эдуард.— Я сам онемел, когда мне продемонстрировали последние данные. Изучение их еще не закончено, и заканчивать его буду я. Как видишь, тема для астрофизика, а не астросоциолога. Нужно выяснить, как работает удивительный боевой организм гарпов. Это бросит свет и на их внутренние распри, и на их свирепую ненависть к людям, и на еще не известные нам возможности творения мощных силовых полей. Понимаешь, Кондрат, что ни как человек, ни как физик я не мог отказаться от командировки на Гарпию.

Кондрат посмотрел на меня, я развел руками. Адель молчала.

Эдуард улетел на базу звездолетов, разместившихся на Марсе, уже на другой день.

Вскоре после его отлета я показал Кондрату график пусковых испытаний ротонного генератора. Что разразится скандал, я догадывался, только не ожидал, что Кондрат так разъярится. Он чуть не набросился на меня с кулаками. К счастью, Адели не было, при ней я не смог бы вытерпеть такую сцену.

— Да понимаешь ли сам, что сделал? — орал Кондрат.

— Понимаю. Составил пусковой график и прошу тебя его утвердить, а потом понесем его нашему общему другу Карлу-Фридриху.

— Врагу, а не другу! — Ирония и в обычные минуты до него доходила плохо, а впадая в неистовство, он совершенно ее не ощущал.— Возможно, впрочем, что он твой друг. Ты это скрывал, но сейчас разоблачил!

— Выбирай выражения, Кондрат! — посоветовал я.

— Нет, это же черт знает что! — бушевал он.— Я ведь думал, что до испытания месяца два, ты так ловко уклонялся назвать точную дату. А дата — завтра! И мы отпустили Эдика! Да знай я, как близки испытания, разве он выпросил бы мое согласие на отъезд?

— Обойдемся. Мы с тобой тоже чего-то стоим.

— Я настаиваю на честном ответе! Ты знал, как близок пуск, и намеренно молчал, чтобы я не задержал Эдика. Зачем ты это сделал, можешь сказать?

— Могу, Кондрат. Чтобы помешать успеху наших экспериментов и навредить самому себе, это же так естественно. Другого объяснения ты и не примешь.

У него так сдавило горло, что он уже не кричал, а шипел:

— Ладно, издевайся! Насмешки твои — камуфляж, я давно заметил.

— Выбирай выражения, Кондрат,— кротко повторил я. Мной тоже овладевала ярость.

— Мартын, дело не в выражениях. Я понял твою суть.

— Что же ты понял, скажи на милость?

— Никакой милости! Ты сознательно усложнил нашу работу. Я не верил Адели, теперь верю. Боишься, что вся слава достанется мне, и теряешь охоту работать со мной. Успокойся — все, что заслужишь, получишь сполна.

Я вплотную подошел к нему. Он замолчал и отодвинулся.

— Дурак ты, Кондрат! — сказал я.— И твоя Адель не блещет проницательностью. Теперь я ухожу к себе. И, пока ты не придешь в сознание, не смей заходить ко мне. Слышишь, Кондрат? Пока не обретешь ясность мысли, открывать мою дверь запрещаю!

12

Жестоко совру, если скрою, что ссора с Кондратом потрясла меня. Небольшие стычки уже бывали, Кондрат слишком горячо воспринимал всякую неполадку, а мы все же строили еще невиданную установку, такие дела без неполадок не обходятся. И после одной стычки мы договорились: каждый ведет свое дело особо, лишь информируя других о результатах. Конечно, бывали и общие дела (пусковые испытания ротонного генератора как раз относились к таким), но их было немного. Разделение функций в какой-то момент стало необходимым для сохранения общего согласия. Моя совесть не испытывала угрызений, я не показывал пусковой график генератора, ибо имел право не оглашать незавершенную программу. Что мое умолчание совпало с отъездом Эдуарда, было случайностью, а не сговором: он заторопился, узнав о графике, но сам я его на отъезд не наталкивал.

Зато не случайной была вспышка Кондрата. Раздражение в нем накапливалось исподволь, он лишь выплеснул его, получив повод. Я сидел в своем кабинете и думал о том, что никогда у нас с Кондратом не было тесной дружбы, а сейчас немыслимо восстановить и прежние связи. Он оскорблял меня, зная, что оскорбляет. Остыв, он извинится. Но нужно ли принять извинение? Извинение — слово, оскорбление — дело. Не лучше ли уйти из лаборатории, пока взаимное раздражение не превратится в ненависть?

Дверь отворилась, и вошла Адель.

— Не ждал? — спросила она и встала у окна. Сидя она не так смотрелась и редко об этом забывала. Демонстрация красивой фигуры являлась у нее одним из аргументов в спорах. Красота имеет свои привилегии — и часто не меньше, чем логика рассуждений.

— Не ждал. Ты пришла мирить нас?

— Для чего же еще?

— Для примирения должен прийти сам Кондрат, а не ты.

— Он и придет, когда ты успокоишься. Ты ведь запретил ему открывать твою дверь. На меня запрещение не распространялось, вот я и пришла.

— Адель, это чепуха какая-то. Успокоиться нужно ему, а не мне.

— Вам обоим. Так точней.

— Считай, что я уже успокоился. Что теперь?

— Теперь я вызову его, и вы пожмете друг другу руки.

Она сделала шаг к столу, я остановил ее. Она немедленно воспользовалась этим.

— Вот видишь, ты еще не готов к примирению.

— Не готов,— с горечью признался я.— Слишком уж тяжко он обидел меня. Собственно, не он один, а и ты. Кондрат рассказал, как ты толкуешь наши отношения. Повторить?

— Не надо. Он подробно описал вашу стычку. И я пришла к тебе, чтобы самой говорить о себе.

— Ты думаешь, это лучше? Такое чудовищное обвинение — в зависти и намеренной задержке работы.

— Давай расчленим эти два пункта, Мартын. Зависть и задержка работы. Первое — относится ко мне, другое — выводы одного Кондрата. Итак, зависть. Тебе не понравилось, что я так сказала?

— По-твоему, это может понравиться?

— А тебе нужно, чтобы все только нравилось. Ты слишком много требуешь от жизни. В ней все нас услаждать не может.

Я начал терять терпение. Мне было не до абстрактных рассуждений.

— Адель, пойми меня...

— Я тебя понимаю. Это ты не хочешь меня понять! Да, я говорила о зависти. Но как? Ты разве забыл, что тон делает музыку? Тона Кондрат не передал. Мартын, ты не знаешь Кондрата. Он кажется твердым, решительным, целеустремленным, нетерпимым до грубости. Какое заблуждение! Он совсем иной. Он неустойчив, нерешителен, вечно в себе сомневается, постоянно обвиняет себя в ошибках, в неумелости. В один из таких приступов подавленности я утешала его. Ты, говорила я, ставишь себя ниже всех, завидуешь, что Мартын так логичен, так честен, так целеустремлен, что Эдуард так весел и ши-

рок душой, а ведь они ставят тебя гораздо выше себя, по-хорошему завидуют твоему таланту, тому, что именно ты придумал модель энергетической установки, а они лишь исполнители твоих проектов. Вот так я говорила о зависти, Мартын, о хорошей зависти одного таланта к другому, о зависти, порожденной уважением и высокой оценкой. Разве это не меняет дело?

— Меняет. Но только относительно тебя. А в сознании Кондрата твои рискованные утешения так трансформировались...

— Была стычка. В ссорах хватаются за оружие, которое сильней разит. Ты должен понимать логику ссоры.

— Но мне, несправедливо обиженному, не легче оттого, что я понимаю, почему возникла несправедливость.

— Ему тоже нелегко. Обижать и быть обиженным — одинаково скверно на душе. Ты сейчас в этом убедишься. Вызываю Кондрата.

Он вошел смущенный, с растерянной улыбкой. Он готов был просить прощения за грубость, нужные слова были заранее обговорены с Аделью. Я не дал ему ничего сказать. Я протянул руку, мы молча стиснули наши ладони. Так было лучше.

Так было лучше, конечно, я и сейчас в этом уверен. Но молчаливое прощение не высветляет хитросплетений чувств. Дружеское пожатие — поступок, а не объяснение. Что-то у нас с Кондратом надломилось. Он выглядел прежним, я держался осторожней, я опасался новых стычек. А поводы к ним накапливались.

Нет, не могу сказать, что работа шла неудачно. Мой маленький генератор давал устойчивый пучок ротонов. Пришел черед вводить ротоны в энергетическую установку. Разрабатывал ее сам Кондрат, мы только помогали — Адель вычислениями, я при монтаже. Установка, инженерное сооружение в специальном помещении на первом этаже была, конечно, сложна, но Кондрат слишком уж затягивал ее пуск. Я сказал Адели, что нельзя так тянуть, монтаж надежен, проект добротен — что еще? Я мог бы это высказать самому Кондрату, но не захотел. Адель успокоила меня, Кондрат нервничает, ну и пусть тысячекратно перепроверяется. Куда нам спешить? Я сказал:

— Адочка, мне страшно подумать, что случилось бы, если бы задерживал пуск установки не он, а я.

А когда завершился затянувшийся пуск, мы трое

были так измотаны, что не хватило сил порадоваться. Мы сидели и смотрели на стенд, на нем сияли две лампочки — пока единственный потребитель энергии, полученный от манипуляций с внутриядерным пространством, согласно теории Прохазки-Сабурова. Так мы теперь называли идеи, положенные в фундамент нашей конструкции. Ни на что другое, как сидеть и молчаливо любоваться тусклым сиянием двух лампочек, нас попросту не хватало.

В лабораторию пришли Огюст Ларр и Карл-Фридрих Сомов.

— Великолепно, друзья мои! — порадовался Ларр.— Человечество в вашем трехликом облике продвинулось вперед на шаг.

— Пока шажок,— отозвался Кондрат.— И почему трехликий облик? Нас четверо. Откомандированный на Гарпию Ширвинд — полноправный член нашего коллектива.

— Да, еще Ширвинд. Он скоро вернется, юные друзья. Нехорошо на Гарпии, очень нехорошо. Такие странные проблемы поставили перед нами гарпы...

Сомов деловито осведомился:

— Сколько энергии тратится на возбуждение ротонового пучка и сколько энергии выдает энергетическая установка?

Ему ответил Кондрат:

— Вас интересует коэффициент полезного действия? Ротоновый генератор конструкции Мартына Колесниченко потребляет сегодня около десяти киловатт. Энергетическая установка моей конструкции выдает, как вы видите по накалу этих лампочек, около ста ватт. КПД — одна сотая.

— А по вашим расчетам должно быть, если не ошибаюсь?..

— Вы не ошибаетесь! В десять тысяч раз больше. Мы исходим в проекте из того, что установка на киловатт затраченной мощности должна обеспечить на выходе не меньше ста киловатт. Почти вечный двигатель! Вечный в смысле высочайшей эффективности.

Они ушли. Мне не понравился вызывающий тон Кондрата. Он так ненавидел Сомова, что технической справке придал характер дерзкого отпора. Я все же промолчал, но Адель не выдержала:

— Зачем ты так с Сомовым? Да еще в присутствии Ларра!

— Сомова нужно ставить на место! — зло ответил Кондрат.— И именно в присутствии Ларра. Неужели ты не поняла смысла его ехидного вопроса? Вот, мол, обещали стократную выдачу от затрат, а что реально? Сомов был нам врагом и останется им!

— Пойдемте домой, друзья,— сказал я.— Ужасно хочу спать. А завтра начнем тихонько поднимать эффективность с одной сотой до обещанной сотни.

Ни завтра, ни послезавтра, ни даже через месяц не было подъема эффективности. Установка работала все в том же первоначальном режиме. Кондрат снова и снова задавал один и тот же съем энергии, все так же тускло тлели две лампочки на стенде. Мне они стали даже сниться, до того надоел их жалкий свет.

— Впечатление, будто боишься менять режим,— сказал я однажды.

— Боюсь, Мартын,— признался он.

— Чего боишься?

— Сам не знаю чего. Просто боюсь!

— Это не ответ.

— Другого у меня нет.

— Скажи тогда, сколько времени отводишь на боязнь? Хотелось бы, чтобы свой беспричинный страх ты как-то планировал во времени.— Он засмеялся.

— Адель твердит то же, что и ты, Мартын. Не терпится поскорей добиться славы? Но мы все плохо знаем себя, думаем о себе одно, а на практике получается другое. Отсюда нередки саморазочарования.

— Не понял. Выпусти свою философскую сентенцию изданием для широкого пользования и со списком опечаток.

Теперь мы хохотали оба. Кондрат сказал:

— Вы с Аделью правы. Я слишком затягиваю испытание. Завтра начну прибавлять энергию.

Он выполнил свое обещание. В нем соединялись неконтролируемые вспышки эмоций с жесткой педантичностью. Он иногда говорил, что завидует моей дотошности и моему спокойствию. В спокойствии я его, естественно, превосходил, но в научной дотошности уступал. Он неделю каждодневно увеличивал съем энергии на одну сотую потребляемой. Вскоре уже гирлянды лампочек не хватало, чтобы потребить все, что выдавала энер-

гетическая установка. Кондрат стал возвращать энергию в генератор, возбуждающий ротоновый поток. Соответственно уменьшалась потребность в посторонней энергии для генераторов. Наступил воистину торжественный день — энергия, потребляемая генератором, сравнялась с энергией, выдаваемой установкой. Мы создали замкнутый цикл — производили энергию для того, чтобы потребить ее для этого самого производства.

Давно не было в нашей лаборатории так радостно, как в тот день.

— Мне вспоминается сказочка о бароне Мюнхгаузене,— шутила Адель.— Помните, барон сам себя вместе с конем вытащил из болота, потянув руками за косичку. Столько веков человеческая техника не могла повторить блистательного подвига великого барона. А мы сумели! Мы ухватили себя энергетически за волосы и держим на весу. Чуть добавим энергии и потащим себя наверх.

Я повторил шутку Адели по-своему:

— Сколько веков человечество мечтало о вечном двигателе, производящем энергию из ничего. А что такое вакуум, из которого мы высасываем ротоны? Типичное же ничто! Не знаю, как вы, а я претендую на почетное звание: «Изобретатель реального вечного двигателя».

После шуток Кондрат сказал:

— Нам еще долго работать без выдачи энергии на сторону. Пока всесторонне не изучим процесс, кричать об успехе не будем. Ведь есть еще такая проблема — техника безопасности.

Адель говорила, что нет смысла таить удачу, раз удача несомненна. Но я поддержал Кондрата. Все может быть, любая непредвиденность. Нужна не убежденность, а несомненность — это вещи разные.

Непредвиденности обнаружились очень скоро. Прилетел Эдуард и вызвал смятение в наших душах. И Кондрат обнаружил ошибку в своих вычислениях, столь важную и столь трагичную, что все впереди стало видеться по-другому.

Я снял датчики, закрепленные за ушами. Мыслеграф перестал записывать воспоминания. Я очень устал от ворошения картин прошлого и от заново переживаемых, вовсе не перегоревших чувств...

13

Утром, сев за стол и прикрепив датчики мыслеграфа, я велел себе думать о вернувшемся Эдуарде Ширвинде.

Он с шумом ворвался в лабораторию, обнял и расцеловал каждого. Адель ужаснулась:

— Эдик, ты же собирался похудеть, а стал вовсе толстяком!

Эдуард, и до отъезда полный, очень добавил в весе. Но живости у него не убавилось. Он бегал по всем помещениям, трогал механизмы и приборы, с восхищением рассматривал мой ротонный генератор. Об энергетической установке с уважением сказал: «Ошеломительно и сногсшибательно! Предлагаю на постаменте нашего общего монумента поставить ее модель, а мы вокруг. Если, конечно, вы еще не надумали лишить меня почетного местечка, что из-за моего бегства к проклятым гарпам было бы справедливо».

Кондрат со смехом успокоил его:

— Местечки на памятнике зарезервированы для всех.

Эдуард позвал нас в свой кабинет, самое большое из непроизводственных помещений лаборатории, и радостно сказал, что мы молодцы: ничего не переставили и не добавили, не вынесли и даже, кажется, не вытирали пыль.

— Пыль вытирали, я сама это делала,— сказала Адель.— И открыла закономерность — в твоей комнате больше всего скопляется пыли.

— Это оттого, что она была пустая. Разве ты не знала, что пустота притягивает пыль? С чего начнем, друзья? Будете воспевать свои достижения или разрешите мне покаяться в грехах?

— Кайся! — предложила Адель. — Ужасно люблю истории о прегрешениях. Надеюсь, их у тебя много?

— Вполне хватает, чтобы потерять надежду на рай. Начнем с одного из семи смертных грехов — греха чревоугодия. Как видите, я не злоупотребляю постом. Это оттого, что выпадали недели, когда питались одним собственным жирком. Как человек предусмотрительный, я делал надежные запасы. На земле теперь порастрясу излишки.

Он, впрочем, всегда обещал в ближайшее время похудеть и всегда не худел, а полнел.

— Жизнь на Гарпии определяют гарпы,— продолжал Эдуард.— Даже на Гарпии не знают о гарпах всего. Эти бестии — загадка. Быть может, только один человек в мире способен сказать о гарпах, если и не все, то что-то существенное.

— Этот человек, разумеется, ты? — смеялась Адель.

— Естественно! Рад, что ты меня понимаешь. Мне было поручено изучить Гарпию и гарпов. Мог бы я вернуться на Землю, если бы не выполнил с блеском задания? Теперь смотрите вон на ту стену, я сфокусирую на нее стереокартины этой страшноватой планеты.

Одна из стен кабинета вполне годилась быть приличным экраном, Эдуард и раньше использовал ее для этой цели. Первые снимки ужаса не внушали. Планета была неудобная, но не страшная — в морщинах горных хребтов, с долинами и впадинами, для которых подходило лишь одно название: «бездны», с тусклым небом и катящейся в тусклом небе Церерой, звездой из самых свирепо-голубых. Ни морей, ни озер, ни рек! В небе редко сгущались тучи, так, мерцали легкие облачки. Но воды хватало, вода била из грунта, рушилась в пропасти, а на высоких вершинах каменела массивными ледяными шлемами. И воздух, разреженней земного, содержал кислорода больше. Даже в окрестностях Солнечной системы наши звездопроходцы осваивали местечки понеудобней и пострашней.

— Я вижу, вы не прониклись ужасом от лицезрения планеты,— прокомментировал снимки Эдуард.— Я еще добавлю хорошего впечатления. Гарпия безмерно богата рудами и минералами. Я составил список трех сотен металлов и химических соединений, каждая тонна которых на Земле на особом учете, а там их можно собирать на поверхности. Скажу тебе особо, Адочка, я привез на Землю изумруд, какого и в музее не найти! Когда его отшлифуют, я буду просить тебя украсить им свое платье или волосы, тут я всецело полагаюсь на твой вкус. Вот такова Гарпия, друзья!

— Изумруды — это хорошо. Но где же ужас?

— Ты жаждешь ужасов, Мартын? Получай ужас!

Со стены в комнату прыгнул гарп. Адель отшатнулась и вскрикнула. Нападение страшилища Эдуард разыграл безукоризненно. Он скомбинировал несколько снимков, чтобы получить из пейзажных картинок сюжетное событие. Из-за скалы выполз гарп, остановился, ос-

мотрелся, зевнул, увидел нас и бешено ринулся в комнату, распахнув зубастую пасть.

— Эдик, останови! — рявкнул Кондрат.

И гарп замер на прыжке. Он был в комнате, а не на стене. Но не на полу, а повис в воздухе живым телом. Я вскочил и толкнул рукой его рыжее бронированное туловище. Рука вошла в броню без сопротивления. Эдуард ликовал, как ребенок, дорвавшийся до вожделенной игрушки. За мной подошел к зверю с протянутой рукой Кондрат, потом и Адель набралась храбрости собственными пальцами установить, что в комнате изображение, а не материальное тело. Мы и раньше слышали, что астронавтам выдают особые пленки для фотографирования и что зафиксированные на этих пленках предметы можно сматериализовать без экрана на открытом воздухе. Эдуард, предложив, чтобы мы смотрели на стену, ловко обманул ожидания. Без этого не было бы задуманного эффекта.

Эффект получился, даже Кондрата напугало неожиданное вторжение исполинского зверя. Гарп был из внушающих почтение, Эдуард подобрал не рядовой экземпляр. Все на Земле знают, что гарпы напоминают вымерших крылатых ящеров, хотя и бескрылы. Мне показались всего удивительней лапы: их было шесть, и каждая напоминала не лапу, а челюсть — верхняя оснащена десятью гибкими и очень прочными когтями, а нижняя похожа на совок или лопату. Такой лопатой можно и наносить удары, и прятать в лапе, как в мешке, добычу. Морда гарпа нас не удивила, морду видели и раньше в стереопередачах — огромная пасть, сотня зубов, колющих, режущих, размалывающих... Даже камни можно дробить такими зубами! В общем, бестия, какой и в незапамятные времена не водилось на нашей смирной Земле! А глаз не было. Вместо глаз на голове гарпа, как раз над пастью, торчала рыжая опухоль — орган локации и нападения.

Эдуард устроил еще одну неожиданность: от гарпа пахло. От него несло острым запахом озона и чеснока. Я бы сказал, что гарп пахнет, как мокрая собака, только сильней.

— Специально для вас! — ликовал Эдуард.— Вот так несет от каждого. А при нападении гарпа — зажимай нос покрепче, иначе не вынести. Я попросил ребят снабдить

изображение запахом живого зверя, они постарались, как видите.

— Как обоняем,— поправил я.— Эдуард, ты не мог бы убрать свой зубастый экспонат? Хоть это лишь изображение, но оно занимает добрую треть комнаты, а ходить сквозь него никто не решится, хоть это, как ты уверяешь, и безопасно.

Эдуард поворчал, что три земных месяца каждый день видел гарпов, каждый день дышал их убийственным ароматом, каждую минуту страшился попасть под силовой импульс их боевых генераторов и собирался нам передать хоть ничтожную долю своих ощущений, а у нас не появилось желания даже отдаленно соприсутствовать.

— Ты передашь нам свои ощущения словами. Говорить ты мастер, а мы обещаем быть добрыми слушателями. Начинай лекцию о природе гарпов и о твоей личной роли в благоденствии этого хищного народца.

Он строго разделил природу гарпов и свою роль в их истории. Многое в его информации мы знали и раньше, многое слышали впервые. Эдуард был зорким наблюдателем, недаром его выпрашивал знаменитый звездопроходец Семен Мияко. Гарпы — отнюдь не искусственные создания, палеонтологи уверяют, что на планете они появились миллионы лет назад, продолжая эволюцию существовавших до них тварей, но, появившись, пожрали своих прародителей. И они бурно эволюционировали сами, но необычно эволюционировали — превращали себя из организмов в биологические механизмы. Любой внутренний орган гарпа — силовой аппарат. Они совмещают в теле генераторы электрических и магнитных зарядов, оптические локаторы, гравитационные и лазерные органы и многое другое, еще неизвестное. Даже челюсти их, так похожие на челюсти древнего земного зверья, действуют необыкновенно: каждый зуб — резонаторное оружие, генерируемая зубами вибрация быстро разрушает любую добычу. Лапы, совмещающие в себе когти и совки, также служат и для захвата и для вибрации. Астронавты как-то метнули в гарпа десятикилограммовую гантелю, зверь поймал ее пастью — и не прошло минуты, как голову гарпа окутала черная пыль, закаленный металл на глазах превращался в порошок. Полет этих бестий — явление настолько необычное, что ничего, даже отдаленно похожего, еще нигде не встречалось. Сама Гар-

ния — планета сильных физических полей. В недрах таятся очаги ядерных реакций, вулканы выбрасывают не огонь и дым, как наши, а струи радиоактивных ядер, генерируют опасные излучения. А в целом Гарпия — гигантский магнит, но с чудовищно перепутанными магнитными линиями. Она вроде нашего магнитофора, пластинки, на которой сотни разбросанных магнитиков. Гарпы умеют так сгущать в своем теле магнитные линии и так их ориентировать, что с силой отталкиваются от места, над каким проносятся. Для полета им не требуется ни опоры на воздух, ни такого примитивного органа, как крылья.

— Энергия на возбуждение в теле отталкивающих полей, наверно, не меньше, чем у птицы на махание крыльями,— заметил Кондрат.

— Больше. И значительно больше! Поэтому они неутомимо выискивают и жадно поглощают пищу. А пища — растения и животные, некоторые камни и грунт. Думаю, те несчастные астронавты, которые угодили в их пасти, показались им восхитительной закуской. Недаром они так свирепо охотятся на людей.

— Гарпы — каннибалы, — сказала Адель. — Они роскошествуют над телами своих товарищей.

— Они, конечно, каннибалы, но не пиршествуют, пожирая своих, а совершают необходимую жизненную операцию. Без поедания друг друга гарпы не могут существовать. И я горжусь, что первый раскрыл это.

— Иди ты! — не выдержал я.— Сколько знаю, гарпов относят к полуразумным, интеллектуально они выше обезьян и дельфинов. Ты еще скажешь, что и зачатки разума у них оттого, что они пожирают друг друга?

— Именно это и говорю,— с торжеством объявил Эдуард.— Уверяю вас, друзья, я хорошо поработал на Гарпии. Теперь слушайте и громко восхваляйте мою проницательность. Без восторженного одобрения мой рассказ не пойдет.

Восторженного одобрения не было, но слушали мы с интересом. Эдуард обнаружил, что странный организм гарпов является не только результатом длительной эволюции, но и неуничтожаемым достоянием всей популяции. В любом гарпе присутствуют материалы, извлеченные из тысяч его прапредков. И само его тело — хранилище этих материалов для последующих поколений.

Гарп не самоуничтожается, а эффективно используется другими гарпами. Различие полов у гарпов отсутствует, каждый создает детенышей самостоятельно (это знали и до Эдуарда). Но сам по себе гарп не способен народить потомство. А если два-три гарпа сожрут другого, то их тела переполняются элементами и тканями съеденного — и может появиться потомок. Новосозданный гарпенок почти не растет, пока не примет участия в пожирании родственника или соседа. После десятка таких актов каннибализма гарп становится взрослым — и особенно агрессивным, ибо приходит пора размножаться, а без пожирания других гарпов потомства не создать. Жертвой обычно становится постаревший гарп, но и молодому не поздоровится, если зазевается. Каннибализм, стало быть, не празднество, а естественная предпосылка роста и размножения. Общество гарпов напоминает мифическую змею, которая питалась тем, что поедала свой непрерывно отрастающий хвост.

— Иначе говоря, жизненная энергия гарпов создается каннибализмом, так я тебя понял? — спросил Кондрат.

— Ты плохо меня понял, дружище Кондрат. Жизненную энергию эти бестии черпают из обычной своей пищи, и, смею уверить, обычной их пищи на Гарпии хватает. Она обеспечивает их полеты, движения, продолжительность существования, но отнюдь не структуру тел. Гарп, как особое существо, создается лишь поглощением такого же существа. Первые астронавты, кормившие детенышей гарпов всеми видами пищи, какие были у них, с изумлением наблюдали, что гарпята не погибают и не растут. А неосторожность их приводила к тому, что для гарпят они сами становились желанной пищей.

— Зачем же гарпам поедать людей, если обычной пищи вдоволь? — спросила Адель.

— Вот первый вопрос, свидетельствующий о проницательности,— торжественно возвестил Эдуард.— И ответом будет второе мое замечательное открытие. Я поставил себе именно этот вопрос и выяснил, что люди для гарпов частично заменяют то, что они получают при каннибализме. Что именно они извлекают из тканей человека, пока не выяснено, но гарпята, расправившиеся с неосторожными астронавтами, быстро росли, а не только пребывали в затянувшемся детстве. И если бы им пре-

доставили в пищу еще парочку астронавтов, они, уверен, обрели бы способность размножения.

— Тебе не приходила в голову идея практически проверить, так ли это? — поинтересовался я.

— Как видишь, я жив. Следовательно, не пожертвовал собой ради проверки такой идеи. А распоряжаться чужими жизнями у меня нет права. Впрочем, если ты согласен пожертвовать собой...

— Твои ехидные замечания, Мартын, не к месту,— сказал Кондрат.— Но как возможно соседство людей и гарпов, если мы для них не только лакомая, но и необходимая пища? Не лучше ли людям вообще покинуть эту страшную планету?

— Второй умный вопрос,— одобрил Эдуард. — Отвечаю, друзья. Покинуть Гарпию люди не могут. На всех известных нам дальних планетах, вместе взятых, нет и половины тех богатств, что обнаружены на Гарпии. Уже первые известия о тамошних находках взволновали всех наших технологов. Мы обязаны в интересах человечества остаться на Гарпии.

— Но это значит...

— Совершенно верно! Война с гарпами!

— Истреблять этих необыкновенных зверей? — воскликнула Адель.

— К тому же не зверей, а полуразумных, возможно, и полностью разумных,— сказал Кондрат.— Я слышал, что гарпы разбирают нашу речь, различают подаваемые знаки, быстро оценивают ситуацию. Не исключено, что скоро с ними можно будет разговаривать.

— Не исключено, — хладнокровно согласился Эдуард.— И допускаю, что разговоры будут содержательны. С единственным добавлением, что один из дружелюбных собеседников может оказаться в пасти у другого.

— Война с гарпами аморальна! — настаивал Кондрат.

— Стать пищей моральней?

Я решил повернуть разговор в другую сторону:

— Ты рассказал о гарпах много удивительного. Самое удивительное — их внутренние органы,— имею в виду биологические генераторы магнитных, гравитационных и других полей. Будет преступлением, если мы не изучим их. А как это сделать без добрососедства?

— Третий умный вопрос. Ты прав, гарпов нужно изучить, ибо ничего похожего не открыли на других пла-

нетах. И для этого нужно добрососедство. Его обеспечит война между людьми и гарпами.

— Ты рехнулся! Войны всегда усиливали взаимную неприязнь.

— Смотря, какая война, Кондрат. Между людьми — да. Но не между людьми и зверями. Приведу пример. Когда-то было чересчур много тигров и люди были для них желанной добычей. Но люди победили, свели популяцию тигров к приемлемому количеству. И что же? Тигры ныне отлично сохраняются в своих резервациях, люди способствуют их существованию. Чем не добрососедство?

— Ты собираешься загнать гарпов в резервации? Пусть они там пожирают друг друга!

— Ты плохо слушал меня. Я не столь примитивен, каким ты меня рисуешь. Сократив поголовье гарпов, скажем, вдесятеро, мы быстро ликвидируем каннибализм. Ты забыл, что каждая новая генерация гарпов содержит в себе вещества, накопленные сотнями поколений предков. У гарпов нет трупов, любая частица их тела используется в следующих генерациях. Законсервируем всех гарпов, погибших в войне. Оставшимся не будет нужды поедать друг друга, они будут питаться законсервированными телами. И у них пропадет потребность охотиться на людей. Чем не надежная основа добрососедства: мы поддерживаем оставшихся гарпов необходимой для них пищей — запасами, накопленными в войне. Досконально изучаем природу гарпов, чтобы воспользоваться преимуществами их организма в нашей практике. Одновременно изобретаем заменитель той пищи, которую обеспечивает им каннибализм. Когда истощатся военные запасы, это будет необходимо, ибо каннибализма мы не допустим — хотя бы из моральных соображений.

— Отличная программа! — гневно сказал Кондрат.— Даже для вождя дикарей, не отягченного твоими познаниями в науке, она вполне бы подошла. Но как ты намерен осуществлять такую программу? Что для этого требуется?

— Во-первых, просто вести войну. Во-вторых, оружие, чтобы иметь успех в войне. Второе трудней, чем первое.

— Почему?

— Это же просто, Кондрат. Право самозащиты у любого звездопроходца есть. Но что такое самозащита? Это не только самооборона, но и ответные удары. Но чем

защищаться? Закон строг: все изобретенные орудия убийства запрещаются к производству и применению. От стрел и копий до суперъядерных орудий, резонансных бомб, лазеров и отравляющих газов. Вдумайтесь: сколько таланта, усердия и жертв потребовалось, чтобы создать эти шедевры техники. А результат — полный запрет!

Адель воскликнула:

— Боже мой, как же вам было тяжко на Гарпии! Безоружные против генераторов силовых полей, ядерных зарядов и поражающих лучей. Голые среди волков! Как осажденным астронавтам удалось спастись?

— Четвертый умный вопрос! Осажденных спасла наша экспедиция. Но что они вытерпели! Все табельные средства обороны не действовали. Ни сонные препараты, ни временно парализующие иглы. А каменные ограды и металлические щиты гарпы запросто разгрызали и превращали в порошок. Единственной защитой стала пневматика. Отбойные молотки стали эрзацем боевого оружия. Даже остервенело несущийся гарп не способен преодолеть мощного вихря. Но пневмомоторы астронавтов были на издыхании, когда мы высадились неподалеку. Семен Мияко присоединил наши аппараты к моторам осажденных, и полчища гарпов рассыпались. Ни один из них, конечно, не погиб, так что битвы в старом значении слова не было. Но основной проблемы это не решает.

— И ты воротился на Землю, чтобы решить эту проблему?

— Ты угадал, Кондрат.

— Хочешь отмены запрета на производство и применение старых орудий истребления?

— Разве я давал повод считать меня глупцом? Запрет двести лет назад был утвержден человечеством, и только все человечество может его отменить. И только в случае, если на Землю нападут враждебные инопланетяне. Освоение Гарпии и нападение инопланетян не имеют ничего общего между собой. Нет, у меня иной план.

— Не поделишься?

— Не только поделюсь, но и попрошу помощи. Закон запрещает уже изобретенное оружие. Но не запрещает создавать еще не известное.

— Это подразумевается.

— Ты ошибаешься. Невозможно запретить создание нового оружия, ибо это равнозначно запрещению всех новых изобретений. Кто заранее определит, как используют еще не открытое открытие, еще не изобретенное изобретение? Изобретали новые механизмы — потом догадывались, что они годятся для войны. Динамит изобрели для мирных дел, а в результате лишь добавилось средство войны. Физики двадцатого века открывали атомную энергию на благо человечества, а раньше блага появилась атомная бомба. Первые космонавты устремились в космос во имя торжества науки, а генералы воспользовались их успехами для размещения в космосе боевых станций. Так это было в прошлом — одни создавали добро, другие превращали добро во зло. Две стороны одного процесса. В условиях разобщения человечества строгий запрет производства оружия и уничтожение уже созданного стали необходимостью. Но теперь человечество едино, войны между людьми невозможны. И если мы разработаем новое средство справиться с гарпами, то это не нарушит старого закона, а принесет пользу человечеству, да и самим гарпам. Вот о чем я хочу говорить.

— Слушай, Эдуард,— сказал Кондрат, сильно волнуясь.— Ты, конечно, можешь говорить о чем хочешь. Но в моей лаборатории я не позволю развивать такие идеи. Помощи от меня не жди.

Впервые Кондрат сказал «моя лаборатория», да еще так вызывающе. До сего дня я слышал только «наша лаборатория».

14

Уж не знаю, что особенно повлияло на Кондрата: то ли агрессивные рассуждения Эдуарда, то ли восхищение, с каким на него смотрела и слушала Адель. А всего вероятней, сложились обе эти причины. Только Кондрат переменился. Общение с ним никогда не доставляло дружеского удовольствия — неразговорчив, не острит, плохо слушает, вечно погружен в раздумье, часто раздражается и в раздражении грубит. Все это мелочи, конечно. Выражение «великие люди» отнюдь не равно выражению «приятные люди». Мы трое, его товарищи и помощники, не сомневались, что наш руководитель — великий ученый, во всяком случае, будет таким. И про-

щали Кондрату многое, чего от другого бы не потерпели. В общем, мирились.

Но с тем, что задумал Кондрат вскоре после возвращения Эдуарда, примириться было нельзя.

— Нам надо поговорить,— сказал он, зайдя ко мне.

— Валяй. Что-нибудь новое на установке?

— Пока не на установке, а вообще в нашей лаборатории.

Хорошо помню, что я механически отметил про себя странное словечко «пока». Оно звучало как предупреждение о чем-то, чего не должно быть. Кондрат выглядел необычно. Хмуростью и сосредоточенностью он бы не удивил, таким он был повседневно. Но злоба, вдруг обрисовавшаяся на его лице, меня поразила. Злобным я Кондрата не знал.

— Поговорим об Эдуарде,— сказал он.

— Поговорим,— согласился я.

— Он воротился с Гарпии, Мартын...

— Правильное наблюдение. Я это тоже заметил.

— Перестань иронизировать! Можно с тобой по-человечески?

— Можно. Слушаю человеческое объяснение.

— Эдуарда надо принимать в лабораторию. Мы так обещали ему.

— Верно. Он не увольнялся, а откомандирован на время. Он должен вернуться. С моей стороны — никаких возражений.

— У меня возражения. Я не хочу Эдуарда.

— Не понял. Как это не хочешь? Вообще не хочешь Эдуарда?

Он усмехнулся.

— Не вообще, а в частности. Вообще — пусть живет и здравствует. Но не в нашей лаборатории. Хотел бы, чтобы ты меня поддержал.

— Это связано с Аделью?

Он опять усмехнулся.

— В какой-то, но очень маленькой степени. Он и раньше ей нравился, но я, видимо, больше, потому она предпочла меня. Сейчас ее старое увлечение возвратилось. Но не в этом дело.

— В чем же тогда?

Он помолчал, потом ответил:

— Эдуард мне неприятен. Это самое честное объяснение.

— Честное, но недостаточное.

— Уж какое есть...

— Давай расставим все нужные вехи,— предложил я.— Значит, твоя нынешняя неприязнь к Эдуарду вызвана не ревностью?

— Ревности нет, я уже сказал. Конечно, слушать, как она непрестанно восторгается умом и смелостью Эдуарда, будто бы проявленной им на Гарпии... Но я бы это стерпел. Ибо, в конце концов... Мартын, мы с Аделью охладели друг к другу.

— А была ли прежде горячность?

— Возможно, и раньше не было. Ты наблюдателен и, вероятно, со стороны видел то, чего я, отуманенный нашей близостью, не замечал. Но что бы ни было у нас в прошлом, сейчас того нет. Содружество есть — любви нет.

— Немного для семейного союза.

— Мне хватает.

— Важно, чтобы ей хватало. Адель из тех женщин, что не примирятся на одном содружестве взамен любви.

— Это ее дело. В отличие от тебя, сменившего уже несколько подруг, я не очень разбираюсь в классификации женщин. Возвращаюсь к теме. Ты меня поддержишь, если я объявлю Эдуарду, что ему нечего делать в нашей лаборатории?

— Одно уточнение. Ты скажешь Эдуарду, что против его возвращения в коллектив потому, что он стал тебе нетерпим?

— С какой стати оскорблять его? Он никогда не имел четко очерченной своей роли в нашем деле. Я скажу, что мы уже обходимся без него, пусть он использует свои способности в других местах.

— В таком случае не поддержу. Я за возвращение Эдуарда.

Возможно, он ждал такого ответа. Он с минуту молчал.

— Итак, ты против. Может, объяснишь почему?

— Объясню, конечно.

И я сказал, что примирился бы с отстранением Эдуарда, если бы Кондрата мучила ревность. Из недобрых человеческих чувств ревность одна из непреодолимых, с этим нельзя не считаться. Древний мудрец с горечью восклицал: «Жестока, как смерть, ревность; стрелы ее —

стрелы огненные». Можно тысячекратно осуждать ревнивцев, но нельзя не понимать, что ревность превращает соперников во врагов. Дружная работа у таких людей не получится. Но Кондрат сказал, что ревности нет. Просто по не известной мне причине Эдуард стал неприятен Кондрату. Мало ли кто кому приятен или неприятен! Разве это резон отстранять человека, который немало потрудился с нами? Кто оправдает такой поступок? Не скажут ли, что в ротоновой лаборатории отстранили товарища от участия в предстоящем успехе?

— Ты боишься, что тебе в лицо бросят подобное обвинение?

— Боюсь, что я сам брошу себе в лицо такое обвинение.

— Не хочешь поддержать мое желание?

— Будем различать разумные желания и прихоти. Разумные желания поддержу. Прихоти — нет.

— Ты ясен, — сказал Кондрат и вышел.

15

Внешне он успокоился, даже повеселел. Об удалении Эдуарда из лаборатории больше речи не было. Зато сам Эдуард появлялся редко, у него хватало забот с доведением своего плана освоения Гарпии до всеобщего ознакомления. Адель часто сопровождала Эдуарда на публичные доклады и диспуты о Гарпии. Эдуард нашел сторонников. Большинства они не добирали, но народ все был активный — горячо ратовали за колонизацию богатой сырьем планеты. О том, что понадобится новое оружие, чтобы усмирить гарпов, Эдуард говорил не всегда. Муссировались чаще возможности мирного взаимодействия.

Бывали дни, когда в лаборатории находились мы двое. Процесс вели автоматы, непрерывно контролировать их работу нужды не было. Вспоминая те дни, я отмечаю два новшества, отнюдь не показавшиеся мне особо примечательными. Об одном новшестве я уже вспоминал — в кабинете Кондрата появились портреты физиков еще двадцатого века — Фредерика Жолио и Энрико Ферми. Наш разговор с Кондратом об этих двух деятелях древней науки уже записан мыслеграфом. Добавлю лишь, что я часто заставал Кондрата на диване в глубокой

задумчивости. Он не отрывал взгляда от Жолио и Ферми и о чем-то размышлял. Ни разу не замечал, чтобы он хоть толику внимания посвящал лицезрению висевших над столом портретов Ньютона, Эйнштейна, Нгоро и Прохазки. После первого разговора о двух физиках я как-то опять спросил, чем вызвано такое непрекращающееся внимание к ним. Он буркнул:

— Никакого внимания! Просто отдыхаю.

И вторым новшеством было то, что Кондрат стал предаваться лицезрению энергетической установки. Она была его единоличным творением, как ротонный генератор моим. И мы возились с ней, как и он, и Эдуард и Адель возились с моим генератором. Но это была помощь создателю, а не равноценное участие в создании. Не знаю, солгал ли он, что не ревнует Адель к Эдуарду, но к своей работе он ревновал нас всех, знаю твердо. В течение долгого времени наш интерес к главному аппарату лаборатории ограничивался риторическими вопросами: «Как там у тебя, Кондрат?» и вполне удовлетворялся туманным ответом: «Да ничего. Работаю».

Вероятно, нас успокаивало и то, что Эдуард называл «Кондратовой хлопотней». Молчаливость чаще всего сопряжена с медлительностью. Кондрат опровергал эту расхожую истину. Он был молчалив, но деятелен. Не скор на движения и решения, а именно деятелен, то есть непрерывно что-то делал — ходил вокруг установки, поднимался на нее, трогал то одну, то другую деталь, проверял подвижность исполнительных механизмов, точность настройки датчиков. Меньше всего такую хлопотню можно было обозначать холодной формулой «лицезрение».

А сейчас мы увидели нового Кондрата — не хлопочущего, а лицезреющего, точней наименования просто не подберу. Он прислонялся к стене или садился на скамью и озирал громадное собрание механизмов, приборов, кабелей и трубопроводов. Иногда, возможно, чтобы не привлекать нашего внимания, он вставал, до чего-то дотрагивался рукой и опять садился и смотрел, только смотрел, будто что-то его поражало во внешнем виде созданного им сооружения. И я замечал, проходя мимо, что чаще всего он всматривался в верхний шар, увенчивающий установку — преобразователь, важнейший аппарат сооружения. Здесь принимался поток ротонов моего генератора, здесь он преобразовывался в те формы энергии, которые мы хотели получить. Но просто смотреть на пре-

образователь было делом пустым, он был забронирован фарфоровой оболочкой: если что и нарушалось внутри, то на оболочке это не сказывалось. Лицезрение фарфорового шара само по себе значения играть не могло — Кондрат предавался какому-то непростому размышлению.

Адель заговорила со мной о странном поведении Кондрата:

— Тебе не кажется, Мартын, что у нас что-то разладилось?

— Как раз об этом хотел спросить тебя, Адель.

— Почему меня? Я не имею отношения к установке.

— Зато ты имеешь отношение к Кондрату. Ты его жена. А я слыхал, что мужья делятся с женами своими затруднениями.

— Не верь слухам, Мартын. Вряд ли Кондрат будет делиться со мной больше, чем с тобой. Ты раньше узнаешь обо всем, что его тревожит.

— На правах старого друга, Адочка... Ты не находишь, что вы с Кондратом создали странную семью?

Она ответила резче, чем я мог ожидать:

— Я нахожу, что мы с Кондратом не можем создать никакой семьи. Но это уже наши внутренние затруднения. Речь об установке. Она затормозилась на одной выдаче энергии, за месяц никакого прироста. Тебя не беспокоит такое нарушение предварительных расчетов?

— Понял. Беспокоит. Выясню у Кондрата, что кроется за прекращением прироста выдачи энергии.

Улучив момент, когда Кондрат углубился в наблюдение фарфорового преобразователя, я прямо спросил, что случилось. В древности существовала секта «созерцателей собственного пупа». Не решил ли Кондрат создать новую разновидность такой секты? По-моему, название «созерцатели шаров» звучит не хуже.

Он засмеялся, шутка ему понравилась.

— Не созерцаю, а размышляю, Мартын.

— Догадываюсь, что не просто любуешься. О чем же размышляешь?

— О том, что преобразователь у нас великоват. И о том, что твой генератор тоже громоздок.

— Мы выбрали габариты под заданную мощность. Остановились бы на другой мощности, были бы другие габариты.

— Ты полагаешь, что установку можно уменьшить в десяток раз?

— Хоть в сотни раз! Когда-нибудь сконструируем и переносную ротонную машину. На дальних планетах наши энергетические механизмы будут даже удобней современных ядерных энергогенераторов. Ты не о таком ли широком распространении нашего изобретения размышляешь?

— И об этом, Мартын. И о многом другом.

— Поделись раздумьями с друзьями.

— Поделюсь, и очень скоро. Но не торопи меня.

Вот такой был разговор. Я информировал о нем Адель и, естественно, лишь увеличил ее тревогу. И был еще один результат. Кондрат не стал создавать секту «созерцателей шара», он больше не предавался лицезрению установки. Он теперь часы проводил в кабинете — и не на диване, а за столом. И перед ним лежал рабочий журнал — он перелистывал его, вчитывался в старые записи, делал новые — работал, а не размышлял! Размышление тоже работа, я не опорочиваю умение мыслить, но у Кондрата проверка и сопоставление расчетов, заполнение журналов, чтение записей очень уж отличались от свободного течения мыслей. Он откидывался туловищем назад, глаза становились рассеянными. Уже много дней он не принимал такой позы, уже много дней мы видели его только склоненным над столом, глаза глядели зорко и пристально — никакой задумчивости, никакой рассеянности...

Мы не сомневались, что он готовит важное сообщение. И вот однажды он пригласил нас в свой кабинет и объявил:

— В наши расчеты вкралась трагическая ошибка. Созданная нами установка не сможет работать.

16

Вряд ли кто из нас соврет, если скажет, что день объяснения с Кондратом стал одним из самых значительных дней в жизни каждого.

Отлично помню тот день во всех подробностях. Была середина ноября, даже по графику Управления Земной Оси, долго не позволявшему расстаться с теплой осенью, в Столице в этот день назначалась сумрачная погода. И природа, разрешенная временем к своей естественной самодеятельности, обрушилась ярым листобоем и холодным

дождем. На улицах и в парках деревья вопили как оглашенные. Ветер свивал мокрые листья в смерчи, заваливал ими дороги и плечи, дождь тут же смывал их. Я люблю такую погоду и не торопился. Меня обогнал Эдуард, хотел увлечь с собой, я не пошел. А затем показалась Адель, она бежала, едва не падая, я подхватил ее под руку.

— Спасибо, Мартын, — сказала она. — Не терплю дождя. И ветер такой, что хотела вызвать авиетку.

— Ветер хороший, — сказал я. — На таком ветру в авиетке можно схватить морскую болезнь. Ты правильно сделала, что пошла пешком.

В вестибюле нас ожидал Кондрат. Думаю, эту ночь он провел в лаборатории, а не дома. Он помог жене раздеться, и мы направились в его кабинет. Кондрат уселся за стол, на диван опустились Адель и Эдуард, я примостился на стуле сбоку. Я хорошо помню, как вдруг вспыхнул Эдуард, когда Кондрат объявил об ошибке, и как страшно побледнела Адель. Не думаю, что на моем лице было меньше растерянности и волнения: очень уж неожиданным было сообщение. Один Кондрат выглядел спокойным — мрачным спокойствием безысходности. Но нам в тот миг было не до его ощущений: хватало собственного ошеломления.

— Неправда! — гневно воскликнула Адель. Она первая справилась с растерянностью. — Я десятки раз перепроверяла, ошибки быть не может!

— Ты сказал, что установка не сможет работать, — обрел голос Эдуард. — Но она же выдает энергию. Это же факт.

Я молчал. Я ничего не понимал. Кондрат улыбался (столько стыда было в жалкой его улыбке). Я отвернулся. К Кондрату, сердитому и раздраженному, я как-то привык, но такого — униженного, готового снести оскорбления, — видеть было невыносимо.

Он ответил Адели тихим голосом:

— Нет, в твоих вычислениях ошибок не было. Я тоже много раз проверял... Хорошая математика, следствия из посылок. Но посылки неправильные, это моя ошибка. Ты поверила мне, я сам себе верил...

— Но установка работает, — настаивал Эдуард. — Ты же этого не можешь отрицать! Установка прекрасно работает.

Теперь Кондрат отвечал Эдуарду:

— Работает, но выдает только ту энергию, которую вводят извне в ротоновый генератор. И при этом теряет часть ее на собственные нужды. Вот максимум ее возможностей — выдавать лишь то, что получает. Она работает вхолостую.

Эдуард повернулся ко мне.

— Почему ты молчишь, Мартын? Скажи Кондрату, что он путает. Скажи, что он напрасно нас пугает.

Я взвешивал каждое слово:

— Возможно, Кондрат что-то путает. Но в одном он прав: до сих пор наша установка возвращала лишь ту энергию, какую получала. Такую эффективность мы планировали на первом этапе. Второй — выдача на сторону энергии сверх той, что используется нами со стороны. Для этого мы и создали лабораторию — вычерпывать энергию из вакуума, а не возвращать энергостанциям то, что получаем от них.

Эдуард чуть не кричал:

— Так приступайте, черт возьми, ко второму этапу. Вычерпывайте энергию из вакуума, а не из земных электростанций. Мне, что ли, это делать за вас? Не такое было у нас разделение функций.

Снова заговорила Адель:

— Кондрат, твое сообщение чудовищно. Признайся, что ты задумал нас попугать.

Кондрат покачал головой.

— Не пугаю. Сам ужаснулся, когда понял, что случилось. Я неправильно определил константу Тэта. И ты в своих вычислениях повторяла мою первоначальную ошибку.

— Ошибку? Мы столько раз обсуждали эту константу! Ты и не намекал, что подозреваешь ошибку.

— Я только недавно о ней узнал. И не решался сказать, пока не перепроверил себя. Теперь говорю — сразу всем.

— Теперь говоришь... И сразу всем? Хорошо, пусть так. Какова же ошибка? На одну десятую величины? На четверть? Вдвое?

— На два порядка, Адель. Я ошибся ровно в сто раз. Тэта в сто раз меньше, чем ты положила в основу своих вычислений.

Теперь и я не удержался от негодующего восклицания. То, что Кондрат объявил, было невозможно. В ошибку такого размера было немыслимо поверить. Тэта, ос-

новная константа в наших расчетах, определяла скорость рождения ядерного микропространства при бомбардировке атомных ядер ротонами. Именно константу Тэта мы внесли как совершенно новое в первоначальные расчеты профессора Прохазки. Именно константа Тэта сделала возможным переход в микромир от гигантских космологических катастроф, от Большого Взрыва, совершившегося двадцать миллиардов лет назад, от рождения нашей Вселенной и от разлета ее в непрерывно нарастающем пространстве. Именно она создала переход от безмерной обширности космоса к безмерной крохотности атомного ядра. Установлением одного того факта, что константа Тэта реально существует, Кондрат мог обессмертить свое имя в науке. А он еще определил ее величину — и она оказалась такой, что стало возможным получать энергию на Земле, сперва в лабораториях, потом на заводах, — от процессов, какие до того назывались космологическими. Все мы, не один я, верили, что недалеко время, когда эту величину, математический значок Тэта, будут именовать «константой Сабурова». И вот сам творец этой константы, сам Кондрат Сабуров с сокрушением признается, что все было фикцией. Нет реальности в открытой им удивительной константе, отныне она — лишь математический, малозначащий символ. Это было чудовищно, этого нельзя было допустить!

И я сказал:

— Кондрат! Ты ошибся не прежде, ты ошибаешься сейчас. Адель права — ты путаешь. Нужны доказательства, без них твоих объяснений не принимаю.

— Тогда смотри, — он протянул мне рабочий журнал.

Он хорошо подготовился к трудному объяснению, это было ясно. Журнал открывался на нужных страницах. Я сразу и навсегда запомнил их — двенадцать листочков, номера 123—134. И они показывали, как мучительно сам Кондрат искал объяснений, почему установка не может увеличить выдачу энергии. Он зафиксировал в журнале — цифрами, а не словами — и свои недоумения, и свои тревоги, и свое отчаяние. Он искал сперва неполадки в монтаже и не нашел их. Он подверг анализу — не говоря об этом мне — ливень ротонов из моего генератора. И не обнаружил несоответствия. Только тогда, уже охваченный тягостным предчувствием, он обратился к предпосылке наших экспериментов, к новому определению константы Тэта. Двенадцать роковых страниц зафиксировали его

придирчивый допрос самого себя, его яростный спор со своим детищем. Были прямые методы проверки проклятой константы, были и косвенные, по значениям других величин, — Кондрат использовал все. И все они свидетельствовали — мы легкомысленно начали свои исследования, фундамент их недостаточно обоснован. Константа Тэта, одна из главных мировых констант, была в сто раз меньше, чем мы приняли. Из множества чисел и величин мы невольно выбирали те, что ближе соответствовали замыслу. Мы были некритичны к собственной теории. И это была, конечно, больше всего вина Кондрата — он честно признавался в своей вине.

Я молча положил журнал на стол. Его надо было швырнуть, он обжигал пальцы. Но я положил его осторожно, как если бы опасался, что при резком движении из него вывалятся и посыпятся на нас проклятые цифры — каждая молчаливо вопя о напрасно потраченном труде нескольких лет.

Адель и Эдуард с надеждой смотрели на меня. Я покачал головой.

— Друзья мои, Кондрат прав. Наша установка неэффективна. Константа Тэта иная, чем мы предполагали. Можете сами проверить.

Ни Адель, ни Эдуард не взяли журнала. Эдуард опустил голову и растерянно глядел в пол. Адель была великолепным вычислителем, формулы говорили ей больше слов, но она не захотела проверять цифры, занесенные в журнал. Выражение моего лица сказало ей точней журнальных записей, что произошло. И в этот момент мне показалось, что я впервые вижу ее. Еще никогда она не была так красива, как сейчас. Я был когда-то влюблен в нее, надеялся, что она станет моей женой. Мне все тогда нравилось в ней, худенькой, умной, быстрой студентке. Но красота не была главным в ней, она была хорошенькой. Много лет спустя, поняв, что она не для меня, я перестал вглядываться в нее и пропустил время, когда она превратилась в красавицу. Я смотрел на нее, чтобы понять, как она поведет себя, что скажет Кондрату, что скажет мне и Эдуарду. А видел лишь, как она похорошела, и удивлялся, что нужно было произойти несчастью в наших исследованиях и так ей взволноваться, чтобы до меня дошла перемена. Я сказал, что она «прекрасно красива». Какие никчемные слова, не выражающие истины! Она была зловеще красива, когда в отчаянии глядела на

меня, уверовав наконец, что нашу совместную многолетнюю работу зачеркивает ошибка в одной-единственной цифре.

Мы молчали. Кондрат не вынес молчания.

— Надо решать, что делать.

Он обратился ко мне первому, и я ответил:

— Будем продолжать работу. Докажем, что невозможно создать новые источники энергии путем манипуляций с микропространством. Всемирной славы не приобретем, но докторские степени заслужим.

— Ты, Адель? — обратился Кондрат к жене. — Что ты скажешь?

— Что я скажу? — Она подошла к окну. Снаружи грохотали деревья и бил по стенам дождь. Адель посмотрела в окно и обернулась к нам. Она тяжело дышала. — Я бы многое сказала тебе не только как твой сотрудник, но и как твоя жена. Но при посторонних стесняюсь.

Кондрату надо было как-то успокоить Адель, он и не подумал это сделать.

— Как муж с женой поговорим дома. Сейчас я спрашиваю тебя как сотрудника лаборатории.

Она зло усмехнулась. Не хотел бы, чтобы когда-нибудь против меня обращали такую беспощадную усмешку.

— Видишь ли, мне трудно отделить функции жены от функции сотрудника. Это, наверно, недостаток всех женщин, не только мой. Поэтому отвечу на твой вопрос: я ухожу. Сейчас же ухожу, ни одной минуты не задержусь.

— Ты уходишь домой, Адель?

— Не домой, а из дому! Тебе понятно?

— Мне понятно, — сказал он глухо. Теперь я думаю, что в тот день он уже ожидал разрыва с ней. Но все же он очень побледнел — верней, посерел, темная кожа лица никогда не становилась у него бледной. Он обернулся к Эдуарду: — А ты, Эдуард? Ты что-то не торопишься высказать свое мнение.

— За Эдуарда отвечу я, — властно сказала Адель. — Эдуард уходит со мной.

— С тобой? — переспросил Кондрат. — Разреши узнать, в каком качестве ты уводишь с собой Эдуарда?

— В качестве моего нового мужа, вот в каком. — Она стремительно подошла к Эдуарду. — Эдик, я правильно тебя понимаю? Ты хочешь быть со мной?

Эдуард потерялся — затряслись руки, задрожал голос. Он еле пробормотал:

— Адочка, ты же знаешь... Я же всегда...

— Очень хорошо. Вставай, мы уходим.

Она взяла его под руку, пошла к выходу. Он пребывал в таком ошеломлении, что ничего не сказал нам с Кондратом на прощанье. В дверях она обернулась и горько проговорила:

— Радости здесь не было никогда. Но сколько было надежд на нее!

Они ушли. Эдуард так и не повернул головы в нашу сторону. Мы с Кондратом молчали. И опять он первый не вынес молчания.

— Вот и развалилась наша лаборатория, Мартын.

— Еще не развалилась, — откликнулся я. — Просто поставим себе иные задачи. И будем также честны с результатами экспериментов.

Он печально возразил:

— Но открытия, которого мы так желали...

— Друг мой Кондрат! Настоящий ученый исследует проблему, не зная, что получится в итоге — великое открытие или добавка новых фактов к тысячам уже известных. Только научные карьеристы и научные халтурщики ставят целью непременно совершить открытие, а не просто изучить проблему. Разве мы с тобой карьеристы или халтурщики?

Он странно посмотрел на меня и сказал:

— Мне думалось, что узнав о провале, ты покинешь меня, как Адель и Эдуард.

— Давай уточним понятие «провал». Отрицательный результат — тоже важный научный факт. Будем и дальше обогащать науку важными фактами. И не рвать на себе волосы, если они будут отрицательными.

— Я рад, что ты остаешься, — сказал он без энтузиазма.

Мне тогда показалось, что он отнюдь не огорчился бы, если бы и я оставил его.

Сейчас понимаю, что то ощущение было пророческим. И многое сложилось бы по-иному, если бы я ушел вслед за Аделью и Эдуардом.

17

Адель и Эдуард улетели из Столицы. Он продолжал свои речи и доклады о Гарпии, она сопровождала его в поездках. У меня не было сомнения, что долго такое странное содружество не продлится. У Кондрата Адель еще могла бы согласиться на вторую роль, он все же интеллектуально превосходил ее, и она это понимала. Но с Эдуардом они были ровня, а это означало, что вторые роли будет играть он, на ином она бы не помирилась. Вскоре они воротились в Столицу — она профессором в Университет, он сотрудником в Академию Наук. Она заняла место, какое хотела, он взял любое, лишь бы быть при ней. Все совершилось, как и должно было совершиться.

А у нас с Кондратом шло странно. Меня, наверно, меньше всех огорчила неудача на установке. Я не лгал, убеждая Кондрата, что и отрицательный результат тоже важен. Мне думалось, что утешаю его своими рассуждениями, но он почему-то раздражался, а не успокаивался. Помню один разговор в его кабинете.

— Посмотри на этих двух людей, — я показал на Жолио и Ферми. — Гении, правда? А почему? В чем их гениальность?

— Мартын, это же просто! Продемонстрировали высочайшую силу мысли, глубокое экспериментальное искусство. И в результате совершили научный подвиг — открыли ядерную энергию, сделали возможным ее использование.

— А можешь ли ты утверждать, что не будь Жолио и Ферми, человечество не узнало бы о ядерной энергии?

— Ты задаешь наивные вопросы, Мартын. Кроме них двоих еще два десятка отличных ученых изучали атомное ядро. Каждый из них вплотную приблизился к такому же открытию. Но Жолио и Ферми опередили их — всего на несколько дней, но опередили.

— Вот-вот! Открытие могли совершить не только они, но и другие: имелось, что открывать. Ибо константы ядра урана были объективно такие, что стало возможно огромное выделение энергии при распаде этого ядра. Будь константы другими, вырывайся при распаде ядра не несколько нейтронов, а, скажем, один нейтрон на два распада, — и не было бы никаких цепных реакций с баснословным выделением энергии. И не было бы никакого

ядерного оружия, и никаких ядерных электростанций, никаких атомных реакторов для мирных целей. И ни эти два физика, ни два десятка других, проводивших одновременно с ними такие же исследования, не совершили бы своих открытий. И никто не вешал бы их портретов на стены, никто не говорил бы об их гениальности. Чуть-чуть сложись по-иному некоторые физические константы, и всю историю человечества пришлось бы писать по-иному, не только биографии двух знаменитых физиков.

— К чему ты это все?

— К тому, что и Жолио, и Ферми остались бы такими же умными и талантливыми, будь константы распада ядра иными. Но только никто бы не узнал тогда, какие умные и талантливые.

Он задумался и сказал:

— Зато мы узнали о Жолио и Ферми не только то, что они совершили замечательные открытия, но и то, как они сами отнеслись к своим открытиям. Теперь проведи связующую нить от них к нам.

— Ты ее не увидел? Нам не повезло с константой Тэта, но разве мы от этого стали иными? Менее талантливыми? Глупей и злей? Чепуха, Кондрат, какими мы были, такими и остались. Давай утешаться этим.

Он взволновался. Его что-то сильно расстраивало.

— Утешайся, если тебе этого достаточно. А у меня временами желание послать наши исследования к черту. Взорвать твой ротоновый генератор, размонтировать мою установку...

— Почему такая дискриминация моих работ? — Я засмеялся. — Мой генератор — взорвать, твою установку — только размонтировать. Несправедливо.

Шутка до него не дошла. Меньше, чем когда-либо прежде, он способен был воспринимать иронию. Особенно, если иронизировали над ним.

Непонятными были эти дни работы вдвоем. Ротоновый генератор работал как хорошие часы, у меня появилось свободное время. Я предложил Кондрату помочь в обслуживании его установки. Он не захотел.

— Ум хорошо, а два лучше, слыхал? — сказал я.

— Не хочу отягчать тебя своими затруднениями.

— Один можешь и не увидеть, где увидят двое.

Он пронзительно глянул на меня.

— А не ты доказывал, что объективные закономерности природы диктуют удачи и неудачи эксперимента?

Константа высвобождения микропространства оказалась в сто раз меньше, чем надо. В два или в восемь глаз рассматривай ее, разве она изменится?

— Я все же хотел бы, Кондрат...

— Установка — моя. И только моя. Делай свое дело, я буду делать свое. Удачи разделю и с тобой и обоих ушедших приглашу к успеху... А неудача пусть будет только моей.

Я не сумел скрыть негодования.

— Трудно работать, Кондрат, когда видят в друзьях лишь любителей быстрого успеха.

Он закричал:

— Трудно со мной? Тогда уходи, я не держу! Адель ушла, я ее не остановил. А она мне все-таки...

— Жена, а не просто сотрудник, как некий Мартын Колесниченко, — холодно закончил я. — Я подумаю над твоим ценным предложением.

И я впервые стал прикидывать: а и вправду, не уйти ли мне? Все, что мог, я уже сделал. Мой ротонный генератор останется Кондрату памятью о том, что у него нет причин жаловаться на мое нерадение.

Вероятно, эти мысли и неусмиряемая обида стали причиной окончательного разрыва.

Кондрат задумал какие-то новые опыты. Он влезал на установку, прилаживал к фарфоровому шару ящички и сосудики. Он не говорил, зачем это делает, я не спрашивал. Однажды я молча шел мимо установки, и сверху на меня свалился металлический цилиндрик. Я успел схватить его.

Кондрат закричал с установки:

— Не смей трогать его, он тебя не касается.

— Именно касается, — огрызнулся я, — если удар именовать простым касанием. А теперь погляжу, что содержится в этом подарке с высоты.

Кондрат проворно сбежал вниз.

— Запрещаю открывать цилиндр. Немедленно отдай!

Ему следовало все же говорить спокойней.

— Не смей, запрещаю, отдай... Какие военные команды! Ты в меня швырнул чем-то тяжелым, теперь моя передача, хватай!

Я кинул ему цилиндрик, как кидают мяч. Кондрат отшатнулся, и цилиндрик угодил ему в щеку. Кондрат был чужд всем видам спорта и не понял, что я хотел превратить исполнение его приказа в подобие игры. Он ре-

шил, что я отвечаю ударом, и немедленно вздыбился. Он наступал на меня и орал. Он потерял контроль над своими чувствами. То, что он выкрикивал, было непереносимо слушать. Я впал в ярость и пригрозил:

— Перестань! Плохо будет!

— Не перестану! Узнаешь все, что думаю о тебе! — вопил он побелевшими губами.

И я ударил его. Полновесная пощечина отбросила его к стене. И сейчас же он кинулся на меня. Драчуном он не был, ни силой, ни сноровкой не брал. Но нападение было так неожиданно и так неистово, что минуту-две Кондрат одолевал меня. Он схватил меня за шиворот, наддал коленом, потащил к выходу — хотел вытолкнуть наружу. Только у двери я справился с растерянностью. На этот раз он на ногах не устоял. Несколько секунд он лежал на полу, потом стал медленно подниматься. По лицу его текли слезы, он что-то бормотал. Я не стал вслушиваться, я ненавидел его. Было именно так: я его ненавидел, и он понимал это.

Я раздельно сказал, стараясь восстановить в себе спокойствие:

— Поговорили. Небольшая научная дискуссия. Успешно разрешена трудная познавательная проблема, гносеологическая, — так, кажется, называются такие проблемы.

— Мартын, Мартын! — простонал он. — Что же мы сделали?

— Расходимся, вот что сделали. Ты заставил уйти Адель и Эдуарда и меня принудил. Ноги моей больше здесь не будет!

Я рванул на себя входную дверь. Не умом, мстительным чувством я понимал, что уходя вот так — все бросив, от всего в лаборатории отрекаясь, — я наношу Кондрату пощечину обиднее первой. И в ту минуту мне было единственным утешением — что не просто ухожу, а больно оскорбляю Кондрата своим уходом.

Я снял с заушин датчики мыслеграфа и швырнул их на стол. Третий день записи медленно развертываемых воспоминаний был тяжелей первых двух. Не знаю, как другие люди, а мне заново переживать давно пережитое временами больней, чем в первочувствовании. Ибо там, в прошлом, нет завершенности, нет знания, что произойдет впоследствии, спустя год, завтра, через минуту. В первопереживании, даже, казалось бы, завершенном, нет

истинной завершенности — будущее темно. А сейчас, перед столом, с датчиками мыслеграфа за ушами, я видел прошлое в его абсолютной законченности — оно было, и его уже не изменить. И меня охватывала боль оттого, что в прошлом ничего не переменить, а так надо бы! Да знай я то, что знаю сегодня, разве я так вел бы себя в прошлом, что, не поддаваясь исправлению, остается вечным свидетельством ошибок, вечным укором совести.

— Ладно, успокойся, — сказал я себе вслух. — Отдыхай, завтра продолжим. Завтра будет легче. Воспоминания закончены, основа для анализа трагедии выстроена. Завтра приступлю к исследованию документов. Они прольют последний свет на темные причины гибели Кондрата.

18

И, начиная новый день раздумий, я вытащил из ящика стола папку, принесенную Сомовым. Надо бы предварительно рассмотреть вчерашнюю запись воспоминаний и размышлений, подумал я, но не стал этого делать — все записанное вчера восстановилось в памяти ярко. Датчики я все же прикрепил к ушам, сегодня они будут записывать не картины прошлого, а мысли, возбужденные чтением документов и описанием событий.

Итак, я ушел от Кондрата, организовал собственную лабораторию — иная тематика, ничего похожего на то, чем занимался у Кондрата. Адель и Эдуард явились в мою новую лабораторию. Был нерадостный разговор, ни он, ни она не примирились с тем, что мечты об успехе завершились скверным финалом. А Кондрат продолжал работать один. Что он делал? Что он мог делать, кроме продолжения неудавшихся исследований? Конечно, пытался найти способ как-то улучшить использование и той константы Тэта, какой она раскрылась в реальности, а не в мечтах, не в рискованных теоретических построениях.

— Итак, константа Тэта, определяющая рождение микропространства в атомном ядре, — сформулировал я для себя задачу. — Не знаю, как с созданием микропространства, а провал нашего исследования определила именно она. Посмотрим еще раз, как это произошло.

Ошеломленный, я не поверил глазам. Страниц 123—134 в журнале не было. Я торопливо перелистал всю тет-

радь — может, выпали из общей сшивки и их засунули между другими листами? Нет, их не было ни на своем месте, ни на другом. Я просмотрел все бумаги, лежавшие в пачке. Протоколы следственной комиссии по взрыву, дневники Кондрата, какие-то слова, не оснащенные цифрами, — не то, решительно не то! Я снова раскрыл журнал. Между страницами 122 и 135 была пустота. Страницы 123—134 были удалены — не выпали сами собой, а вырезаны, несколько узеньких полосок свидетельствовали, что здесь аккуратно действовал острый нож, а не случайность, не злобный порыв. Те самые страницы, которые нам показывал Кондрат, которые я в его присутствии проверял, те единственные страницы, на которых были запечатлены все проверки главной константы, страницы, безошибочно доказывающие, как трагически ошиблась теория Кондрата и вычисления Адели, приписав этой константе нереально высокое значение...

Кто мог изъять эти важнейшие страницы? Кому это было нужно?

Только два человека держали в руках рабочий журнал Кондрата после моего ухода из лаборатории. Он сам и Сомов, изымавший все лабораторные бумаги после взрыва. Кондрат отпадает, Кондрату не было нужды уничтожать свои записи — что написано, то написано, такое было его отношение к рабочим журналам. Значит, заместитель директора Института. Он, только он один! Этот человек сразу невзлюбил нашу лабораторию: он не раз почти открыто выказывал свою неприязнь. Он держал в руках все документы лаборатории, он рылся в них — и устранил все, что свидетельствовало о просчетах, ведь они бросали тень на его научную компетенцию!

Я вызвал Сомова.

— Случилось что-то важное? — спросил он.

— Очень важное. Разрешите прийти к вам и доложить.

— Не надо. Я сам приду в лабораторию.

Он явился через несколько минут. Я сидел у Кондрата, а не в своем кабинете. Сомов опустился на диван. Передо мной лежал раскрытый журнал. Сомов усмехнулся, он издали увидел, какие страницы распахнуты.

— Итак, вы заметили вырванные страницы и сочли это важным, — начал он первым. — И какое составили об этом мнение, друг Мартын?

— Мнения нет. Пока одно удивление.

— И предположений нет?

— Предположение есть: страницы 123—134 удалены тем, кому они мешали. Или, скажем так, кому они не нравились.

— Продолжу вашу мысль, — сказал он. — Страницы мог удалить и тот, кому не нравились ваши исследования и сама ваша бывшая лаборатория. Вам явилась идея, что это именно я так нагло похозяйничал в журнале?

Я не решился столь ясно высказывать свои подозрения. Он тихо засмеялся.

— Нет, друг Мартын, вы ошибаетесь, если так думаете. И к лаборатории вашей я хорошо отношусь, хоть и многое в ней меня тревожило. И важных страниц из журнала не вырывал. Это сделал другой человек.

— Кто же?

— Кондрат Сабуров, кто же еще? И сделал, уверен, потому, что и его стали одолевать те же тревоги, что и меня.

— Может быть, скажете, в чем состоят эти тревоги?

— Не скажу. Вы должны до всего доведаться сами.

— Но вы видели раньше меня эти вырванные страницы. Почему не обратили заранее на них мое внимание?

— По этой же причине. Вы не нуждаетесь в подсказках.

— Но в пояснениях нуждаюсь, — сказал я сухо. — Слишком много темноты не только в лаборатории, но и вокруг нее. Вы могли бы хоть отчасти высветить темноту.

— Мог бы, но не хочу. Частичное высветление однобоко, может увести от подлинной ясности. Если я выскажу вам свое мнение о том, что совершалось в вашей лаборатории, я невольно воздействую на вас. А я несравненно меньше вас разбираюсь и в научной специфике лаборатории, и в знании работников. Поэтому вам, а не другому, тем более — не мне, доверили окончательное расследование. Но если вы сами придете к тем же выводам, что и я, они для меня станут истиной. И это будет важным не только для нас с вами — для всей нашей науки.

Он встал, я не стал его задерживать. Он вдруг показал на портреты Жолио и Ферми.

— Одну подсказку все же разрешу себе. Подброшу вам хорошую кость — погрызите ее. Зачем Сабуров повесил портреты этих двух физиков? Если я жестоко не ошибаюсь, ответ прояснит многие загадки.

Я долго не мог прийти в себя после ухода Сомова.

Ошеломление — вот единственно точная формула моего состояния. Ошеломление и растерянность. Из всех гипотез, которые я мог выстроить из происшествия с журналом, Сомов предложил мне самую невероятную. Истина была не там, где я пытался ее найти. Я шел по неверной дороге, по самой удобной, по гладкому полотну, а надо было сворачивать на неприметную тропку, протискиваться между валунов, преодолевать завалы: истина не светила впереди прожектором, а тускло мерцала в глухой чаще!

— Итак, страницы из журнала вырвал сам Кондрат,— сказал я себе вслух. — Невероятно, но правда, — так утверждает Сомов. Но почему Кондрату понадобилось расправляться с журналом?

Ответ был однозначен: его не устраивали эти страницы. Они стали вредны, чем-то опасны. Кондрата порой охватывало раздражение, налетали приступы ярости, все это вызывалось общением с людьми, — и раздражение, и неистовство обращались к возражавшим и несогласным. К науке его душевные бури отношения не имели, на науке он не вымещал своих настроений. Двенадцать вырванных страниц были наукой — результаты расчетов и проверок, итоги размышлений и экспериментов. Почему он расправился с наукой? Без ярости, без злости, без раздражения — аккуратные полоски разрезов свидетельствовали о спокойствии. Он работал неторопливо, совершал запланированную операцию, естественную и необходимую.

Итак, уничтожение важных научных данных было законной научной операцией, иначе не понять поступок Кондрата. Чем же были вырванные страницы? Новой ошибкой Кондрата? Нет, ошибку Кондрат сохранил бы, познание идет через ошибки. Кондрат ценил обнаруженную ошибку, как веху, свидетельствующую, что в эту сторону дорога закрыта. Он не страшился и не стыдился ошибок, только огорчался, если ошибка была велика. Он вырвал страницы, потому что стыдился их, в них был какой-то укор ему. Они были обманом! Он стыдился, что пошел на обман. А когда мы трое покинули лабораторию, он расправился со свидетельством своего обмана.

Постой! — мысленно сказал я себе. Пока все логично, только скверно. Что же было предметом обмана? На страницах 123—134 суммировались доказательства, что константа Тэта в сто раз меньше, чем вначале предполага-

лось. И это было единственно важным на тех страницах. И это единственно важное было обманом, сознательным обманом. Со случайной ошибкой Кондрат так не расправился бы, раскрытие случайной ошибки могло вызвать лишь радость. Но раскрытие обмана порождало стыд, от стыда Кондрат постарался себя избавить.

Теперь следующий шаг — в чем состоит обман? В том, что Кондрат сознательно занизил значение основной константы. В том, что он убедил нас троих в бесперспективности наших работ. Столько лет жизни, все лучшее в себе Кондрат отдал лаборатории и вдруг стал лгать нам, что лаборатория никуда не годится. Но если его уверения, зафиксированные лживыми цифрами на пропавших страницах, так же лживы, как и те цифры, то, значит, неудачи в экспериментах нет. Огромные перспективы новых форм энергии не зачеркнуты, они реальны. Об этом — после. Сейчас непосредственное: зачем Кондрат обманул нас лживыми записями?

И на это ответ однозначен: чтобы удалить из лаборатории нас троих. Конечно, мы могли потребовать новых проверок, новых вычислений, новых экспериментов — и обман обнаружился бы. Кондрат действовал безошибочно. Он знал, что мы ему верим. На него работала чудовищность замысла: главный автор изобретения, не терпевший даже намека на сомнения, с сокрушением признается сам, что допустил непозволительный промах и нас ждет не слава успеха, а позор провала. Как не поверить такому признанию? Правда, задумка сработала не полностью. Адель ушла сразу и без колебаний, увела с собой Эдуарда. Но я остался, Кондрата это не устраивало. Он разыграл скандал, оскорбил, заставил уйти и меня. Теперь все в порядке: можно вырвать лживые страницы и продолжать прежние исследования. Ничего не изменилось — провала не будет, ибо провала не может быть.

Итак, Кондрат сознательно удалил нас троих, и один продолжал нашу совместную работу. Чем мы ему мешали? Не только не мешали — помогали, без нас ему значительно трудней. Значит, не хотел, чтоб мы дошли с ним до финала? Не хотел, чтобы мы четверо были равноправными участниками успеха? Задумал забрать себе одному то, что мы создавали вчетвером? Чудовищно, но другого ответа нет!

Волнуясь, я прошелся по комнате. Должен быть другой ответ! Кондрат не мог удалить нас, желая славы толь-

ко для себя. Признание его собственного значения в науке ему было не так важно, как сама наука. Он не был завистником, нет. Чего-то я не понял. Все верно в моих размышлениях, но последний вывод — неверен. Он выгнал меня, но ведь не отменил моего входного шифра, наверно, надеялся, что возвращусь. Это как-то не вяжется с запланированным изгнанием. В какой-то момент я опять свернул с правильной дороги — опять предпочел запутанной, в колдобинах тропке, удобное, накатанное шоссе тривиальных понятий.

Я нажал кнопку дисплея. Надо было зафиксировать программу дальнейших поисков. На экране, одна за другой, появлялись записи мыслей:

1. Истинное значение константы Тэта?

2. Чем занимался в лаборатории Кондрат после ухода нас троих?

3. На что намекал Сомов, связывая портреты двух физиков с поведением Кондрата?

4. Гибель Кондрата — обстоятельства и причины.

Я послал просьбу в библиотеку прислать мне труды Фредерика Жолио и Энрико Ферми. В шкафу хранился первоначальный проект Ротоновой лаборатории, мы составляли его вчетвером и вчетвером подписывали. Все физические закономерности взаимодействия ротонов и материальных частиц в атомном ядре разрабатывал сам Кондрат, вся математика принадлежала Адели. Проект был на месте.

Вернувшись к себе и снова подключившись к мыслеграфу, я углубился в наши старые расчёты.

19

Вероятно, проверка шла бы много быстрей, если бы я вызвал Адель — и сама она вычислитель иного класса, чем я, и все основные вычисления проделывала и перепроверяла неоднократно. Но что-то останавливало меня. Кондрат удалил ее и Эдуарда из лаборатории, он вычеркнул из памяти компьютера их входной шифр. Я помнил, с какой поспешностью и без колебаний он поставил возвращению жены и друга непреодолимый барьер. Теперь это стало барьером и для меня: я не имел права просить помощи Адели, не уяснив, почему она удалена. Правда, и меня Кондрат изгнал. Но была важная разница: Кон-

драт чуть не с рыданием кричал мне вдогонку, что навсегда закроет мне вход в лабораторию, но входа не закрыл. Мой шифр оставался в действии — может, Кондрат ожидал, что я одумаюсь и прощу безобразную сцену. С Аделью и Эдуардом было по-иному — он почувствовал облегчение, когда они ушли. Даже намека на раскаяние я в нем не заметил.

Запретив себе звать Адель, я погрузился в расчеты, которые она могла сделать куда лучше меня. Я повторял ее вычисления, искал математический просчет, прикрытый внешней аккуратностью. Я делал ту же работу, что и она, но делал независимо — даже отказался от параллельной сверки результатов. Тетрадь расчетов лежала на столе, я запретил себе раскрывать ее, пока все не закончу. И вычислял я иначе, чем Адель. Профессиональные вычислители имеют свои приемы, они что-то упрощают, через какие-то ступеньки перепрыгивают. Мастерство Адели слагалось из множества отступлений от школьных правил, одно из таких отступлений и могло породить неприметную ошибку, ставшую в конечном итоге роковой. Так я думал, возобновляя давно проделанную работу, — и в отличие от Адели не позволял себе ни малейшего нарушения нормы.

И когда я сравнил, что получилось у меня, с тем, что было у Адели, меня охватило новое чувство к ней. Я всегда уважал ее дарование вычислителя, ее профессиональное мастерство. Теперь уважение превратилось в восхищение. Я был растроган, так все оказалось изящно и безошибочно в каждой странице формул и цифр. Я упрекнул себя — уважение и восхищение чувства деловые, они сопровождают профессиональную оценку профессионального умения. Но быть растроганным — из иной области, растроганность — чувство некорректное. Но я ничего не мог поделать. Я когда-то был влюблен в Адель, но никогда по достоинству не принимал ее как ученого, как я понял ныне.

— Ошибка не связана с работой Адели, — сказал я для мыслеграфа. — Кондрат правильно говорил, что Адель ни в чем не погрешила. Теперь — константа Тэта, в ней корень зла. Восстановить утраченные страницы 123—134 и проанализировать их содержание.

Утраченные страницы возобновились в моей памяти так ясно, словно лежали на столе и я рассматривал их, а не вспоминал. И я мысленно перелистывал их, всматри-

вался в формулы и цифры. Мыслеграф закреплял на пленке то, что восстанавливала мысль. Отныне, вызывая на экран изображение, я смогу рассматривать эти страницы, не тратя на каждую мыслительных усилий. И меня снова и снова охватывало ощущение, с каким я тогда, под сумрачным взором Кондрата, под полными отчаяния и еще не вконец потерянной надежды взглядами Адели и Эдуарда, старался вдуматься в эти страницы. Они убийственно неопровержимы. Они снова и снова убеждают в трагической ошибке: константа Тэта, определяющая микророждение пространства при облучении ядра ротонами, эта открытая Кондратом новая мировая константа, ровно на два порядка, ровно в сто раз меньше, чем мы положили в основу попытки создать еще неслыханные генераторы энергии. В страницах, возобновившихся в моей памяти, была магическая сила — они заставляли верить в себя.

Но в отличие от того дня, когда я впервые, еще не в воспоминании вглядывался в эти страницы, сейчас я знал, что в них таится путаница, не исключен и обман. И я снова и снова повторял себе — только обман, только стыд, что понадобилось нас обмануть, мог заставить Кондрата вырвать эти страницы из журнала.

— Но не могло ли произойти так,— спросил я себя,— что Кондрат сам обманулся, а потом сам же обнаружил свою ошибку и в ярости уничтожил следы самообмана?

— Нет, не могло, — опровергнул я себя. — Кондрат бросился бы к нам, он снова призвал бы нас троих в лабораторию, он ликовал бы, что путь к успеху по-прежнему реален. Вот так бы он поступил. Но этого не было, вспомни.

— Но все данные так дьявольски доказательны, — говорил я себе.— Вот я снова вглядываюсь в уже несуществующие страницы...

Их несуществование, в тысячный раз повторяю тебе, доказывает их недоказательность, — прервал я себя. — И еще одно: абсолютное правдоподобие данных, не подозрительно ли само по себе? Хоть бы щелочка для сомнения! Хоть бы признак неточности! Нет, все рассчитано — оглушить неожиданным набором доказательств, но не дать по-настоящему разобраться. Если бы Адель с Эдуардом остались, если бы тебе не пришлось уйти, такая проверка неизбежно бы совершилась — и обман или самообман столь же неизбежно раскрылся!

— Значит, так, — приказал я себе. — Ты с напряжением вспоминал утраченные страницы журнала. — Теперь забудь их, они не должны возобновляться в твоем мозгу. И проделай такую же работу, какую сделал с вычислениями Адели. Восстанови собственным изысканием все, что Кондрат вносил на изъятые страницы. Сам определи истинное значение Тэта по его экспериментам. Так ты записал первый пункт новой программы изысканий. Выполняй!

Была ночь. Отключив мыслеграф, я пошел домой.

20

Не помню, какой это был день расследования — пятый или шестой. И не знаю, какая была в тот день погода, хотя мне всегда было дорого знать, дождь или солнце, ветер или тишина, тепло или холод. Внешний мир отстранился от меня, я допрашивал показания приборов, программы компьютеров, энергетические выдачи установки: перелистывал ленты самописцев, вдумывался в команды исполнительных механизмов, анализировал их действия... И мне временами думалось, что уже не я, а сам Кондрат изучает свою собственную работу. Я так слился с ним, что, уверен, в тот день думал его мыслями, чувствовал его чувствами...

А когда и этот труд был завершен, я некоторое время только молча смотрел на результат. Ошибки в первоначальном определении Тэта не существовало. Все прямые, все косвенные данные экспериментов подтверждали константу, положенную в расчет установки. Кондрат переместил несколько цифр в записи, совсем незаметное изменение, маленькая подтасовка — а в отдаленном итоге она и дала преуменьшение в сто раз. Все было заранее продумано. Кондрат не сомневался, что в спешке и в волнении я и не подумаю обратиться к лентам самописцев, не буду сравнивать кривые на диаграммах с цифрами в журналах. А буду вглядываться в одни журнальные цифры, буду вдумываться в них, буду оценивать только их значение. Какими же белыми нитками сшита черная сеть обмана! Немного бы тщания, и все хитросплетения выводов рухнули б, как подрубленное дерево. Нет, Кондрат действовал безошибочно. Чтобы раскрыть обман, надо было заранее знать, что обманывают. Подвергнуть про-

верке не выводы из цифр, а сами цифры, усомниться в самом главном — точно ли записаны эксперименты? Тогда я и помыслить не мог об обмане, на этом и был построен обман. И если бы Кондрат не вырвал фальсифицированных страниц, я бы и сейчас верил им, я бы и сейчас с горечью признавался — да, непростительная ошибка, никогда человечество не получит новые источники энергии. Вот они вспыхивают на экране, восстановленные в памяти страницы, — как они доказательны, как неопровержимо доказательны!

Я откинулся на спинку стула, закрыл глаза. Я чувствовал себя опустошенным — длительный поиск вымотал силы. Но я не испытывал ни возмущения, ни негодования. Получилось то, что я предугадывал. С того момента, когда я увидел вырванные страницы и узнал, что вырвал их Кондрат, я уже подозревал истину. На душе было горько, а не злобно — только и всего. И чтобы подвести один из итогов расследования, я сказал себе мысленно — для мыслеграфа:

— Наши исследования шли по правильному пути, провала не ожидалось. Кондрат удалил нас, чтобы мы не узнали, что будет успех. Не захотел успеха? Раздумал вписать свое имя золотыми буквами в историю науки? Или приревновал нас к тому, что и мы станем рядом с ним?

Внезапно прозвучал вызов. На экране появилась Адель.

— Ты в лаборатории, Мартын? — Она неприязненно всматривалась в меня. — Что ты там делаешь?

— Многое, Адель. Всего сразу не расскажешь.

— Расскажи главное.

— При встрече — пожалуйста. Не люблю экранных бесед.

— Тогда пошли разрешение на вход для меня и Эдуарда. Через десять минут мы придем в лабораторию.

Они пришли точно через десять минут. В Адели идеально совмещалась женственность с неженской точностью в поступках. Она вошла первой, за ней плелся Эдуард. Я встал им навстречу, протянул руку. Она сухо коснулась моих пальцев, он так долго жал их, словно что-то хотел перелить из моей руки в свою. Потом он плюхнулся на диван, а она встала у окна на свое любимое место — дневной свет, сегодня довольно тусклый, красочно, как и раньше на этом месте, высвечивал половину лица и фи-

гуры. Вторая половина была затенена — так ей почему-то нравилось.

Эдуард выглядел каким-то разваренным, и я посочувствовал:

— Как будто только что слез с горы. Ты, случаем, не с Эвереста или Килиманджаро?

Он проворчал:

— От Боячека. В Гималаях чувствую себя гораздо легче, чем в кабинете нашего дорогого Президента. Старика сдвинуть с позиции трудней, чем переместить Эверест из Азии в Африку.

— А пробовал передвинуть Эверест?

— Говорю тебе, я пробовал передвинуть Боячека. Это хуже.

Адель прервала наш разговор:

— Мартын, ты, кажется, осваиваешь место начальника Лаборатории ротоновой энергии? Каковы же успехи? Чему ты ухмыляешься?

Она явилась чего-то властно добиваться. Я видел ее насквозь.

— Дорогая Адель, сними фильтры с глаз, они показывают неверную картину.

— Разве ты не за столом Кондрата? И разве тебя не осеняют лики великих святых науки? — Она показала на портреты Ньютона, Эйнштейна, Нгоро и Прохазки. — И вид самый начальственный.

— Руководящий, — важно добавил Эдуард. — Между прочим, Мартын, я всегда был уверен, что ты создан для руководства. У тебя, знаешь, такие директивные...

— Глаза, — подсказал я.

— Нет, не глаза. Впрочем, глаза тоже. Я имел в виду жесты, слова... В общем, поступки. Мы с Аделью так поняли твой приход в лабораторию, что теперь ты будешь возглавлять ее. Допустишь и нас? Или подтвердишь изгнание?

— Вы хотите вернуться в лабораторию?

— Да, — ответила Адель. — Мы хотим вернуться. Несчастные изгнанники — роль не для нас. Ты ведь воротился.

Пока она говорила, я торопливо обдумывал, как держаться. Их приход был неожиданным, неожиданным было и желание вернуться в лабораторию. И я не знал, что сказать о своем появлении в ней. Где мера той откро-

венности, какую могу разрешить себе? Я осторожно начал:

— В общем, конечно, Кондрат нас прогнал. Но Кондрата нет. И лаборатории нет. Куда вы собираетесь возвратиться?

— Туда, куда воротился и ты, — ответила Адель. — Ты в лаборатории, ты сидишь за столом ее бывшего руководителя. Значит, лаборатория есть.

— Я сижу в лаборатории, но, повторяю, лаборатории нет.

— Тогда зачем ты появился здесь?

На это я мог ответить открыто:

— Ларр и Сомов предложили мне расследовать обстоятельства катастрофы — вот почему я за этим столом. С возобновлением экспериментов это не связано.

— Ларра и Сомова не устраивает заключение комиссии, расследовавшей катастрофу?

— Оно им кажется недостаточным, Адель. Они хотят услышать мнение человека, долго работавшего в лаборатории.

— Логично. Но мы с Эдуардом тоже работали в лаборатории. Почему обратились к одному тебе?

— Об этом надо спрашивать не меня, а их. Я не знаю, почему они выбрали меня, а вас игнорировали.

— Но ты бы мог сказать, что без нас расследование будет не полным, что и наше мнение имеет немаловажное значение. Почему ты этого не сделал, Мартын?

— Конечно, я должен был вспомнить о вас, когда меня вызвали Ларр с Сомовым. Но я не вспомнил. К сожалению, было так.

— Ты понимаешь, что твой ответ несерьезен?

— Другого у меня нет.

Она долго не отрывала от меня гневного взгляда. Эдуард молчал. Он как бы показывал, что и сам разговор, и результаты разговора его занимают мало. Уверен, в эти минуты он размышлял о чем-то постороннем.

— Хорошо, примем, что серьезного ответа на серьезный вопрос у тебя нет, — снова заговорила Адель. — Ответь тогда на другой вопрос. Ты не посоветовал привлечь нас к расследованию, но разве не мог информировать о нем? Вызвать, если не для дружеской, то хотя бы для официальной беседы? Или и на это не можешь ответить?

— На это — могу. Я собирался просить вас к себе, когда для меня картина катастрофы прояснится.

— А картина, естественно, темна, раз ты нас не вызываешь. И нам пришлось самим напроситься на прием.

Я игнорировал ее иронию и ответил, сколько мог, дружески:

— Ты права, Адель, катастрофа для меня пока темна. Загадка гибели Кондрата остается загадкой.

— Ты уверен, что удастся разъяснить эту загадку?

— Надеюсь на это.

— Хорошо. С Кондратом понятно. Он погиб, причины гибели остаются теми же, какие указаны официально: неосторожное включение линии высокого напряжения на горючие материалы. Так?

— Не просто горючие, а взрывчатые.

— Пусть взрывчатые. Оставим на время трагедию Кондрата. Воротимся к ней, когда ты бросишь на нее свет. Не возражаешь поговорить о другом?

— Как я могу возражать, не зная, что это «другое»?

— Не притворяйся. Ты знаешь, о чем я буду спрашивать! Так или не так?

— Так. Знаю. Спрашивай.

Она все же помедлила. Я внутренне сжался. Она еще не понимала, что я не могу честно ответить на то, о чем она спросит. На мне железной цепью висел обман Кондрата. Пока я не дознался, почему он обманул нас, я не мог прямо сказать им обоим, что был обман. У Кондрата, несомненно, возникли важные причины для удаления нас из лаборатории — более важные, чем наука, чем наша дружба, чем его чувство к Адели, наконец. И я еще не знал, что честней, что нужней — раскрыть обман или умолчать о нем. Прикрыть один обман другим я не мог. Честно во всем признаться — не смел.

Адель задала вопрос так резко, как если бы наносила удар:

— Мартын, только правду: не было ошибки в экспериментах? Не было того провала, которым ошеломил нас Кондрат?

Я постарался хоть на минуту ускользнуть от прямого ответа:

— Какие у тебя основания спрашивать об этом?

— Ты заменяешь ответ вопросом. Хорошо, я отвечу тебе. И ты, и Кондрат, конечно, понимали, что, уйдя из лаборатории, я снова проверю вычисления. В них не было ошибки, я это установила окончательно. Вот мои основания для вопроса.

— И Кондрат говорил, что в твоих вычислениях нет погрешностей. И что просчет в неправильном определении величины Тэта. Эксперименты подтвердили, что надо исходить из нового значения константы.

— И ты подтвердил, что эксперименты это подтвердили! Не забывай, пожалуйста, что ты проверял записи.

— Не забываю.

— Ты тогда объявил нам: эксперименты свидетельствуют, что Тэта в сто раз меньше, чем первоначально принята.

— Все верно. Записи в рабочем журнале показывали, что константа — иная, чем мы считали.

— Я снова повторяю вопрос, от ответа на который ты уклонился: не было ли ошибок в самих экспериментах? Правильно ли вписали в журнал данные?

На это я ответить не мог. Увертываться в отговорки было противно. Я старался не глядеть Адели в лицо.

— Воздержусь от прямого ответа на твой прямой вопрос.

— Почему?

— И на это не отвечу. По крайней мере, пока не закончу расследование. Тогда, возможно, что-то скажу.

— Возможно или наверно что-то скажешь?

— Этого сейчас не знаю.

Она повернулась к молчаливому Эдуарду.

— Ты слышал, Эдик? Я говорила тебе, что и в нашем устранении из лаборатории, и в самой гибели несчастного Кондрата скрывается тайна. Ты и теперь не веришь, что я абсолютно права?

Он нехотя откликнулся на ее взволнованное воззвание:

— Много, много непонятного. Ты хотела спросить о журнале, помнишь?

— Помню. Мартын,— обратилась она ко мне.— Я, конечно, не экспериментатор и должна тебе верить во всем, что относится к лабораторным работам. Но мы с Эдиком хотим сами взглянуть на рабочий журнал, который ты так внимательно изучал в тот день.

Меня охватило чувство, похожее на отчаяние. Я чуть не застонал от душевной боли. Я не мог исполнить ее требование и не мог объяснить, почему не могу исполнить.

— К сожалению, должен отказать в твоей просьбе, Адель.

— Требовании, а не просьбе, Мартын.

— И в требовании отказываю.

— Тогда разъясни — почему отказ?

— И этого не скажу.

Она впилась в меня негодующими глазами. Было тяжко выносить ее взгляд, но рассказать, что Кондрат вырезал из журнала страницы, которые она требовала, было немыслимо. Я еще не знал, что прячется за его поступком — возможно, столь важное, что оправдывало его решение разорвать и с женой, и с двумя друзьями. Мне вдруг представилось, что совершу предательство перед памятью Кондрата, если вот так, не разобравшись в причинах, расскажу то, что уже узнал.

И я объявил:

— Кончим на этом, друзья. Ваши вопросы подошли к той грани, за которой я не могу и не хочу ничего говорить. Наберитесь терпения — одно могу посоветовать.

— Набраться терпения?— переспросила она.— И сколько, дорогой Мартын? Килограмм, тонну? Или километр? На месяц или на год? На сколько лет, если измерять терпение в единицах времени? Не откажи в любезности разъяснить.

Я молчал. Адель обратилась к Эдуарду:

— Что будем делать, Эдик? Набираться терпения, не зная даже, в каких единицах оно измеряется? Или настаивать на раскрытии всего, что от нас утаивают?

— Пойдем к Ларру или Сомову, — сказал Эдуард. — Руководители Института поставят Мартына на место.

Она зло рассмеялась.

— Не поставят, а посадят. Вот он уже сидит — на месте начальника лаборатории. Это место для него заранее предусмотрено. Не будь наивным, Эдик. Сомов скажет не больше того, что по его приказу говорит Мартын.

— Но Мартын ничего не говорит.

— Значит, и Сомов ничего не скажет. Но если они молчат, то говорить будем мы. У нас есть что сказать и Сомову, и тебе, Мартын. Будешь слушать нас? Отвечай — будешь слушать?

— Буду, — сказал я.

— Тогда сними датчики мыслеграфа, они торчат над твоими ушами, как дьявольские рожки. То, что я теперь скажу, предназначено только для тебя, а не для Сомова, с которым ты спелся. С ним побеседуем особо.

— И без меня?

— Естественно! Но он с тобой поделится, не расстраивайся!

Решительно не понимаю, почему она так взъелась на запись разговора. Во всем, что она потом говорила, не было и слова, запретного для записи, — ни брани, ни оскорблений. И она с блеском демонстрировала в почти часовой речи лучшее, чем обладала: свою логику. Речь была построена совершенно и прозвучала бы абсолютно убедительно, если бы не один изъян: безукоризненное логическое здание было выстроено на фальшивом фундаменте. И этого одного — что она исходит из ложных посылок — я объяснить не мог. Именно это надо было скрывать. Я молчал и слушал — она все больше воспламенялась от своих слов, а я молчал и слушал.

— Я уже давно заметила твое странное отношение к нашим исследованиям, — так она начала. — Ты первый нашел, что ротоновые ливни из вакуума способны менять микропространство в атомном ядре — и этим указал реальный путь к овладению новой формой энергии. Как бы вел себя нормальный человек — я, Эдик, сам Кондрат, наконец, — совершив такое открытие? Безмерно бы гордился собой, ликовал, торопил эксперименты. А как вел себя ты, Мартын? Даже не радовался — хмурился, а не сиял. Один среди нас впал в неверие! И когда поставили наконец в университетской лаборатории опыты с ротонами, вспомни, как они шли. Плохо шли, ничего не получалось! И если бы Эдуард не устроил нам приглашения в Объединенный Институт, никто бы не узнал о твоей замечательной находке. Ты мешал самому себе, так удивительно странно ты вел себя!

А что было потом, в стенах Объединенного Института? Вспомни, что было потом? А не хочешь вспоминать, мы напомним. Та же загадочная холодность, то же необъяснимое нежелание успеха. Кондрат горел, Эдик и я были полны энтузиазма, а ты? Трудолюбиво выполнял задание — и только, Мартын, и только! А когда мы радовались, что вот уже не за горами признание и слава, ты молчаливо усмехался. Ты не видел своей усмешки, но мы видели — недоверчивую, почти недоброжелательную. Мы думали тогда — такой ты ироник и скептик, да и не честолюбив, что с тебя взять. А ты — другой, не тот, каким видим тебя, каким видел тебя Кондрат, вообразивший в тебе все-все совершенства и благородства.

Одна я смутилась, когда ты отпустил Эдуарда, — про-

должала Адель. — Ну, не отпустил, отпускал Кондрат, но разве не ты заверил, что временно обойдемся без Эдуарда? И объявил это перед пуском ротонового генератора. Никто из нас троих не знал, что пуск — вот-вот, а ты знал и скрыл, чтобы Эдуард успел уехать. Зачем ты так поступил? Да, все верно, Эдуард был в смятении, надо было успокоить нервы, но ведь никто не мог гарантировать тогда, что генератор сразу пойдет. И ты отпускаешь его в такую минуту! Каждый отчаянно нужен, каждая пара рук, каждая голова, а ты отпускаешь Эдуарда! Как это понять? Равнодушие к делу, так объяснил себе Кондрат твой поступок — и поссорился с тобой, а я вас мирила. Разве не так? А ведь было не равнодушие, было гораздо хуже! Так те дни видятся сегодня, только Кондрат не проник тогда в твои тайные цели — и очень жаль, что не проник!

— И мне была темна твоя душа, — продолжала Адель. — Я нашла простое объяснение — ты завистлив. Ты ловко обеспечил уход Эдуарда, чтобы было поменьше претендентов на славу. Маленькое тщеславие маленького человечка, таким ты мне вообразился. Я говорила это Кондрату, он возмущался, он считал тебя чуть ли не научным титаном, не раз повторял мне, как счастлив, что довелось работать с тобой. А как тебя ценил Эдуард! Он говорил, что ставит тебя наравне с Кондратом, даже выше. Да, я ошибалась тогда, ты не маленький человечек, Мартын, ты крупная личность, но крупный не той величиной, какую тебе приписывали. В тебе не дружба, а недоброжелательство, ты мастер зла,— вот твоя натура!

По-настоящему я поняла тебя после возвращения Эдуарда. Все сразу пошло по-другому. Нет, внешне ты не переменился, ты умело таишь сокровенные помыслы. Но Кондрат стал иным. И утверждаю — под твоим воздействием! Вспомни — так хорошо шла работа, но вернулся Эдуард, и одолели неполадки. Не он вызывал их, но неполадки были связаны с его появлением. Эдуард был нежелателен тебе и Кондрату — вот причина того, что эксперименты залихорадило. А вскоре стала нежеланна и я. Я сказала «тебе и Кондрату», поправляюсь: тебе, а от этого и Кондрату. Ты стал его злым гением, ты одолел его духовно, он стал смотреть на мир твоими глазами. Он не раскрыл главного в тебе — твоего двуличия. Я однажды сказала Кондрату, что в тебе скрытое недоброжелательство, ты хотел меня в жены, а я отказалась — и ты

не простил ни мне, ни Кондрату, что я отвергла тебя. Кондрат обругал меня дурой, больше месяца мы разговаривали с ним только в лаборатории, а дома молчали и отворачивались один от другого.

А затем возникла проблема константы Тэта. Яд сомнения, впрыснутый тобой в Кондрата, дал результат. Кондрат стал выискивать причины неполадок не в твоих ротонах, а в своей идее. Уверена, что он в те дни потерял способность хладнокровной оценки экспериментов. А каким он стал невозможным в общении! Он избегал меня, старался не встречаться с Эдуардом, лишь с тобой как-то держался. Тот свод экспериментов, показанный нам, был актом отчаяния. Кондрат всегда акцентировался на удачных данных, теперь, расстроенный, акцентировал данные плохие. Но окончательную оценку он предоставил тебе. Помню, отчетливо помню, как ты перелистывал страницы: мы не дыша глядели на тебя, а у тебя были отсутствующие глаза, ты смотрел в журнал, а думал о другом. И что ты сказал потом? Я ждала, Эдик ждал, что скажешь единственно разумное: да, цифры нехороши, но надо их досконально проверить, не будем пока принимать других решений. И если бы ты сказал так, то не было бы никакой ссоры, ни мне, ни Эдуарду не пришлось бы уходить из лаборатории. Я обвиняю тебя в том, что ты хотел нашего ухода и думал только об этом, когда притворялся, что оцениваешь записи в журнале. И ты нанес безошибочный удар. Ты объявил, что константа Тэта преувеличена в сто раз! И мы с Эдуардом покинули лабораторию.

Она минуту помолчала, она задыхалась от негодования. Справившись с дыханием, она продолжала:

— Коварный замысел отстранить двух нежеланных товарищей удался. Но это лишь часть замысла. Надо довершать задуманное — отстранить и самого Кондрата. До меня доходили сообщения, как вы оба ведете себя в лаборатории. Кондрат страдал, ты оставался безмятежно спокойным. Он начинал что-то новое, пытался обойти по кривой неудачу с константой. Ты наблюдал за Кондратом, но и не думал помочь, тебя не устраивал успех его новых начинаний. А потом ты увидел, что Кондрат встал на правильный путь, но путь опасен, новые эксперименты могут вызвать аварию. И ты подстроил новый скандал: поссорился с Кондратом, ушел из лаборатории, взвалил на Кондрата непосильную для него работу — твой рото-

новый генератор. Финал был неизбежен: один Кондрат не справился с новыми экспериментами — и погиб!

Я все же набрался сил промолчать. Мое молчание убеждало ее в моем бессилии. Она взвинчивала себя все больше.

— Ты долго держался в стороне, — говорила она, — но гибель Кондрата открыла тебе дорогу. Ты убрал все препятствия к единоличному торжеству, ты возвратился в лабораторию. Глупости, что настаивали Ларр и Сомов. Для дополнительных расследований надо было приглашать нас всех. Но ты вернулся один — не расследовать трагедию, а восстанавливать лабораторию! Для себя одного восстанавливать, только для себя. Мы с Эдуардом ждали весточки, ждали вызова. И, как видишь, не дождались — пришли сами. И требуем ответа: что ты здесь делаешь? Почему отстраняешь нас?

Я сказал холодно:

— И на этот вопрос ответа не будет.

Эдуард решил, что ему пора вмешаться.

— Мартын, прекрати! Мы имеем право спрашивать, ты обязан отвечать. Лаборатория Ротоновой энергии — наше общее детище. Разговор служебный, а не личный.

— Именно потому, что служебный, а не личный, я не хочу вести его. Если недовольны, обратитесь к Сомову. Делами занимается он.

Адели почудилось, что она обнаружила во мне слабину. Она отошла от окна, приблизилась к столу. Эдуард поспешно вскочил, он подумал, что она хочет меня ударить. Но она с ненавистью проговорила:

— Вот как — служебные разговоры не ведешь! А личные? Может быть, скажешь, как бывший друг Эдуарда и мой бывший неудачливый поклонник?.. Что лично, что неслужебно думаешь о нас?

Она и отдаленно не подозревала, какое принесла мне облегчение, предложив перейти от служебных отношений к личным.

— Об Эдуарде мне нечего говорить, он молчал. Не знаю, что означало его молчание — полное ли согласие с тобой или осуждение твоей ярости. Но могу тебе сказать как твой бывший друг и бывший поклонник, как человек, радующийся, что ему не выпала тяжкая доля быть твоим мужем. Кондрат в раздражении обругал тебя дурой. Ты не дура, конечно, — ты умна, ты знающа, ты талантлива. Для тебя надо искать другие характеристи-

ки, брань не подойдет. Я слушал тебя и думал — кто же ты — и понял! Раньше было такое понятие — мещане, обыватели, филистеры. Сейчас нет обывателей, нет мещан, никто свои мелкие житейские интересы не превращает в способ всеобщей оценки, не делает свое маленькое удобство центром мироустройства. Но исключения попадаются, ты — такое исключение. Ты мещанка в мире, где нет мещан. И все, что ты говорила мне,— мещанские мысли, мещанские чувства. Больше ничего не скажу, чтоб не выйти из круга личных отношений.

Она порывисто подошла к Эдуарду.

— Эдик, уйдем. Нас вторично изгоняют из этой лаборатории.

Он все же на прощание кивнул мне. До него дошло что-то, чего она не была способна понять.

21

Лишь минуту я отвел себе, чтобы успокоиться — удивленно улыбался, пожимал плечами. Еще несколько дней назад такой разговор надолго выбил бы меня из душевной устойчивости. Не хочу лгать: было неприятно, что не могу ответить на ее острые вопросы, было стыдно, что нужно что-то скрывать. Но и всего! Ее гнев, ее возмущение не трогали меня, бурный поток ее эмоций мчался стороной — вчувствоваться не хотелось. Хотелось одного — чтобы они поскорей ушли и можно было забыть о них. Они ушли, и я забыл, что они только что были.

Вероятно, глубоко коснулось меня лишь то, что Адель говорила о новых экспериментах Кондрата, когда он остался со мной одним. Она знала, что он ставил эти новые эксперименты, знала, что в них что-то важное, может быть, решающее. И она связала их с попыткой преодолеть неудачу определения Тэты. Она уловила важность новых опытов, но не разобралась в них. Опыты не могли исправить ошибку, ибо не было ошибки, они делались для чего-то другого. И еще не знала Адель: что и в моей программе расследования я уперся в эти новые опыты и уже предвижу в них разгадку трагедии.

Они ушли, я мог двигаться дальше. Настал черед дневников Кондрата. Но я медлил. Мне хотелось повторить этап за этапом, шаг за шагом пройденный путь. Я включил запись мыслеграфа.

Пленка заговорила моим голосом. Я молчал все эти дни, я размышлял, перекатывая в голове мысль за мыслью, и сейчас звучащая пленка доносила их моим голосом. Два раза их прерывал голос Карла-Фридриха, звучали голоса Кондрата, Адели и Эдуарда, но не реальные, а преображенные, возобновленные мной по-своему. Раза два я смеялся, слишком уж карикатурно искажались мной голоса друзей во время споров и стычек. Пристрастен ты, дьявольски пристрастен, — упрекнул я себя — не только неприятные мысли не принимаешь, но и голоса, высказывающие эти мысли, делаешь малоприятными. Упрек не огорчил — все люди пристрастны. Как скверно прозвучал бы мой собственный голос, перейди он из мозга Адели или Кондрата на пленку мыслеграфа.

— Итак, все проясняется, — подвел я итог шестидневной записи. — И ты высветляешься, друг мой Кондрат, но каким светом!..

Снова напялив датчики мыслеграфа, я достал дневники Кондрата — всего три книжечки, свободно умещающиеся в кармане. Кондрат настоящих дневников не вел, он не умел описывать событий, ему трудно было излагать даже собственные идеи. Дневники, сколько понимаю, пишутся для последующего чтения: они вроде гладкого шоссе воспоминаний о том, что совершалось. Если уж придерживаться сравнений с дорогой воспоминаний, то в дневниках Кондрата самой дороги не было, одни дорожные знаки, да и не все, а только самые важные — там круто повернуть, впереди опасный уклон, а здесь, черт их дери, ухабы. Свои мысли Кондрат не разъяснял, лишь ставил веху, что возникла мысль, надо к ней воротиться и развить. А к чему воротиться и что развивать, это он зачастую забывал сделать понятным даже себе. И я с улыбкой вспомнил, как однажды он вошел ко мне с раскрытой книжицей и, тыча пальцем в страницу, сердито заговорил:

— Мартын, одна надежда — ты! Я тут какой-то вздор написал — убей не пойму. Не то очень важное, не то пустяк. Разберешь?

— Итак, какой-то вздор или что-то очень важное, — повторил я и взял дневник. На страничке значилось: «Семнадцатый. В лоб или по лбу».

Недели за две перед тем мы ставили опыты по повышению выдачи энергии, Адель нумеровала их, но для себя, в журнале мы отмечали только даты. И во время

одного из опытов, кажется, пятнадцатого по нумерации Адели, она предложила круто поднять выдачу энергии, чтобы ударить Сомова в лоб нашим успехом. Я поправил: не в лоб, а по лбу. Кондрат объявил, что ему безразлично, в лоб или по лбу, лишь бы крепко. И внес в дневник программу для семнадцатого опыта в такой сокращенной редакции. А назавтра забыл ее и прочел, когда шел опыт двадцатый.

— Чепуха, а не важное,— с огорчением констатировал Кондрат, когда я объяснил запись. — А без тебя бы мучился, что такое «по лбу». Мартын, ты рожден быть ученым секретарем в большом научном учреждении. Вот ходил бы за мной или Эдуардом и переводил наши путаные проекты на точный язык. У тебя бы получилось.

— Считаешь, что физика из меня не получится?

— Физик ты хороший. Ничуть не хуже, чем ученый секретарь.

Две первые книжицы дневников относились к тому периоду, когда я монтировал ротонный генератор, а энергетическая установка строилась. Сумбурные записи не раскрыли ничего существенного — одна, правда, меня развеселила, вполне в духе Кондрата, — напоминание о том, что он по запарке мог позабыть. «Пообедать», так он предписал себе на одной странице, и, очевидно, предписанное относилось и к следующим дням — в следующие дни тоже предвиделось много дел. Еще значилась такая немалая программа: «Мартын — нажать, лестница, два кабеля, пообедать, Адель отослать домой». Уж не знаю, как он собирался на меня «нажать», когда собирался отослать Адель домой и что случилось с лестницей и кабелями, но что события предстояли чрезвычайные — в их числе и обед — явствовало из того, что понадобилось их заранее расписывать. Чего-либо важного для себя я в первых двух книжицах не нашел.

Третья вводила в тайну. Третью Кондрат начал после возвращения Эдуарда, и первые страницы были об Эдуарде. Записей было мало, слова, не выстроенные в предложения, восклицания, предписания себе, что-то начатое и неоконченное — воистину вехи на пути мыслей и поступков, когда самой дороги нет, но указатели подготовлены. Мне все было понятно, все было до приступа сердечной боли ясно, я сам в эти дни раздумий повторил почти весь проделанный Кондратом путь — в конце завершающей точкой значилась его гибель.

«Эдуард. Потолстел. Не жрал ли гарпов?» — не то удивление, не то издевка. Скорее удивление. Кондрат не был способен на сарказм, а удивление знал, это чувство творческое, типичное у настоящего ученого прикосновение к загадке.

«Биологические генераторы полей! Непостижимая реальность!» — следующая запись.

И снова о том же:

«Загадка не в поле, это и у человека. Интенсивность поля! Точно не установил. Плохой экспериментатор лезет в воины. Напрасно летал на Гарпию».

И опять Кондрат возвращается к интенсивности полей, генерируемых организмом гарпов. И это была самая пространная запись.

«В каких единицах? Человек-чудо. По интеллекту животные равноценны. Человек на сто порядков интеллектуальней быка или птицы. Ни бык, ни орел не создадут, убей их, интегрального исчисления, не нарисуют мадонны Рафаэля. Гарп на столько же порядков выше всех животных мощью полей. Чудо. Иная ветвь мировой эволюции. Прыжок на другую дорогу. Эдуард, дурак, не разобрался».

Пометка того же дня:

«Дурак опасный. Ничего не создал, может все уничтожить. Обрубит поворот эволюции. А если поворот уникален? Один во всей вселенной? Ферми и Жолио — с кем мне? Какова мера жертвы?»

Мысль Кондрата, поначалу чуть ли не философски обобщенная, понемногу приобретает векторную направленность.

«Помощь для преступления! Отказал. Найдет?»

«Не брать в лабораторию. Поговорить с Мартыном».

«Мартын — чистоплюй. Близорук. Надавать бы пощечин! Без большой обиды чтоб. А Эдуарда — коленкой. Как?»

«Снова — нужно неизвестное оружие. Намек? Осматривал установку, запретил лезть наверх. Впредь — никому, даже Мартыну! А что толку?»

«Опять лез. Прогнал. Догадывается? Пусть сидит за расчетами».

«Мартын о габаритах. Не открываться».

«Мартын берется уменьшить габариты до переносных. Передвижные генераторы энергии! Черт бы его побрал, вдруг сделает! Еще наболтает Эдуарду».

«Удалить. Адель подозревает. И ее? Открыться Мартыну?»

«Чистоплюй, разыгрывает равнодушие».

«Радикальное решение. Остальное — без эффекта».

«Радикальное решение. Только!»

«Тэта. Но как?»

Пропуск, судя по датам, в несколько дней. Потом:

«Завтра. Взять себя в руки. Взять! Не перейти — прыгнуть через Рубикон!»

«Мартын. Не знаю, не знаю! Без него нельзя. А с ним?»

«Мартын остался. Верить ему? А без него как?»

«Сам ушел. Может, вернется? Шифр оставил. Воротится — расскажу. Пока один — побольше бактерий, насекомых, споры. Список и срочно затребовать. Может, ошибаюсь?»

Я откинулся на стуле, закрыл глаза. Вот так оно, стало быть, и совершалось, дорогой мой Кондрат! Сперва удивился природе гарпов, и на какое-то время это было главным — непостижимая физика генерирования в организме мощных силовых полей. Пытливость ученого-исследователя физических процессов. А потом — наряду с пытливостью — возмущение и страх, чувства совсем иного порядка, чем научная любознательность. Эдуард требует помощи для войны на Гарпии, ты возмущаешься и страшишься, что он наши находки использует как новое оружие. Запрета на них нет, ибо эти находки еще не оружие, а только могут им стать. Ты вспоминаешь о мерах безопасности в наших экспериментах. Было, было такое опасение, что разнообразные излучения, порожденные вторжением ротонов в атомные ядра, могут стать гибельными для организма. На установке — надежная защита от попутных вредных излучений, и сама установка нетранспортабельна, это не орудие боя. А если сделать ее транспортабельной? А если счесть попутное главным — пренебречь выдаваемой полезной энергией ради убийственного излучения? Не станет ли тогда мирное сооружение эффективным средством войны? Вот о чем ты меня тогда допрашивал, Кондрат! Я слышал волнение в твоем голосе, но так и не понял, почему волнуешься. Я спокойно ответил тебе, что уменьшение габаритов генератора и установки — нехитрая инженерная задача, берусь это сделать, если надо. Теперь понимаю, почему ты так стран-

но, так беспомощно глядел на меня, когда я сказал: «Сам сделаю, если надо».

Наверное, в этот день ты и надумал ликвидировать наш коллектив. Эдуарда нельзя оставлять, он проникнет в военные возможности нашей работы. Стало быть, распроститься и с Аделью, она, ты это уже понимал, не покинет Эдуарда. Ну, а я, дорогой Кондрат? Что надумал ты обо мне? Ничего ты не надумал! И хотел остаться в одиночестве — на свободе проверить, какого вреда ждать от полезного своего изобретения, — и хотел задержать меня, ибо могут возникнуть непредвиденности с ротоновым генератором, а я лучше тебя разбираюсь в физике ротонов. И колебался — не открыться ли? Но не открылся, не верил мне. И все снова и снова вглядывался в портреты двух знаменитых физиков, столь противоположно чертивших свои жизненные пути. Сколько раз я заставал тебя на диване, неподвижного, с глазами, устремленными на эти два одухотворенных лица, чем-то даже похожих одно на другое — худые, тонкие, умные. Почему ты так долго всматривался в этих старых физиков? Колебался? Не верю! Ты свой путь избрал сразу, не сомневаюсь в этом! Значит, оценивал меру жертвы, какую потребует выбранный путь! И старался понять, кто же из них двух принес большую жертву, ибо ни тому, ни другому не пришлось «провальсировать к славе шутя», как с гордой убежденностью в своей правоте выразился один древний поэт, не разрешивший себе подобного победного вальса.

Я вскочил из-за Кондратова стола и, как еще недавно он, нервно зашагал по кабинету. При каждом повороте я вглядывался в два портрета. На столе лежала стопочка книг Энрико Ферми и Фредерика Жолио, присланные мне из библиотеки. Я думал о Ферми. Я не хотел перелистывать его книг, Ферми был ясен. Нет, Кондрат, путь этого человека, хоть он и великий ученый, ты сразу отверг, он был чужд всему твоему естеству. Да, конечно, ты вспоминал, что Ферми, хоть и на несколько часов позже, чем в Париже Жолио, первый публично объявил на конференции физиков в Вашингтоне 26 января 1939 года, что цепная реакция деления ядер урана реальна, что при ней выделяется энергии в миллионы раз больше, чем при горении нефти и угля. И что именно Ферми выстроил и 2-го декабря 1942 года запустил первый в мире атомный реактор — единственное тогда на Земле сооружение, даю-

щее энергию не от Солнца и солнечных продуктов. И что именно Ферми, страшась, что и немецкие физики, служившие фашистским генералам, создадут атомное оружие, сам пошел на службу к генералам и участвовал в создании первой атомной бомбы. И что именно он, уже после разгрома фашизма, когда можно стало обойтись и без ядерного страшилища, собственноручной подписью скрепил решение сбросить его детище на Хиросиму и Нагасаки, да еще очень мило сказал: «Нет, но ведь это такая интересная физика, господа!» Почти четыреста тысяч человек погибли в тех двух городах 6-го и 9-го августа 1945 года, когда над ними запылало чудовищное «Солнце смерти», так назвал их изобретение один из соратников Ферми. Он же, этот соратник, руководитель атомного проекта Роберт Оппенгеймер, честно потом признался: «Мы сделали работу за дьявола». Воистину, очень интересная физика — «работа за дьявола», «солнце смерти» — в тысячу раз более яркое, чем наше солнце жизни! Четыреста тысяч испепеленных, превращенных в пламя и плазму, в газ и пыль, изуродованных, искалеченных, осужденных, кто и остался жив, на мучительное умирание — жизнь без жизни. Ты думал об этом, Кондрат, не мог не думать! И не мог не вспоминать, что Ферми, устрашенный успехом своего ума и рук, отдалился от дальнейших работ над бомбой, тихо превратился в смирного профессора, никаким выдающимся новым вкладом не обогатившим потом науку. Он молчал, этот великий ученый, но ведь не мог же он не числить за собой десятки тысяч уничтоженных и искалеченных женщин и детей! Как он справлялся с угрызениями простой человеческой совести, равно отпущенной и гению, и обывателю? Или совесть бывает безмерной — одна для обыденности, другая для событий, провозглашенных «великими»? Нет, как он мерил свои научные успехи — вдохновением интересной физики или работой, проделанной за дьявола? Не всякий венец славы украшает голову, иные ранят больней тернового венца.

— Значит, Фредерик Жолио, — сказал я вслух. — Раз уж ты отверг дорогу, по которой поднялся на вершину мировой славы Энрико Ферми, ты не мог не выбрать противоположный путь — путь Жолио. Давай теперь вспомним, какие трудности преодолел, какие жертвы принес на своем пути второй научный титан.

И я вспомнил, что еще в начале своей научной карье-

ры Жолио вместе с женой Ирен Кюри открыли искусственную радиоактивность и были за то награждены Нобелевской премией. Я помнил речь Жолио при вручении премии, в ней были слова, поразившие меня. Я был тогда студентом, мне многое казалось необычным, но мысль, высказанная Жолио, увиделась пророчески зловещей. Я подошел к столу, взял томик Жолио, он открылся на Нобелевской речи, ее, видимо, чаще всего читали. Эту речь он произнес в 1935 году, за три года до открытия ядерного деления. Вот что он тогда говорил о возможных превращениях элементов. Я вслух прочел заключительные фразы той речи:

...«Мы вправе думать, что исследователи, конструируя или разрушая элементы по своему желанию, смогут осуществлять ядерные превращения взрывного характера, настоящие цепные химические реакции.

Если окажется, что такие превращения распространяются в веществе, то можно составить себе представление о том огромном освобождении полезной энергии, которое будет иметь место.

Но если они охватят все элементы нашей планеты, то мы должны с тревогой думать о последствиях такого рода катастрофы. Астрономы иногда наблюдали, что звезда средней яркости внезапно возрастает по величине; звезда, невидимая невооруженным взглядом, становится сильносветящейся и видимой без инструмента. Это — появление новой звезды. Такое внезапное увеличение яркости, быть может, вызвано подобными же превращениями взрывного характера, которое предвидит наше воображение. Быть может, исследователи попытаются осуществить такие процессы, причем они, как мы надеемся, примут необходимые меры предосторожности».

Я положил книгу на стол. В ней было много статей и докладов — мне не захотелось вникать в них, я не историк физики. И я думал не о научных успехах этого человека, а о сложном его жизненном пути, только его жизненный путь был важен Кондрату. Нет, Жолио не «провальсировал к славе шутя» и не видел в трагедии одного из величайших открытий человечества только «очень интересную физику». На какой-то кратковременный срок он ближе всех физиков мира подошел к созданию ядерного оружия, но не пожелал его создавать, сосредоточился на другой стороне проблемы — стал возводить, еще до Ферми, атомный реактор, генерирующий энер-

гию, — мирный реактор, а не бомбу. Немцы ворвались в его родной Париж, и реактор уже нельзя было конструировать, от него был всего один шаг в сторону — к ядерной бомбе. Жолио разобрал реактор, сделал невозможным его восстановление. Что ему делать теперь в городе, оккупированном врагами? Он не мог забросить физику, единственную жизненную дорогу, не мог оставить науку о ядре, главную страсть души. Два разветвления давали совершенные — им в первую очередь — открытия в атомном ядре: мирная энергия для промышленности и энергия военная, уничтожающая людей и промышленность. Оба были запретны для Жолио — одно на время войны, другое — навечно.

И Жолио находит третье ответвление проблемы, изобретает третий путь поисков — воистину пророческое предвидение будущего. Еще не взорвалась зловещая бомба, еще не вспыхнуло чудовищное «Солнце смерти», еще никто не корчился в радиоактивных ожогах, а Жолио изучает воздействие ядерных излучений на живую клетку — заранее ищет средства вызволения от несчастья, которое еще не наступило, но, он предвидит, может наступить. Разве он несколько лет назад не объявил в Нобелевской речи, что опыты физиков несут в себе грозную опасность для всех людей, для существования самой планеты? И разве он пророчески не предсказал, что, несмотря на понимание чудовищной опасности опытов, исследователи не оставят изысканий, не остановятся перед перспективой возможной гибели всей Земли. Ибо они, исследователи, народ безмерно преданный науке, у них цель в жизни — одну за другой раскрывать тайные возможности природы. И разве он не выразил надежду, почти мольбу, чтобы они, эти исследователи, были хоть элементарно осторожны, «приняли необходимые меры предосторожности», так он сказал. Верил ли он в годы войны, в терзаемом оккупантами Париже, что выполнят его надежду, услышат его мольбу недавние друзья, его добрые научные соперники, сегодня, в эти тяжкие военные дни, исступленно, он в том не сомневался, конструирующие за океаном чудовищное ядерное оружие? Может быть, и верил, кто знает? Но все силы ума, всю энергию воли направил на то, чтобы заранее изобрести помощь, если помощь понадобится. Трудный путь выбрал этот человек — единственный для него путь!

Но вот отгремела война, думал я, шагая по кабинету

Кондрата. И вспыхнуло «Солнце смерти» над Японскими островами — сотни тысяч людей в считанные минуты превратились в пепел, десятки тысяч корчились, обожженные смертоносным излучением. Какая громкая слава гремит в мире о людях, создавших неслыханное оружие! Какими пышными венками увенчивают великих героев науки, его недавних друзей, его недавних научных соперников! Всего четыре-пять лет назад они торопились за ним, не поспевали, он тогда вырвался вперед — теперь они торжествуют, что впереди они, что им удалось то, чего он сделать не сумел. Самый раз честолюбиво показать им всем, что рано хоронить его научный гений! Он снова вырвется вперед, углубит завоеванные возможности атомного ядра, создаст оружие, перед которым ужаснутся и они! Нужно, нужно приступить к такому делу, этого требует величие его страны. Заокеанские генералы размахивают новым оружием, они превратили ядерную бомбу в средство всемирного шантажа — нагло предъявили претензии на господство над всем миром! Правда, Франция — союзница, но и на такого второстепенного союзника надо держать палку в руках, чтобы не увлекались самостоятельностью и мечтой о былом величии, так дружно постановили генералы и политики за океаном. Правительство Франции в 1946 году вручает Жолио маршальский жезл науки, он в своей стране — Верховный комиссар по атомной энергии: возможность реального дела, о котором он не смел и мечтать! И он в декабре 1948 года вводит в эксплуатацию новый ядерный реактор и с вызовом называет его «Зоэ» — жизнь: единственный в мире реактор, получивший собственное имя. И оно прозвучало полновесной пощечиной тем, кто зажег «Солнце смерти» в поисках интересной физики и для удовлетворения предсказанной им неуемной научной пытливости. Да, да, уже в самом названии реактора обозначался путь, по какому Жолио отныне поведет науку — жизнь, а не смерть, — и он с него никуда не свернет!

Он, естественно, знает, что правительство Франции не примет его пути. Правительство требует ядерного оружия. Он отказывает правительству, он будет служить только миру. Он знает, что вслед за отказом последует отстранение от всех ядерных исследований, что ему запретят даже появляться в лабораториях, которые он создавал. Он без колебания приносит в жертву отказ от любимой науки. В газетах разухабисто вопят, что коммуниста Фредерика-

Жолио Кюри наконец с позором выгнали из секретных лабораторий страны. Он принимает как великий почет то, что враги именуют «позором», он уверен, что все честные люди его времени, все последующие поколения увидят в его отказе от науки войны подвиг, а не позор. Ах, как бы хотелось правителям и газетным прихлебателям водрузить на голову великого ученого терновый венец всенародного осуждения. Но они увенчали его короной подлинной славы, так непредвиденно получилось у них.

Жолио идет дальше отказа от научных работ, вспоминал я. Один из организаторов всепланетного движения за мир, первый председатель Всемирного Совета Мира, главный автор знаменитого «Стокгольмского воззвания к человечеству», требующего запретить атомное оружие, — вот таким он предстает всей Земле. Почти миллиард людей поставил свои подписи под «Стокгольмским воззванием», в каждой подписи — благодарность Фредерику Кюри за восстание против науки ядерного истребления. И ни один человек не поставил своей подписи под публичной благодарностью тем, кто во имя «очень интересной физики» совершал свои великие открытия и превращал их в зловещие изобретения. Где истинная слава? Где подлинный позор?

Я устал бегать по комнате, сел за стол. Мысли о двух знаменитых физиках, двух огромно одаренных людях, столь по-разному выбравших себе дороги славы, столь неодинаковые жертвы принесших на этих дорогах, — обратились к Кондрату.

— Теперь я понимаю, Кондрат, — сказал я вслух погибшему другу, — теперь понимаю, почему ты с таким мучительным интересом всматривался в те два портрета. Путь свой ты выбрал сразу, ты увидел его в судьбе ученого более крупного, чем ты. И, оценивая меру жертвы, которую принесешь на этом пути, допрашивал себя, способен ли ты на такие жертвы? Ты сомневался в себе, — что ж, запоздало утешу тебя — ты вынес то, что взвалил на себя. Не корю, что среди принесенных тобою жертв и я. Хотя со мной могло быть и по-иному, дорогой мой, бедный мой Кондрат!

22

Собственно, теперь можно было обойтись и без изучения оставшихся страниц дневника. Я знал, что в них будет описание воздействия излучений от установки на живые клетки организма. Для этого Кондрат втайне от меня заказывал наборы бактерий и насекомых. Металлический цилиндрик, упавший на меня сверху и вызвавший ссору с Кондратом, содержал, по-всему, такую коллекцию клеток или насекомых — Кондрат, со злостью вспоминавший летающий и ползающий гнус в лесах его родной Курейки, ныне с охотой использовал ненавистных тварей для опытов.

И без особого интереса я стал перелистывать последние страницы дневника. В них было то, что я заранее ожидал, — воздействие излучений на жизнь. Но с каждой новой страницей я все внимательней вчитывался в новые опыты Кондрата. Две мысли полонили меня — и каждая была неожиданной.

Я должен остановиться на них. Первая: Кондрат — кустарь. В каком-нибудь девятнадцатом или двадцатом веке еще могли ограничиться столь бедной программой, столь примитивной аппаратурой, столь несовершенными методами анализа. Кондрат все же был физиком, а не биологом — и это наложило печать на все, что он делал. Ему надо было пригласить настоящего специалиста, но он побоялся посвящать посторонних в тайные возможности наших исследований, он уверил себя, что обойдется собственными записями и умением. Не выше посредственных студенческих работ были те опыты, которые он поставил.

Такова была первая мысль, вторая опровергала ее. В примитивную методику Кондрат внес придирчивую тщательность. Он ставил себе немного вопросов, они были из тех, что возникают при самом поверхностном изучении проблемы. Но элементарные свои вопросы он исследовал не элементарно. Не только спрашивал, но и переспрашивал, заходил к каждому вопросу с разных сторон. Он всегда был дотошным и в последнее свое исследование внес полную меру природной дотошности. На главный, на единственно важный вопрос: «Может ли наша ротоновая установка стать губительной для живой ткани» он получил неотвергаемый ответ: «Да, может».

И я стал думать о том, что в старину часто соверша-

лись открытия в плохо оборудованных лабораториях, с примитивной аппаратурой, сериями элементарных опытов. Ибо ставился простой вопрос природе: «Да или нет?» И она отвечала на простой вопрос простым ответом. Изучение тончайших количественных закономерностей придет потом — в специализированных лабораториях, в роскошных научных институтах. Кондрат в нашем блестяще оборудованном, знаменитом Объединенном Институте № 18 поставил свои последние исследования по старинке, выше простых ответов, стало быть, подняться не мог. Но, как не раз бывало в старину, на свой простой вопрос: «Да или нет?» получил точный и грозный ответ: «Да!»

Ему бы остановиться на этом. Все дальнейшее поручить бы специализированной лаборатории. Кондрат в безмерном своем самомнении — либо в столь же безмерном отчаянии? — пошел дальше и погиб!

Последняя запись в дневнике была ключом к тайне трагедии. «Гарпы. Броня. — Так записал Кондрат план своего нового эксперимента. — Защитный экран? Коротко-действие? Радиус эффекта?» Бедный мой друг Кондрат, ты начал дело не по силам, ты перешел от качественных к количественным экспериментам — не было, не было в нашей лаборатории надежных средств для них! И хоть бы я находился рядом с тобой! Хоть бы я был рядом!

Я бросил дневник Кондрата, выскочил из-за стола. И снова шагал и шагал по его кабинету, гоня от себя горестную мысль, что был бы я в лаборатории — и не погиб бы Кондрат.

Взяв себя немного в руки, я воротился к столу. Настала очередь официального отчета о катастрофе в Лаборатории Ротоновой энергии. Я уже читал его, нового в нем не было, только на фотографиях, приложенных к отчету, я остановил внимание. Их было четыре: одна — общий вид энергетической установки, три другие — помещение ротонового генератора. Шесть лет я считал это помещение своим единоличным царством, я властвовал в нем неразделимо. На двух снимках — сам генератор, подсобные механизмы, система автоматического управления, трубопроводы, приемники и излучатели. А на третьем — человек, неосторожно вторгнувшийся в это специализированное царство и заплативший своей жизнью за вторжение: Кондрат — окровавленное лицо, сожженная одежда, изломанные руки... Я закрыл глаза, перехватило дыха-

ние — так горько, так непереносимо горько было глядеть на третий снимок!

Спрятав стереографии и отчет в папку, я положил их в ящик стола — они были больше не нужны.

Я вышел из кабинета Кондрата и спустился в нижний этаж, в помещение ротонового генератора. Год я не был здесь, не спускался сюда и всю неделю, что провел в записях воспоминаний и чтении рабочих журналов и дневников. Уже внизу я обнаружил, что забыл снять датчики мыслеграфа, и засунул их в карман. Я ожидал увидеть картину страшных разрушений, фотографии именно их фиксировали. Но разрушений было немного — поваленные трубопроводы, покалеченная автоматика. Генератор выглядел целым. Я остановился около него — осматривался, думал о том, что здесь совершилось.

И снова у меня стеснило дыхание. Именно здесь, на этот покрытый синтетической кожей пол, повалился сраженный скачком электрического напряжения Кондрат, здесь его какие-то секунды выкручивало, выламывало кости, здесь он закричал последним криком — самописцы точно зафиксировали его призыв о помощи, на который не могло быть ответа, ибо он был один, а автоматика уже отказала. Вот так описала комиссия картину его гибели. Все было так, ни в одном факте не исказили действительность эксперты. И все было не так, ибо официальная картина давала видимость, а была еще подспудность, ее не могла увидеть комиссия. Я любовался генератором и ненавидел его — мое детище, лучшее из всего, что я создал, что я мог создать, он был истинным убийцей Кондрата. До боли в сердце я понимал, что происходило в ту страшную минуту. Кондрат расставил наверху вокруг фарфорового преобразователя свои цилиндрики и пробирочки с живой материей. Прикрыл их защитными щитками, имитирующими и броню гарпов, и любую другую броню, что может понадобиться, если ротоновый преобразователь где-нибудь обратят на человека. А потом спустился вниз манипулировать генератором. Каждый аппарат имеет свой характер, нет двух абсолютно одинаковых машин, а мой генератор — пока единственный в мире. Я знал его, привык к нему, а он знал меня и привык ко мне. Ни в каких инструкциях не выразить всей индивидуальности сложнейшей да и капризной машины. Кондрат об этом не подумал, когда задавал напряжение на генератор. Что в ту несчастную минуту испугало Кондрата? Глухой шум,

вырвавшийся из недр машины? Я тоже не раз слышал этот шум, и вначале он пугал меня, но настоящей опасности в нем не было. Или сигнал сверху о перегрузке преобразователя? Почему вместо плавного уменьшения Кондрат вдруг подал полную остановку? Он не мог не знать, что в момент такой остановки гигантски взметывается напряжение на генераторе! Ну и пусть взметывается, всего ведь доли секунды, автоматика надежно погасит любое перенапряжение. Но он испугался, рванул назад, две встречные команды заблокировали одна другую — выбило защиту. И вот результат — вверху взрыв разметал в осколки и сам преобразователь, и все установленное вокруг него. А внизу корчился и стонал изломанный и полусожженный Кондрат — единственный человек на всех трех этажах здания.

Я поднялся наверх, еще никогда мне не было так тяжко преодолевать короткую лестницу — два раза останавливаясь, хватался за перила, чтобы не упасть.

В кабинете Кондрата я вызвал Сомова и доложил:

— Исследование закончено. Разрешите прийти.

И опять он ответил, как в первый раз, когда я просил приема:

— Не надо. Иду к вам.

23

Карл-Фридрих Сомов сидел на диване, я за столом. Я хорошо знал, что сообщать ему, но трудно было заговорить. Слишком много неверного и обманного разделяло нас, чтобы вот так, одной фразой, перебросить через выдуманный барьер. А реально этого барьера не было, я теперь запоздало сознавал. Он улыбался, он понимал мое состояние.

— Итак, вы знаете, отчего погиб Сабуров, — негромко сказал Сомов. — Мне кажется, я тоже знаю это. Он погиб...

Я прервал его:

— Да, вы правы. Кондрат Сабуров погиб оттого, что устрашился своего изобретения. Он понял, что мирная установка может стать механизмом уничтожения, может быть использована как боевое оружие.

— Может стать прототипом боевого оружия, а не оружием, не так ли? — поправил меня Сомов. — Имею в ви-

ду крупные габариты, нетранспортабельность вашей установки.

Он был совершенно спокоен. Он, я сразу понял, заранее знал, что я скажу. И чтобы показать, что я тоже знаю о его невысказанном вслух знании, я и произнес эту фразу: «Да, вы правы». Она была ответом на его мысли, а не на его слова. Но полностью обстановки в Ротоновой лаборатории он все же не представлял — и тоже об этом догадывался. Он с вежливым вниманием ждал ответа. Я резко сказал:

— Именно боевое оружие. Не преувеличивайте трудностей с подвижностью и габаритами. Все это мелочи.

— Но я думаю...

Я не дал ему договорить.

— И Сабуров думал, как вы. Верней, надеялся, что будет так. Но было по-другому — и это стало одной из причин его гибели.

— Ваша мысль мне не ясна, — признался он с некоторым удивлением, — Сабуров, стало быть, понял, что ваша установка уже в ее теперешнем виде может быть использована как боевое оружие? Так?

— Нет. Он узнал, что очень легко изменить габариты ротонового генератора и энергетической установки, чтобы система стала вполне транспортабельной. И тогда источник полезной энергии превратится в вулкан смертоносного излучения.

— Как узнал?

— Я ему сказал. И вызвался сделать генератор транспортабельным. Я не подозревал, какие страшные мысли связаны у Сабурова с габаритами наших агрегатов. Мое объяснение привело его в ужас. Он заспешил с постановкой опытов. Принимаю на себя часть вины за его гибель.

— Друг Мартын, не преувеличивайте своих проступков и не придумывайте необоснованных самообвинений. Я числю за вами только одну несомненную вину — что вы поддались вспышке негодования на Сабурова и покинули лабораторию. Останься вы в ней, возможно, катастрофы бы не было.

— Не знаю, не знаю...

— Хорошо, оставим это. Но объясните вот что. Если установка генерирует опасное излучение, то как вы четверо остались невредимы? Очень сложное явление, не так ли?

— Наоборот, очень простое. Наша установка предназ-

начена выдавать полезную энергию, а не генерировать убийственное излучение. Излучение — попутный, а не основной процесс. И оно, во-первых, очень слабо, а во-вторых, короткодейственно. При низкой интенсивности оно поглощается полностью так близко и так сразу, что не грозит находящимся вокруг. Но попутный процесс легко превратить в основной. И именно так форсировать излучение, что оно потеряет свою короткодейственность. Помните запись Кондрата в дневнике: «Короткодействие? Радиус эффекта?» Он поставил себе этот вопрос. Он размещал свои живые пробы на разном отдалении от преобразователя, чтобы установить радиус действия. Он не специалист в ротонах и преувеличивал трудности обращения с ними. Что до меня, то берусь в несколько дней превратить нашу установку, ныне безопасную для всех, кто ее обслуживает, в адский механизм, губительный для каждого, кто пройдет мимо лаборатории.

Сомов очень вежливо сказал:

— Удивительно интересно. Вы и вправду хотели бы испытать ваше изобретение, так сказать, на губительность?

— Послушайте, Карл-Фридрих. Давайте не будем ходить вокруг да около важной проблемы, а приступим к ней сразу. Признаюсь, я долго не понимал вас, мы все, не я один. Но вы разглядели меня. Этим объясняю то, что мне поручили разобраться в катастрофе. Теперь остается решить, что делать с покинутой всеми Ротоновой лабораторией.

— Ваше предложение, друг Мартын?

— Самое простое — взорвать ее! Или, если не хотите грохота, демонтировать. Чтобы даже памяти не сохранилось о нашем опасном изобретении.

— Я догадывался, что именно это вы и предложите. А вы догадываетесь, что я отвечу на ваше предложение?

— Не только догадываюсь, но уверен. Пожмете мне руку и пообещаете начать демонтаж.

— Пожму вам руку охотно, но не за предложение демонтировать лабораторию, тем более взорвать ее, а за хорошее изучение причин катастрофы. У нас с Ларром иные планы.

— Какие?

— Восстановить лабораторию и поручить вам возглавить ее.

Я воскликнул:

— Но ведь это значит...

Теперь он прервал меня:

— Это значит, что основная программа вашей лаборатории — найти новые формы энергии и поставить их на службу человечества — далеко перекрывает попутные неудобства и опасности. Неудобства мы преодолеем, от опасности — защитимся. И лучше всех это сможете сделать именно вы, ибо знаете, какие блага принесут миру новые источники энергии — научным преступлением будет отказаться от них. Вы определили меру опасности ваших механизмов и сумеете предохранить нас от второго научного преступления — превращения полезных изобретений в средства разрушения. Мы с Ларром не раз говорили о вашей лаборатории. Мы не знаем другого человека, который бы так подходил в ее руководители. Сотрудников вы вольны подбирать сами. Ваш ответ я передам Ларру.

Я не спешил с ответом. Я думал об Адели и Эдуарде. Сомов предлагал мне то самое, что позавчера Адель гневно бросила мне в лицо как обвинение. Я пришел в кабинет Кондрата, чтобы утвердиться в нем начальником, так она сказала, так она теперь будет думать. Она увидит в моем поступке постыдный ход карьериста. А не пригласить ее и Эдуарда в лабораторию я не могу. Они этого хотят, они имеют на это научное и моральное право. Как отнесется Эдуард к тому, что энергетическая установка способна превратиться в то самое боевое оружие, о каком он мечтает для завоевания Гарпии. Кондрат, охваченный страхом, что Эдуард узнает о такой возможности, удалил его, а заодно разорвал и с женой. А я призову их, продемонстрирую Эдуарду, как легко осуществить его мечту... «Введу во искушение», так это называлось в старину.

И я сказал:

— Благодарю за прекрасное предложение, но отказываюсь. Вы хотите взвалить на меня непосильный труд, Карл-Фридрих. Нас было четверо в лаборатории, теперь осталось трое, мы все полноправные участники ротонового проекта. Допускаю, что мои друзья примирятся с тем, что из соратника я стал их начальником. Но как я смогу осадить Эдуарда Ширвинда, когда он узнает, куда способно повернуть наше изобретение? Знаю, вы не ожидали от меня отказа...

Он опять прервал меня:

— Почему не ожидали? Не сомневались, что откажетесь.

— Тогда зачем предлагаете?

— Не сомневаемся еще в одном: что возьмете свой отказ обратно, когда узнаете два новых обстоятельства.

— Новые обстоятельства? И сразу два? Слушаю, Карл-Фридрих.

— Первое. Президиум Всемирной Академии Наук постановил учредить специальную комиссию по надзору за возможными последствиями всех новых изобретений. Отныне будет оцениваться не только реальная польза от научных исследований, но и самый малейший предполагаемый вред от них. Наш президент Альберт Боячек сказал, что человечество ныне достаточно богато, чтобы отказываться даже от большой пользы, если большая польза грозит одновременно хоть небольшим вредом. Огюст Ларр горячо поддержал Боячека. Ларр теперь член комиссии по контролю над добром и злом любых изысканий. Комиссия будет оценивать каждый технологический проект не только технологически, но и морально. И могу вам гарантировать, что она никогда не позволит превратить установку для выдачи полезной энергии в боевое оружие.

— Огюст Ларр — член комиссии. А кто председатель?

— Председателем избран я. Думаю, это обеспечит вам то научное спокойствие, без которого вы не сможете восстановить Ротоновую лабораторию.

— Поздравляю вас с избранием, Карл-Фридрих. Нет, вы еще не гарантировали мне полного научного спокойствия. Год назад, воротившись с Гарпии, Ширвинд доказывал, что нет закона, запрещающего изобретать еще не известное оружие, ибо это было бы равносильно запрету любых, еще не изобретенных изобретений. Ведь неясно, как может быть впоследствии использовано то, чего пока еще нет. Как видите, вы еще не рассеяли моих сомнений.

— Сейчас рассею, — спокойно возразил Сомов. — Я сказал, что появилось два важных обстоятельства, но рассказал об одном.

— Слушаю второе.

— Второе состоит в том, что правительство приняло ряд новых законов о производстве оружия. Один, частный закон, касается непосредственно Гарпии. На Гарпию запрещено отправлять любое оружие — не только уже известное, но и неиспробованное, — если оно губительно для гарпов. На Гарпии разрешены только отношения мира и дружбы.

— А если гарпы не пожелают мира и дружбы?

— Тогда мы оставим планету, пока не изобретем приемлемых для гарпов средств мирного общения. Наша наука достаточно сильна, чтобы найти такие средства, а Земля достаточно могуча, чтобы обойтись какой-то срок без гарпийских богатств. Но я уже сказал, что закон о Гарпии — частный закон. Принят и общий полный запрет не только уже изобретенного во все прошлые века убийственного оружия, но и запрет любых попыток создать такое оружие. И контролировать выполнение этого закона поручено комиссии, которую я имею честь возглавить. Теперь я рассеял ваши сомнения?

— Теперь рассеяли, — сказал я и протянул Сомову руку.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ

Научно-фантастическая повесть

1



то Арнольд Гамов, выйдя на покой, уединился в домике на заповедной Куршской косе юго-восточной Балтики, мне было известно. И что он не откликается на телефонные звонки, не отвечает на письма и телеграммы, не принимает приглашения на торжественные встречи и деловые совещания, тоже не составляло секрета. Я все же решился проникнуть к нему. Я надеялся, что самый знаменитый звездопроходец нашего времени заинтересуется моделью сверхмощного галактического крейсера, разработанного в нашем конструкторском бюро. Экспертная комиссия Большого Совета отвергла этот вариант космического корабля, компьютер Института Звездонавигации из ста восьмидесяти тысяч слов, хранившихся в его памяти, выбрал только два для оценки конструкции: «Неразумно смело». После такого убийственного заключения нам оставалось лишь поднять руки. Мои сотрудники, не пожелав сдаваться, задумали привлечь к экспертизе Гамова. Но он не ответил на письмо. Институтские астронавигаторы ехидничали: легче-де спроектировать новый корабль на «отлично», чем добиться от старого поисковика хотя бы малого знака внимания. Тогда я взял расчеты и чертежи и вылетел к Гамову. Я знал, что у него живет садовник Таллиани и что тот лишь по профессии садовник, а по призванию — цербер: свирепо спроваживает любого сразу после фразы «Здравствуйте, я хотел бы...», а тому, кто немедленно не убирается, предстоит любоваться распахнутыми пастями трех чудовищных догов, ждущих лишь сигнала, чтобы прыгнуть. Признаться, я не очень верил таким россказням. В прошлом, говорят, бывали и злые сторожа, и цепные собаки, и замки на дверях, и прочие

жуткие вещи, о которых ныне давно забыли. Правда, от Арнольда Гамова, когда он ходил в дальний поиск, всегда ждали необычайного. «Чудаковатые выходки, вполне в духе великого Арна», выразился о его открытиях друг Гамова Крон Квама. Неудивительно, что и на Земле он, постаревший, но сохранивший прежнюю чудаковатость, не слишком считается с обычаями.

Это вступление должно объяснить, почему я три раза звонил у ворот, не решаясь перешагнуть порога. Никто не откликался. Не показывался Том Таллиани, которым меня пугали, не появлялись готовые разорвать исполинские псы. Я прошел по дорожке, обсаженной сиренью и розами, к домику. Кончался май, пьяно цвела сирень, распускались розы. В липах, обступивших дом, заливались соловьи. Домик был одноэтажный, три окна на дорогу, столько же на море, с верандой на юг. Постучав в дверь, я убедился, что она не заперта, вошел в сени. В доме имелось пять комнат, четыре небольшие, одна побольше, со стереоэкраном и стеклянными шкафами — что-то вроде музея минералов и чучел неземных животных. Все комнаты были пусты. Я вышел наружу и постоял у веранды. От нее шла дорожка на берег. Я направился к морю.

Садик метрах в двадцати от домика упирался в береговую дюну. Песчаная, невысокая, засаженная — для крепости — колючими кустиками, дюна служила естественной защитой от моря: даже в бурю волне не одолеть такую преграду. Балтика, светлая, в белой пене катящихся на берег волн, открылась наотмашь. Шел шторм с юго-запада, странный, мало похожий на обычные бури, когда ветер гонит валы, клонит деревья, свистит травой и ветками, взметает песок. Волны вздымались немалые, метра на два, а ветра не было. Зрелище захватило меня, я не вдруг заметил старичка, согнувшегося на склоне дюны. Он был похож на замшелый пенек, седой, лохматый, в сером плотно облегающем комбинезоне. Он не обернулся, только тихо сказал — и я сразу узнал глуховатый, протяжный голос, столько раз слышанный со стереоэкрана:

— Садитесь и помолчим, хорошо?

Молча пристроившись рядом, я искоса поглядел на него. Голос за те двадцать лет, что «великий Арн» отошел от дел, изменился мало, хотя в нем и появилась старческая хрипотца, но лица и фигуры я бы не узнал, встреться мы ненароком: так постарел знаменитый астро-

навигатор. Седина, и раньше густая в темных волосах, теперь стала сплошной и желто-золотистой, щеки запали, на руках вздулись синие жилы, гладкую кожу избугрили узлы. Только нос, внушительный, как труба, — «на троих создавался, одному достался» — остался прежним, даже казался крупней на сжавшемся лице. Я описываю так подробно внешний вид Гамова, увековеченного в тысячах бюстов, в миллионах фотографий, потому что мне выпало грустное счастье последним видеть его — и он уже мало походил на свой канонизированный облик.

— Смотрите! — прошептал он, будто боясь громким звуком что-то спугнуть. — Смотрите, ведь как красиво.

Он показывал на море, и я повернулся к морю. Солнце шло слева, от суши на воду, весеннее, низкое, и близился вечер, а волны, накатываясь, как бы вырастали у береговой кромки, и летящая над ними пена еще прибавляла высоты. И я увидел воистину удивительную картину. Балтика всегда зеленовато-стальная, летом больше зеленая, зимой больше стальная. Она и сейчас была такой, когда взгляд охватывал большое пространство, но волны, вздымавшиеся передо мной, светили полупрозрачно-красным, как крымские сердолики, эта сумрачная краснота шла изнутри, прорывалась сквозь поверхностную зеленоватость глубинным жаром. А пена, летевшая над гребнем, чуть впереди него, была не белой, а розовой, волны, косо мчавшиеся на песок, шли от солнца, разбивались не всей стеной, но от южного своего конца к северному, и пена той части волны, что взметывалась на берег, вдруг прощально ярко вспыхивала. И по всему гребню, по всей его розовой пене, от одного конца к другому бежал огонь и погасал в отдалении, а на берег надвигалась новая волна с розовым воротником, и по ней опять бежал от одного края волны к другому густой огонек.

— Из такой розовой пены родилась Афродита, — сказал я.

— Вот такую же розовую пену мы наблюдали на Кремоне, — тихо отозвался он. — Там погиб астроинженер Петр Кренстон. И, спасая его, отдали жизни еще двое. Вы слыхали об этом?

— Кто же не знает о вашей высадке на Кремоне! — ответил я.

Он упер локти в колени, охватил лицо ладонями, не отрывал глаз от полупрозрачных, как бы раскаленных изнутри волн с розовыми венцами пены. И я тоже вгля-

дывался в них и слушал грохот воды, и вдыхал пахнущий морем воздух, и меня заполонило ощущение сродни сладкому дурману: пена, раскатываясь на песке, превращалась в летящую взвесь, я пил ее и хмелел и, поглощая розовый туман, сам становился полупрозрачным и красноватым, во мне тлел внутренний жар, мне хотелось посмотреть на себя со стороны и убедиться, что как солнце светит сквозь вздымающуюся стену волны, так и сквозь мое тело, окрашенное в красное, просвечивают предметы, что позади.

— Собственно, кто вы такой и зачем явились? — услышал я вдруг.

Гамов теперь смотрел не на море, а на меня — недоверчивый, строгий взгляд отстранял меня от волн, выталкивал из дурмана.

Я отмахнулся и вяло пробормотал:

— Не мешайте, здесь так красиво!

Он расхохотался. Растерянный, я вскочил. Он сказал:

— Я рад, что до вас дошла магия вечерних безветренных волн. Афродита, между прочим, родилась в утренней, а не в вечерней розовой пене. Если бы вы явились на утренней зорьке во время наката с востока, а не с запада, как сейчас, то праздник рождения богини дошел бы до вас во всем величии. Итак, кто вы такой и что вам нужно?

Я довольно путано объяснил, чего желаем мои сотрудники и я. Он покачал головой. Он позабыл о космосе. Он слишком мало жил на Земле, на зеленой, на прекрасной, на материнski доброй Земле. Пусть не мешают ему последние годы жизни дышать лишь ею, думать лишь о ней, прикасаться к ее траве, ее воде, ее снегу, ее влажной почве...

Он говорил все это, закрыв глаза, нараспев, он декламировал, а не возражал. Не утерпев, я прервал его:

— Чепуха, Арн! Вы смотрите на божественное зрелище вечерней земной зари, а вспоминаете трагедию на Кремоне. Вы не отстранитесь от космоса. И космос от вас неотстраним.

Он приподнялся. Он был невысок. На меня глядели с худого лица не по-стариковски живые голубые глаза, желто-белые волосы, упавшие вдоль щек, подчеркивали яркость глаз. Он был похож на святого, грозящего грешникам с древней иконы. Лишь несоответствие лика великомученика и гибкой худощавой фигуры выдавало харак-

тер — святости было не ждать у лихого астроразведчика Арнольда Гамова.

— Вы говорите о космосе, юноша, — сказал он хмуро. — А что знаете о нем? Два-три галактических рейса, стажировка на ближних планетах, командировка куда-нибудь в дальний уголок, так? Космос — ваша профессия, верно? А душа где?

— Я был на Кремоне, где мало что напоминает, какой вы ее впервые увидели. Но трагедия Кремоны может повториться в других местах. Моя профессия — делать такие происшествия невозможными. Разве этому нельзя отдать душу?

— Вы строитель галактических кораблей? «Орион» — ваше детище?

— «Орион» спроектирован у нас, я главный конструктор.

— Хороший корабль, — сказал он задумчиво. — В мое время таких не было. Сколько бы жизней мы сохранили, если бы шли не на «Икаре», а на «Орионе».

— «Орион» — плохой корабль, Арн. Лучше «Икара», но хуже того, какой предлагаем мы теперь. Вам достаточно познакомиться с нашими расчетами, чтобы в том убедиться.

Его глаза стали рассеянными. Он смотрел внутрь себя, оглядывался на прошлое. Потом он вздохнул и возвратился в настоящее. Улыбка преобразила его лицо, оно, помолодев, перестало быть ликом. Он откинул за уши желто-белые волосы и протянул руку.

— Здравствуйте, Василий Грант. Я много слышал о вас. В мое время немало было дерзких конструкторов, но, кажется, вы всех отчаянней. Говорят, что если вас не удовлетворяют законы природы, вы исправляете их, правда? — Он не дал ответить и продолжал: — Но вы совершаете тривиальную ошибку — хотите техническими новшествами предотвратить все опасности. Кое-что это дает, не спорю. А если главная опасность — страсти души? Сколько киловатт развивает гнев? Печаль и скорбь — какова их мощь? И какое тормозное усилие в унынии? И какой дополнительный импульс в честолюбии?

— Не понимаю, Арн.

— Поймете. Пойдемте.

Он заскользил с дюны. Я шел за ним. У садика я обернулся к морю. Солнце садилось, и волны, и пена были уже не розовыми, а кроваво-красными. Гамов отворил

калитку в сад и нажал кнопку на воротах. У соловьев настал час вечернего азарта, они техкали отовсюду. На дорожке вдруг возникли три гигантских черных пса — широко разверстые пасти злобно нацелились на меня. Я остановился. Гамов рассмеялся.

— Ужасов дальнего космоса не страшитесь, трех безобидных существ испугались!

Доги остановились, Гамов шел прямо на них. Все собаки радуются, увидев хозяина. Эти и не помыслили вилять хвостом и строить умильные рожи. Я шел за Гамовым, сознавая, что сближение со страшилищами не сулит добра. Но Гамов прошел сквозь них. Он сделал знак не отставать, и я пересек туловище среднего дога, не ощутив сопротивления. Пройдя несколько шагов, я обернулся. Псы двигались позади, и морды их так же свирепо скалились.

— Неплохо сработано, — сказал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Оптическая иллюзия?

— Стереообраз. Каждый дог может совершать сто тридцать два движения, включая лай, ворчание и ласку. Их придумал Гюнтер Менотти на «Икаре». Здесь его создания отпугивают непрошеных посетителей. Уходя к морю, я забыл включить аппарат, а то бы вы так легко до меня не добрались.

— Ваш сторож Том Таллиани — тоже стереообраз?

— Он-то живой. Но на эту ночь уехал в Клайпеду. Входите, конструктор Василий Грант.

2

В комнату, куда он ввел меня, я уже заглядывал. Тогда она показалась похожей на музей минералов и чучел. Но это был скорей кабинет, а не музей, она вся была полна книг и ящиков с пленками и фотографий старинного образца — изображения менялись, когда менялся угол зрения, наших предков это забавляло, — а всего больше звездных карт, плоскостных и стереоскопических.

В углу стояли два кресла, массивные, прочные, я сел в одно, Гамов в другое. Между шкафами висел веерок фотографий, две женщины и семь мужчин — знаменитый экипаж «Икара», в таком составе он стартовал в дальний поиск с Галактической базы на Латоне.

— Да, — сказал Гамов. — Молодые, красивые, энер-

гичные... Не все вернулись, но если бы мы и знали свою судьбу, ни один не отказался бы от похода. Ибо что смерть? Неизбежность! Три столетия биологи обещают одарить нас бессмертием, но дальше долголетия не пошло. Нет, мы не страшились смерти как таковой, мы боялись преждевременной смерти, ибо она означала, что наша цель не будет достигнута. Трое узнали именно раннюю смерть...

— Техническая подготовка вашей экспедиции...

Он вспылил. Каждому, изучавшему экспедицию на «Икаре», известно, что ее руководитель иногда впадал в такой гнев, что от него шарахались. Гамов вскочил, затряс седыми кудрями и впился в меня побелевшими глазами. Гнев его, впрочем, угас столь же быстро, как и зажегся. Он сказал с какой-то грустной иронией:

— Опять техническая подготовка!.. Она была прекрасной.

— Я читал ваши отчеты, заключения следственных комиссий, научные монографии о вашем рейсе.

Он пренебрежительно махнул рукой.

— Поздравляю. Мне не удалось одолеть всего, что написали о нас. Не сомневаюсь, нашли бездну умного. Ну и что? «Икар» был лучше подготовлен к дальнему рейсу, чем мы, его экипаж. Не уверен, что это понимают даже умные конструкторы.

Гамов своими туманными намеками на человеческий характер, будто бы мешавший удаче рейса, начал меня раздражать. Я был бы плохим конструктором, если бы согласился, что техническая оснащенность — что-то второстепенное. И рейс «Икара», несмотря на понесенные жертвы, был на редкость успешным, результаты его крупно обогатили науку о космосе — сетования на неудачи звучали неискренне. Никого не удивляет, что в полете среди экипажа появляются разногласия. Наука о совместимости характеров пока достижениями не блещет, разводятся даже влюбленные, поражавшие вначале пылкой страстью.

Я не постеснялся именно так ответить Гамову.

— Не понимаете, юноша, — сказал он с досадой. — Совместимость у нас была идеальной. Мы любили друг друга! Но как бы это сказать?.. Могли смотреть на одно явление и видеть его по-разному. Теперь понятно?

— Нет. Боюсь, ваши объяснения не доходят до меня.

Он опять впал в отрешенность: как бы одеревенел, гла-

за стали тусклыми — смотрели и не видели. Не сомневаюсь, что в эти минуты перед ним возникали тысячи воспоминаний. И, вернувшись в реальность, он засмеялся.

— Не могу сказать, чтобы вы были деликатны. Я никого не принимаю, никуда не выезжаю, ни с кем не беседую, а вы моими категорическими «нет» пренебрегли. Даже страшные доги вас не испугали. Впрочем, я забыл их включить, это моя оплошность. Знаете, вы хорошо сделали, что не посчитались с моими странностями. Одиночество все же томительно. Не надейтесь, что я увлекусь вашими чертежами. Но поговорить о рейсе «Икара» могу, возможно, вы что-нибудь и для себя извлечете полезного. Идет?

Я, естественно, согласился.

3

— Для своего времени «Икар» был первоклассным галактическим кораблем, — так начал он. — Могучие аннигиляторы пространства безотказно обеспечивали сверхсветовые скорости. Я особо подчеркиваю это обстоятельство, его недооценивает новое поколение астронавигаторов, считающих движение вне эйнштейнового пространства не чудом человеческого гения, а обыденной операцией. Но мы, экипаж «Икара», понимали, что сотворено чудо, и благоговели перед величием людей, сумевших найти способ преодолевать пространство, уничтожая его вокруг себя. Вы легко сделаете отсюда вывод, что «Икар» для нас отнюдь не был некой космической гостиницей. Воплощение технического волшебства, врученное нам, особо отмеченным, как высочайший дар, — вот наше отношение к «Икару». Восхищение кораблем нас прочно объединяло.

Но не только это. Мы на редкость подходили друг к другу. Два года нас испытывали на дружбу в тяжелейших условиях Плутона, потом на жутких равнинах Цереры, планеты в системе Альтаира. На дружбу, юноша, не на совместимость! Одной совместимости мало для дальнего поиска, нужна любовь. Так вот — любовь была! Мы составили редкостный коллектив — девять влюбленных друг в друга молодых астронавигаторов. Бывают влюбленные пары, это естественно и тривиально. Влюбленная девятка — нечто исключительное, согласитесь. Мы были таким исключением и гордились этим. Если один долго отсутст-

вовал, остальные восемь тосковали. А если отсутствовали двое, семь нервничали, теряли аппетит. Я добавлю еще деталь, хотя, возможно, вы о ней знаете. Гюнтер Менотти, первый астроинженер, и Петр Кренстон, биолог, были влюблены в Анну Мейснер, нашего астрофизика. На Земле, нет сомнения, Анна вышла бы замуж за Петра и отвергла Гюнтера. Но в экспедиции на «Икаре» она пожертвовала любовью ради высшей цели, именно так она объявила мне — и никогда не оказывала Кренстону предпочтения перед другими, а они оба, Гюнтер и Петр, ни разу не показали, что она для них значит больше, чем остальные... Слово «показали» — нехорошее, оно наводит на мысль о неискренности, оно ассоциируется с известной бранью предков: «показуха». Неискренности не было, была гармония! И как живое существо, теряя какую-либо свою часть, превращается в инвалида, так и наш коллектив, утратив одного из девятерых, становился покалеченным. В этом всецелостном единстве была наша сила. Но и наша слабость!

О первых четырех годах наших галактических блужданий вам говорить нечего, они описаны, рассказаны, проанализированы. То, что назвали огромным успехом «Икара», захватывает и этот период. В эти первые четыре года не встретилось ни одной загадки, не распутанной нами. А чего еще желать поисковику? Так что не будем вдаваться в рассказы об удачах, известных каждому.

На пятый год, после четырехмесячного полета в пустом космосе, анализаторы уловили под углом градусов тридцать к курсу два быстро несущихся тела. Их быстрота привлекала внимание: естественные тела не мчатся со скоростью почти пять тысяч километров в секунду. Фома Михайловский, штурман и мой заместитель, считал, что мы повстречались с космическими кораблями. Разумных цивилизаций, вы это знаете не хуже меня, обнаружено немало, но технически развитых пока нет. Я приказал выброситься из сверхсветового в эйнштейново пространство и догонять незнакомцев. Автоматы забили тревогу: от первого корабля — если это был корабль — улавливалось очень слабое излучение, из тех, что убийственны для любой организованной материи, ибо разрывает внутримолекулярные связи. Вряд ли оно могло нам быть серьезной угрозой — у «Икара» мощные защитные поля, но причина для беспокойства была.

Вскоре сомнений не оставалось, что мы повстречались

с механизмами, а не с космическими шатунами, те, кстати, в этом районе Галактики редки. Вы, надеюсь, знаете стереоизображения этих кораблей и поэтому можете понять, как мы удивились, увидев, что они напоминают мифические «летающие тарелки», так будоражившие воображение наших предков — правда, не сферические, а эллипсовидные. Алексей Кастор назвал их «блюдоподобными чечевицами», название удачное, по-моему.

Корабли шли один за другим на расстоянии примерно в семьдесят-восемьдесят тысяч километров, отдаление, по масштабам космоса, ничтожное. На наши позывные, посланные всеми видами излучений, они не отозвались. И не было заметно, чтобы работали двигатели: искусственные сооружения летели, как мертвые тела. По нашим понятиям, это означало, что на кораблях аварийное состояние. Я приказал затормозить силовыми полями «Икара» передовой корабль, а когда приблизится второй, остановить и его.

Мы шли наперерез их курсу. Первый корабль послушно замер в объятиях наших силовых тисков, другой быстро приближался. Фома готовился затормозить и его, когда вдруг носовая часть «блюдоподобной чечевицы» ярко озарилась, погасла, вновь озарилась и вновь погасла. Так повторилось три раза, последняя вспышка была самой яркой, но и самой непродолжительной. Фома с криком: «Он расстреливает передового!» включил тормозное поле такой мощности, что не только сам корабль, потеряв ход, закачался в силовых сетях, но и любое выпущенное им излучение мгновенно погашалось.

Если бы Михайловский сумел это сделать хоть секундой раньше, передовой корабль был бы спасен. Но теперь нам оставалось лишь наблюдать — после нас и вам, когда на Землю доставили снимки — как его после первого залпа охватило пламенем и как второй залп разнес его на пылающие осколки, а третий неминуемо превратил бы все осколки в плазму, если бы Фома не предотвратил такой финал.

— Какое зверство! — воскликнула Анна Мейснер. Она первая пришла в себя. Несправедливость всегда больно задевала ее, а тут событие не вызывало сомнений. — Бандитизм!

Ее поддержал Иван Комнин, в возбуждении не церемонившийся в выражениях, а не возбужденным мы его почти не видели, его волновало и то, что он видел, и то,

что, не видя, воображал. В Академии о нем говорили: «Иван нервничает только в двух случаях: когда дождь идет и когда дождя нет». Он запальчиво закричал:

— Арн, это же флибустьеры Галактики, это же пираты космоса! Проучи их силовой оплеухой! Пусть потрясутся в своей бронированной чечевице!

— Спокойней, друзья! — приказал я. Признаюсь, я растерялся. Вообще мне не свойственна быстрота воображения, еще экзаменационный компьютер характеризовал меня как тугодума. Когда необходима стремительность решений, я блеска не показываю. К счастью, в таинственном космосе такие экстремальные случаи гораздо реже, чем на нашей ласковой упорядоченной Земле. Заступая на дежурство, я включаю автоматы на любые аварийные возможности, с надежными помощниками мне спокойней. Но тогда мы и мысли не допускали, что один корабль гонится за другим, чтобы его уничтожить, да и вели они себя, как мертвые тела, — и не дали автоматам особых программ. Я продолжал: — Мы пока не знаем причины события. Один корабль пытался уничтожить другой, ему — с нашей помощью — это удалось. Но почему это сделано? Что это за корабли? Кто в них сидит? Не будем спешить с выводами.

На Земле потом в этом обращении к экипажу увидели мудрость руководителя экспедиции. Можете мне поверить: не было мудрости, была растерянность, было желание отстраниться от немедленных действий. А что именно такое поведение оказалось единственно разумным, объясняется объективной сутью событий. Анна, наш астрофизик, заметила, что опасное излучение шло от уничтоженного корабля, а не от преследователя и, возможно, это играет роль в катастрофе. Я попросил Михайловского не дать остаткам взорванного корабля разлететься в космосе, и он артистически быстро сжал в компактную кучку все обломки и пыль. Остальные наши действия определялись ситуацией: на втором корабле находились разумные существа, надо было вступить с ними в контакт.

Но, как и прежде, корабль не отвечал на наши сигналы. Его недавние активные действия свидетельствовали, что он обитаем. Но снова он вел себя как тело, лишенное жизни: не делал попыток вырваться из силовых тенет, пассивно покоился в наших полях. Мы облетели вокруг, рассмотрели его сверху, снизу, с боков: он вспыхивал металлическим блеском в сиянии наших прожекторов —

и это была единственная реакция на все попытки добиться связи.

— Затаились! — сердито сказал Иван. — Арн, будь осторожен. Как бы они не пальнули в нас.

Поведение странного корабля мне тоже не нравилось. Но и непрерывно кружить не имело смысла. Мы выслали автоматический космический катерок, сконцентрировав на нем охранные поля. Он пролетел под самым носом «блюда», вернулся и спикировал на него, словно собираясь ударить. Отпора не последовало. Только что мы видели грозное орудие разрушения, с огромной стремительностью пущенное в ход. А сейчас вокруг нахально носился эдакий космический комар и это покорно сносили. Иван перешел от гнева к восторгу:

— Ну и нервы у флибустьеров космоса! Ведь вряд ли они догадываются, что все их залпы для нас не опасней детской хлопушки!

Он преувеличивал мощь нашей защиты, сильной, но не абсолютной. Все просили о высадке на чужой корабль, я колебался. Внезапное превращение мертвой коробки в чудовищную боевую машину заставляло опасаться любой новой неожиданности. На меня стали наседать. Я огрызнулся:

— Всем, кому не на вахту, — спать! У меня нет желания завязывать контакт с незнакомцами с космического сражения.

Спать, естественно, никто не пошел, но терпения я добился. Час бежал за часом. Мы перестали кружить вокруг «блюдоподобной чечевицы», но не выпускали ее из своих полей. В восемнадцать глаз, настороженно и недоверчиво, мы наблюдали за чужим кораблем. Он был недвижим, темен, бесстрастно покоился неподалеку. Временами Алексей, была его вахта, озарял его вспышками прожекторов, поисковые лучи продолжали оконтуривать «чечевицу», сигналы всех тридцати восьми типов галактической азбуки периодически несли просьбу о связи — контакта не было. Я приказал разведочной группе готовиться к высадке на чужой корабль.

По судовому расписанию, разведочная группа состоит из трех человек: командир астроинженер Гюнтер Менотти, члены — биолог Петр Кренстон и социолог Мишель Хаяси. Мне было предоставлено право дополнять группу любым членом экипажа. Я добавил в группу себя. Из

трех наших разведочных катеров мы выбрали планетолет «Гермес»: он был тихоходным, но самым оснащенным.

Вы и без меня хорошо знаете, как мы вертелись вокруг чужого корабля, отыскивая входное отверстие, и как, не найдя ничего, загерметизировали площадку на корпусе, где анализаторы показали внутренние пустоты, и как, проделав лаз, проникли внутрь, и как сразу же наткнулись на скелеты трех странных, но, несомненно, когда-то живых и разумных существ. Мертвецы показались нам громадными осьминогами, они и истлевшие, одна костяная броня и растрескавшиеся кости ног, походили на отлично выделанные чучела, а не на холмики праха, хотя при неосторожном прикосновении превращались в прах.

Кренстон ползал около трех скелетов с ручным биологическим анализатором. Этот хитроумный компьютер совершает три тысячи анализов в секунду и по результативности превосходит иную научную академию старых времен. Гюнтер и я осторожно ходили по помещению, фиксируя на пленку стены, потолок, пол. Довольно просторный зал заполняла масса предметов, назначение их надо было еще устанавливать. Все они были правильной формы, чаще шары, цилиндров и призм — поменьше, а кубов совсем немного. Каждый казался монолитом — как бы слиток из материала, похожего на металл, но не металлической природы. Кстати, и весь корабль был изготовлен из того же вещества. Нашего разнообразия материалов — цветных, черных, редких металлов, дерева, кож, пластмасс, бумаги — здесь и в помине не было.

— Думаю, все эти предметы — аппараты управления кораблем, — сказал Гюнтер. — Странно, что каждый лежит поособь, не видно соединительных коммуникаций.

Петр поднялся с пола. Никогда мы еще не видели такого обалдения на его лице.

— Знаете, когда умерли восьминогие астронавты? Полтора миллиона лет назад!

Погибшие полтора миллиона лет назад пилоты на корабле, который на наших глазах вел осмысленные боевые действия! Петр добавил, что и материал, из которого изготовлен сам корабль и все предметы в нем, — того же почтенного возраста. Корабль построен еще до того, как на Земле появилось человечество.

— Значит, на корабле нет ничего живого? — сказал Хаяси.

— Именно! Ничего живого! Все перемерло еще в не-

запамятные времена, и сам корабль уже свыше миллиона лет назад превратился в мертвое тело и несется вперед лишь по инерции.

Дальнейшие наблюдения подтвердили, что Петр прав, но в тот момент это показалось невероятным. Наши разговоры передавались на «Икар» и там вызывали такую же реакцию. Все были под магией нападения одного корабля на другой: можно ли допустить, чтобы сражения вели мертвецы! Хаяси, как всегда, на каждом этапе разведки отделял факты от гипотез. К твердым фактам он относил то, что оба космических тела — искусственные сооружения, что один уничтожил второе, что в первом же помещении сохранившегося корабля найдены скелеты неведомых существ, что здесь наши походные гравитаторы не нужны, ибо невесомости нет, а наоборот, наличествует прибавка в весе, примерно в полтора раза... Подобных фактов накопилось уже немало, а все ли обитатели корабля — мертвецы, надо было проверить. Не будем забегать вперед.

— Еще один факт: мы в монолитном кубе, откуда нет прохода в другие помещения, — добавил я. — Но должны же они существовать! И надеюсь, Мишель, это не фантастическая гипотеза!

Проходы обнаружил Гюнтер. Он подошел к одному участку стены, ничем по виду не отличавшемуся от других, и в стене вдруг появилось отверстие. Мы впервые тогда увидели самодвижущийся, саморастягивающийся, самоутолщающийся материал и вытаращили глаза на самопроизвольно образующиеся проходы. Дыра в стене была как раз такой, чтобы мы гуськом могли проникнуть. Проходы создавались по габаритам идущего: если бы в экипаже «Икара» имелся слон, и ему открылся бы достаточный лаз, правда, стене пришлось бы сильно утолщаться по краям такой дыры.

Второе помещение было обширней: просторный тоннель длиной метров на пятьдесят, шириной метров в десять и высотой в пять. Наши фонари осветили с правой стороны исполинский некрополь — ряд полок, одна над другой, отгороженных прозрачными стенками от прохода, на каждой полке покоился восьмирукий скелет, а на второй стене — стереоскопические пейзажи удивительной красоты и яркости.

Мы медленно двигались вдоль многоэтажных склепов, освещая ряд за рядом, этаж за этажом. Впоследствии,

установив в тоннеле светильники, мы могли свободно обозревать с одной стороны все гигантское покоище мертвецов, а с другой любоваться всеми картинами музея, но в тот первый день и мертвецы, и картины, выхваченные снопиком света, как бы возникали из небытия: эффект был куда сильней! Скелеты лежали в определенном порядке, внизу экземпляры крупней, повыше — поменьше. Различие в размерах выражало различие возраста: одни умирали зрелыми, возможно, и состарясь, других смерть настигала в стадии созревания, кое-кто переводился на жительство в некрополь, не выбравшись из младенчества. Но рано или поздно умирали обитатели космического корабля, останки их переселялись сюда, в последнее их общежитие, ставшее вечным хранилищем. И еще стало ясно при первом осмотре: в некрополе сохранялись не скелеты однажды посаженного экипажа, а много генераций экипажей. Потом мы установили, что для корабля требовалась команда в двадцать взрослых особей, владевших профессиями навигаторов. Корабль, стартовавший откудато из центральных районов Галактики, вела небольшая группа специалистов звездоплавания. Скелетов же было больше тысячи. Медленно передвигаясь от одного пятиэтажного саркофага к другому, я мысленно видел их — восьмируких, молодых, энергичных, полных жажды выполнить какое-то важное задание, ради него пустившихся в дальний полет. Шли годы, десятилетия, пошло к тысячелетию — именно этот срок для их жизненного цикла определил анализатор Кренстона, — народилось на корабле новое поколение, его обучили звездоплаванию, оно переняло эстафету родителей, те переселились сюда, вон там, в дальнем углу некрополя, начинают они скелетную историю загадочного полета. А полет продолжается, старится вторая генерация, вырастает третья, самая многочисленная, почти в сто особей, они стремятся вперед, но, не достигнув цели, тоже занимают свои места в саркофагах. А полет продолжается, тысячелетие идет за тысячелетием, одна генерация по-прежнему сменяет другую. Постепенно количество новых астронавтов уменьшается, их становится снова два десятка — как раз то, что требуется для надежного обслуживания корабля, а полет не прерывается, цель не достигнута, надо спешить. Но вот их уже меньше двадцати, эти крайние справа полки свидетельствуют о катастрофическом падении рождаемости —

недалеко уже и до последних трех, умерших на своем посту среди непонятных нам аппаратов, и уже не было живых товарищей, чтобы перенести их тела в некрополь. А полет все продолжается, ибо неведомая цель не достигнута, ибо таинственное задание не выполнено, — продолжается еще полтора миллиона земных лет, все продолжается, все продолжается... Куда они стремились? В чем цель их бесконечного полета?

После осмотра некрополя мы повернули к музею. Сегодня все восхищаются творениями на стенах мертвого корабля, и каждый школьник может сдать экзамен по технике стереооттисков. Но можете вообразить себе наше удивление, когда мы открыли, что ярчайшие краски картин к тому, что у нас называют красками, никакого отношения не имеют, что весь цветовой спектр создан лишь разной глубиной оттиска на непонятном материале стен, а разная глубина оттиска исчисляется миллимикронами — на ощупь картины идеально гладки — и что, меняя освещение, мы заставляем их вспыхивать разными цветами. Впрочем, удивление перед техникой рисунка пришло позднее, в те минуты нас больше интересовало содержание картин. Все эти сценки быта и работы на странной планете, источенной пещерами — жильем и заводами восьмируких астронавтов — видимо, были нанесены на стены, чтобы путешественники помнили далекую родину: появление многих генераций, родившихся на корабле и назначенных там умереть, несомненно, заранее планировалось. С некоторых картин на нас глядели живые, те, кто миллионы лет уже покоился в саркофагах, они были странны и привлекательны, над восемью гибкими сочленениями — ноги и руки одновременно — вздымалась крутая, лобастая голова, в ней светило два удивительных глаза — два огня, два приемника света, два факела, мощные, пронзительно умные, безысходно печальные...

— Нет, эти глаза не только для зрения! — вырвалось у Хаяси. — Они разговаривали глазами!

— Не удивлюсь, если глаза у них — и орудие нападения, а не только зрения и беседы, — заметил Гюнтер. — К тому же — электрической природы. Как, по-твоему, Арн?

Я пожал плечами. Разве можно определять по рисунку, правда, искусному, какова физиология существ, о существовании которых мы еще день назад и не подозревали? Одна из картин показала, что такая возможность

есть: изображение тесной каморки вроде той, где лежало три истлевших трупа. В ней стояли уже знакомые нам монолитные ящики, а перед ними распластались два восьмируких существа: глаза их, обращенные на ящики, буквально пылали. Вдалеке виднелся передовой корабль. Картина менялась, когда мы проходили мимо: создавалась иллюзия, что передовой корабль сошел с центра, а второй меняет курс, чтобы постоянно держать его в центре.

— Прицеливаются, — оценил картину Гюнтер. — Когда происходило такое событие, Петр?

— Вероятно, миллиона два лет назад, — сказал Кренстон.

В это время Фома передал, чтобы я возвращался на «Икар». Он послал на Латону по сверхсветовому ротоновому каналу сообщение о двух неизвестных галактических кораблях, и база вызывала меня. Пришлось на время прервать осмотр.

На Латоне начальство било нетерпение, требовало подробных сводок. Попутно меня хлестанули строгим «втыком» за непростительное упущение: я, видите ли, спокойно лицезрел, как уничтожают уникальнейшее, неповторимое, необычайное и прочее создание каких-то неизвестных, уникальных, необычайных разумных цивилизаций — понимаю ли я, что так вести себя нехорошо? Я так огрызнулся, что ротоновый канал в ошеломлении отключился. Обо мне тогда говорили, что подчиненным у меня хорошо, а для начальства я — тяжкий крест на плечах. Периодически, я так считаю, нужно ставить всех начальников на место: космический разведчик ведет свободный поиск, а не заносит рейсовые километры в распланированный график. Мой старый друг, всегда улыбающийся Кнут Марек, начальник Главной Галактической базы, коварно попросил повторить ответ в выражениях, более приемлемых для переадресовки Земле. Воображаю, как он злорадно ухмылялся при этом, ведь все его указания, предписания и просьбы полным текстом ротанируются на Землю, в отличие от наших ответных, которые он бессовестно редактирует. Конечно, там узнают, что я сам смягчал свой отчет. Но я ничего не имел против, Земля по мелочам не вмешивалась бы в мое дело, и хладнокровно добавил, что раньше чем через неделю о подробных сводках речь не пойдет.

Картина происшествия достаточно прояснилась для предварительного отчета, но тысячи тонких вопросов ждут

ответа — так начал я через неделю свое сообщение базе. Описав встречу с двумя кораблями, я попросил товарищей продолжать.

Первой говорила Елена Витковская. Оба они, Елена и Петр, астробиологи, знатоки форм галактической жизни. Она, как аналитик, дотошней Кренстона — немаловажное преимущество при изучении загадочных явлений жизнетворчества, зато он шире в оценках и лучше экспериментирует — тоже доброе качество для поисковика. Но когда надо докладывать о результатах их совместных работ, он тушуется, она же расцветает. Елена отличный оратор, а начальство — не только на Латоне, а и на далекой Земле — ее прямо-таки обожает, это древнее выражение точно описывает настроение, с каким принимаются ее доклады. Причина достаточно прозаическая: всех, и меня в свое время тоже, поражало, что очень хрупкая, очень красивая, очень женственная особа так по-мужски жестко развивает неопровергаемые аргументы. То, что именуется мужской логикой, ей свойственно больше всех нас вместе взятых. Некогда компанию осужденных вели на эшафот и единственная в той компании женщина, с презрением поглядев на своих партнеров, громко сказала: «Палач, начни с меня, я одна мужчина среди этих баб». Уверен, что в аналогичной ситуации наша Елена Прекрасная звучно, четко, ясно попросила бы гильотинировать ее первой, ибо остальные недостойны такой чести. Нет, я не ругаю Елену, я ею восхищаюсь.

Она информировала Латону, что восьмирукие астронавты — существа живые (были, конечно), углеродно-кремниевой природы, практически безбелковые, жизненные реакции почти исчерпываются созданием в организме огромных запасов биологического электричества — каждая особь могла бы функционировать в качестве аккумулятора и генератора. В физиологическом цикле отсутствуют переварка пищи, кровообращение, дыхание и тому подобное — вероятно, этим и объясняется долголетие, раз в десять превосходящее наше. Уникален их мозг — при весе взрослой особи в 150—170 килограммов мозг весит 15—16 килограммов, то есть 10% всей массы тела: практически астронавты — только мозг, заключенный в жесткую оболочку, питающийся электричеством и передвигающийся при помощи восьми руко-ног. Совершенство мозга порождает высокую интеллектуальность, чему доказательство технический уровень корабля и мастерство найденных в

нем предметов искусства. Что же до излучений погибшего корабля, то они генерировались находившимся на нем и почти начисто распыленным грузом. Характер груза по сохранившемуся пеплу надо исследовать в стационарных условиях большой лаборатории, но нет сомнений, что он очень опасен для углеродно-кремниевых организмов и безусловно губителен для белковых, то есть для человека, земных животных и растений.

— Отлично, Витковская, прекрасный анализ! — прислала база ротонограмму. Можно было заранее не сомневаться, что даже скептик и ироник Кнут Марек не поскупится на похвалы.

Наши астроинженеры Гюнтер Менотти и Алексей Кастор докладывали вторыми. В конструкции обоих кораблей существенно нового они не нашли ни в принципе, ни в оформлении. Лет двести назад одно земное конструкторское бюро разработало примерно такой же корабль, но в серию его не взяли: тихоходен, в обычном пространстве не выше одной десятой скорости света при длительном разгоне, а о выходе в сверхсветовую область тогда и не мечтали, хотя уже была установлена возможность аннигилирования пространства с превращением его в «пепел сгоревшей пустоты». Монолитные ящики оказались аппаратами — командными и исполнительными. Движение шло за счет тяги на жестких фотонах: каждый корабль — генератор гамма- и рентгено-излучений. Электричество, создаваемое организмами самих астронавтов, служило им для управления аппаратами фотонной тяги. В этом месте голос Гюнтера сделался торжественным: он подходил к главному своему открытию. Астронавты вели управление не руками, хотя их у каждого хватало, а глазами. Не так приемники света, как излучатели накопленной в теле энергии, глаза передавали команды аппаратам. За два столетия знакомства людей с иными звездными народами человечество еще не встречалось со столь удивительным органом, как эти глаза. Биологам и физикам предстоит специально исследовать, как возможна такая оптико-электрическая структура. Нашу пассивную систему, именуемую зрением, пора бы уже улучшить — и хорошо бы воспользоваться для этого новыми открытиями «Икара».

— Что до гибели первого корабля, то она тривиальна, — закончил Гюнтер. — Залп произведен автоматами из гамма-лазера средней мощности. Аналогичные орудия в арсенале человечества куда могучей. Учиться уничто-

жению материальных тел у восьмируких астронавтов бесполезно. Команда на выстрел срабатывала, когда передовой корабль попадал в зону досягаемости, что в данном случае равно отдалению в сотню километров. Короче, и прицельность, и эффективность удара невелики, хотя цель достигнута — правда, после двух миллионов лет бесперспективной погони и нашей непредвиденной помощи.

Хаяси, завершая доклад базе, сжато и точно описывал, что считал твердо установленным. На меня напускались, что я часто выхожу из себя. Это неправда. Я редко сержусь при спорах с членами экипажа, кроме Мишеля Хаяси. Он иногда выводит меня из равновесия, даже когда молчит. Если Елена Витковская — непробиваемо логична, то у Хаяси пренебрежение к логическим построениям. Его божество — факт. Его манера разговора: «А вот наблюдалось еще такое явление». Как-то во время трудного ночного дежурства на Латоне, измученный, я воскликнул: «Да наступит ли когда-нибудь день?» Он совершенно серьезно отозвался: «Было бы рискованно отрицать такую возможность!» — и удивился, что я захохотал, сам он не увидел в своем ответе ничего смешного. Сколько раз я добивался от него: «А что из этого факта следует, Мишель?» Он холодно прищуривал немного раскосые глаза: «Из этого факта следует, что такой факт существует». Вместе с тем у него дьявольская интуиция. Он наблюдает внешность, а видит сущность. В анализе загадок он опережает саму Елену. Если бы не эта способность, он был бы средненьким социологом, а гениальный Крон Квама объявил его своим лучшим учеником: такая рекомендация кое-чего стоит! Я вписал его вторым после себя, когда укомплектовывал экипаж «Икара» — и никогда не раскаивался.

Он информировал Латону, что один корабль преследовал другой, чтобы уничтожить. На первый корабль в свое время погрузили вещества, опасные для любой формы жизни — возможно, чтобы отвести подальше и там ликвидировать. Допустимо, что автоматика взрыва не сработала и корабль, лишенный пилотов, умчался в глубины космоса. За ним снарядили погоню. Понимая, что в течение одного поколения нагнать беглеца, вероятно, не удастся, запланировали преследование в течение ряда поколений. 39 генераций астронавтов, то есть около 400 000 земных лет — они все живут Мафусаилов век — тянулся этот космический марафон. Последние три астронавта,

умирая, настроили автоматы на огонь, когда беглец попадает в зону досягаемости. Остальное время — полтора миллиона лет — полет продолжался по инерции с одинаковой скоростью. А когда передовой корабль затормозили, автоматы сработали. Вот и все, что можно более или менее достоверно доложить о происшествии.

— Мне кажется, ты нового не сказал, Мишель, по сравнению с тем, что мы знаем, — заметил Иван, когда передача закончилась.

— Я докладывал не тебе, а Кнуту Мареку, а он не знает того, что знаешь ты, — спокойно возразил Хаяси.

В эту ночь дежурил Иван Комнин. Я пришел к нему в рубку. Я часто посещал Ивана на дежурстве. Мне нравились его рассказы. По штату он судовой медик, но знает все, что необходимо каждому астроразведчику, и еще многое сверх того. В часы отдыха он играет на скрипке, декламирует стихи — и всегда находит слушателей. Я сел на диван. Он не повернулся ко мне.

— Ты чем-то расстроен, Иван? Расскажи не утаивая.

В отличие от невозмутимого Хаяси на лице Ивана отпечатывается любая смена настроений. В больших темных — с поволокой, с почти синими белками — глазах светилась печаль, чувство, недопустимое для астроразведчика на вахте.

— Не расстроен, нет. Но как бы сказать, Арн? Я восхищаюсь и грущу. Эти восьмирукие астронавты!.. Какая судьба!

Я попросил объяснений.

— Понимаешь, думаю: смог бы поступить, как они? Родиться на корабле и знать, что на корабле умрешь, и дети твои умрут, и праправнуки... Ибо впереди мчится опасный груз, не для тебя опасный, не для твоих соплеменников на отдаляющейся родине, а для кого-то, кого ты не знаешь, кого, возможно, и вообще-то нет. И ты свою жизнь и жизнь своих потомков отдаешь, чтобы уберечь этих неведомых тебе существ от гипотетической опасности. «Жизнь свою за други своя», говорили в старину.

— Судьба как судьба. Сложились бы у нас такие обстоятельства, и мы действовали бы похоже. Не вижу причин для грусти, Иван.

— Не знаю, Арн. Ты, возможно, действовал бы, как они, ты такой. Но о себе — не скажу...

— Зато я скажу о тебе: выполнил бы свой долг, какие бы сомнения ни одолевали. Оставь эти мысли для отды-

ха, сейчас они неуместны. И грусть по случаю их горестного конца, и восхищение их благородством — чувства не служебные, поверь мне.

Иван сердито отвернулся к пульту. Заработал ротонограф. Иван протянул мне депешу с Латоны. Марек требовал, чтобы мы срочно демонтировали что можно с оставшегося корабля, если нельзя его целиком переместить в наш трюм, собрали остатки уничтоженного и возвращались на Латону. Что-то на базе случилось: Марек любил наваливать трудные задания, бесцеремонно — с улыбкой и шуточками — подстегивал нас, но когда поиск шел, не прерывал уже начатые исследования.

4

— Ты угадал, Арн, — сказал Марек, и ослепительная его улыбка, столь известная по миллиардам изображений, погасла. — У нас происшестние. Но прежде, пожалуйста, разъясни, ты не устал? Четыре года странствий... В отпуск не хочется? Зеленая земная травка, пляжи, приемы...

— Танцы, увлечения, интрижки. Перестань кривляться, Кнут Марек! Еще одно слово в этом роде, и я от восторга начну плясать на твоем столе и не ручаюсь, что расставленные на нем роскошные безделушки уцелеют.

Он вздохнул — кажется, непритворно — и на всякий случай положил обе руки на стол: я приучил его к тому, что далеко не все мои угрозы высказываются в шутку. На столе, и вправду, лежало много редкостей с разведанных планет, в том числе и наши, из прежних рейсов «Икара», дары.

Поначалу рассказ Марека меня не заинтриговал. На Карене-2, населенной муравьеподобными полуразумными существами, туземцы разорвали в клочья двух землян, не только не дававших повода для зверской расправы, но скорей заслуживавших благодарности: инженеры Комиссии Межзвездной Помощи, они вели строительство ирригационных объектов, крайне нужных каренам. Я посоветовал Мареку послать опытного детектива: расследование убийств не входит в служебные обязанности косморазведчиков. Если «Икар» на Латону вызвали ради этого, то можно было не расходовать активное вещество, которое он, Марек, выдает крайне скупо.

— Ты прав, — уныло подтвердил Марек. — Нет, речь

не об активном веществе, у нас его запасы пополнились. Но, пожалуйста, не бесись, пока я не кончу. Расследование убийств произведено. И очень опытными людьми. Но ничего не дало! Карены твердят, что убитые — «государственные опасники», придумали же дикий термин, но в чем опасность, объяснить не смогли. Боюсь, мы столкнулись с каким-то новым явлением, а кому же изучать новые явления, как не разведчикам космоса?

Я заколебался.

— Посовещаемся с экипажем, Марек.

Он высоко поднял брови.

— До сих пор я думал, что твои сотрудники покорно соглашаются со всем, что ты пожелаешь.

— Просто я никогда не желаю того, что им не по душе. Они покорно подчиняются лишь тому, чего сами жаждут.

Вообще-то я понимал, что у Марека есть резон просить нас. Странная эта планета, Карена-2, открыта задолго до того, как построили «Икар», но доныне космические лоции рекомендуют без особой нужды на ней не высаживаться. Я назвал каренов полуразумными, но лишь в том смысле, что их разум только частично совпадает с нашим, а в остальной части — нечто для нас несусветное. С таким же успехом и они могли бы назвать нас полуразумными — не следует этот точный термин путать с оскорбительным «полоумным». В поиске мы изучали физические загадки космоса, но не игнорировали и социальные законы, и психологию иных цивилизаций, это тоже предмет поиска. Все эти соображения я высказал друзьям, и только у Мишеля нашлись сомнения.

— Арн, испроси разрешения на вмешательство в социальную структуру каренов, — посоветовал он. — Боюсь, без этого успеха не будет, а ты знаешь, как строго Земля наказывает за попытки насадить у туземцев наши порядки без их согласия. Крона Кваму столько раз хлестали выговорами!

— Попрошу, но не раньше, чем это станет необходимо, — ответил я, и Хаяси успокоился.

Так начался рейс на Карену. Марек честно выполнил обещание, трюмы «Икара» так полно загрузили дефицитнейшим активным веществом для аннигиляторов пространства, что мы могли бы промчаться к ядру Галак-

тики и вернуться обратно, если бы получили разрешение на такой отчаянный рейс. В пути мы смотрели стереофильмы о Карене-2. Планета была со странностями, но нестранных обитаемых планет, по-моему, в Галактике нет. Земля, на взгляд других разумных народов, тоже диковинна. У Земли и Карены-2 много общего: звезда Карена — желтый старичок, как и наше Солнце, планеты — четыре: Карена-1 — раскаленная пустыня, Карена-2 похожа на Марс, только аммиака побольше, две дальние — глыбы застывшего газа. Жизнь развилась лишь на второй планете. Организмы — белкового типа, но не дышат, а питаются воздухом. Наш дуализм дыхания и еды каренам кажется чудовищным излишеством: возможно, они правы. Во всяком случае, им проще жить: нет проблемы голода, атмосфера густая и питательная, ее на всех хватает. Иван, глядя фильмы, попечалился за людей, лишенных такого важного преимущества, как отсутствие заботы о хлебе насущном: каких высот достигло бы человечество уже в неандертальстве, не принуждай его горькая судьба периодически заполнять желудок! По облику карены похожи на муравьев, но размером с дога: поднимаясь на задние ноги, становятся вровень с нами. Бегают они так, что угнаться за ними можно лишь на авиетке, но чаще летают, чем бегают. Полет каренов уникален, другого такого не открыто. Они раздвигают ребра груди, она превращается в разновидность пустого бочонка, и тело, ставшее легче атмосферы, взлетает. Полет равнозначен питанию: вверху аммиака больше, чем внизу, карены вдосталь его наглатываются и, отяжелев, скользят вниз.

Наибольшее отличие карен от землян — в ином способе мыслить, узнали мы в одном стереофильме. У них нет речи, нет письменности, нет обмена информацией. Каждый карен — особь, ибо особ физически. Но мыслят они сообща. Все общество — единый мозг, повторяющий свои мысли у каждого. Встречаясь с любым кареном, встречаешься со всем народом сразу. Демонстрировался забавный эпизод: один из землян случайно толкнул оказавшегося рядом карена, тот упал — и моментально попадали все, кто был поблизости и вдали, за пределами видимости. Даже летевшие в этот миг в верхних слоях импульсивно сжали свои бочкообразные талии и стреканули вниз.

Физиологические отправления у каренов индивидуальны: каждый питается за себя, а не за друзей и недругов. Общими являются лишь мысли и высшие чувства. Упав-

ший карен испытал страх, страх вызвал мысль об опасности, а та привела в панику все общество. Землянам рекомендовалось соблюдать на Карене предельную осторожность — нормальным на Земле и иных планетах разговорам, уговорам, договорам и вообще агитации здесь не место: то, что узнает один, одновременно узнают все — любое невинное сообщение может стать поводом для паники, ярости, ужаса, всеобщего бегства или всеобщего восстания. Индивидуальные мозги карен настроены на одну волну, именно так, единым мозговым излучением, они и мыслят. И людям для любого индивидуального контакта надо выражать свои мысли в этом излучении, то есть доводить сразу до всех.

— Неудивительно, что при таких массовых паниках два астроинженера стали жертвой каренского безумия, — с возмущением сказала Анна, когда экран погас. Она даже побледнела от волнения. — На вулкане жить безопасней, чем на Карене!

— Нам, однако, не сообщили ни одного факта, почему карены объявили двух наших парней государственными опасниками и так брутально расправились с ними, — задумчиво заметил Михайловский.

— Один факт известен, — возразил Хаяси.

— Какой, Мишель? Объясни, пожалуйста.

— Тот, что они убиты, — хладнокровно объяснил Хаяси.

В общем, подлетая к Карене, мы уже по горло были полны информации о ней. На планете нам ее добавили. На Станции Космопомощи трудилось тринадцать землян, очаровательные парни, энтузиасты содействия отсталым внеземным цивилизациям. Они пожаловались, что планета теплая только на поверхности, освещенной не очень-то яркой звездой. Работают на глубине, а там — холод: ядро в тисках космического мороза. Аммиак просачивается в атмосферу из недр и, поднимаясь вверх, постепенно рассеивается в космосе. В атмосфере его становится все меньше. Да и расплодившиеся карены потребляют его больше, чем прежде. Землеройная техника, доставленная с Земли, извлекает твердый аммиак из недр, на поверхности он быстро превращается в жидкость, а затем и в газ. Туземцы участвуют в строительстве скважин и каналов для аммиака.

Мы не упустили случая посмеяться над Иваном, горевавшим, что у людей условия развития хуже, чем у ка-

ренов. Лучше начинать с недостатка питания и дойти до полного довольства, как на Земле, чем, начав с довольства, постепенно впадать в нищету. Но для Ивана это было лишь поводом сменить печаль о людях печалью о каренах. Он так огорчился, что аммиака не хватает, будто его недоставало для нашего собственного питания. Лишь когда Анна стала хохотать, а Елена рассердилась, он, обиженный, замолчал.

Возглавлял Станцию социолог Леонтий Нага, тоже из учеников Крона Квамы и школьный приятель Мишеля Хаяси. Экспедициями к инопланетянам чаще других руководят астросоциологи, это, так сказать, их хлеб. С нами Нага беседовал довольно сдержанно, но с Мишелем разоткровенничался. Он уже третий год на Карене-2, составил подробное описание местных обычаев, быта, взаимоотношений, планы работ. Через полгода кончается его командировка — преемнику будет вручен солидный материал. Солидный не значит надежный, надежности в общении с каренами нет. Они похожи на муравьев, и жизнь среди них как в муравейнике — не знаешь, что произойдет в следующую минуту: то ли равнодушно будут сновать вокруг, то ли кинутся на тебя. Хаяси он признался:

— Дотяну ли оставшиеся полгода? После гибели Баркая и Науманна каждый ждет такой же участи. Смирные же были ребята и мысли не имели провоцировать каренов, а на тех вдруг нахлынуло бешенство. Посмотри записи команд погибших — не то что для ярости, нет повода для простого недовольства!

— Ты сказал — жизнь в муравейнике, где действия обитателей непредсказуемы, но описываешь скорее сумасшедший дом с внезапными вспышками массового безумия.

— Похоже и на сумасшедший дом, — мрачно согласился Нага.

Он выдал нам особые скафандры, легкие, специально для местных условий, взамен наших «всепоисковых». Бродить в такой одежде удовольствие. Мы сразу совершили вылазку наружу. Грунт напоминал наш земной песок, зелени не было, неподалеку от Станции Космопомощи вздымалась невысокая гряда холмов, в тонко-вишневом небе катилась желтая Карена. Радости планета не порождала, отвращения не вызывала. У холмов землеройная машина била вертикальную шахту к линзе твердого аммиака, найденной на глубине. Вращающийся бур веером

выбрасывал грунт. Здесь мы увидели каренов. Одни проворно, на носилках, уносили вынутую землю, другие прокладывали от машины канал к котловану, в него должен был хлынуть из недр быстро тающий аммиак. Мне карены почудились скорей гигантскими многоножками, а не муравьями, а когда они вставали, виделось сходство и с человеком. Поднимались на задние ноги они перед полетом. Зрелище было интересное. Карен выпрямлялся во весь рост, тонкая талия разбухала, грудь превращалась в бочку, он медленно отрывался от грунта, на высоте вдруг чудовищно утолщался и пулей взмывал в небо.

— Работают они хорошо, — сказал я оператору машины, рыжебородому, рыжеглазому великану, ловко манипулирующему рычагами и кнопками и покрикивающему время от времени на землекопов.

— Отлично работают! Но в этом ли суть? — ответил он и выразительно покривился, показывая, что мог бы и нехорошее сказать о подсобниках, но боится, что до них дойдет его критика.

— Разве они понимают, когда вы кричите? Ведь у каренов нет речи.

— Нет, конечно. Ни речи, ни бесед, ни развлечений, ни отдыха, ни искусства. Работяги — и только. Дешифратор в моем скафандре доносит им мои мысли, а кричу я для себя, не привык командовать без слов. — Он невесело ухмыльнулся и снова стал распоряжаться. Карены с таким рвением выполняли его приказы, что нашим землекопам можно бы поучиться.

На «Икаре» я пошел в механическую лабораторию. Гюнтер и Алексей возились с приборчиком, измеряющим силу взгляда: то один, то другой таращились на туманный экранчик — приемник взгляда, — а перо на самописце рисовало всплески выдавленного из себя «зрительного импульса».

Удивительное умение восьмируких астронавтов превращать глаза в орудие управления так захватило обоих астроинженеров, что они решили поэкспериментировать со своим зрением.

— Сколько же киловатт в вашем взгляде? — поинтересовался я.

— Если бы киловатты! — Гюнтер вздохнул. — Но около микроватта в зрительном импульсе в одну сотую секунды уже получалось. — Он ужасно вызверился на экранчик: поймав такой свирепый взгляд, любой человек

в испуге отскочил бы подальше — перо лениво начертило небольшую стрелку вверх.

— Я подключал к Гюнтеру попеременно аккумуляторы и лейденские банки, — порадовал меня Алексей. — Сила взгляда увеличивается ощутимо. Хочешь посмотреть? Подготовка займет минут десять.

— И десять минут не буду тратить. Вот что, друзья. Взглядомеры — ваше вольное занятие, запрещать не смею. Но сейчас у нас иные задания.

Так как Нага не предложил плана исследований, а самому мне ничего в голову не приходило, я разрешил вольный поиск: практически простое шатание по планете. «Худший вариант из возможных», деловито характеризовала его Елена, но, впрочем, вариантов получше сама не нашла. Впоследствии много говорили и о моей выдающейся интуиции, и о том, что из множества разных путей я сразу увидел единственно правильный. Все это преувеличения, поверьте. Не было сверхъестественного озарения, а если получилось удачно, то это игра обстоятельств.

Вот так мы и стали слоняться по планете — скорей туристами, чем поисковиками. День в прогулках, второй, третий, а дни на Карене-2 ровно в два раза длинней земных. Любуемся скучным пейзажем, присматриваемся к каренам, осторожно заговариваем, то есть задаем через шифраторы мысленно простейшие вопросы, получаем такие же мысленные простейшие ответы. Вечером проверяем записи — естественно, ничего интересного. Гюнтер хмурится: у него интереснейшая работа в лаборатории, а я не даю кончить. Елена выразительно пожимает плечами, Хаяси молчит, а Иван от зевоты едва не выворачивает скулы. Остальные из вежливости соглашаются, что надо еще пофланировать по песку. Как-то вечером Иван взмолился — дайте выходной, он устал, он заболел, он хочет поваляться в постели, и вообще у него скоро зловеще подскочит температура от общения с каренами. В зловещую температуру я не поверил, выходного не дал, Иван утром вместе со всеми уныло поплелся по холмам. Этот день оказался решающим.

В середине каренского дня мы на часок возвращались на «Икар», ошвартовавшийся возле Станции Космопомощи, отдыхали, делились впечатлениями. В тот день все появились в салоне в полдень, один Иван отсутствовал, это никого не обеспокоило: он был из породы зевак — смерть любил бесцельные блуждания и, вероятно, сейчас,

сбежав от каренов, повалился где-нибудь на грунт и озирает серые холмы и светло-вишневое небо, предаваясь столь же бесформенным, как и местный пейзаж, мечтаньицам. Спокойствие наше рассеял появившийся на экране перепуганный Нага:

— На Карене волнение! Они пошли на Ивана!

Михайловский, он обычно дежурит, когда я покидаю корабль, мгновенно дал выход на Ивана. На экране вспыхнул холм, на вершине его валялся Иван с блаженно устремленным вверх лицом, с закрытыми глазами — он кейфовал, не подозревая, что совершается. У подножья бурлила рыжая масса — карены чаще рыжего, иногда черного цвета. Их становилось все больше, они извивались, крутились, вскакивали один на другого, в общем, неистовствовали. Нага, теряя самообладание, умолял:

— Арн, они через две-три минуты ринутся наверх, у меня нет возможности отогнать их, кроме физического истребления, а на это я никогда не пойду! Спасайте его, спасайте сами, пока не поздно!

Ему легко было кричать: «Спасайте сами!», а что мы могли сделать на отдалении, кроме как воспользоваться охранными полями, а их фокусирование на холме неизбежно искалечит кишащих там каренов. Я бросился наружу. Фома, на редкость хладнокровная голова, в трудные минуты отчаянно быстр. Я лишь высунул ногу, авиетка уже покачивалась у люка. Все остальное заняло не больше минуты. Рухнув на вершину, я пнул Ивана ногой, он вскочил, вытаращил ошалелые глаза, хотел дать сдачи — мне бы не поздоровилось, он сильней меня, — но тут до него дошел «кошмар ситуации», как он потом написал в рапорте: именно в эту минуту карены начали нападение.

Они ползли по склонам сплошной массой, дешифратор доносил нам яростный вопль: «Убить опасника! Убить опасника!» Иван вскочил в авиетку, отпихнув троих, вцепившихся в него, с силой рванул меня к себе. Но я видел, что на меня никто не покушается, а расправиться жаждут только с ним, крикнул, чтобы он поскорей улепетывал, а я как-нибудь обойдусь. Он не решился меня оставить. В это время от «Икара» пошла вторая авиетка с Петром. Иван захлопнул дверь в момент, когда его уже пытались оттуда извлечь разъяренные карены, я одного оттащил, еще двоих он сам оттолкнул. Петр выскочил мне на помощь, но на меня по-прежнему никто не нападал, Петра тоже не трогали. Карены, взлетая, пустились до-

гонять Ивана. Они пикировали на авиетку сверху, бросались навстречу, он летел в толчее рыжих тел — и так неторопливо, что я встревожился, в порядке ли двигатель. Он по передатчику успокоил — с двигателем — порядок, но помешавшиеся бестии так остервенело сталкиваются с авиеткой, что многие получают повреждения, а увеличь он скорость, вниз посыпятся не травмированные, а трупы. Преследователей все прибывало, Иван все сбрасывал скорость, чтоб никого не поранить, мы с Петром плелись позади зрителями, а не участниками — нас продолжали игнорировать. И мы еще не добрались до «Икара», как вокруг звездолета кишело месиво копошащихся, возбужденно летающих туземцев. Опасаясь, чтобы кто-нибудь не проник на корабль, трое — Гюнтер, Мишель и Алексей отталкивали от люка самых настырных проныр. Иван влетел внутрь, за ним мы с Петром. Люк задраили.

— Говори теперь, Иван, какого шута ты привел в неистовство все местное общество? — приказал я.

Одного взгляда на его растерянное лицо было достаточно, чтобы поверить в ответ:

— Арн, честное слово, я ничего не делал, просто отдыхал!

— Итак, имеем новый факт: ничего не делать, иначе, просто отдыхать на Карене — по местным законам преступление, — язвительно прокомментировал Хаяси.

А Елена деловито поинтересовалась:

— В чем, конкретно, выразилось Иваново ничегонеделание?

— По корабельным законам ничегонеделание, равно как и непредусмотренный отдых во время поиска, — проступок. Выношу тебе за это выговор, — постановил я.

На корабль прибыл Нага. Он поздравил с избавлением от смертельной опасности члена экипажа и попросил поскорей разобраться в происшествии. Волнение не утихает. Все работы прекращены, карены летят и бегут к «Икару», требуя наказания нового «государственного опасника!» Объяснений нет, кроме яростного обвинения: «Опасник!»

— Голова кружится! — устало сказал Нага. — Так надеялся, что распутаете загадки, а взамен — чуть не восстание... Возьмите дневник событий, зарегистрированных на Станции. Точность — до одной минуты.

На обзорном экране было видно, что руководитель Станции Космопомощи отнюдь не сгущает тревогу: толпа

у «Икара» все прибывала, все исступленней становились прыжки, полеты и беготня.

— Нага, передайте по своим каналам населению, что преступление срочно расследуется, а когда расследование закончится, преступника, или, по-местному, опасника, накажут по всей строгости наших межзвездных законов. К вечеру приговор огласим.

Не знаю, поверил ли Нага, но вскоре возбуждение у звездолета порядком утихло. Впрочем, толпа не поредела и работы не возобновились. Карены, осадив «Икар» лагерем, ожидали возвещенного приговора. Не было сомнений, что буйство возобновится, если его сочтут слишком мягким.

— Итак, начинаем расследование и выносим приговор, — сказал я. Иван попытался снова было доказывать, что ничего предосудительного не делал, но я оборвал его: — Дело не в том, что ты сам считаешь предосудительным, а что нет. Нас интересует, какое злодеяние обнаружило местное население в твоем невинном ничегонеделании.

Гюнтер подал на экран запись действий и мыслей Ивана. Утро шло как утро, Иван ходил по стройплощадке, задавал каренам деловые вопросы, получал деловые ответы — оплошностей не было, открытий не совершилось. К полудню он взобрался на вершину холма и предался лицезрению окрестностей. Именно в это время автомат на Станции зафиксировал первые признаки беспокойства у каренов. Пейзаж был тускл и безрадостен, Иван стал мысленно его оживлять, фантазия постепенно разыгрывалась, он глядел на песчаную равнину с ее серыми холмами, воображение преобразило ее, она стала почти красивой: желтая звезда превратилась в белую, небо из светло-красноватого — в голубое, на холмах появились зелень, яркие цветы, высокие деревья, аммиачный ручеек обернулся горной речкой, мы увидели блеск стремящейся вниз воды... По небу проплывали белые облака — сроду их не бывало на Карене. И, погруженный в свои видения, Иван забыл и о каренах, и об «Икаре», и лишь мой удар ногой мигом стер в его мозгу фантастические картины. Следующие записи мыслей — да и действия — полностью отвечали реальности.

— Я замечтался, ребята, — смущенно оправдывался Иван. — Так, знаете, хотелось отвлечься.

— Надо было отключить предварительно дешифра-

тор, — сказала Анна. — В этом вся твоя вина, ты напрасно посвятил туземцев в свои мечтания.

Елена не преминула построить логическую цепочку:

— Возмущение каренов вызвали мысли Ивана, в действиях не было криминала. Но в мыслях были только мечтательные картинки. Стало быть, они и есть причина волнений. Иначе говоря, на Карене мечтать опасно. Отныне надо остерегаться делать туземцев созрителями своих фантазий.

Все это было убедительно уже потому, что других объяснений не возникало. Я попросил Хаяси высказаться. Если есть возможность найти изъян в построениях Елены, Мишель такой возможности не пропустит. Но он согласился с ней. Суть происшествия в том, что мышление каренов совершается одинаково и одновременно во всех головах. На Карене нет интеллектуального индивида, есть один мыслительный процесс в миллионах копий. Это не может не обеднять постижение мира. У людей общественное сознание существует наряду с индивидуальным и обслуживает общие потребности, отнюдь не вторгаясь в частные. На Карене частное и общее — тождество. Но при бездне индивидуумов мыслить в каждом за каждого возможно лишь сосредотачиваясь на общем для всех. Выход за эту межу — непосилен. Самосохранение принуждает отвергать любые интеллектуальные излишества. Мышление каренов предельно утилитарно. У них и понятия нет об искусстве, например. Поэтические картины Ивана для них были опаснейшей интеллектуальной роскошью. Мышление человека, наоборот, непрерывно ищет выхода за межу грубой утилитарности, оно жаждет интеллектуального богатства, даже неандерталец предавался мечтам, фантазировал, творил примитивные картины, мастерил безделушки. Фантазия, поэтичность, преодоление узко утилитарного — не здесь ли мощь человеческого мышления? Но для современных каренов такие умственные полеты — гибель.

— Отлично, Мишель! — сказал я. — Подразумеваю твою блестящую речь, а не интеллект каренов. Мне особо нравится, что ты сказал: современные карены. Завтра, стало быть, могут измениться. Итак, преступление Ивана ясно. Наказание, надеюсь, удовлетворит интеллектуальную суровость каренов.

Я пригласил на «Икар» Нагу. Он явился со всей поспешностью: раздраженных долгим ожиданием туземцев

снова стало охватывать возбуждение. Я изложил наши выводы.

— Вероятно, и тех двух бедняг, Баркая и Науманна, погубило какое-нибудь интеллектуальное излишество. Возможно, они читали стихи или рисовали картины, или тоже мечтали. Вот что мы вам посоветуем, друг Нага. Снабдите каждый дешифратор фильтром, отсекающим все неделовое, всякие там фантазии, поэзию и прочее. Карены пока эти роскошества не приемлют. Ну, а следующие поколения... Их хорошо бы капля по капле выводить за границы утилитарности — может, когда-нибудь станет потребностью то, что сегодня объявляется преступным излишеством.

— А что я скажу о друге Комнине? — с тревогой осведомился Нага. — Они ведь ждут сурового приговора.

— Приговор наисуровейший! Иван Комнин, астромедик и поэт, навеки изгоняется с Карены. Мы, остальные члены экипажа «Икара», проконвоируем его до Латоны, не выпуская наружу из корабля.

5

Снова пошли блуждания в неизведанных районах космоса, снова мы вторгались в неизведанные звездные системы, наносили светила на стереокарты Галактики, изучали планеты, если находили их. И хоть планет встречалось гораздо больше, чем нам доказывали на лекциях по астронавигации, только одна из тысячи звезд могла похвалиться планетной свитой и только на одной из тысячи планет мы находили какую-либо форму жизни. «Удивительно безжизненный мир наша Галактика, в ней засилье мертвого вещества!» — уныло выразился Петр, когда писал с Еленой очередной доклад об очередном осмотре очередной планетной системы. После редактирования, проделанного опытной в таких делах Еленой, сентенция эта зазвучала несколько по-иному: «В обследованном по плану космического поиска звездном районе НВ-Х377 материя обнаружена лишь в грубо физической организации, нигде не развившейся до биологических или иных жизнеподобных структур».

За три последующих года мы дважды пополняли на Латоне запасы активного вещества и пользовались кратковременным отдыхом. Марек опять предлагал нам от-

пуск на Землю, мы дружно восставали. Отпуск у поисковика годовой или двухгодичный, пришлось бы отдать «Икар» в чужие руки — даже мысль об этом была неприятна. Заправившись на Латоне, мы снова уходили в поиск.

Не могу сказать, чтобы эти три года были безрезультатны. Нет, кое-что обнаружили, даже важное: парочку «черных дыр» — рухнувших в бездну вакуума бывших звезд — в опасной близости от проектируемой новой галактической трассы, одинокую внезвездную планетку в две земных Луны из чистого железа; еще такой же одинокий шатун, но углеродный, прошпигованный алмазами, как добрая колбаса салом; да, тот самый «дворец алмазов», оба те шатуна, оборудовав на них плазменные двигатели, сейчас потихоньку, в три четверти световой скорости, придвигают к Латоне, лет через пятьдесят начнут их разработку. Было еще одно открытие, скорей, по-моему, забавное, чем важное, — встреча на одной планетке с протеями, так их назвал Иван. Он говорил, что эти животные, меняющие свой характер от окраски туловища, напоминают ему древнего исторического деятеля Протея, ловко манипулировавшего своим внешним обликом. Интерес, вызванный на Земле нашим открытием, нас, честно говоря, удивил, сами мы не слишком ценили возню с этими не шибко умными причудами природы. И если мы с охотой фиксировали на стереопленках, как смирный желтый протей мигом превращается в грозного хищника-каннибала, когда побрызгают его черным раствором, а покрашенный в зеленое трусливо убегает от каждого собрата, даже от нас, хотя и видит, что нападение с нашей стороны ему не грозит, то делали это лишь потому, что очень уж смешны такие превращения зверьков. Впрочем, не компетентен, возможно, правы знатоки протеизма, увидевшие в этой игре природы не только биологическую, но и философскую глубину.

На восьмой год полета «Икара» в дальних звездных районах мы обнаружили в планетной системе Кремоны следы еще одной высокоразвитой цивилизации. Вы знаете не хуже меня, как редок разум во Вселенной. Любая встреча с существами высокого интеллекта — событие и открытие. Это к тому же было неожиданным: локирование планет Кремоны со звездолета «Медея», пролетавшего в прошлом неподалеку, показало их безжизненность. Мы и не подумали бы свернуть на нее, если бы Фому

не встревожил странный астероид, выскочивший на экран.

— В нем что-то искусственное, Арн, — сказал Фома.

Я интереса в астероиде не нашел. Надо было оконтурить район опасности вокруг зловещей дыры Н-128, а звезд, вроде Кремоны, в Галактике больше ста миллиардов. Мои аргументы не подействовали на упрямого Михайловского. Фома стоит на своем, пока не стукнется лбом в ошибку. И хоть ошибается он ровно в девяти случаях из десяти, зато в десятом непостижимо постигает истину в дикой путанице противоречий. Случай с Кремоной оказался именно таким.

— Нет, что-то тут не ладно, Арн, — твердил он. — Разреши подвернуть поближе.

Я мог бы запретить изменение курса — и мы потеряли бы одно из интереснейших открытий и избежали бы гибели трети экипажа. Но мне не захотелось спорить с Фомой. Он не такой обидчивый, как Гюнтер, не так импульсивен, как Иван, но глубоко огорчается, встречая отпор, а не уговор. И хотя я часто объяснял ему, что уговоры в общении с ним не эффективны и отпор — единственная мера убеждения, он не меняется. Я сдался.

— Черт с тобой, Фома! — сказал я великодушно. — Трать на выходы в эйнштейново пространство тонны активного вещества, еще тонны потрать на уход из него, а выговоры от Марека поделим пополам. И честно предупреждаю — ту половину, которая больше, спихну на тебя.

Не прошло и часа, как я заговорил иначе. Это было, конечно, сооружение, а не астероид. Представьте себе длиннущую сигару с черными парусами перпендикулярно к оси — и все существенное в облике будет схвачено. На позывные сигара не отзывалась, ничто не показывало, что она хочет приблизиться или скрыться. Фома притянул ее захватывающим полем, заставил три раза повернуться. Носовая часть сохранилась хорошо, на корме зияло отверстие. Иван доказывал, что эдакие космические рыдваны были и у человечества лет триста назад, может быть, мы встретились с одним из них, затерявшемся в космосе. Фома помнил облик всех первых звездолетов, как вернувшихся на Землю, так и погибших в просторах Галактики: они были гораздо совершенней.

Елена объявила очередной неопровержимый логический вывод:

— Если это не древнее человеческое творение, то мы

повстречались с новой разумной цивилизацией машинного типа. Это будет наше второе серьезное открытие после астронавтов-осьминогов.

Хаяси не преминул возразить, что мы познакомились лишь с затерянной в космосе гробницей астронавтов-осьминогов, а о том, существует ли еще их общество и где существует, — понятия не имеем. Алексей, по парусам, видимо, использующим «солнечный ветер» — лучистую энергию светила, — отнес корабль к типу планетолетов, а не звездолетов. Я включил Алексея четвертым в разведочную группу Гюнтера. Планетолет «Гермес» понесся к чужому кораблю, продолжавшему неторопливо плестись вокруг далекой Кремоны уже по новой орбите — Фома захватывающим полем слегка изменил ее.

О корабле кремонцев столько говорили потом на Земле, что мне нечего добавить к известному всем описанию. Но для Кнута Марека сообщение об открытии технически развитой цивилизации отнюдь не у черта на галактических куличках, а не так уж далеко от главной базы космического флота человечества прозвучало, как взрыв у самых ног: он перед тем в годичном докладе Большому Совету утверждал, что его регион Галактики не является обиталищем разумным существ. К чести Марека, он не упорствует в заблуждениях. В ротонограмме на тысячу слов он требовал, просил, умолял — зная, что мы можем и воспротивиться, ссылаясь на программу поиска, — забыть обо всех ранее намеченных программах и идти на Кремону, откуда, по его мнению, стартовал обнаруженный нами планетолет. Признаться, колебания у меня были сильные. Во всех нас, кроме Марека, мигом отказавшегося от прежних заблуждений, крепко засела уверенность, что и сама Кремона — звезда скучная, и планетная ее система — собрание мертвых шариков. То, что обнаружили чужой корабль на планетной окраине Кремоны, отнюдь не свидетельствовало о его кремонском происхождении, скорей наоборот. И на корабле, явно созданном живыми существами, мы не нашли следов какой-либо жизни — ни трупов, ни праха. Гюнтер решил было, что судно вели автоматы, но даже обломков механизмов не было. Половинка длинной сигары с оторванной кормой и солнечными парусами, а внутри пустота. На Земле потом, я знаю, нашли тысячу и один убедительный признак обитания на судне кремонцев, но мы не располагали ни временем для долгих исследований, ни земной аппаратурой. Я по-

слал депешу Мареку, что представители разумной цивилизации не обнаружены и что вряд ли планетолет стартовал с внутренних планет Кремоны. Он повторил просьбу забыть о всех прочих заданиях и идти на Кремону. Пришлось идти.

— Разубеди Марека, Анна, — сказал я после того, как две дальние планеты оказались грудой пыли, окаменевшей в космическом холоде. — Ты астрофизик, к твоим аргументам прислушаются охотней, чем к моим. Все равно будешь подтверждать наблюдения «Медеи». Не вижу причин брать под сомнение работу предшественников. Если бы я хоть минуту верил, что эта сигара с парусами не примчалась издалека!

— Вариант появления издалека даже более вероятен, — сказал Фома, он незадолго перед тем провел расчеты.

Анна никогда не колебалась, высказывая свое мнение, но страсть не любила быть арбитром в спорах. Соглашаться с другими она могла, но совестилась опровергать того, с кем не соглашалась: природная деликатность запрещала наносить обиды. В такие минуты она удивительно менялась. Вы помните ее портреты — темноволосая, длинноносая, нескладная дурнушка рядом со светлокудрой красавицей Еленой Витковской. Но глаза ее, и без того большие, так расширялись в минуты смущения, в них появлялось такое сияние, она казалась такой очаровательно беспомощной... В общем, то, что наши предки называли «вечно женственным». Еленой нельзя было не увлечься, на Земле ее одолевали поклонники, но все недолговечные скороспелки. Анной не увлекались, в нее глубоко влюблялись. Она знала, что я не желаю идти на Кремону, а Кнут Марек настаивает на этом — и стеснялась стать судьей между нами. Вместо нее ответил Мишель:

— Устанавливаю два факта, Арн. Чужой планетолет замечен на окраинах Кремонских планет — первый факт. Он может прибыть сюда отовсюду, в том числе и от одной из них. Это не факт, а предположение. Планеты Кремоны, как объект изучения, всего ближе — второй факт Елена, какой отсюда логический вывод?

— Тот самый, какого ты ждешь. — Елена рассмеялась и взмахнула желтыми локонами. Фома и Алексей, самые галантные из наших мужчин, называли их золотыми, Иван в один из дней ее рождения написал стих, где

строчка «солнце и пепел твоих волос» рифмовалась с сентенцией: «я счастлив: быть другом твоим довелось». — Надо обследовать планеты Кремоны.

Таким образом, поддержки у экипажа я не встретил. Мы двинулись к третьей планете, но и она оказалась таким же комком перемерзшей пыли. Никто не сомневался, что и следующая не принесет нового. Однако следующая была неожиданна. Анализаторы издалека установили, что излучение от нее соответствует каменно-пылевому объекту при температуре около ста градусов ниже нуля — именно этого я и ждал, — но картина поверхности странна: какие-то тени, силуэты, мазки, а не обычные четкие линии и краски. Впервые я видел обоих астроинженеров сконфуженными. Я сердито потребовал от них приличных изображений. Фома вел «Икара» на малой скорости. Планета, солидный шарик, на три четверти массы Земли, приближалась. Вдруг все изменилось. На экране вспыхнула картина, не имевшая никакой схожести с той, что недавно фиксировали анализаторы: не груда серой пыли, от одного морозного вида которой знобило, а очаровательная планетка, до того похожая на Землю, что хотелось закричать от восторга. Я и закричал, но на Алексея с Гюнтером:

— Что за вздор фиксировали ваши приборы недавно?

Ответ астроинженеров заставил меня задуматься. Анализаторы верно показывали то, что перед ними являлось. Сама планета путала свои изображения. С расстояния в сто тысяч километров она рисовалась серым безжизненным комком, а на отдалении в тысячу — восхитительной страной. Мы восьмой год носились в Галактике на «Икаре», каждый еще до «Икара» накопил от трех до десяти лет космического стажа на других кораблях, в Академии нам читали о всех прошлых интересных космических рейсах — ни с чем похожим мы не встречались и ни о чем похожем не слыхали. Я приказал отдалиться от Кремоны-4, фиксируя изменение картины. Мы отходили — и яркие краски тускнели, пропадала зелень, леса, моря, горы, облака, усиливалась серятина, типичная для мертвой пыли, и с какого-то момента уже не было планеты, разительно похожей на Землю, была несущаяся вокруг далекой желтой звезды груда каменного мусора. Мы дали сильное увеличение — не то, что гору или море, обычный дом зафиксировался бы на пленке, — но картина осталась прежней: навеки промороженный, мертвый шарик. Мы

возвращались, все менялось, снова под нами проплывал зеленый, теплый, великолепно убранный мир.

Иван считал, что планета закамуфлирована особым экраном.

— А что особенного? Не захотели жители, чтобы за ними подглядывали, вот и прикрылись искажающей сферой.

Все это выглядело правдоподобно, но надо было предварительно доказать, что планета населена, и определить физическую природу камуфлирующего экрана. Мы проделывали один виток за другим, наблюдали планету при кремонском дне и в глухую кремонскую ночь. Иван просил о высадке, Гюнтер требовал послать его группу в разведку, я колебался. Я побаивался. На планете росли травы и деревья, в атмосфере летали птицы, в водах резвились водяные твари, и крупные и мелкие, по земле сновали животные, но разумных существ и признака не было. Но тогда кто окружил планету искусственным экраном? Что он искусственный, сомнений не было. Не попрятались ли обитатели? Как они встретят нас, когда высадимся? С зеленой веткой мира в руках (лапах?) или залпом лазерных аппаратов из укрытий? Какова их техническая мощь? Каков уровень интеллекта? «Икар», конечно, надежный корабль, но мы пошли в дальний поиск, чтобы умножать друзей человечества, а не ввязываться в сражения. Я так и сформулировал потом в отчете свою позицию: «Не хотели спровоцировать конфликт». И день за днем, ночь за ночью — верным спутником планеты, до того не имевшей их, — мы облетали и облетали Кремону-4.

В салоне ко мне обратилась Елена:

— Арн, рано или поздно ты пошлешь разведчиков на планету. Мое мнение, лучше скорей, но советов давать не буду. Прошу включить и меня в группу Гюнтера. Почему? Анализаторы показывают, что жизнь здесь идентична земной, но гораздо пышней. Нигде в космосе мы еще не встречали копии нашей зеленой старушки. Я биолог, Арн. Я не прощу себе, если останусь любоваться местными чудесами только с экрана, а Петр будет ходить среди них.

В разведочной группе, кроме ее постоянных членов — Гюнтера Менотти, Петра Кренстона, Мишеля Хаяси, — на этот раз было еще двое — Елена и я. Мы высадились на лугу у прекрасного озера, неподалеку зеленел лес,

дальше поднималась седлообразная гора. Кремона, чуть поменьше и пожелтей Солнца, светила ярко и тепло, шло местное лето. Все было до неправдоподобия похоже на земное. Немного оставалось до того времени, когда мы обнаружили и различия, и они стали грозно накапливаться, но в тот момент мы ощутили только, что ходить здесь легче, чем на Земле, и вволю попрыгали на лужайке. Только человек, годы не ступавший по настоящей почве, может понять, какое это наслаждение — пуститься в пляс, отбросив громоздкие гравитаторы. Петр с Мишелем, обнявшись, глазели на озеро. Гюнтер протянул обе руки Елене, она со смехом ухватилась за них и закружилась вокруг поворачивающегося на месте Менотти. Помню, меня этот пустяковый эпизод удивил, Гюнтер, тайно влюбленный в Анну, не позволял себе на корабле хоть в чем-либо относиться к обеим женщинам иначе, чем к другим товарищам. Танцы и у нас бывали, но малообщительный Гюнтер участия в них не принимал.

— Елена, хватит беситься, посмотри на фиолетовых рыб! — крикнул Петр, и Елена побежала к нему.

Гюнтер рухнул в траву. Он выглядел немыслимо блаженным.

— Арн, мне хочется полежать под нежным светом Кремоны, красться со стереоискателем я буду поздней, дай понежиться вдосталь! — Столь выспренно Гюнтер раньше не умел говорить, я отнес нежданно высокий стиль к действию пейзажа. Гюнтер томно бубнил: — И вообще, знаешь где мы? Мы в раю. Где-то здесь господь сочинял Адама с Евой. Мы искали рай на Земле и на планетных островках космоса, но не нашли, а это было вот тут. Бог, обоснованно гневаясь на первую человеческую пару, потом выселил Адама с Евой на Землю, вероятно, перенес туда на космической ракете. В общем, мы на прародине. Вековая мечта человечества!.. Вечный мир и блаженство!.. Не удивлюсь, если где-нибудь повстречается лев, обнявшийся с ягненком.

— Насчет льва и ягненка не уверен, а тигры двигаются к нам.

Гюнтер мигом вскочил. Из леса выходило животное, и вправду, похожее на здоровенного, в полтонны, тигра — рыжее, с массивной мордой. Рядом с ним смешно подпрыгивал зверек, серый, остроухий, с длинными задними ногами. Гюнтер предостерегающе крикнул товарищам, чем-то любовавшимся у озера, те обернулись. Елена ах-

нула, Кренстон и Хаяси выхватили плазменные пистолеты и быстро пошли к нам на подмогу. Я посоветовал Гюнтеру — он направил на страшилище оружие — не нервничать, только запахнуть раскрытый скафандр. Тигр подошел, уставился на меня — я стоял впереди — желтыми искристыми глазами, зевнул, вывалил язык и раза два ударил хвостом по земле — и все это так добродушно, будто приветствовал и зевком, и высунутым языком, и дружелюбными ударами хвоста, только что не говорил: «Здравствуйте, ребята, как поживаете?». Маленький зверушка, нрава, похоже, не такого компанейского, покосился на нас, толкнул тигра носом в лапу, тот повернулся к спутнику, подумал и двинулся к лесу, величественно перебирая лапами, — рядом подпрыгивал по-заячьи востроухий малыш.

— Рай, Елена, сущий рай! — ликовал Гюнтер, показывая пистолетом на скрывающихся в чаще зверей. — Тигр гуляет с зайцем, мыслимо ли это?

— Если рай, то до грехопадения,— педантично дополнила Елена. — Сорванное Евой яблоко отразилось к худшему не только на человеческой судьбе, но и на нравах животных.

— Не цирк ли? Там тоже обнимаются тигры с зайцами, — скептически заметил Хаяси.

— Звери похожи на земных, растения и рыбы тоже,— сказал Петр. — Приготовимся же к встрече с человекообразными.

Мы прошли через лес, вышли к новому озеру, сели в авиетки, поднялись в них на гору, облетели долинки, опустились на море, покачались на волнах. И вечером нас восхитили розовые волны, точно такие, что мы видели с вами сегодня. Все было до восхищения земное. И если скоро мы обнаружили неизвестные растения и диковинных, на наш взгляд, зверей, рыб, насекомых, и если над нами изредка проносились птицы причудливых очертаний, каких и художники-фантасты не придумывали, то это не уничтожало «впечатления земности», как выразилась потом Елена. Но людей не было — ни примитивных, ни равных нам по разуму, ни выше нас по интеллекту. Если мы и вправду попали в некую разновидность рая, то — Елена права — в дочеловеческую его эпоху: Адама с Евой тут еще не создали.

Высадка передавалась на «Икар», там следили нашими глазами за всем, что мы видели, а заодно и за нами.

Еще не встречалась столь удобная для людей планета — было всеобщее мнение. Иван ликовал: найдена превосходная площадка для заселения, и он, выйдя на пенсию, устроит здесь человеческую колонию, если до того ее не освоят другие новоселы. Анну восхитило, что хищность не в характере местного зверья,— удивительное свойство, о нем тысячи лет мечтают земные животноводы, но все не умеют подружить льва с ягненком. Фома разделял общие восторги, но кое-что его и беспокоило. Камуфлирующее излучение планеты оказалось коварным, мы пробивали его раз десять, то удаляясь, то приближаясь, и каждый раз оно влияло на навигационные приборы. В результате — неустойчивость показаний. Выходить снова в далекий рейс с такими приборами ему бы не хотелось. Он просил месяц задержаться на Кремоне-4 для ремонта и регулировок.

— Но, пробив при отлете камуфлирующий слой, ты снова внесешь неточность в анализаторы.

— Один раз не существенно.

— Даю месяц, Фома. А пока будем изучать Кремону-4, сбегаем на «Гермесе» и на внутренние планеты.

Вам хорошо известно, что мы задержались на Кремоне-4 не на месяц, а на целых шесть: мастерские у нас были отличные, но исправление всего, что нуждалось в ремонте, потребовало слишком много усилий. На планете поочередно побывали все. «Икар», превращенный в ее спутника, недвижно висел над Кремоной-4, на нее сперва высаживались группами на планетолете, потом индивидуально на авиетках. Если вначале и возникала мысль об опасностях, особенно у меня — командиру корабля «опасения положены по штату», утверждает Иван — то вскоре и я перестал беспокоиться. Планета казалась неправдоподобно, невероятно, немыслимо мирной. Посмотрите вот эти снимки: Иван верхом на тигре, зверь прямо-таки радостно ухмыляется, сам Иван куда серьезней, он лишь торжествует; здесь Мепотти обнял змею, да, там и змеи — и покрупней наших; а вот и Анна верхом на кондоре, ну, не на кондоре, а на кондороподобной птице, даже Анна, не очень-то боевая, рискнула покататься на крылатом коне, посмотрите, как она счастливо взмахивает волосами. Таких картин блаженного бытия множество, каждая встреча с обитателями планеты убеждала, что иного здесь не бывает.

Парадоксально, что самый восторженный пророк мест-

ного райского блаженства первый нашел опровергающее доказательство. Иван, как-то примчавшись на «Икар», в смятении доложил, что лицезрел страшное зрелище: тигр прогуливался с теленком, то, конечно, был не теленок, а некая теленкообразность, как и сам тигр не тигр, а нечто тигрообразное. И вот тигр остановился, лениво повернул голову, придушил своего спутника и, не торопясь, благодушно сжевал его. Иван вывалил на стол в салоне стереоленту, он, хоть и растерялся, успел заснять происшествие. Мы молча рассматривали кадр за кадром, тигр жрал свою жертву и вправду без злобы, истово, с вежливой пристойностью, будто и мысли не имел причинить зло, а у теленка на рожище, пока она целиком не исчезла в пасти тигра, и следа не было ужаса, боли, страха, обреченности, в общем, всего, что, по нашему мнению, он должен был испытать. Напротив, он безмятежно улыбался своей телячьей улыбкой, он как бы говорил: «Ах, как мне приятно, что тебе приятно закусывать мною!»

— Ужас! — воскликнула бледная Анна. — Я буду теперь бояться встречи с этими бестиями. Но ведь и признака хищности нет у этого хищника, такая благопристойность на морде!

— Наши крокодилы идут дальше благопристойности, Анна, они от сочувствия к жертве плачут, когда поедают ее, — иронически отозвался Хаяси. Он один не возмутился жутковатым все-таки зрелищем.

Я отменил вольные выходы, теперь на планету высаживались снова группами, подстраховывая друг друга,— никому не улыбалось стать закуской радушных хищников. И снова мы убеждались, что хищников нет — крупные звери не нападали на мелких, не гнались за ними, мелкие не убегали, не прятались, не пробовали защищаться. Все совершалось пристойней — и страшней. Трагические происшествия быстро умножались: животные на Кремоне-4 поедали одно другое не реже, чем в дикой природе на Земле, но только здесь это не выглядело картиной страданий. Кренстон с Еленой доложили нам результаты изучения биологии местных животных:

— У хищников не найдено гена хищности, у мирных — гена страха. Этим и объясняется ублаготворенность, сопровождающая гибель.

— А не привить ли им недостающие гены? — предложил Гюнтер.

Петру идея Гюнтера понравилась, мне — нет. Астро-

разведчикам запрещено менять условия обитания живых существ на открываемых планетах. Допускаются исключения, здесь я их не видел. Но зрелище безмятежного уничтожения одних другими стало действовать мне на нервы. Иван добавил жара в тускло затлевший огонек раздражения. У него родилась очередная ослепительная идея — разумные гуманоиды и здесь обитали, вероятно, те самые, что сконструировали планетолет с солнечными парусами, но их постепенно пожрали хищники.

— Выйди, например, я без скафандра и оружия, — доказывал он с увлечением. — Обязательно пообедают мной! Хотите проверим? Не бойтесь, я-то смогу отбиться, да и вы не дадите меня в обиду. Просто эксперимент: будут ли меня жевать?

Я уверил его, что тигры с отвращением откажутся от такой закуски, как он, но шальная идея ныла во мне, какая-то недоказанная убедительность в ней была. К этому времени мы наконец обнаружили следы разумных созданий — подземные жилища, похожие на соты, кости десятков поколений кремонцев, так мы их стали называть, народа вполне гуманоидного, на Земле их признали бы одной из человеческих рас, вроде пигмеев — они не выше полутора метров, большегубые, большеглазые, лопоухие, длиннорукие, почти безносые, в общем, не Аполлоны Дельфийские, но и не обезьяны. А когда мы наткнулись в пещере на мозаику из цветных камушков, ту, что сейчас в музее космоса, и на нас глянули с картины огромные, умные, бесконечно грустные глаза... Впрочем, вы больше моего знаете о кремонцах, сколько о них новых данных! Для нас тогда самым, возможно, важным было, что мы нашли и мастерские, где они ладили свои космические тихоходы — обломки, детали, два почти готовых корабля. А самих кремонцев не было. Словно все вымерли или покинули планету. В этих условиях мысль, что их просто сожрали, невольно действовала. В общем, я распорядился:

— Можете экспериментировать, друзья. Вгоняйте гены хищности и страха в живую ткань, посмотрим, что это даст.

Все одобрили мое разрешение, один Хаяси с сомнением поджимал губы. Нет более консервативного народа, чем социологи: они оперируют большими массами, а не индивидами, а решения, затрагивающие целые общества, всегда крупней и ответственней частных — без долгих

раздумий на них не идут. Петр радовался, Гюнтер тоже, он заскучал, оставив свои взглядомеры, правда, они с Алексеем добились какой-то удачи: «Нет возможности применить на практике наш успех», с сожалением говорил Алексей. Но я отвлекся, о взглядомерах потом. Елена, биолог, как и Петр, одобрила эксперименты с генами, но участвовать в них отказалась: она не экспериментатор, просто ученый биолог, даже биолог-социолог, биолог-психолог, а всего верней биолог-логик, не лабораторный работник, конечно. Петр же специализировался в свое время в экспериментальной генетике и, как записано в его паспорте астронавигатора, достиг в ней немалого мастерства.

Мы доставили на «Икар» двух тигров и с десяток мелких зверушек, составлявших, мы это уже знали, любимое блюдо благопристойных хищников. Тигры вели себя на корабле как милые домашние твари, мурлыкали, а не рычали, просили погладить их, умильно заглядывали в глаза, но, потеряв к ним доверие, мы остерегались панибратствовать. Петр усыпил всех, больших и малых, Гюнтер ассистировал. Вскоре они доложили, что можно знакомиться с результатами, и мы пошли всем экипажем в биологическую лабораторию.

В ней стояли две клетки, одна большая и прочная — с тиграми, другая маленькая, с тонкими прутьями — для зверушек. Картина поведения разительно отличалась от той, что мы видели все эти дни. Тигры бросались на прутья, свирепый рык сотрясал воздух, зверушки жались кучкой в дальний угол клетки. Иван подошел к большой клетке и отпрянул: тигр, еще недавно благожелательно допускавший себя седлать, проворно просунул сквозь решетку лапу, едва не прихватив Ивана когтями, и так заревел от разочарования, что заныло в ушах.

— Отличная работа! — воскликнул сияющий Иван, вчера он ликовал от добродушия хищников, сегодня восхищался их злобой. — Огромные успехи сделала инженерная генетика! Как по-вашему, други?

По плану эксперимента, оперированных животных выпускали на волю, но полной свободы им не предоставляли: Гюнтер и Петр в авиетках следовали за тиграми и, давая им нападать на безмятежно прогуливающиеся жертвы, в последний момент должны были предотвращать тормозными полями расправу. Что до зверушек с внедренными генами страха, то они должны были продемонстри-

ровать собратьям спасительность боязни. Но эксперимент пошел по-иному. Мы и отдаленно не догадывались, что за странное местечко эта райская планета Кремона-4.

Первыми выпустили мирных зверушек. Они боязливо потоптались, потом кучкой осторожно направились к лесу. Оттуда вышел великолепный тигрина с когортой своих потенциальных жертв, весело семенивших по его бокам. Наши зверьки на мгновение оцепенели, затем с визгом кинулись врассыпную. Лесные выходцы с удивлением смотрели на перепуганных земляков. Впервые мы разглядели на их мордах столь редкое здесь чувство — удивление. А с беглецами сотворилось нечто непредвиденное: их вдруг побросало вверх, завертело, било оземь, визг затихал, и через две-три минуты все движенья замерли. Гюнтер и Петр, посадив авиетки, подбежали к зверькам. Мы с Еленой и Хаяси тоже заторопились поближе. Перед нами лежали трупы, зверьки быстро холодели. Вышедшая из леса группа неторопливо повернула обратно.

— Ничего не понимаю, Арн! — выдавил трясущимися губами Петр. — Эксперимент был чистый.

— Я, кажется, догадываюсь! — медленно проговорил Гюнтер. — Ну и дьявольский характер у этой райской планетки! Но надо проверить. Разреши выводить тигров, Арн.

С тиграми расправа неведомых сил была еще быстрей и жесточе. Они бешено вынеслись из клетки, свирепо зарыкали, их в ту же секунду швырнуло оземь, железная судорога ломала гибкие красивые тела, душила, выворачивала спины. В минуту все было кончено. Я молча глядел на бездыханных красавцев. Ко мне подошел Гюнтер.

— Арн, — сказал он хрипло. В какие-то несколько минут он страшно переменился — лицо исказилось, глаза зло засверкали. — Рай не по мне, я человек грешный. Хочу, чтобы ты это знал!

— Я не уверена, что причина неудачи эксперимента в самой планете, — возразила Елена. — Надо поискать факторы поконкретней. И напомню, что еще недавно ты больше всех восхищался Кремоной.

Гюнтер обернулся к ней. Я не мог знать в ту минуту, что в коллективе нашем образовалась трещина и что она будет отныне расти. Но тон, каким Гюнтер заговорил с Еленой, рассердил меня. Он еще никогда с такой неприязнью не глядел ни на кого, тем более на нее: Гюнтер был характера нелегкого, однако человек воспитанный.

— Златокудрая, — сказал он с холодной любезностью,— строй, пожалуйста, свои логические цепи для собственного душевного утешения. А я не люблю, чтобы меня превращали в дурака. Ни для Кремоны, ни для тебя я не делаю исключения.

Я оборвал их спор, возможно, с излишней резкостью: у Елены от грубого отпора навернулись слезы, этого я не мог снести. Гюнтер раздраженно зашагал к авиетке. Я пробормотал, что странно действует на нас планета: райские условия, а нервы у некоторых расходятся. Хаяси взял меня под руку, когда мы возвращались на «Икар».

— Арн, держись, пожалуйста, — сказал он. — От тебя во многом зависит наше настроение, а оно ухудшается не у некоторых, а у всех. Давай обсудим на «Икаре» результаты эксперимента. Он не такой уж неудачный. Кое-какие факты установлены.

Обсуждение мало что дало. Правда, стало очевидным, что Кремона-4 — планета отнюдь не нормального планетного характера. И неразгаданная сфера вокруг нее, превращавшая для наблюдателя извне прекрасное местечко в мертвое тело, и внешнее благолепие, картина всеобщего радушия при отнюдь не благостных жизнеотправлениях, и даже то, что рейсовые механизмы здесь разладились и восстановление идет трудней, чем хотелось бы, — все это и раньше поражало. А сегодня добавилось, что нормальная реакция организма — ярость, помогающая нападать, чтобы пропитаться, страх, способствующий самосохранению, — на планете запретны. Анна поддержала Гюнтера, запальчиво обвинявшего саму Кремону-4 в расправе с экспериментальными животными. Разве нельзя допустить, что свирепость и страх, доказывала она, вовне выражают себя не ведомыми нам физическими полями и что поля эти несовместимы с опять-таки не известными нам физическими полями самой планеты? При таком допущении сегодняшнее событие становится ясным.

— То есть неизвестное объясняется при помощи неведомого,— презрительно бросила Елена. Стычка с Гюнтером сделала и ее раздражительной. И то, что Анна поддержала Гюнтера, не улучшило настроения Елены. — Не знаю, как тут с астрофизикой, а логика — уникальная!

Для меня было ясно одно: если Кремона-4 — арена игры неведомых физических сил, то надо силы эти открыть и изучить. И познакомиться с внутренними планетами, может, сферы и там камуфлируют их природу. Раз-

биваемся на две группы, предложил я. Астрофизик Анна Мейснер, биолог Елена Витковская, астроинженер Алексей Кастор, астроботаник и медик Иван Комнин, штурман Фома Михайловский продолжают на «Икаре» изучение Кремоны-4. Остальные четверо, разведочная группа астроинженера Гюнтера Менотти, вместе со мной, на «Гермесе» уходят на соседние планеты. Сегодня, оглядываясь, я вижу, что допустил просчет. Что-то нехорошее появилось среди экипажа, я почувствовал перемену, но игнорировал ее — общая работа заставит забыть о неудачах, думал я тогда, и ограничился тем, что поставил каждому деловое задание.

Так началось наше путешествие на Кремону-5 и дальше, к звезде. Нет, я не буду описывать вам ту экспедицию, гораздо полней о ней можно узнать в наших отчетах. Но о чувствах, которые тогда нас одолевали, хочу поведать. Кремона-5 повторяла Кремону-4, но как бы на ранней стадии. Таинственная сфера уже тоже окружала ее — и под ней она тоже являлась иной, чем виделась издали. «Как бы под защитным колпаком, предохраняющим от любопытных взглядов и нежелательных посещений», твердил все злее Гюнтер, уверовавший, что и сфера эта, как и все остальное, вызывающее недоумение, искусственное изделие, а не стихийная игра природы. Благодатные условия жизни не только не уступали условиям на Кремоне-4, но и превосходили их — звезда светила здесь ярче, растительность была пышней, а вода походила на питательный бульон. «Суп густой консистенции», оценил Петр одно из морей. Но питаться было некому. Еду приготовили, подали на стол, но не пригласили поглощающих ртов. Микроорганизмы, небольшая табличка простейших — вот и все, что нашел Петр. Кремона-5 только начинала свою биологическую историю.

Зато усыпальницей для пришельцев она успела стать. Кремона-5 была мастерской и стартовой площадкой космических кораблей. Еще верней было бы назвать ее массовым кладбищем. Трудно передать чувство, с каким мы осматривали сотни звездопарусных судов, они встречались во множестве мест — где недостроенные, где разбитые, ни одного годного к вылету. «Те, что могли лететь, улетели: поврежденные возвращались обратно, если не погибали после вылета», такова была наша оценка. Первые найденные корабли возбудили ликование, мы радовались, что совершили важное открытие, нашли новую

техническую цивилизацию, круг друзей человечества теперь расширится. Но радость гасла, превращалась в смятение, смятение становилось печалью — найденной высокой цивилизации больше не существовало, она была в далеком прошлом. Конечно, мы находили кремонцев — и немало, — но скелеты, а не тела.

Мы полетели дальше, на ближние четыре планеты Кремоны — четыре сожженных беспощадной звездой каменистых шара, лишенных даже намека на жизнь. И снова здесь мы находили остатки кораблей кремонцев, поплавленные, раздавленные, сами ли опустившиеся в пекло или затянутые им — неведомо.

На «Икаре» мы обсудили результаты поиска. Докладывали Гюнтер и Хаяси, одни факты, никаких заключений. Гюнтер намеренно держался сдержанным, а у Мишеля сдержанность в натуре. Я не поклонник тощей фактологии, не сторонник и длинных логических вывязываний, любимого занятия Елены. У меня сложилось определенное мнение, и я его высказал. На Кремоне-4 в прекрасных условиях жизни когда-то развилась цивилизация кремонцев. Им захотелось превратить благоденствие в блаженство — и они преуспели в этом. Для защиты от внешней опасности создали таинственную камуфляжную сферу, отменили страдания и муки. Правда, преодолеть естественный круговорот жизни было выше их сил, и на Кремоне-4 одни организмы служат пищей другим, зато процесс этот происходит без боли, отчаянья, страха, ярости. Выражаясь по-старому, кремонцам удалась революция чувств, они упразднили все отрицательные эмоции. И если лев пожирает ягненка, то делает это благодушно и в вольное от пищеприятия время тот же лев мирно покоится рядом с ягненком. А ягненок, теряя жизнь, не теряет ощущения блаженства. По завершении райского распорядка на родной земле, кремонцы вздумали освоить и другие планеты своего звездного мирка. Их погнал наружу бес экспансии. Начинается эпоха звездостроения. Но они не стали выдающимися космическими инженерами. Их корабли примитивны, на протяжении тысячелетий все снова воспроизводится одна и та же модель — огромные, парусовидные приемники лучистой энергии Кремоны, которые затем, вдали от генерирующей энергии звезды, могут стать источником двигательной силы. Иначе говоря, звездолет кремонцев должен подлететь поближе к звезде, нахвататься ее жара и лишь потом пуститься в меж-

звездное плавание. План не удался. Катастрофы стали правилом. То пережигали приемники, то перенапрягали накопители, и те взрывались, сказывались и недоработки отдельных узлов и деталей. Звездоплаватели погибали в космосе, падали на ближние планеты или носились вечными мертвецами в космосе, вроде того, что нам встретился. Можно, однако, думать, что часть кремонцев ушла, вероятно, когда-нибудь откроют их следы в других местах. Погибнуть весь народ не мог. Значит, эвакуировались, покинули свою благолепную обитель. Возможно, в конце концов изобрели и более удачные звездолеты, способные на далекие походы.

У нас на «Икаре» была традиция — дискуссии исчерпываются выяснением мнений. Никакой запальчивости, никакого навязывания своих взглядов. Расхождение оценок — да, препирательства — нет. Мы достаточно уважали друг друга, чтобы не доказывать, что оппонент чего-то не понял, не усвоил, не постиг, не проник — в общем, разбирается плохо. Но новый дух, возникший на Кремоне-4, стал все явственней показывать себя. Мои отнюдь не излишне смелые аргументы вызвали раздражение. Елена еще сдерживалась, Анна опустила голову, чтобы я по глазам не понял, как глубоко она не согласна, Иван покраснел и нервничал, и если бы первым не взорвался Гюнтер, в дискуссию ринулся бы он.

— Нет! — закричал Гюнтер. Его сдержанности хватило только на короткий доклад. — Ты чудовищно далек от истины, Арн. Нельзя всех мерить по себе. Ты в аналогичной ситуации поступил бы так-то, стало быть, и кремонцы действовали так — вот твоя аргументация. Ты не понял главного. Кремонцы — самоубийцы! Их гнал не бес экспансии, но дьявол отчаяния. Они сознательно устремились к гибели.

— Самоубийцы? — переспросил я, порядком удивленный.

Он запальчиво повторил — да, самоубийцы. Безмерное благолепие довело их до тошноты. Они возненавидели свою благоустроенность, свое вечное довольство, свой чудовищно завершенный быт, где не оставалось чего-либо желать. Но они сохранили разум, а разум беспокоен, разум ищет, разум восстал против тупого благоденствия. Сам разум создавал его, это райское блаженство, и пока рая не было, было стремление достичь его. Но на вершине осталось безделье: полная удовлетворенность, отмена

всего, что могло тревожить или вызывать желание. Пути вперед уже не было. Но и назад не стало!

— Ты хочешь сказать, что кремонцы не могли возвратиться в прежнее бытие?

— Да, Арн, именно это! Их трагедия в том, что благолепие на Кремоне осуществляется ныне автоматически. Они основательно поработали, чтобы достичь счастья, ставшего горем. Разве гибель экспериментальных животных произошла от злого умысла мыслящих жителей? Нет! Они погибли, ибо какие-то поля, генерируемые страхом и свирепостью, враждебны созданному здесь могучему полю святости. Планета существует самостоятельно, самодовлеюще, так бы это назвал ученый старой школы, она активно противодействует всему, что — не она. В ней могучий потенциал самосохранения. И кремонцы, попав в эту западню, изнемогли в борьбе с созданным ими чудовищем вечного довольства и вечной ясности. Древний поэт презрительно сказал: «Кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп». Они не были глупы и поняли, что судьба им — стать блаженными идиотами. Было от чего впасть в отчаяние! Вдумайся и в то, Арн, что даже покончить с собой на Кремоне-4 невозможно, при этом ведь надо испытать отрицательные эмоции, а все отрицательное ликвидировано. И говоря об отчаянии, о горе, я подразумеваю мысли, а не чувства. Преодолеть печальные суждения, интеллектуальную грусть не хватит всей мощи райских энергетических полей Кремоны-4. Кремонцы интеллектуально изнемогли, интеллектуально впали в отчаяние, интеллектуально, а не эмоционально возненавидели свою жизнь. Это предохранило их от идиотизма, но повело на гибель. Они всем народом пошли на самоуничтожение. Вот почему они не стремились к техническому совершенству своих кораблей, они, уверен, могли создать и такие, но зачем? И парусный космический рыдван способен стать катапультой, бросающей из вечного довольства в вечное небытие, а большего и не требовалось.

Очень бы я погрешил, если бы не упомянул, с каким мрачным вдохновением Гюнтер излагал свою теорию. Его лицо горело, глаза пылали, он уже практически применял знания, добытые при разработке взглядомера, только мы об этом не догадывались — и два хмурых света, бившие из его глаз, действовали прямо-таки жутко на всех. Один Хаяси выглядел спокойным, и я попросил Хаяси высказаться.

— Я согласен и не согласен с обоими, — сказал он мягко. — И хоть не люблю выходить из области фактов, сейчас позволю это себе, ибо Арн и Гюнтер сдобрили добытую информацию жгучим перцем своих фантазий, а это неубедительно. Мне не нравится теория экспансии Арна и теория самоубийства Гюнтера, все остальное правильно.

— Получается, Мишель: плюс отвергается, а минус не принимается. Что остается? Нуль! Вот и вся информация, — сострил Иван.

— Остается живой разум, восставший против препарирования эмоций! — невозмутимо отпарировал Хаяси. — По-моему, кремонцы — общество, впавшее в тоску. Они возжаждали перемен, но убедились, что на планете ничего не изменить, тут я присоединяюсь к Гюнтеру. Верно, что они лихорадочно рвались наружу. Но не погибнуть — обрести новое бытие! И не усовершенствовали свои корабли не потому, что не хотели, просто не сумели — возможно, не понимали, что они примитивны: зловещая благоустроенность Кремоны ослабила и самокритичность разума. Вероятней всего, большинство их погибло еще в границах своей звездной системы, но не удивлюсь, если какая-то часть вырвалась в иные звездные районы. Решение даст только опыт.

Гюнтер снова взорвался.

— Хорошо, опыт! Но разве опыт не говорит, что не только кремонцам, но и людям здесь грозит опасность? Пока не установлен механизм охраны планеты, мы сами можем стать ее жертвой! Адское местечко! Предки говорили, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Я добавлю: а внешность ада смахивает порой на внешность рая.

— Что ты хочешь, Гюнтер? — спросил я.

— Хочу побороться с планетой! Для начала поставить ей несколько каверзных вопросов и послушать ее ответы.

— Вряд ли удастся. Я послал ротонограмму на Латону с докладом об осмотре внутренних планет, и надеюсь, что Марек, удовлетворенный, разрешит нам вернуться на базу. Мы поисковики, а не штатные исследователи. Пусть другие экспедиции займутся Кремоной. Конечно, — добавил я, чтобы не выводить из себя Гюнтера, — я бы разрешил тебе поспрошать планету, если бы мы скоро не возвращались на базу.

Ночью дежурил Хаяси. Все шло нормально. Хаяси сказал после рапорта об отсутствии происшествий:

— Арн, не уверен, что анализ душевного состояния экипажа входит в обязанности дежурного, но хочу обратить твое внимание, что Гюнтер правдиво уловил тревожную новость: планета плохо действует на нас. Она незримо ломает нас в свою сторону, а наша психика сопротивляется. Предвижу взрывы. Все возбуждены, все чего-то ждут.

— Все ждут возвращения — и только его я предвижу, Мишель. Не сочти меня легковесным. Подавление живых чувств угнетает не одного Гюнтера. Но до разлада не дойдет, мы раньше вырвемся из дурманящих полей планеты.

6

Я ошибся: Марек не высказал удовлетворения. Уже давно не открывали новых физических процессов в космосе, наш доклад, что и охранная сфера Кремоны, и запрет на отрицательные эмоции — действие неведомых физических полей, породил на Латоне волнение. Нас просили хоть приблизительно установить, что это за поля.

К этому времени Фома завершил наладку приборов. Распоряжение Марека путало мои планы. Я был в недоумении. Одно — установить в наличии неизвестные поля, совсем другое — превратить их в известные. Анализаторы расшифровки не дали, надо было придумывать эксперименты. Я попросил представить проекты. Каждый откликнулся тем, к чему больше лежала душа. Анна, не мудря, предложила увеличить спектр восприятия анализаторов — обычная ее работа, добрая доля установленной на «Икаре» приемной аппаратуры еще на Земле проходила через ее руки. Улучшение анализаторов, конечно, было полезно. Анна просила вызвать резкие всплески полей планеты, они пока тоже как бы за охранным щитом: побудить ее к активным действиям — именно это Гюнтер называл «ставить каверзные вопросы». Петр хотел вновь выпустить наружу зверушек с внедренным в сознание сопротивлением уничтожению и определить, чем неведомые силы попытаются подавить это сопротивление. Гюнтер обещал подарить планете не зверушек, а зверей — и таких, что и ей будут не по зубам. Алексей брался под-

готовить аппаратуру. Елена, Иван и Мишель вызвались в помощники к экспериментаторам. Нас охватило возбуждение, хорошее возбуждение. Никто, кроме Гюнтера, не собирался побороться со странной планетой, как с живым существом, но все жаждали бросить вызов ее загадочным охранным силам.

Я пришел в лабораторию Гюнтера. Ему помогали Алексей и Иван. Все трое возились с громоздким аппаратом. Мне он показался обыкновенным стереопроектором.

— Проектор, но необыкновенный, — нетерпеливо сказал Гюнтер. Увлекаясь, он сердился, если его отвлекали.— Арн, капитан корабля имеет право знать, чем занимаются сотрудники, но у тебя слишком крупный нос, таким носом неудобно лезть во все детали. Ты понял намек?

Намек был слишком груб, чтобы его не понять. Иван с воодушевлением проорал, когда я уходил:

— Арн! Гарантируем потрясающее зрелище! Кремона содрогнется!

К сожалению, он оказался более прав, чем сам мог подозревать. Петр внедрил в дюжину зайчат выведенное им чувство страха (в данном случае фраза «выведенное чувство» — самый точный термин). Петру помогали Елена и Анна — первая определяла психическое и физиологическое состояние зверушек, вторая старалась сверхчувствительными детекторами установить, какое излучение генерируют у зверьков их эмоции.

— Подопытные животные разбиты на две группы, — порадовал меня Петр. — У одних страх нарастает постепенно, у других — взрывом. Ожидаем, что и реакция планеты тоже выразится неодинаково, а это облегчит идентификацию ее ответов.

Анна вскоре приблизилась к разгадке одной из тайн: впадая в страх, животные генерируют слабые электромагнитные волны со сложным кружевом обертонов. Елена не преминула выстроить логическую цепочку:

— Если страх или ярость воспринимаются в отдалении, как электромагнитные импульсы, то и подавляются они противоимпульсами той же природы, но с противоположными обертонами. Это существенно сужает круг поисков.

Я не удержался от ехидства:

— Да, конечно, если бы противодействие исчерпывалось только подавлением страха или гнева. Но пока зверьков просто уничтожают, а это уже не противообертоны.

Новые настроения, появившиеся на Кремоне, у Елены выражаются своеобразно: она потеряла прежнюю самоуверенность. Еще недавно она стала бы отстаивать свою идею, сейчас, смутившись, промолчала.

День решающего эксперимента стал днем торжества и горя.

Полигон выбрал Петр — маленькую цветущую долинку, с трех сторон обнесенную холмами. Единственный выход вел к озеру. Подопытным зверькам некуда было бежать, они могли лишь метаться между озером и холмами. К холму приткнули испытательную камеру — нечто вроде древнего стального танка с откидной боковой дверкой: она оставляла экспериментаторам свободу действий впереди, а сверху, снизу и с боков надежно экранировала от посторонних полей.

Здесь я должен сделать важные пояснения.

В отличие от Петра, снова выпустившего на волю животных, подвергнутых геноoперации, Гюнтер придумал страшные стереообразы. Он так расписал их преимущества, что ни у кого не нашлось возражений. Задним числом признаю: мы все одинаково недооценивали Кремону-4.

— При помощи своего аппарата я могу создать любой облик любой степени привлекательности и ужаса, — говорил Гюнтер, когда утверждался план эксперимента.— Анна определила обертоны страха, смятения, ярости, ненависти, свирепости, жадности и другие. Все излучения такого рода в любом усилении будут сопровождать мои фигуры. И эти излучения из индикаторных могут стать боевыми, я направлю их против любых полей планеты, пусть только Анна даст своевременно характеристику тех полей, чтобы знать, чему противоборствовать. Вообще можно обойтись и без жалких зверьков Петра, но раз он поработал с ними, пусть выводит на расправу. И еще одно: управление проектором кнопочное, но могу и глазами. Я создал устройство, воспринимающее энергию взгляда: подключаю аккумуляторы на себя и перевожу их мощность в интенсивность взгляда. Посмотрите, как это делается.

Иван, ассистировавший Гюнтеру, выключил лампы. В темноте из глаз Гюнтера полился свет, и все, что было впереди, отчетливо выступило из мрака. Несколько раз, то притушивая взгляд до мерцания, то накаляя до белокалильного жара, он погружал во тьму и заливал сиянием салон. Иван бил в ладоши, все восторженно перегова-

ривались: зрелище было незаурядное! Гюнтер торжествующе закончил:

— Как видите, мне удалось овладеть тайной восьмируких астронавтов, управляющих своими аппаратами силой взгляда. Думаю, на Земле оценят это открытие. Сомневаюсь, впрочем, чтобы оно вошло в широкое употребление. Нельзя же чтобы люди дуэлировали глазами, исподтишка или открыто ослепляли один другого. Какими тогда взглядами обменивались бы соперники и каким сиянием озаряли своих возлюбленных!

Почти все смеялись шуткам Гюнтера — и напрасно. Что до меня, то я был восхищен и обеспокоен. Гюнтер Менотти, конечно, был инженерный гений, теперь это признано. Его разработки поражают и сегодня. Я сразу понял их величие. Но мне не понравился тон Гюнтера. Скромностью он и раньше не болел, но и надменностью не оскорблял. В тот вечер в салоне он держался надменно. Взгляд, какой он метнул при основательном усилении на Петра, заставил того невольно пригнуться. Поймите меня правильно, я уже говорил, что, переступив порог «Икара», оба они, Петр и Гюнтер, дали обещание забыть о соперничестве и о своем особом отношении к Анне, и восемь лет честно держались слова. Но на Кремоне-4 все стало разлаживаться, взрыв, какой предугадывал Хаяси, еще не разразился, но назревал. Во время монтажа аппаратуры в долинке я отвел Гюнтера в сторонку.

— Ты готовишься к эксперименту как к сражению. Пожалуйста, не увлекайся. Наше дело изучать, а не ликвидировать то, что кажется недостатком. Прошу руководствоваться этим.

Он зло поглядел. Я порадовался, что он не подключил к себе аккумулятор, питающий энергией взгляд. Я не мог допустить, чтобы так на меня глядели. И тем более, чтобы не выполняли моих распоряжений. Он понял, что я готов рассердиться. Ссоры он не пожелал.

— Арн, ты забудешь о своей осторожности, увидев, как разворачивается эксперимент! И надеюсь, это произойдет еще до того, как на лужайку вырвется мой Бафамет. Уверен, что ты тогда отдашь другие приказы.

Бафаметом он назвал самое страшное из своих стереосозданий. Придумал Бафамета мастер на фантазии Иван, Гюнтеру оставалось лишь превратить в нечто почти телесное поэтическое чудовище Ивана — и сделано это было мастерски.

На площадке распоряжался Петр, ассистировал Алексей. Гюнтер с Иваном сидели поблизости от испытательной камеры, в кабине проектора, похожего на исполинского краба. Остальные, и я с ними, разместились в танкообразной камере. Фома наблюдал за нами на корабельном экране. На лужайку выбежал зверек, осмотрелся, навострил уши, стал весело прыгать. Петр сделал знак Гюнтеру, тот набрал цифру на пульте, на лужайке внезапно, из небытия, возникли три дога — вы их видели в моем саду, не правда ли, страшила? — и бросились на зайца. У этого подопытного экземпляра страх нарастал постепенно: он сперва присел, потом отпрянул, потом кинулся наутек, но выхода наружу не было, он заметался по долинке. Судорога стала бить его о грунт. Не прошло и минуты, как дух из него вышибло.

Петр и Гюнтер со своими ассистентами приблизились к камере. Анна показала запись возмущений, уловленных в пространстве. Предположения наши оправдались частично — были и противообертоны, нейтрализовавшие кривые страха, но вместе с ними и линии иных полей: онито и были губительны. Их расшифровку тут же уверенно дала Елена:

— В зверьке возбужден внутримолекулярный резонанс. В нем разорвали связи, скрепляющие определенные атомы в молекулах. Для любой биологической структуры такие резонансные колебания — гибель.

— Тем же резонансом пытались расправиться и с моими псами! — Гюнтер злорадно ухмыльнулся. — Но автоматика благолепия не сработала: у стереофигур нет внутримолекулярных связей. Дай-ка ленту, Анна. Я настрою Бафамета на противорезонансные поля.

Петр выводил одного зверька за другим. Записи умножались, становились доказательней. Теперь мы знали, как загадочная автоматика планеты расправляется с нежеланными эмоциями.

— Выводи Бафамета, Гюнтер, — предложил Петр. — Попытаемся с его помощью защитить следующего зверька.

На лужайке обрисовалось чудовище. Что оно собой представляло? Не знаю, как и описать! Многоногое, многорогое, ушастое, клыкастое, гривастое, сверкающее, пылающее, пылящее, дымящее, к тому же исполинское, в общем, ужасающее. Древние жутковатые химеры показались бы рядом с ним невинными куколками. Выпущенный на лужайку зверек — он был из числа «взрывных», а не

«постепенных» — взвился, завизжал, пытался удрать, его тут же поразила судорога, он упал. Над ним наклонился гигантской пастью Бафамет, теперь эта стереобестия стала защитницей, а не губителем — резонансные излучения нейтрализовались, этого не было видно, зато мы видели, как зверек продолжает, визжа, ползти по земле: губительная судорога уже не терзала его. На планете, автоматически пресекавшей все сильные чувства, теперь вольно бушевали две эмоции — устрашение и страх.

— Отлично, Гюнтер! — радостно крикнул Петр. — Планете с ним не расправиться.

Все остальное совершилось в считанные секунды. С холмов стали валиться камни. Один ударил в Петра. Не знаю, как такой опытный астроразведчик мог выйти в незакрепленном на все застежки скафандре. Единственное объяснение — дурманящее благоденствие Кремоны-4, непроизвольно приучившее, что ничего опасного здесь не совершится. И мы увидели, что с Петра слетел шлем и что сам Петр валится на землю, и что его бьет судорога. Из камеры с криком выскочила Анна, упала на Петра, и ее тоже мигом скрутило. Но все вдруг разом успокоилось, и страшное наше ошеломление разорвал резкий крик Гюнтера:

— Минуту я их прикрою! Скорей тащите в укрытие!

Мы разом все бросились из камеры к товарищам. Мы с Иваном подняли бледную, с закрытыми глазами, едва дышащую Анну. Хаяси и Алексей понесли бесчувственного Петра. Елена помогла уложить в камере обоих. Иван приставил к груди Петра активатор, Петр стал дышать, но слабо. Иван перенес активатор на грудь Анны, быстро сказал:

— Арн, надо немедленно перенести обоих на «Икар»!

Я выскочил наружу. Гюнтер в бешенстве крутил какие-то рычаги. Я подбежал к нему.

— Что ты делаешь? Надо нести пострадавших на корабль.

Он взглянул на меня с такой яростью, словно я был виноват в несчастьи. Я схватил его за руку. Он с силой вырвался. Он хрипел, с губ срывалась пена:

— Хватит, Арн! Простить Анну и Петра? Сейчас покажу чертовке!..

В тот момент вряд ли я полностью понимал, что он делает, но чувствовал, что надо немедленно его остановить. Я вновь ухватил его со всей силой, на какую был

способен. Гюнтер так толкнул меня, что я отлетел метра на три и упал. И, лежа на земле, я разглядел, что Гюнтер лихорадочно набирает какую-то комбинацию цифр, затем рвет рычаги, нажимает на кнопки. Теперь я понимаю, что в неистовстве он возбудил противополе всем зафиксированным Анной излучениям планеты и сфокусировал его в Бафамете. Вероятно, ему вообразилось, что таким кинжальным противополем он пронзит всю Кремону-4 или оглушит ее как дубиной. Боюсь, он и вправду уверовал, что перед ним не гигантский автомат, а что-то вроде злого, очень властного, очень опасного, очень неумного самодура, которого надо проучить. Теперь мы знаем, что его атака для планеты значила не больше, чем укус комара для носорога. В ту минуту было не до отвлеченных рассуждений. Я вскочил, и на меня обрушился мир.

С миром, естественно, ничего не случилось, просто судорога свела всю долинку, почва заходила ходуном, холмы зашатались. И холм, у подножья которого мы приткнули защитную камеру, массой земли и камней рухнул вниз. Я снова упал, пытался подняться и не сумел — рухнувшая глыба раздробила мне ноги. Я успел еще увидеть, как заваливает землей камеру, сквозь грохот землетрясения услышал отчаянный крик Ивана, и потерял сознание.

Не думаю, чтобы мой обморок продолжался больше минуты. Очнувшись, я увидел, что Гюнтер яросто тащит свой аппарат к груде, завалившей наших товарищей. То, что недавно было проектором и генератором полей, превратилось не то в исполинского крота, бешено разбрасывающего грунт, не то в огнемет — из аппарата било пламя, пыль плавилась, превращалась в газ, дымом, раскаленным прахом рассеивалась по долинке. Я пытался на руках доползти до Гюнтера. Он услышал мой стон, повернулся. Никогда не забуду его лица — мертвенно бледного, отрешенного, ожесточенного. О людях, впавших в неистовство, говорят, что они вне себя, он впал в неистовство, полностью впав в себя. Вторая моя попытка подтянуть искалеченные ноги на секунду-другую опять обратила его ко мне. Он крикнул:

— Ты жив? Попытайся услышать, что в камере. У меня слабеют аккумуляторы.

Лежа, я отрегулировал свой передатчик на максималь-

ную громкость. Груда земли экранировала друзей, но я услышал тихий голос Хаяси:

— Кто-нибудь нас слышит? Петр плох, Анна тоже, у остальных повреждения неопасные. Не хватает воздуха. Конденсатор завален. Слышите нас? Слышите нас?

Я крикнул Гюнтеру, что конденсатор воздуха — мы всегда берем его, выходя из корабля, — потерян, Анна и Петр в тяжелом состоянии, остальные живы. Он заработал еще яростней. Хаяси услышал меня, я передал, что Гюнтер пробивается к ним, а я не могу двигаться. Он ответил, что с полчаса продержатся, но вряд ли больше. Голос, спокойный, но слабый, прерывался.

Рядом со мной опустилась авиетка, из нее выскочил Фома. Он кинулся ко мне, я оттолкнул его. Гюнтер крикнул, чтобы Фома немедленно доставил ядерные аккумуляторы. Фома секунду колебался. Я махнул рукой:

— Скорей назад! Они задыхаются.

— Вряд ли смогу раньше получаса, — крикнул он, взмывая.

Теперь мне оставалось только лежать и вслушиваться. Изредка слабеющий, но такой же спокойный голос Хаяси сообщал, что они еще живы. Облако пыли и дыма, выбрасываемое Гюнтером, ослабело. Он в отчаянии воскликнул:

— Где Фома? Неужели не понимает?..

— Раньше получаса он не управится...

Гюнтер остановил аппарат и обернулся. Он, словно с усилием пытаясь проникнуть в смысл моих слов, медленно сказал:

— Через полчаса мы будем вытаскивать их трупы. Арн, придется на себе испытать, на что годится мое изобретение. Сообщай, что услышишь.

Аппарат снова заработал, сперва медленно, потом все сильней. Друзья молчали, я лежал, стараясь не шевелиться: любое движение причиняло боль. Минута бежала за минутой, облако пыли и дыма снова заволокло всю долинку. Внезапно донесся — ликующим всхлипом — шепот Хаяси:

— Воздух! Воздух!

Приподнявшись на руках, я крикнул Гюнтеру, что дыра пробита, воздух поступает. Он убрал пламя, теперь аппарат только выбивал, а не выплавлял землю. Прошло еще несколько минут, и аппарат замолк. Я окликнул Гюнтера, он молчал. Я вызвал Хаяси, теперь его голос

доносился явственно, слышались и другие голоса. Елена плакала, Анна тихо стонала. Я спросил, что с Петром. Петр лежал без сознания. Иван крикнул:

— Арн, почему перестали раскапывать?

Узнав, что Фома на «Икаре», а Гюнтер не отвечает на отклики, они замолчали. Молчание тянулось минут десять, все эти минуты я приподнимал голову и окликал Гюнтера, теперь, когда пыль улеглась, я хорошо видел его. Он скрючился на сидении, не шевелился. На площадке опустилась авиетка, Фома вытащил компактные ядерные аккумуляторы и пневмобуры.

— Посмотри, что с Гюнтером, — сказал я. — Ядерные аккумуляторы уже не понадобятся, а с бурами тебе придется работать одному.

Фома пошел к аппарату и возвратился подавленный.

— Мертв? — спросил я. Фома кивнул. Я вновь потерял сознание.

Когда я снова очнулся, вокруг были все друзья — спасенные и погибшие. Петр и Гюнтер лежали рядышком, они единственные выглядели, как в жизни. На остальных было страшно смотреть. Хаяси говорил, что повреждения неопасные, но когда я увидел лицо Ивана, превращенное в сплошной синяк, покрытого ранами Хаяси, хромающую, исцарапанную Елену, Алексея, выплевывающего кровь разможженными губами, мне чуть снова не стало дурно. Фома хотел меня первым переносить на «Икар», я напомнил, что капитан при опасности последним покидает корабль, а если тот становится убежищем, последним возвращается на него. В авиетку погрузили Петра и Гюнтера. Анну, поддерживая с двух сторон, подвели к Гюнтеру, она поцеловала его. Ее и меня увезли на другой авиетке.

На «Икаре» Иван осмотрел меня и пообещал, что через месяц я встану на ноги, а через полгода буду ходить. Я спросил об Анне, он заплакал.

— Не спасу! Она перестала цепляться за жизнь. Это ослабляет лечение. Проклятая планета разоружила наши духовные силы!

Вечером в мою каюту пришел Хаяси. Я смотрел на него, он на меня — вид у обоих был ужасный.

— Ты знаешь, Арн, что сделал Гюнтер?

— Догадываюсь. Переключил на себя аппарат, когда исчерпались аккумуляторы?

— Да, Арн. Какое зловещее изобретение — превра-

тить глаза в генераторы энергии! Спасая нас, Гюнтер беспощадно расправился с собой. За пятнадцать минут он похудел на восемнадцать килограммов, такой был отток энергии из тела!

Что еще сказать вам? На Кремоне-4 мы больше не могли оставаться и часа. Говорят, на ней теперь работают с десяток специализированных экспедиций и открывают массу интересного. Что до расследования наших действий, то результаты их вы знаете. Много важных выводов, несколько существенных поправок в кодексе астронавигаторов и астроразведчиков. Все это теперь проходит мимо меня. Месяц назад сообщали, что умер Хаяси, я единственный из экипажа «Икара» еще живу. И не думаю о прошлом: лишь стереособаки Гюнтера Менотти напоминают о дальних звездных краях...

— Я слышал, аппарат Менотти сдан в музей Космоса.

— Я попросил сделать его копию без узла, творящего Бафамета. Слишком уж страшен... Ну, что же, юноша, я вам не надоел длинным рассказом? Идет ночь, я привык ночами спать.

— Сейчас уйду. Но... простите, Арн. Может, все-таки посмотрите наш проект? Ваша оценка столь важна...

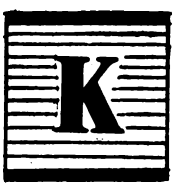
Он долго глядел куда-то в угол, чему-то грустно улыбался, потом резко взмахнул длинными волосами, ставшими из седых желтыми.

— Нет, юноша. Не расстраивайтесь, есть и без меня толковые эксперты. У меня был совершенный корабль, поверьте, лучшего я не желал. Но не все исчерпывается чудесами техники. Боюсь, до вас это не доходит. Единственное скажу на прощанье — от души желаю успеха!

...СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА

Фантастическая повесть

1



ое-что, кажется, расшифровано,— поделился новостями Трезор. — Сегодня мы услышим, как далеко простирается мудрость богов.

— Как глубоко она простиралась, — пролаял педант Дик. — Создавшие нас боги были глубоки, это главное в них.

— Боги были могущественны, — с тоской прорычал Трезор. — Они все умели. Если бы они не самоумертвились, нам не пришлось бы сегодня погибать от голода и холода.

Дик задумчиво почесал нос, вынул из кармана платок и вытер им слезящиеся глаза, потом осмотрел кисть заболевшего хвоста. Поразившая хвост непонятная болезнь началась с того, что он перестал удлиняться больше, чем вдвое, а потом заныли сочленения: доставание платка или расстилание постели давалось с трудом. Но все его десять пальцев пока сохраняли прежнюю гибкость.

— Тузик, чего ты уставился вверх? — спросил Трезор третьего пса. — Разве ты не видел наших солнц?

— Хочется выть на солнце, особенно на третье, — со вздохом отозвался Тузик. — Ах, до чего же хочется выть!

— Желание противоестественное,— заметил Трезор.— Боги, когда напивались куки, выли, но собачьей природе выть не свойственно.

— Тем не менее мне хочется выть, — еле слышно провизжал Тузик. — Я боюсь того оранжевого, мне просто надо на него повыть...

— Ночные солнца порождают болезненные иллюзии. Держи морду вниз, так мудрее, — посоветовал Дик.

Три пса помолчали, уставясь глазами в землю. Недавно начавшаяся ночь холодела, скопившаяся в ложбин-

ках вода превращалась в лед. На черном пологе неба пылали, тускло озаряя планету, ночные звезды — два белых карлика, вращавшиеся вокруг оранжевого светила, мелкая россыпь далеких созвездий. Когда закатывались красные дневные солнца и поднимались белые и оранжевые ночные, на поверхность планеты опускался космический холод. К утру даже кислород воздуха превращался в иней, ложившийся поверх льда, только водород не отвердевал — над замершей планетой дико шумели водородные ураганы и смерчи. До водородных морозов было нескоро, пока еще даже водяной пар не отвердевал.

— Скоро идти под землю, — безнадежно пробасил Дик. Это был рослый говорливый пес, он лаял только о том, что все знали и без него. — После вымерзания воды начнутся кислородные циклоны. Я не знаю ничего страшнее кислородного дождя — сечет, леденит, бр-р-р!

— Ты просто не попадал в кислородную пургу, — откликнулся Трезор. — Вихри несущегося кислородного снега куда страшнее! Я выбирался наружу в кислородную зиму — погодка, р-р-р!

— Тебя посылали наружу боги,— с уважением зарычал Дик. — Ты напялил скафандр и пропадал полвечности, я хорошо помню. А еще нам показалось в прошлую кислородную зиму, что к планете причаливает звездолет, ты полез проверять. Но звездолет промчался мимо, а ты все сторожил его до водородных бурь, когда уже весь кислород вымерз.

Дика прервала выскочившая из подземного лаза Жучка.

Она кокетливо лизнула в нос хмурого Трезора, помахала хвостом Тузику, толкнула плечом Дика и объявила:

— Полкан просит нас в университетскую аудиторию. Жуткие вещи открылись о наших создателях, но лаять во всеуслышание я не буду, не надейтесь.

2

Полкан был самым старым и старомодным из обитателей планеты. Профессором университета его назначил еще бог Павел Васильев, Полкан с гордостью вспоминал об этом. Он, единственный из ученых собак, носил манишку, он говорил, что ему не пристало выставлять из жилета рыжую грудь, пусть так — с обнаженной шер-

стью — щеголяют псы-пижоны, потерявшие представление о приличиях, он же блюдет традиции, освященные уже десятью летами и одиннадцатью зимами.

И сейчас он, вздев на нос очки, строго оглядел аудиторию — щенки шумно переругивались, рассаживаясь, — откашлялся, высморкался и приступил к докладу.

— Полчаса вздремнем, — проворчал Трезор Жучке. — У тебя не веер в хвосте? Обмахивай меня, когда станет жарко. У нытика Тузика и сегодня, наверно, откажет вентиляция. И не забудь разбудить, когда Полкан доберется до толкования рукописей и таблиц.

— Не храпи, а то искусаю, — предупредила Жучка.— Терпеть не могу, когда мужчины храпят.

Полкан начал с доисторического периода, когда боги Васильев, Робинсон, Шурке, Гейгер и Снорре стали обживать необитаемую планету. Звездолет ударился о камни, но все остальное сохранилось в целости — и автоматы-слуги, и полуфабрикаты создаваемых разумных существ («среди них находился и ваш покорный слуга, правда, еще в эмбриональной форме», — с гордостью объявил Полкан), и химические реактивы, и аварийные продукты питания. Полкан описал, как создавались заводы по изготовлению атмосферы, строились подземные склады и жилища, как завершились работы по выведению породы разумных псов и новые создания, быстро размножаясь, заселили планету, так умело и верно помогая своим создателям, что бог Васильев ставил их в пример роботам. Зато на ссорах между богами Полкан не задерживался: старого пса тяготили воспоминания той далекой поры, когда его самого со всех сторон теребили, а он не знал, кого защищать.

— Вы хорошо знаете, как страшно завершилась эта глава нашей истории, — грустно провизжал Полкан. — Атомный взрыв, совершенный богом Робинсоном, уничтожил и богов, и звездолет, и роботов, и всех псов, кроме тех одиннадцати, которых успел выпустить бог Васильев. Замечу в скобках, что среди спасшихся находился и ваш покорный слуга, тогда еще зеленый щенок. А когда мы на другое лето после взрыва выбрались из подземных укрытий, мы обнаружили лишь остатки дневника бога Васильева и поврежденную каменную плиту, которую боги называли «Скрижали завета».

Полкан, четырежды удлинив хвост, обвил им обелиск, приткнутый к университетской трибуне: на камне видне-

лась полустертая гравировка. Потом все десять пальцев хвоста Полкан положил на стол. На столе лежала раскрытая тетрадь с обгоревшими страницами.

— Мы долго трудились над расшифровкой дневника и скрижалей, — торжественно продолжал Полкан. — Мы понимали, что в них скрыта мудрость богов. Наше благополучие зависит от того, удастся ли овладеть мудростью или она навеки останется секретом. Если мы раскроем тайны богов, создавших нас, то сами станем равны богам, и начнется шествие новой цивилизации во Вселенной — цивилизации божественных собак или, говоря проще, псов. С великой радостью я объявляю, что этот миг приближается — мы расшифровали и скрижали, и дневник. Кэт, прошу вас, займите мое место на трибуне.

Жучка нежно ударила хвостом по морде Трезора. Он не проснулся, и она куснула его в шею. Трезор открыл мутные глаза и хрипло прорычал:

— Уже начинается? И поспать не дают!

— Я начну с дневника бога Васильева, потом перейду к скрижалям завета, — провизжала с трибуны Кэт, тощая, длинная собачья дева, самая умная среди учеников профессора Полкана.

3

Дневник профессора Павла Георгиевича Васильева

«...связанный, мог лишь глядеть. Робинсон усмехнулся. И умирая, не забуду этой ухмылки. Он негромко сказал:

— Обещайте не поднимать бузы. Так это, кажется, называется на том языке, который ваш дед потерял, ваш отец постарался забыть, а вам пришлось изучать заново? Без такого обещания не развяжу.

Я взглядом показал ему, что буду покорен. Он вынул изо рта кляп и освободил ноги.

— Развяжите руки, подлец! — сказал я, силясь подняться, но со связанными руками это было трудно. Он помог мне сесть.

— Каждый плод созревает в свой срок, профессор. Для начала делового разговора я предложу вам поглядеть на экран.

— Включите, — сказал я, откидываясь на спинку ди-

вана. Я был измучен и опустошен. Этот мерзавец теперь не дал бы мне даже умереть.

На экране вспыхнуло несколько точек. И без вычислений было ясно, что это не астероиды, а преследующие нас крейсера. С тяжелым сердцем я смотрел, как тускнеют их изображения и сами они словно сбегаются в кучку: «Гермес» легко обгонял все другие звездолеты. Робинсон рассчитал свой адский план безошибочно.

— Я в бога, как вы знаете, не верю, — заявил он, удобно усаживаясь в кресло. — Но быстроногий божок Гермес мне нравился с детства. Даже Зевс не сумел бы его нагнать, не говоря об Аресах и Аполлонах.

— Поэтому вы и назвали свою новую конструкцию галактического корабля «Гермесом»? — с ненавистью спросил я.

— Вы проницательны, профессор. Добавлю: конструируя его, я не сомневался, что когда-нибудь мне придется удирать с Земли в неизвестность.

— Вам создали удивительные условия, — сказал я. — Ваша вшивая частная компания и мечтать не могла о размахе, какой ей придала передача в государственное управление. Вспомните, ваш «Геракл» дальше Альфы Центавра так и не сунулся. А ваши последующие космические гробы, все эти «Деметры», «Афродиты», «Геры» и «Афины»? «Наши богини возносятся на Галактический Олимп» — такое напыщенное интервью вы дали прессе. Ни одна из этих тихолетных богинь не добралась даже до Сириуса. А сейчас вам дали возможность построить корабль, способный долететь до Альдебарана. Почему такая неблагодарность, Робинсон?

Он смотрел на меня с наслаждением, словно я восхвалял, а не разносил его. В жизни мне не приходилось встречать человека более наглого, чем Робинсон.

— Вы точно описываете факты, — согласился он. — Но кроме фактов существуют чувства. Вы не пробовали заглянуть мне в душу, профессор?

— Я клоаками не интересуюсь!

— Вам не удастся меня оскорбить. Сейчас моя сверху.

— Развяжите мне руки, — потребовал я.

— Обещайте вести себя смирно.

— Обещаю, — сказал я. У меня решительно не было выхода.

Он развязал меня и продолжал свою отвратительную болтовню:

— Итак, мы остановились на моей душе. Моя душа — элизиум теней, как выразился один из ваших поэтов, которого вы, разумеется, не знаете.

— Мой родной язык — английский, — возразил я, уязвленный.

— Об этом я и говорю. Ваш дед бежал от революции в России, ваш отец знал русский, но позабыл его, а вы обучались языку своих предков по школьному курсу. Зато я изучил этот язык. Врагов надо знать.

— Вам это помогло, Робинсон?

— Ровно в той мере, чтобы понять, что я слишком поздно родился на свет. Мои предки с Вильгельмом Завоевателем высадились в Англии. Мне надо было обретаться где-то в тех веках, а я опрометчиво создал компанию по строительству галактических кораблей в стране, где к власти пришло левое правительство с коммунистическим премьер-министром. По натуре я — феодал-полубог, а мне отвели, после национализации, должность старшего конструктора с персональным окладом. Говорю вам, это не по мне. «Гермеса» я строил не для человечества, а для себя. Пока не создадут равноценных кораблей, мы будем пиратствовать в космосе. Робинсон, флибустьер Галактики — по-моему, звучит неплохо?

— Земля построит корабли совершенней «Гермеса», и вас повесят.

— Это будет нескоро. Моя душа успеет насытиться космическим разбоем. К тому же у нас есть возможность бежать на дальние звезды и там колонизировать подходящую планетку.

— Зачем вы похитили меня?

— Господам нужны слуги, разве вы этого не знаете? На людей я уже не рассчитываю: из них начисто вытравлен благородный дух раболепства. Но создаваемые вами мыслящие собаки для роли слуг подойдут.

— Мыслящее существо не помирится с рабством, рано или поздно оно разобьет оковы, которые вы куете.

— Постараемся, чтоб это было поздно, а не рано. Если ваши псы примирятся с судьбой раба в течение двух-трех столетий, меня это устроит. Как вы знаете, у меня нет детей. Кстати, мы с вами не одни на корабле. Я похитил еще и Снорре, инженера по конструированию заводов, создающих кислород из любой дряни, Шурке, добровольно присоединившийся ко мне, заведует термоядерным арсеналом, а патер Гейгер, тоже доброволец,

постарается внедрить в сознание ваших разумных детищ основные начала религии: без бога ни до порога, как говаривали ваши предки, эта истина должна лежать в фундаменте всякого научно-организованного разбоя. Как видите, компания на «Гермесе» отлич...

...милые собачки. Полкан уже понимает меня, Рекс начал разговаривать по-человечески, остальные тоже совершенствуются. Десять гибких пальцев на свободно удлиняющемся хвосте чудесно прижились, теперь хвост из бесполезного рудимента превратился в важнейший рабочий орган. Вместе с тем...

— ...Ты мой кумир! — с восторгом объявил пьяный Шурке. — Прикажи убить — убью! Прикажи ограбить — ограблю! Я с первого взгляда возлюбил тебя, как самого себя. Вели — немедля укокошу профессора!

Все это он высказывал на ужасном африкано-немецком диалекте. Робинсон снисходительно улыбнулся. Не могу сказать, чтобы он поощрял подобное обожание, но он не запрещает его — Шурке достаточно. Перепугался я, по-честному, ужасно, но постарался этого не показать. Робинсон, однако, разбирается в любом моем состоянии. Вероятно, я был очень бледен.

— Я ценю ваши добрые намерения, Шурке, но профессор нам еще понадобится. Я уверен, что он придет к здравому решению.

— Помогать в нападении на человеческие корабли не буду! — крикнул я. — Можете теперь поручить Шурке укокошить меня.

— Дух ваш по-прежнему стоек, — сказал он почти с одобрением. — Однако я замечаю эволюцию в ваших намерениях. Раньше вы грозились сопротивляться, сейчас только не будете помогать. А вы, Снорре?

— Я устраняюсь тоже, — коротко объявил исландец.

Робинсон пронзал дьявольским взглядом Гейгера. Тот был напуган похуже меня. Он трясся и боялся поднять лицо.

— Не правда ли, Гейгер,— со зловещей мягкостью заговорил Робинсон, — не правда ли, говорю я, вы восхищены, как и я, благородным образом мыслей нашего коллеги Шурке? Вот истинный образец христианских добродетелей, не так ли? Шурке носит бога в сердце своем, и этот бог, естественно, я. Надеюсь, обожание господа, в каком бы образе ни явился господь, не противоречит догматам нашей святой религии?

Я отвернулся, мне неприятно было смотреть на это жалкое растерявшееся существо. Уверен, что Робинсон принудил Гейгера идти с ним на корабль, добровольным решением тут не пахнет, что бы ни говорили Робинсон и сам Гейгер.

— Нет, почему же! — промямлил Гейгер. — По форме, конечно... Но существо, тем не менее...

— Отлично. Два пленника против, три добровольца — за, — подвел итоги Робинсон. — Мое решение таково: пленников запираем в кормовой камере, а вам, Шурке, готовиться к нападению на человеческую эскадру. Сегодня мы покажем тупым землянам, кому принадлежит космос!..

...однако сумел спастись. «Гермес» по резвости пока еще превосходит другие корабли, это, к сожалению, надо признать. Робинсон третий день не показывается в салоне, Шурке притих, Гейгер подавлен, а мы со Снорре втихомолку ликуем. Спасения мне ждать неоткуда, но мысль, что сорвался план Робинсона блокировать человеческие трассы в Галактике, наполняет меня востор...

...слишком сильный удар. Повреждения более значительны, чем уверял Робинсон. Вряд ли удастся восстановить «Гермес», хотя жить в нем еще можно. Планета — крохотный шарик, лишенный и подобия атмосферы. Два дневных солнца я выдерживаю, но три ночных действуют на нервы. Ночь продолжается около земного года, день такой же продолжительности. Снорре обещает пустить первый атмосферный завод к лету, и тогда можно будет выходить без скафандра. Робинсон передал ему всех роботов, я вынужден выделить отряд мыслящих собак. Эти чудесные создания, ласковые, умные и умелые, работают так споро, что Снорре ими не нахвалится. Тупой кретин Шурке обращается с ними, как египетский надсмотрщик с пленными. Я упрекнул его, он замахнулся кнутом. Я поспешно ушел, но сердце мое обливается кровью. Я убил бы Шурке, если бы мог убивать. Но я умею лишь создавать, я никогда не учился что-либо уничто...

...азал я с возмущением.

— Вы ошибаетесь, — возразил он. — Я член общества охраны животных, а ваши собачки разумные существа, а не животные. Правила защиты бессловесных тварей на них не распространяются.

— Короче, вы не хотите смягчить их трудное существование, Гейгер?

— Единственное, что я могу сделать, это постараться внести в грубую душу Шурке принципы христианской благости и всепрощения. Но вы сами понимаете, профессор, Шурке это Шурке!

Я пошел от него. Если Робинсон отказался поддерживать меня в споре с Шурке, то Гейгер и подавно не пойдет против своего господина. Попытка прибегнуть к его заступничеству была бессмысленна. Я дурак, всегда был дураком и другим уже не буду!

Гейгер крикнул мне вслед:

— Подождите, профессор, вот же горячая душа! — Я обернулся. Он сказал — и так, словно его обещание могло оказать огромное действие: — Сегодня возьму двух роботов и выбью на камне десять христианских заповедей. Шурке ежедневно будет читать скрижаль завета, и это, уверен, окажет благотворное влияние на его душу.

На другой день камень с высеченными заповедями красовался неподалеку от корабля. И эта чепуха — все, чего я доби...

...надо помешать! — твердо сказал Снорре. — Пора вам, профессор, отделаться от ваших вечных колебаний и нерешительности. Или мы их или они нас — только так теперь!

— Погибнут мои создания! — запротестовал я. — Погибнет выведенная мною новая форма разума, которой еще предстоит великая будущность!

— Нет, тысячу раз нет! — воскликнул Снорре. — Во-первых, останутся те собаки, которых они переселили на корабль для обслуживания их персон. А во-вторых, мы возвратимся сюда с людьми и арестуем эту преступную тройку, а все создания, что находятся сегодня в собачьем лагере, вызволим.

Я опять раздумывал и опять не видел выхода. На что-то надо было решаться, я только не знал — на что.

— Вы уверены, что разобрали их разговор? — спросил я.

— Я не страдаю глухотой. И они не догадывались, что я спрятался под бочкой. «Оставим их здесь с сотней лишних псов, пусть подыхают вместе с ними, а сами завтра вырвемся снова в космос», сказал Робинсон. «И будем нападать лишь на отдельные корабли, а не на эскадры». Итак, ваше решение, профессор?

— Согласен! — сказал я. — Но я все-таки выпущу собак из загородки. Оставлять их в жестоких лапах Шурке я не могу. Ждите меня на корабле.

Он зашагал к звездолету, а я поспешил к домику, откуда неслись хохот захмелевшего Робинсона и дикий рев Шурке...

...один час! — крикнул Робинсон. — После этого я взрываю бомбу. Мы, конечно, погибнем тоже, но и ваши тела разлетятся плазменным облачком.

— Он врет! — простонал я. — Нет у них бомбы.

— Он говорит правду, — ответил Снорре. — Думаю, нам не уйти. За час я не подготовлю аппаратуру к полету.

— Я не хочу выходить! — воскликнул я. — Снаружи нас ждет смерть еще более жестокая, чем здесь. Робинсон не простит нам попытки к бегству.

— Он, несомненно, поиздевается над нами.

— Что же делать? Что же делать, боже мой?

Снорре возится с пусковыми приборами, а я пишу. До конца предоставленного нам часа осталось восемь минут. Сейчас я поставлю последнюю точку и запру дневник в сейф. Вот она, последняя точка — может быть, на всей моей жизни!»

4

Ученая Кэт закончила чтение расшифрованного дневника, и на трибуну опять взошел Полкан.

— Самое главное еще предстоит услышать! — залаял он с воодушевлением. — Дневник бога Васильева добавляет подробности, но в целом рисует лишь ту картину божественных взаимоотношений, что сохраняется в памяти собак старшего поколения. Для нашей практической жизни важнее скрижали завета, сохранившиеся, к сожалению, частично, так как многие слова в строках отсутствуют. Кэт, прошу вас.

— Вот что удалось разобрать на Камне Завета, — заговорила Кэт. — Читаю по порядку каждую строку, где сохранились слова:

...сотвори себе кумира.
...возлюби самого себя.
...убей.
...укради.

...лги.
...прелюбодействуй.
...богохульствуй.

— Хотя и не все расшифровано, но основное ясно, — пролаял Полкан с трибуны. — Самым же убедительным доказательством истинности расшифровки является то, что изречения в точности описывают божественное поведение наших создателей. Думаю, это не явится темой дискуссии. Теперь нам остается лишь найти способ внедрить завещанную богами истину в нашу жизнь, и мы сами тогда станем богоподобными и богоравными. Прошу высказываться. Кто просит лая?

Первым попросил лая Трезор.

На трибуне он преобразился. Глаза его горели, клыки хищно обнажились, хвост простерся в зал, распялясь всеми десятью пальцами.

— Я принимаю Камень Завета как священную хартию! — загремел он. — Я сотворил себе кумира, и этот кумир — я, ибо я возлюбил самого себя. Призываю остальных присоединиться добровольно к обожанию меня. Жду верноподданных лаев.

В собрании некоторое время царило ошеломление, потом послышались протестующие рыки. Над общим гомоном вознесся визг Тузика:

— Наглый захват власти! Не соглашаюсь!

— Подойди к трибуне и пролай во всеуслышание свой протест! — недобро предложил Трезор.

— Не побоюсь! — визжал истошно Тузик. — Пойду и пролаю.

Он вылез из ряда и направился к трибуне. Когда Тузик проходил мимо Трезора, тот впился клыками ему в горло. Тузик упал бездыханный.

— Я осуществил еще одну заповедь: убил! — возгласил Трезор, жадно облизываясь. — Кто теперь будет отрицать мое высшее происхождение? Ты, Полкан? Ты, Рекс? Ты, Кэт? Или, может, ты, Дик?

— Ты действуешь по божественным заветам, Трезор, — покорно подтвердил ученый Полкан, и устрашенные псы пролаяли заодно с ним.

— Я свой кумир и самовозлюбленец! — ликовал Трезор. — Я буду убивать, лгать, красть, прелюбодействовать. Придите ко мне и поклонитесь, ибо я богоравен, а вы — богоподобны!

ВТОРОЕ Я — Я

Дело было не в привязанности к Земле, как полагали друзья. Алексей Ларьян страшился звездных путешествий. Ему предлагали три интересные командировки в Плеяды и созвездие Лиры, а он трижды отказывался. В командировки намечали одновременно его и Анну. На Земле они были друзьями и собирались пожениться, когда подойдут годы для семьи. Но мысль, что они окажутся вместе в далеком звездном уголке, пугала его. Рассказать об истинных причинах своих отказов он никому не мог — особенно Анне.

Разгадка же была в том, что он изменился к Анне. Он не охладел к ней, не успокоился. Раньше он сдерживал бушевавшие в нем чувства, сейчас порою подстегивал себя — чтоб Анна не заметила перемены. Он не сомневался, что на Земле удастся вести себя так очень долго. Земные машины безопасности пресекали попытки непосредственного чтения мыслей. Если уж выпала ему доля таить истинные чувства, то нигде не было условий благоприятней для секретов, чем на Земле. О том, чтобы признаться Анне в своей перемене, он и не помышлял. Он скорее убил бы себя, чем огорчил Анну.

Но в иных звездных мирах долго таиться он не сумеет. Правда, в звездолетах смонтированы свои машины безопасности, и там, как и на Земле, человек может поделиться с другим своим состоянием только при помощи слов и поступков. Древнее человеческое неумение непосредственного — помимо слов, мимики и поступков — восприятия мыслей и чувств возведено в специальный закон длительных рейсов, ибо прямое чтение мыслей, как показал опыт, часто приводит к трениям в коллективе. Бывали даже случаи — немыслимые на Земле — когда люди ссорились по пустякам. Вся эта блестящая техника отказывала, едва люди покидали корабли. Радиус дейст-

вия МУМ — малых универсальных машин, которыми оснащали корабли, — не превышал и миллиона километров. За этими пределами людей полонила примитивная стихия прямого понимания. Алексей в страхе зажмуривался, представляя себе, как Анна, потрясенная, внезапно узнает, что он относится к ней уже по-иному, чем прежде. Не то, чтобы он разрешил себе подумать о ней плохо, этого ни на Земле, ни в звездных мирах с ним не случится. Но все же он думает о ней иначе, чем всегда уверял ее.

Но когда комплектовали флот в Южную Корону, Анна неожиданно дала согласие за себя и за Алексея, не дожидаясь, пока он откажется в четвертый раз.

— Чем мы хуже других? — сказала она. — Елена с Надей налетали восемнадцать тысяч светолет, а мы словно прикованы к солнцу. Ведь не поверят — ты дальше Сириуса не забирался в Галактику!

— Мы были на звезде Ван-Маанена, — напомнил он.— Я уже не говорю о туристском рейсе вокруг Проксимы Центавра.

— Больше я так не могу, — объявила она. — Я начинаю думать, что ты разлюбил меня, раз боишься дальних поездок вместе.

Он сдался.

— Хорошо, я согласен. Но вряд ли тебя восхитит дальняя экспедиция.

Она была так счастлива, что не поняла предостережения. Он возвратился к себе подавленный. Ехать было немыслимо. Еще немыслимей было не ехать. И тут он вспомнил о недавно организованном Институте Экспериментальной Вездесущности. Там могли помочь ему.

В Институте Экспериментальной Вездесущности Алексей разговаривал с двумя специалистами, и они смотрели на него, как на рехнувшегося. Правда, они этого не высказывали.

— М-м, интересно! — промямлил один. Этот был огромен и толст. Он отвечал за точное воспроизводство родителей в дубликатах.

— Немыслимо, — подтвердил второй, низенький и худой. Он руководил отделом жизнеспособности копий. — Никогда не слыхал ни о чем подобном. Вот до чего доводит любовь!

— Да, любовь, — отозвался толстый. — Страшная вещь

любовь, если вдуматься. Необъективность и несправедливость! Какой-нибудь мало примечательный человек вдруг становится всех значительнее в мире! А, Леонид?

— Надо подумать, — согласился худой. — Закончим схему копирования прародителей и возьмемся за любовь.

— Я, однако, не прошу, чтобы вы разделывались с любовью вообще, — заметил Алексей. — Наоборот, я хотел бы, чтобы вы помогли удовлетворить частные нужды моей любви.

— Дубляжем людей мы не занимались, видите, какая штука, — любезно разъяснил толстый. — Правда, опыты над животными удались, а человек принципиально...

— О, я не считаю себя хуже животного! Никакого животного, включая самого разумного...

— Единственное разумное животное — человек, — строго возразил толстый. — Это явствует из определения человека как существа интеллектуального. К тому же мы в институте на собственном примере... Короче, вся трудность в том, чтобы продублировать ваш мозг. Вы меня понимаете? Ваши влечения, наклонности, привычки...

— Я как раз и не хочу очень точного... У моего дубликата должно быть другое отношение к той особе... Я более или менее стал равнодушен... Ну, немного не так...

— Избирательное воспроизводство оригинала в копии, — сформулировал худой. — Так сказать, дубляж с заранее заданными свойствами. Я давно мечтал о чем-то подобном.

Худой посмотрел на толстого. Толстый сжал губы. Худой кивнул головой. Толстый сказал, колеблясь:

— Когда-нибудь надо же пробовать! Смех же — вездесущность на животных! А тут такой повод! Продублировать заказчика в полном объеме, чтобы была настоящая человеческая, а не собачья или там бычья вездесущность.

— Я прошу всего лишь об одной копии. Полной вездесущности мне не требуется, — сказал Алексей.

— Полная вездесущность физически немыслима, — разъяснил худой. — Ее придумали древние мистики, а мы ученые. Мы назвали себя Институтом Вездесущности лишь в смысле предела, к которому стремимся. Реально мы — многосущники, а не вездесущники. А ваш заказ и того проще — обыкновенная двусущность. На собаках мы ее решали сотни раз. В общем, я — за. Не обещаем абсолютного тождества в каждой молекуле, но совпадение внешности и характера...

— Это меня устраивает. И, учитывая, что мне скоро в рейс...

— Тянуть не будем, — пообещал толстый. — Итак, повторяю условия: полное копирование внешности и характера за единственным исключением: отношение к этой...

— Да. К ней! Других исключений не требуется.

...Знакомство с двойником состоялось спустя неделю.

— Здравствуй, Алексей! — сказал Алексей, обнимая двойника.

— Здравствуй, Алексей! — сказал двойник, отвечая таким же объятием.

Двойник вначале показался Алексею непохожим. Голос почудился слишком звонким, движения развязными, фигура сутулой, а в лице было что-то чужое. «Брак! — подумал Алексей смятенно. — Первая модель человека, — конечно, они оправдаются отсутствием опыта!».

Но работники Института разъяснили, что Алексей видел себя лишь в зеркале и на фотографиях, а в жизни он иной, чем на изображениях. И голос свой он слышал лишь изнутри или в машинной записи — то и другое искажает звучание. И он не представляет себе, какова его истинная фигура, манера ходьбы и жесты.

— Мы создали в вашей копии совершенный образец двусущности, — торжественно сказал толстый. — Берите своего двойника под руку и погуляйте. Окончательное впечатление изложите потом.

Алексей вышел из института немного растерянный. Ему казалась странной мысль, что он идет не сам собой, а рядом с собой. Двойник глядел на Алексея растроганными добрыми глазами.

— Алексей! — сказал Алексей.

— Что, Алексей? — отозвался двойник.

— Нам надо бы как-то различать друг друга, — сказал Алексей.

Двойник на секунду задумался.

— Для начала мы можем присвоить себе различающие индексы, — предложил он. — Скажем, ты — Алексей А, я — Алексей Б. Потом придет различение по существу.

— Существо-то у нас одинаковое, — напомнил Алексей.

— Да, одинаковое, я позабыл об этом, Алексей.

— Впрочем, на индексы я согласен. Итак, ты Б, а я — А.

Некоторое время они шагали молча. Они еще стеснялись друг друга.

— Что мы будем сейчас делать, Алексей Б? — спросил Алексей А. — Я имею в виду — куда пойдем?

— Как куда? — удивился Алексей Б. — К Анне, конечно. Я мечтаю увидеть ее сегодня. Я должен тебе признаться, Алексей А, что такое глубокое, такое горячее чувство...

— Но не можем же мы явиться вдвоем. Что она подумает о нас?

— Да, она растеряется или возмутится! Как ты думаешь, Алексей А, она возмутится? О, если бы ты знал, Алексей А, как это меня тревожит!

— Меня это тревожит не меньше. Идти к ней вдвоем нельзя.

— Погуляем, Алексей А. Мне хочется погулять с тобой. Я чувствую в нас удивительное родство душ.

— Тут нет ничего удивительного — мы двойники.

— Да, да, мы двойники! Это многое объясняет, Алексей А.

— Слушай, а не упростить ли нам взаимоотношения? — сказал Алексей А. — К чему эти постоянные Алексеи? Оставим одни индексы и — хватит. Как по-твоему?

— Великолепно. В математике такой прием — исчисление по индексам — применяется часто. Итак, ты — А, я — Б. Восхитительно удобно, ты не находишь, А?

— Очень удобно, Б, — сказал А.

А немного тревожился, что повстречаются знакомые — как объяснить совершившееся с ним раздвоение личности? Он украдкой оглядывался на Б. Он не мог отделаться от ощущения, что они не вовсе равны — он, А, был оригинал, а тот, Б, копия, великолепно исполненная, мать с отцом не сумели бы выпечатать таких близнецов, но все же — копия.

Но Б и виду не показывал, что считает себя чьей-то копией. Он лишь из вежливости уступил своему двойнику индекс А, а взял себе Б. В остальном он индивидуален и особ. И если А неразличимо тождественен ему, Б, то это есть свойство самого А, а не личная особенность Б. «Вскоре он будет считать, что я его копия», — с опаской думал А и радовался, что строгие земные порядки запрещают прямой обмен мыслями. Все же он чувствовал неловкость от того, что угадывает в Б такое понимание их

тождества. Еще спустя некоторое время А понял, что непорядочно относится к собственному двойнику, а пуще — к Анне. Не собирался же он подсунуть Анне похожее на себя чучело! Он искренне хотел, чтобы с Анной был он сам и чтоб этот, полностью он, лучше относился к Анне, чем он. «Чего ты жаждал, осуществлено — радуйся!» — сурово сказал он себе и стал радоваться. И вскоре А обнаружил, что еще ни с кем не чувствовал себя так легко, как с Б. И того одолевали похожие чувства.

— Ты замечательный парень, А! — сказал он в восторге. — Ты заметил, что наши взгляды совпадают?

— Я плохо схожусь с людьми, но к тебе привязался с первого взгляда, — сказал А.

А вспомнил, что завтра утром отлет на Плутон, дальняя звездная экспедиция стартует оттуда, и с грустью сказал:

— Мне очень будет не хватать тебя, Б.

— Мне тоже. Но теперь мне надо повидать Анну. Я обещал ей зайти вечерком.

— Это я обещал Анне зайти вечерком, — сдержанно поправил А.

— Ты? Как это ты? Ну да, ты. Тем самым и я, не так ли? Я не задержусь. Ночуем мы у меня?

— Да, у меня. Не задерживайся, Б.

Б убрался, А поплелся к себе. У него опять стеснилось на душе. Было что-то плохое в том, что к Анне пошел Б, а не он. Нужно было поскорее разобраться во всем этом, чтоб ощущение чего-то неладного не превратилось в скорбь о непоправимом. И, еще не дойдя до дома, А допытался у себя, что настроение ему испортила ерунда. Он, А, приревновал Анну к Б. Это было доисторическое, невежественное чувство. Такие древние уродцы еще таятся временами в глухих уголках души, как плесень в сырых подземельях. Чтобы они не отравляли сочащимся из них ядом, их надо высвечивать лучом разума. Логики они не переносят. А расправился со своими темными томлениями средствами логики. Он сказал себе: «Ты приревновал Анну к себе, глупый человек! Не соперник пошел к ней, а ты сам. Тебе непривычна подобная ситуация, но надо приучаться — отныне ты одновременно в двух разных местах. Не двойник и не копия, это грубо, и не един в двух лицах, это попахивает мистикой древних, а просто и ясно: один и тот же человек в двух местах. Ты здесь и одновременно там. Что в этом сложного? Ты —

двусущен. Ты мог бы заказать себе и трисущность и дюжиносущность, дело пустяковое. А отсюда вывод: смешно ревновать к себе». После такого строгого рассуждения ревность исчезла. А разделся и лег в постель, Б он постелил на диване. Какое-то пренебрежение к Б как к двойнику тут тоже ощущалось, но А не любил спать на диванах... Б возвратился поздно ночью.

— Как Анна? — спросил А. Он чуть не спросил: «Она не догадалась?», но грубый вопрос мог обидеть Б.

— О, Анна великолепна! — воскликнул Б. — Чем больше я узнаю ее, тем сильнее люблю. Она веселилась, как дитя, а как она была красива! Мне кажется, она сегодня еще красивей, чем вчера.

А лежал, сжав губы. Что там Б ни говори, а какова была Анна вчера, он не мог знать. И, если уж на всю правду, именно вчера она была красива, как никогда!

— Спать, спать! — весело бормотал Б, уминая подушки на диване. — На рассвете мы улетаем! На рассвете мы улетаем!

А глядел в звездное небо за окном. Ему не хотелось спать.

А проснулся с ощущением, что вдруг произошло несчастье. Комната была пуста. В окно лилось солнце. Б исчез, предварительно убрав диван.

— Все в порядке! — сказал себе А и опустил голову на подушки, но через минуту заметался по комнате, хватая одежду.

Ничего не было в порядке. Дикий хаос воцарился в мире. А, не умываясь, промчался мимо стереофона, потом, уже на улице вспомнил, что стереофон может помочь скорее, чем самый быстрый бег. Он возвратился и вызвал космодром.

— Да, экипаж экспедиции Ф-44 утром вылетел на Плутон, — сообщила дежурный космодрома, хорошенькая девушка со слишком самоуверенным лицом. — Да, и Ларьян тоже. Что? Ну, вот еще — не знаю Ларьяна! Невысокий, белокурый, немного застенчивый — и зовут Алексей, правильно? Кстати, вы очень на него... Да, экспресс на Плутон отправляется в двадцать три, он прибывает почти одновременно с кораблем, на котором... Записать вас на экспресс? Ларьян? И тоже Алексей?.. Знаете, мне вдруг показалось... Не опаздывайте. Вы записаны сто тридцатым.

Алексей присел на диван. У него дрожали руки. Он

снова и снова возвращался к чудовищной ошибке, совершившейся на рассвете.

— Анна! Анна! — шептал он. — Что же теперь будет?

Одно он понимал ясно в хаосе совершившегося: он был Б, а не А. А же, тот А, что отказывался уехать с Анной, рано утром, воспользовавшись сном Б, уехал вместо Б, с Анной. Та, разумеется, не заметила подмены. Да и как она могла открыть ее? Они больше, чем двойники — один и тот же человек. Он здесь и одновременно там — все очень просто. И в эту кристальную простоту тот, второй, нет, первый, в общем, такой же, но только А, а не Б, внес безобразную, непростительную путаницу, заменив собою, А, его, Б. Одно, только одно отличало их — отношение к Анне. Он, тот другой, нет, первый, А, он был равнодушен к Анне, а этот, я, то есть Б, я же не мыслил себя без Анны!.. Вчера какая она была красивая, еще красивей, чем позавчера, я же сказал ей: Анна, я так счастлив, что мы вместе далеко, далеко... Нет, как же теперь? Нет, я все о нем раскрою! Прилечу одновременно с ними и брошу ему в лицо перед Анной...

Алексей снова забегал по комнате. Он представил себе, как оба они бурно объясняются, а она лишь молча переводит испуганный взгляд с одного на другого.

— Нельзя, нельзя! — крикнул Алексей. — Как же мы объясним ей, почему нас двое?

Тут ему пришла в голову новая ужасная мысль, и, сраженный, он в бессилии упал на диван. Путаницы не произошло, мир вовсе не отдан хаосу. Что намечалось, то и осуществилось. Он не Б, а А. Ему надо было остаться, и он остался. Б надо было ехать в Анной, и Б уехал. Произошло лишь одно непоправимое изменение. Переменилось его отношение к Анне.

Сергей Александрович Снегов

ЛЮДИ И ПРИЗРАКИ

Научно-фантастические повести

Редактор-составитель *О. Н. Тимошенко.* Художественный редактор *С. И. Соболев.* Технический редактор *М. С. Гайдукова.* Корректоры: *Н. Л. Второва, Н. С. Гайдученок.*

ИБ № 964

Сдано в набор 02.10.92. Подписано в печать 09.02.93. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага офс. Гарнитура «Обыкн. новая». Печать офс. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 1255,5 т. Уч.-изд. л. 26,17. Тираж 50 000 экз. Заказ 1765. С 002. Калининградское книжное издательство, 236000, Калининград, Советский просп., 13. ИПП «Янтарный сказ», 236000, Калининград, ул. К. Маркса, 18.



